СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Дискуссия на Всесоюзной конференции историков-марксистов на тему о финансовом капитале в России еще больше подчеркнула интерес, который существует к этой проблеме. Интерес—вполне оправдываемый актуальностью и злободневностью самой темы.

Буржуазные историки с большим вниманием и тщательностью разрабатывали сюжеты, относящиеся к эпохе разложения феодализма и зарождения буржуазного общества. С еще большим рвением марксистские историки должны заняться эпохой разложения капитализма и созревания нового общественного строя. Перед марксистом-историком должна стоять задача «обогнать и перегнать» буржуазную историографию. Многое в этом направлении уже сделано. Специальные работы т.т. Н. Ванага, Е. Грановского, И. Гиндина, С. Ронина, Арк. Сидорова, И. Литвинова, М. Гольмана и др. не только раскрыли неизученную страницу истории, но и создали, в отдельных случаях, определенную схему.

Сторонники каждой схемы считают уже пройденным первый этап исследования, и потому у них возникает потребность подвести некоторые итоги. Пущено в оборот большое количество конкретного материала, цифровое «сырье»—и, при том, с немалым успехом для стремящихся обосновать свои порой противоположные друг другу гипотезы.

Но следует отметить, что диспутанты чувствуют в данный момент потребность развернуть проблему, уже поставленную на фундамент значительного конкретного материала, в ином разрезе—методологическом.

Очевидно, что только одним цифровым подсчетом, оперированием голыми процентами нельзя одолеть вопроса во всем его об'еме.

Редакция, не связывает себя ни с какой из высказанных точек зрения, оставляя за собой «заключительное слово». Но поскольку речь идет о методологических основах проблемы, редакция считает необходимым отметить, что для нее исходным моментом служит как общее учение Ленина об империализме, так и все его положения о конкретно-историческом пути развития империализма в России.

Пусть это исходное положение не звучит трюизмом для некоторых товарищей, ибо перед нами стоит задача рассмотреть вопрос со всех сторон, во всей его совокупности, как и надлежит поступать сторонникам диалектического материализма.

Спора нет, необходимо изучать структурные изменения в русском капитализме, нужно подсчитать, сколько было иностранного и туземного капиталов вложено в русские банки и промышленность. Но смертный грех совершают те исследователи, у которых выпадают из поля зрения классовые взаимоотношения в стране или кто опускает связь между русским финансовым капиталом, совершавшим «переделку старого капитализма», и между системами мирового империализма.

Редакция открывает дискуссию статьями т.т. Ванага, Гиндина и Грановского. Она охотно предоставит страницы журнала и тем авторам, которые эту дискуссию продолжат для дальнейшего, еще более плодотворного изучения вопроса о финансовом капитале и империализме в России.

Н. ВАНАГ.—К МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

В последние годы проблема финансового капитала в бывшей России привлекает широкое внимание марксистской исследовательской мысли СССР. Проявленный к этой проблеме интерес естественен, так как она затрогивает основные вехи того этапа развития капитализма, который привел к Октябрю. Вопросы развития финансового капитала в России непосредственно упираются в проблему Октябрьской революции. Этим об'ясняется тот полемический задор, которым сопровождается критика той или иной точки зрения на развитие финансового капитала в России. К числу оспариваемых положений относятся вопросы о хронологических рамках господства финансового капитала в России и его «национальном» или «ненациональном» характере. Разрешение этих вопросов лежит в плоскости не столько цифровых подсчетов, сколько правильного методологического подхода к изучению проблемы финансового капитала в бывшей царской России. Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой попытку осветить основные вопросы развития финансового капитала в бывшей России с методологической точки зрения.

В последнее вермя появился чрезвычайно энергичный защитник «перехода России на рельсы финансово-капиталистического развития... в период промышленного под'ема конца 90-х гг.» [1]. Мы считаем необходимым начать наш обзор с этого момента, так как вопрос о времени перехода России в стадию финансового капитала далеко выходит за формально хронологические пределы и имеет большое методологическое значение. Остановимся поэтому на уяснении существа некоторых вопросов капиталистического развития русской промышленности в конце XIX в., представляющих интерес с точки зрения той методологии, с которой мы подходим к изучению финансового капитала в России. К числу этих вопросов относится и проблема концентрации производства в 90-х гг. прошлого столетия.

[1] Е. Грановский, Когда русский капитализм вступил в фазу монополистического развития, «Историк-марксист», № 4. Другой вариант по существу той же точки зрения см. в кн. Грановского, Монополистический капитализм в России, «Прибой», 1929, с. 10—11.

Значение концентрации производства в 90-х гг. недооценивалось дореволюционными историками русского народного хозяйства. В наши дни в марксистской литературе намечается здоровая реакция против недооценки структурных изменений в русском капитализме конца прошлого века. Беда только в том, что подчеркивание этой стороны капитализма не всегда сопровождается учетом всех об'ективных условий его развития. В результате рождаются неправильные обобщения и схемы, искажающие действительную сущность процессов капиталистического развития в стране. Точка зрения, что в 90-х гг. русский промышленный капитализм пережил трансформацию в монополистический, относится к числу такого рода заблуждений. Ее сторонники, видимо, исходят из предположения, что по концентрированности производства русская капиталистическая промышленность не уступала передовой капиталистической промышленности Западной Европы. Сплошное недоразумение: мы не имеем оснований предполагать наличие в 90-х гг. прошлого века такой концентрации производства, которая была бы выше, чем в Германии, и не уступала бы самой передовой промышленности Европы. Вникая в содержание концентрации производства в России, сравнивая ее с результатами концентрации, напр., в Германии, вы придете к совершенно противоположному выводу. Сторонники «американских» темпов концентрации исходят из сравнения данных о концентрации рабочих на фабриках и заводах России, подчиненных фабрично-заводской инспекции, и лиц, занятых в производствах Германии, по данным переписей.

Концентрация рабочих в России и лиц, занятых в промышленных предприятиях Германии в начале XX века[1]:

Группы предприятий	Россия		Германия	
	Число предприятий	Число рабочих	Число предприятий	Число рабочих
Всего предприятий и рабочих на них	100	100	100	100
Из них число предприятий с количеством рабочих до 50 ч.	65,7	11,6	98,6	54,5
От 51 до 100	14,6	8,5	0,7	10,1
От 101 до 500	14,7	26,6	0,5	21,1
Свыше 500 чел.	5,0	53,3	0,2	14,3

В России на заводах и фабриках с числом рабочих свыше 500 человек числилось 53% всех рабочих, в Германии на тех же предприятиях всего лишь 14,3%. В России на фабриках и заводах с числом рабочих до 50 чел. числилось 11,6% всего рабочего состава, в Германии—54,5%. Делать на основании приведенных данных широко обобщающие выводы было бы, однако,

[1] По данным «Свода отчетов фабрично-заводской инспекции» для России и по данным переписи 12 июня 1917 г.; для Германии см. «Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich», 1910 г.

ошибочным. Это привело бы нас к таким построениям, которые, пожалуй, не уложатся даже в понятие «американской» концентрации, так как последняя при данном методе сравнения далеко уступала русской концентрации. В России, напр., в 1913 г. на заводах и фабриках с количеством свыше 1 000 человек состояло 44,6% всего числа рабочих, а в Северных американских соединенных штатах всего лишь 17,8%.

«Сверхамериканская» концентрация производства в России, вытекающая из приведенных цифр, заставляет задуматься над двумя вопросами: во-первых, сравнимы ли данные русской статистики с данными германской и американской? Во-вторых, не является ли значительная концентрированность рабочих в России выражением не американского характера капиталистического производства в России, а, наоборот, выражением наличия в развитии капиталистического производства условий совсем иного порядка?

На первый вопрос мы вслед за Лениным отвечаем отрицательно. В 1912 г. Ленин писал: «Наше казенное различение фабрично-заводской и «кустарной» промышленности, разве оно не делает нашу промышленную статистику несравнимой с германской? Разве оно не обманывает сплошь и рядом наблюдателя насчет «необычайной концентрации» в России, заслоняя «необычайную раздробленость» тьмы мелких крестьянских предприятий» [1]. Данные «Свода фабрично-заводской инспекции» не дают картины развития капиталистической промышленности в стране, как это делают переписи Европы и Америки. Достаточно остановиться лишь на нескольких примерах, чтобы показать абсолютную непригодность простого сравнения итогов германской и русской статистик. Надзор фабрично-заводской инспекции не распространялся на «кустарные» предприятия, горную и горнозаводскую промышленность, на предприятия без применения механических двигателей и на предприятия с механическими двигателями, но с числом рабочих на них не ниже 16—20 человек. Все перечисленные группы предприятий вовсе не учтены русской статистикой. Результаты же германских переписей 1895 и 1907 гг. охватывают все отрасли и всякой величины предприятия, включая также и отрасли швейной промышленности, производства по химической и всякой иной чистке, а также строительные предприятия и конторы. Достаточно указать, что в 1895 г. по Германии было учтено предприятий с одним участником в производстве в количестве 1 309 тыс. единиц. Данные германской статистики охватывают всех жестяников, часовщиков, маляров, полотеров, банщиков и др. подобного рода пролетариев. Результаты переписей включают не только наемных рабочих, но самостоятельных хозяйчиков и вообще всех лиц, в том или ином виде занятых в производстве. Одни предприниматели составляют цифру около 2 млн. человек. Число индустриальных рабочих составляло в 1895 г. только 4,7 млн. чел. из общего числа 8 млн., учтенных переписью; по группам же производств разнесены все 8 млн.

[1] Ленин, т. XII, ч. 1, с. 128.

Принципы, положенные в основу разработки данных переписей и статистики фабрично-заводской инспекции, совершенно различны. Следовательно, абсолютно несравнимы итоги распределения рабочих по группам предприятий по русской статистике и распределение лиц, занятых в производстве, по германским переписям. Данные германской статистики могли бы быть сравнимы с итогами фабрично-заводской статистики России, если бы мы могли исключить из итогов те категории лиц и предприятий, которых не охватывают отчеты фабрично-заводской инспекции, а затем расположить полученные данные по соответствующим группам. К сожалению, внести коррективы не представляется возможным. Те[1], более чем приблизительные, вычисления, которые возможно сделать, поднимают процент рабочих по группе свыше 500 чел. в Германии до 30—35%, а по группе от 100 до 500— до 45%. Ни в какой мере не настаивая на точности этих цифр, мы полагаем, что они все же правильнее выражают соотношение между концентрацией рабочей силы в России и в Германии. Если бы мы имели возможность равняться по более совершенной германской статистике и вносить коррективы в русскую статистику, то результаты получились бы значительно бо́льшие. Море «кустарных» крестьянских предприятий полностью заслонило бы горсточку в какие-нибудь 12 тысяч предприятий, учтенных фабрично-заводской статистикой. Тогда о «сверхамериканской» концентрации в России и речи быть не могло бы.

Внося всевозможные поправки в германскую статистику для того, чтобы приблизить ее к несовершенной русской или наоборот, мы все же в итоге придем к заключению, что значение заводов с числом рабочих свыше 1 000 чел. в России необыкновенно высоко. Однако и на основании этого факта было бы ошибочным сделать заключение о степени концентрированности капиталистического производства в России. Отвечая меньшевику Ерманскому, Ленин указывал, что «у нас, например, на Урале нет или очень мало мелких предприятий в горной и металлургической промышленности по причинам совсем особого рода: вследствие отсутствия полной свободы промышленности, вследствие пережитков средневековья»[2].

Пережитки средневековья нашли отражение в органическом строении капитала русской промышленности. Мысль о том, что по своему строению русский промышленный капитализм был одним из самых передовых, не может быть обоснована. Совсем наоборот, относительно значительная концентрация рабочих в России выражала лишь более низкое строение капитала и по существу меньшую концентрацию производства в России. Покажем это на примере наиболее капиталистически развитого металлургического производства.

---

[1] Die Deutsche Volkswirtschaft am Schlusse des 19 Jahrhunderts, Berl. 1900.

[2] Ленин, Собр. соч., том XII, ч. 1, с. 128.

Сравнительные данные производства металлургических заводов России и Германии в 1900 г.

	Число заводов	Число рабочих	Количество выплавленного чугуна в т. п.	Количество произведенного железа и стали в т. п.
Россия[1]	476	326 683	176 828	134 356
Германия[2]	247	197 583	499 720	449 997

В Германии на один завод приходилось в среднем 415 рабочих, в России—1 325. Определяя степень концентрации производства числом рабочих, занятых в предприятиях, мы должны будем притти к заключению, что концентрация в русской металлургии значительно превосходит концентрацию производства на германских металлургических заводах. Насколько нелепым было бы такое заключение, показывают следующие данные: германский металлургический завод, насчитывавший рабочих в три с лишним раза меньше металлургического завода России, производил чугуна на 45%, а железа и стали на 74% больше русского завода. В Германии на одного рабочего приходилось 2 527 пуд. выплавленного чугуна и 2 277 пуд. произведенного железа и стали, в России—541 и 411 пуд. Вопреки мобилизации капиталистической индустрией царской России больших масс рабочих, она по концентрации производства значительно отставала от германской индустрии. Даже наиболее передовой район доменного производства—Украина—лишь приближался к *среднему* уровню германского доменного производства[3].

Мы остановились на выяснении некоторых специфических черт концентрации производства, чтобы показать, что капиталистическая концентрация на пороге XX века в России характеризовалась скорее пережитками докапиталистических форм, чем элементами монополистического перерождения. Цифровые показатели концентрированности рабочей силы по существу отражали известную отсталость русской капиталистической промышленности. Под этим углом зрения следует подходить и к рассмотрению структурных сдвигов. Тогда мы обнаружим, что теория трансформации промышленного капитализма в монополистический, по крайней мере на фактах концентрации производства, не может быть обоснована. Крупные результаты концентрации производства в конце XIX века—вне сомнения, однако в достаточной степени сильными оказывались и элементы, задержавшие структурные измене-

---

[1] «Сборник статистических сведений по горнозаводской промышленности в России».

[2] «Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich», 1912.

[3] На один доменный завод в Донецком бассейне к началу XX столетия приходилось около 2 доменных печей, 345 рабочих и 4 677 тыс. переработанной руды на одну печь. В Германии—2,5 печи, 322 рабочих, 5 386 тыс. пуд. руды.

ния в промышленности. Мы не собираемся, конечно, отрицать создания в конце XIX в. предпосылок для перехода промышленного капитализма на более высокую ступень,—мы обращаем внимание на то обстоятельство, что правильный методологический подход к анализу структурных изменений требует учета тех пережитков «средневековья», в условиях которых развивался промышленный капитализм в России. Рассмотренная под этим углом зрения концентрация производства в России убедит нас в необоснованности взглядов о структурном перерождении промышленного капитализма в конце XIX века. Не следует забывать: процесс трансформации протекал в «специфически русских» условиях, порожденных господством в стране крепостника-помещика.

Достигнутая в этих условиях ступень концентрации производства в 90-х гг. не могла и не создала монополий, играющих решающую роль в хозяйственной жизни страны. Начало господства монополий в России относится к периоду после революции 1905 г. Ссылками на создание «Омниума» в 1897 г., на возникновение синдиката «Продамета» в 1903 г., «Продвагон» и некоторых других монополистических об'единений, родившихся в условиях предреволюционного кризиса, не поколебать наших положений. «Омниум» никогда не занимал в России монополистического положения. Это была французская финансовая группа, связанная с некоторыми металлургическими предприятиями Донбасса («Макеевское общество», «Кривой Рог» и др.), далеко не имевшими решающего значения в стране. Эволюция синдиката «Продамета» подтверждает наш взгляд на вещи. Только маленьких детей, не овладевших еще всеми четырьмя правилами арифметики, с трудом складывающих в пределах нескольких десятков единиц, можно убедить в монопольном положении «Продамета» на рынке уже в 1904 г. «Продамета» синдицировал в 1904 г. 36,7% отпуска листового железа, 65,7% отпуска балок и швеллеров, 49% бандажей и осей.

Какую долю все эти величины составляли в общероссийском отпуске железа и стали? Подсчитайте весь отпуск «Продамета» в 1904 г., узнайте в любом справочнике количество произведенных железа и стали, вычислите процент отпуска заводов, связанных договорами с «Продаметом»,—вы получите долю участия «Продамета» в отпуске железа и стали. Эта доля окажется равной 7%. Ясно, что при таких условиях разговоры о монопольном значении «Продамета» на рынке железа и стали до революции исключены. Монопольное положение «Продамета» приобретает лишь после революции 1905 г., когда его участие в общероссийском отпуске достигает 43% (1909 г.) и 48% (1912 г.). Господствующее на рынке положение после революции занимают «Продуголь» и др. монополистические об'единения.

Опыт синдикатского движения лишний раз подтверждает наш взгляд на характер развития капиталистической промышленности в России в конце XIX века.

Рассмотрев 90-е гг. под углом зрения специфических условий концентрации производства в России, мы не обнаруживаем трансформации промышленного капитала в конце прошлого столетия. Может быть, основательными окажутся предположения о переходе на высшую ступень развития банкового капитала.

Акционерные банки коммерческого кредита в России в конце XIX столетия
(в млн. рублей)[1]

На 1 января	Число банков	Основной капитал	Вклады и текущие счета	Сумма всех счетов	Учет и срочные ссуды	Онколь	Корреспонденты лоро	Онколь + корреспондент лоро
1895 г.	35	139	308	865	268	194	101	295
1900 г.	39	188	548	1 380	517	249	183	432
% увелич. . . .	11%	34,5%	78%	60%	90%	22%	81%	46,5%

Развитие банкового капитала в годы промышленного под'ема значительно шагнуло вперед: основной капитал банков увеличился на 34,5%, вклады и текущие счета на 78%, а все операции, вместе взятые, на 60%. Для решения вопроса о структурных изменениях банкового капитала в конце XIX в. приведенных данных недостаточно. Для уяснения вопроса кое-что дает сопоставление отдельных счетов банковского актива. Учет векселей и ссуды являются нормальными операциями коммерческого кредита. Промышленное кредитование проводилось банками по онкольным и корреспондентским (лоро) счетам. Поэтому изменение характера банковских операций в конце XIX в. должно было бы найти отражение на соответствующих счетах банков. О чем свидетельствуют приведенные нами данные? Счет регулярных операций увеличился с 1895 г. по 1900 г. на 90%, а нерегулярных, включающих и промышленное кредитование,—на 46,5%. Учетные и ссудные операции составляли в 1895 г. 31% всех операций банков, к 1900 году их доля поднялась до 37%. Онкольные и корреспондентские (лоро) операции обнаружили, наоборот, относительное снижение. Их доля упала с 34% в 1895 г. до 31% в 1900 г. Следовательно, статистика не дает никаких оснований предполагать наличие каких-нибудь структурных изменений в банковом капитале в эпоху промышленного под'ема. Наоборот, сопоставление счетов свидетельствует о том, что рост капиталов банков и широкое развитие банковских операций в конце XIX в. выражали лишь дальнейшее врастание банкового капитала в торговый оборот страны.

---

[1] См. «Сводные балансы акционерных банков коммерческого кредита», «Статистический ежегодник» за 1914 г., Изд. Совета с'ездов торговли и промышленности, «Сводные балансы акционерных банков коммерческого кредита» за 1895—1900 гг.

Могут возникнуть предположения, что сводные данные балансов всех банков скрадывают процессы, происходившие в незначительном числе крупных банков, отказавшихся от регулярных банковских операций и занимавшихся в 90-х гг. по преимуществу финансированием промышленности. Кое-кто из наших исследователей стал на путь создания «крупнейших» банков и пытался при помощи этих «Grossbanken» обосновать трансформацию в конце XIX века банкового капитала в бывшей царской России. Тщетная попытка! Развитие кредита в России еще не создало к концу XIX в. системы «Grossbanken». Теория о восьми крупнейших банках, господствовавших в хозяйственной жизни страны уже в конце XIX в., рушится при самом слабом прикосновении с экономической реальностью 90-х гг.

Действительно, что это были за «Grossbanken»?

Вот их имена:

	Основной капитал в млн. руб.	
	1895 г.	1900 г.
СПБ международный банк	13	24
Русский для внешней торговли банк .	20	20
СПБ частный банк	5	10
Торгово-промышленный банк	5	10
Московский международный банк . .	5	10
СПБ учетно-ссудный банк	10	10
СПБ азовский банк	5	7,5
Варшавский коммерческий банк . . .	9	12
Итого	72	103,5
В %	100	144

Похожи ли эти кредитные учреждения на банки, ворочающие миллиардами и создавшие, слившись с промышленными предприятиями, капиталистические монополии? Конечно, нет! Нельзя себе представить, чтобы банки, обладающие капиталом в пределах от 7,5 до 12 млн. рублей, действительно ворочали миллиардами и превратились в монопольных вершителей хозяйственной жизни страны. Никакими миллиардами эти «крупнейшие банки» не ворочали: их годовой оборот едва перевалил в 1899 г. за 600 млн. рублей.

Желая дать известное понятие о банковских организациях, порождающих систему «Grossbanken», противопоставим русской банковой системе германскую конца XIX века.

Система русских коммерческих банков абсолютно несравнима с германской. К 1900 г. капиталы германских банков составляли сумму в 1 959 млн. марок (около 920 млн. руб.), русских—188 млн. руб. Капиталы германских банков почти в 5 раз превосходили капиталы русских банков. Их годовой оборот достигал в 1900 г. 6 958 млн. марок (3 270 млн. руб.). В действительности оборот германских банков был выше указанной суммы, так как крупные берлинские банки успели превратить в свои филиалы частные банкирские конторы и дома, которые имели в Германии чрезвычайно разветвленную сеть. В одном Берлине к концу 90-х гг. насчитывалось 410 частных банков,

Германские банки в конце 90-х гг. XIX в.[1]

Годы	Число банков	Основной капитал в млн. марок	Сумма счетов банков в млн. марок
1895 г.	94	1 134	3 933
1900 г.	118	1 959	6 958
% увелич.	25	73	77

во Франкфурте на Майне 135 и т. д.[2]. Эволюция коммерческого кредита в Германии к концу XIX в. достигла такой ступени развития, что создала систему «Grossbanken». Покажем наглядно нашим «трансформаторам», что́ представляет эта система в реальности, а не в их пылкой фантазии. Четыре так наз. германских «Д» банка (Deutsche Bank, Dresdner Bank, Diskonto gesellschaft und Darmstädter Bank) обладали к 1900 г. капиталом в 515 млн. марок или 220 млн. руб. Только 4 крупнейшие из крупных банков Германии обладали капиталами в сумме, на 22% превосходящей капиталы всей банковой системы царской России к 1900 г. Если к этим крупнейшим из крупных банков присовокупить еще 4 банка (Berliner Handelsgesellshaft, National Bank für Deutschland, Kommerz und Diskonto Bank, Allgemeine, Deutsche Kreditbank), то действительно получится весьма мощная финансовая группа с собственным акционерным капиталом свыше 800 млн. марок (около 380 млн. руб.), т. е. с капиталом, в 2 с лишним раза превосходящим капитал всей русской системы банков. Названные банки, по сведениям «Der Deutsche Oekonomist», к началу XX века подчинили себе, прямо или косвенно, подавляющую часть всех провинциальных банков. Их роль в системе банкового капитала в Германии выражалась в распоряжении, примерно, 80% всего капитала системы кредитных банков Германии[3]. Если принять во внимание, что капиталы германских банков к началу XX века перевалили за 2 миллиарда марок, а их операции за 7 миллиардов, то мы получим более чем наглядное представление «о каком-нибудь десятке банков, ворочающих миллиардами».

После сказанного даже творцам русских «Grossbanken» легендарной покажется «весьма мощная финансовая группа, об'единившая в своем составе 3 столичных и 3 провинциальных банка с основным капиталом в 29 (двадцать девять!) млн. руб.»[4].

---

[1] «Der Deutsche Oekonomist», № 1599, 1913; см. также «Statistisches Jahrbuch für den preussischen Staat» 1913, Berl. 1914, S. 340.

[2] A. A. Weber, Depositenbanken und Spekulationsbanken, 3 A. 1922, S. 66.

[3] Ad. Weber, Depositenbanken und Spekulationsbanken», 3 A. 1922, S. 92—94.

[4] Тов. Грановский, почувствовав неубедительность своих рассуждений в вышедшей вслед за статьей в «Историке-марксисте» книжке («Монополистический капитализм

Ближе присмотревшись к деятельности восьми русских «крупнейших» банков, мы заметим, что основная линия развития их деятельности не представляет чего-то противоположного той тенденции, которую мы установили для всей банковой системы. Сравнивая развитие отдельных операций 8 банков с 1895 по 1900 г. с развитием счетов всех банков, мы увидим, что восемь крупных банков несколько интенсивнее мобилизовали свои основные капиталы (44% увеличения счета капитала у восьми банков против 34,5%

Основные операции восьми русских крупных банков в 1900 г. по сравнению с 1895 г.

	Основные капиталы	Вклады и текущие счета	Сумма всех операций	Учет и срочные ссуды	Онколь и корреспонденты (лоро)
Увелич. счетов всех банков с 1 янв. 1885 г. по 1 янв. 1900 г. в % к 1895 г.	34,5%	90%	60%	90%	46,5%
То же 8 крупных банков	44%	75%	66%	99%	43%

увеличения основных капиталов всех банков). В связи с более значительным притоком средств, крупные банки могли шире развернуть свои операции (66% увеличения против 60%). Характерным является то обстоятельство, что относительное увеличение этих операций шло по линии учета и ссуд (99% вместо 90%), а не по онколю и по корреспондентским счетам, что несомненно имело бы место при изменении основного характера операций указанных банков. Восемь так наз. «крупнейших» банков, оказывается, никакой трансформации в 90-х гг. не подверглись.

Мы не могли обнаружить ни одного сколько-нибудь крупного факта, колеблющего наше основное положение о характере банковских операций в 90-х гг. Даже чрезвычайная концентрация банкового капитала (8 банков из числа 39 обладали к 1900 г. 55% всего основного капитала русских банков), являющаяся в руках некоторых товарищей существеннейшим аргументом в пользу трансформации русского банкового капитала, не смущает нас. Мы считаем, что товарищи слишком абстрактно подходят к изучаемым ими вопросам. Концентрация банкового капитала в России протекала не в условиях теоретически-мыслимого развития капитализма, а при господстве крепостника-помещика и самодержавия. Последнее порождало такую эволю-

в России»), внес редакционные поправки в приведенную нами цитату. Он отказался от «весьма» мощной финансовой группы, оставив просто мощную, и смягчил первоначальную формулировку вставкой—«по тому времени». Как видит читатель, 29 млн. по тому времени не представляли и просто мощной величины. Оговоркой «по тому времени» т. Грановский впадает в явное противоречие. Он забыл, что взялся доказать, что время-то было финансово-капиталистическое.

цию банкового капитала в царской России, которая на пороге XX века создала систему банков, максимально концентрированную, но ставящую перед нами два недоуменных вопроса:

1) В Германии, при низшей концентрации банкового капитала (в 1900 г. восемь крупнейших банков обладали капиталами, равными 41% всех капиталов), крупнейшие банки распоряжались 80% всего банкового капитала страны и ворочали миллиардами. В России, при более высокой концентрации банкового капитала, крупнейшие банки миллиардами не ворочали. Чем объяснить эту неувязку?

2) Концентрация банкового капитала к 1900 г. в России представляется в следующем виде: восемь крупных банков обладали капиталами в 55% всей суммы основных капиталов банков. Однако оказывается, что в конце 80-х гг. основной капитал тех же банков составлял 57% ко всему капиталу банков[1]. В конце 80-х гг. банковый капитал в России был таким образом более концентрированным, чем к 1900 г. Чем объяснить это явление?

С точки зрения трансформации русского банкового капитала в 90-х гг. никак не решить этих двух вопросов. Остается только одно—перенести сроки трансформации к...... 80-м гг. прошлого столетия. Это делу не поможет: нерешенным остается первый вопрос. Его не решить, исходя из предпосылок структурного перерождения банкового капитала в России в конце XIX века. Неувязки свидетельствуют не о достижении банковым капиталом в России к концу XIX столетия высокой ступени развития, а о наличии элементов, задерживавших его переход на эту высшую ступень.

Крепостники-помещики со своей экономической политикой сковывали развитие банкового кредита в стране. Концентрированность банковой системы в России в конце XIX века являлась оборотной стороной неразвитости вообще кредита в стране. Силой экономического развития царская Россия должна была пойти по пути организации кредита. Создавшиеся таким образом в Петербурге в 70-х гг. банки сразу заняли центральное место в почти неразветвленной системе кредита. Это центральное положение восьми банков не делало их монопольными вершителями судеб хозяйственной жизни страны и далеко не являлось показателем трансформации банкового капитала. При анализе русской банковой системы нельзя обходить решающих факторов экономического развития страны, иначе мы рискуем построить такие обобщения, которые с действительностью ничего общего не имеют.

Уменьшение доли восьми крупных банков в акционерном капитале страны к 1900 г., по сравнению с 1888 г., вполне увязывается с нашим пониманием хозяйственных процессов царской России конца XIX века. С дальней-

[1] Капиталы упомянутых банков (С.-Петербургского международного, Руссель-банка, Частного, Торгово-промышленного, Азовского, Московского международного учетного и Варшавского коммерческого) в конце 80-х гг. (1888 г.) составляли 60 млн. руб. Капитал всех банков был равен 105 млн. руб.

шим проникновением капиталистических отношений в поры народного хозяйства, система кредита в 90-х гг. становится относительно более разветвленной. В этой несколько более разветвленной системе центральное место петербургских банков переживает перемещение.

Все это лишний раз подтверждает правильность высказанных нами взглядов.

Отрицая трансформацию банкового капитала в 90-х гг. прошлого столетия, мы не собираемся игнорировать кредитования банками промышленности в годы усиленного грюндерства. В некоторых случаях кредитование принимало значительные размеры; но те отношения, которые устанавливались между банками и промышленностью в годы под'ема, как качественно, так и количественно, не обусловливали оформления структурных изменений в области промышленности и в области банкового капитала. Финансирование промышленных предприятий в 90-х гг. еще не стало регулярной функцией банков. Увлеченные горячкой предпринимательства, банки спекулировали, кредитовали то или иное грюндерское начинание под обеспечение акциями, не интересуясь, однако, организацией процесса производства и не устанавливая более тесных связей с предприятиями. Эмиссия дивидендных ценностей не рассматривались банками как политика финансирования промышленности. Значение составной части этой политики эмиссия приобретает лишь в ту пору, к которой относится господство финансово-капиталистических отношений. Яркими примерами чисто спекулятивного участия банков в грюндерстве 90-х гг. может явиться деятельность Торгово-промышленного, Харьковского торгового и Учетно-ссудного банков. Торгово-промышленный банк развил довольно значительную деятельность по кредитованию промышленности. С ним были связаны: «Северное стекольное об-во», «Глухо-озерский цемент», «Франко-русское общество», Волжский стальной завод и др. Характер установившихся у Торгово-промышленного банка связей с этими предприятиями отнюдь не являлся финансово-капиталистическим. Перечисленные предприятия входили в состав группы крупного предпринимателя конца XIX века—фон-Дервиса. Дервис являлся типичным представителем спекулянта-грюндера. Спекулировал он на чужие деньги, полученные путем кредита в банках под залог бумаг тех предприятий, с которыми связывал свои начинания Дервис. Таким кредитом в широких размерах пользовался Дервис и в Торгово-промышленном банке. Кредит, оказанный Торгово-промышленным банком, носил, таким образом, специфической, отнюдь не финансового-капиталистический, оттенок. Кредитуя промышленность через Дервис, Торгово-промышленный банк не заботился о том, как ведутся предприятия, и не добивался влияния в руководстве теми предприятиями, акции которых попадали к нему в качестве обеспечения кредита Дервису. Точно такой же характер носили связи Харьковского торгового банка. Разница—в том, что место фон-Дервиса занял здесь Алчевский. Харьковский торговый банк кредитовал промышленность

методами Торгово-промышленного банка. Кредит оказывался лично Алчевскому под обеспечение дивидендными бумагами, а иногда и просто без всякого обеспечения. Оказанный таким образом кредит достигал внушительной цифры—в 10 млн. руб., при основном капитале банка в 1 млн. руб. Нет необходимости раз'яснять, что такого характера связи банка с промышленностью не имеют ничего общего с финансово-капиталистическими связями. Банк вместе с Алчевским просто спекулировал, воспользовавшись биржевой горячкой. Заинтересованность Учетно-ссудного банка в Алексеевском горнопромышленном и Донецко-юрьевском обществах—того же происхождения. Долг Алчевского банку, составлявший свыше 1 млн. руб., был обеспечен акциями упомянутых предприятий.

В погоне за легкой наживой банки нередко спекулировали самостоятельно. Этим об'ясняется наличие в портфеле Учетного банка акций «Сормово», «Лесснера», «Ликфельд» и др. Учетный банк оказался заинтересованным к началу XX века, примерно, в одном десятке предприятий. Ревизия Международного банка установила участие его в Никополь-мариупольском о-ве; Тульских заводах, Жилловском каменноугольном об-ве, Русском золотопромышленном и др. О том, что связи Международного банка с промышленностью точно так же не являлись составной частью банковской политики в области кредитования промышленности, свидетельствует сообщение правления банка о результатах произведенной ревизии:

«Банк в деятельности своей вышел из строгих пределов устава, поместив значительные суммы в возникших промышленных предприятиях, как через приобретение акций таких предприятий, так и через открытие им кредита... С настоящего времени правлением банка будут приняты все меры к непременному сокращению наличности негарантированных бумаг, уменьшению промышленного кредита, закрытию всякого рода счетов, не представляющихся вполне благонадежными».

Связь банка с не вполне благонадежными предприятиями, решение правления о сужении промышленного кредита придают связям Международного банка с промышленностью тот специфический оттенок, который мы уже выше отметили у других банков. Международный банк не обошелся в своих связях с промышленностью без своего Дервис—Мамонтова.

С точки зрения характера тех отношений, которые установились между банками и промышленностью в конце XIX века, мы должны признать абсолютно неаргументированной точку зрения о трансформации банкового капитала в конце XIX века. Связи между банками и промышленностью не были финансово-капиталистическими. Впоследствии, в годы кризиса, уже установившиеся связи могли сыграть роль в деле их перерастания в финансово-капиталистические. Только с этой точки зрения кредитование банками промышленности в 90-х гг. может быть рассматриваемо как

исходный момент трансформации промышленного капитализма в финансовый. Те количественные вычисления, которые приводятся в защиту глубоко пустившего корни «сращивания» банков с промышленностью, как мы показали на конференции историков-марксистов, не имеют реального основания. Предприятия, связанные с банками, составляли лишь 8% ко всему капиталу, вложенному в промышленность в акционерной форме на 1900 г.

Трансформация промышленного капитализма в монополистический не может быть отнесена к концу XIX века. Это положение подтверждается соображениями чисто методологического порядка. Основная ошибка товарищей, упорно защищающих противоположную нашей точку зрения, заключается в методологической стороне анализа развития капиталистических отношений в России. Они склонны рассматривать экономические процессы лишь с точки зрения внешней оболочки явлений хозяйственной жизни страны. Капиталистическая промышленность в России в конце XIX века пережила усиленную концентрацию, цифры показывают достижение Россией «американского» уровня этой концентрации, банки широко развили свою деятельность, система банков к концу XIX века представляет концентрированную величину, банки участвуют в финансировании промышленности,—все это явления, весьма предрасполагающие к широким обобщениям о структурных изменениях русского капитализма. Этот вывод казался тем более уместным, что каждый школьник в СССР знаком с законом неравномерного развития капитализма. Лучшей иллюстрации применения этого закона не найти. Поэтому каждого выступающего против структурного перерождения капитализма в России в конце XIX века легко уличить в уклоне от ленинизма. Благодарную задачу—борьбу с «идеологическим примиренчеством» [1]—взяли на себя наши трансформаторы, забывая, однако, о том, что основная предпосылка успешности борьбы с этим примиренчеством заключается в овладении ленинским методом научного анализа. Между тем, наши поборники чистоты учения Ленина этим методом не овладели.

В самом деле, диалектически ли т. Грановский трактует вопрос о трансформации промышленного капитализма в России? Ленин никогда не превращал теорию в догму, как это делает Грановский с законом неравномерного развития и с теорией трансформации промышленного капитализма в финансовый. Ленин всегда учитывал те «конкретные особенности», которые, при сохранении в силе общих законов капиталистического хозяйства, направляют развитие той или иной страны «по-своему». При анализе капитализма в России не все товарищи учитывают эти особенности. Видоизменение основных принципов капиталистического развития в частностях должно было поэтому ускользнуть из их поля зрения. Эти «частности» сыграли решающую роль в развитии капиталистических, в том числе и фи-

[1] Е. Грановский, Монополистический капитализм в России, с. 177.

нансово-капиталистических, отношений в России. Во всех работах, в которых Лениным затрагиваются вопросы развития капитализма в России, красной нитью проходит основная особенность этого развития. Внимательно изучив Ленина, вы увидите, что этой особенностью отнюдь не являются «американские» темпы и германский уровень концентрации и прочие аттрибуты финансово-капиталистического порядка, а «пережитки средневековья», «черепашья медленность развития» и т. п. [1]. Эти особенности свойственны России не благодаря какой-то «самобытности» ее исторического развития. Против самобытности Ленин ополчался. Ленинское применение диалектики к анализу экономического развития заключалось в том, что, борясь против теории самобытности, он не превращался в доктринера, а со свойственной ему научной чуткостью улавливал то, что заставляло капиталистическое развитие России совершаться «по-своему». Черепашью медленность развития капитализма в России Ленин обусловливал тем, что русские промышленники «не представляли свободного и сильного капитала, вроде американского, а кучку монополистов, защищенных государственной помощью и тысячами проделок и сделок с теми именно черносотенными помещиками, которые своим средневековым землевладением и своим гнетом осуждают $^{5}/_{6}$ населения на нищету, а всю страну на застой и гниение» [2].

Развитие капитализма в России Ленин неразрывно связывал с господством черносотенного помещика. Анализ экономических явлений без учета этого основного фактора—бессмыслица, порождающая ошибочные обобщения. Мы видели, как концентрация производства и банкового капитала, рассмотренная вне этого фактора, создала теорию трансформации промышленного капитализма в России в конце XIX в. Недиалектическое применение теории капиталистического хозяйства привело к тому, что концентрацию банкового капитала, явившуюся в России выражением определенной экономической отсталости, в связи с господством в стране крепостника, товарищи превращают в явление, свойственное высокоразвитому фин. капиталу.

Явления экономической жизни России безусловно необходимо рассматривать не только с точки зрения общих законов капиталистического хозяйства, но и с точки зрения господства крепостников-помещиков, «которые во сто крат замедляют ход хозяйственного развития России» [3]. Таков методологический подход к вопросам капиталистического развития России, которому учит нас Ленин. Правильное представление о хозяйственных процессах, переживавшихся царской Россией, мы получим только вооруженные этим методом.

---

[1] Ленин, Анкета об организации крупного капитала, т. XII, ч. 1, с. 129; Как увеличить размеры душевого потребления в России, т. XII.

[2] Ленин, т. XII, ч. 2, с. 176.

[3] Ленин, Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России, т. XI, ч. 2, с. 296.

Говоря о развитии капиталистической промышленности, мы, видимо, опасаясь впасть в самобытность, игнорируем методологическую сторону анализа Ленина. В вопросах, касающихся развития капитализма в сельском хозяйстве, все целиком и полностью признают «особенности» аграрного вопроса в России, где рядом с общекапиталистическим аграрным вопросом существует другой, «истинно-русский» аграрный вопрос, «вытекающий из чрезвычайной отсталости России», где «чисто капиталистические отношения придавлены еще в громадных размерах отношениями крепостническими», благодаря господству землевладельцев-крепостников. Стоит нам, однако, перейти из области аграрных отношений в область капиталистической индустрии, как наши решения вопроса остаются только в плоскости «общекапиталистической», и абсолютно игнорируется другая сторона развития промышленности, вытекающая из той же отсталости, культивировавшейся землевладельцами-крепостниками и самодержавием. Точно так же, как и в области сельского хозяйства, в промышленности рядом с общекапиталистическим вопросом развития существовал другой «истинно-русский» вопрос развития капитализма в промышленности. Этот другой вопрос, занимая подчиненное развитию аграрных отношений положение, не имел такого принципиально-политического значения, как аграрный вопрос, но игнорировать его при анализе развития капиталистических отношений в промышленности и формирования финансового капитала абсолютно невозможно. Здесь он приобретает уже принципиальное значение. Мы это видели на примерах концентрации производства и банкового капитала в конце XIX века. Таких примеров можно привести множество. Иначе и быть не может. Капитализм в промышленности развивался в условиях господства землевладельцев-крепостников и самодержавия. В этих условиях развитие капитализма не могло проявляться только в общекапиталистических тенденциях,— неизбежно должны были проявиться «другие» тенденции, обусловленные крепостником и самодержавием. Внимательно присматриваясь к процессам капиталистического развития русской индустрии в конце XIX века, можно без большого труда обнаружить эти тенденции. Толкаемые экономической эволюцией господствующие классовые силы пошли по пути капитализма, но, направляя его развитие, они накладывают на него крепостнический отпечаток. Крепостническую окраску носила и эпоха под'ема 90-х гг., несмотря на то, что общекапиталистические тенденции нашли в эти годы чрезвычайно яркое выражение в темпе роста производства, в массе произведенных товаров, концентрации производства, рабочей силы и капитала, развитии кредита и т. п. Крепостнический отпечаток накладывала экономическая политика крепостнического государства. Его политика обусловливалась не столько соображениями общекапиталистического порядка, сколько положением поместья крепостника в конце XIX века. Мировое сельское хозяйство, как известно, в начале 80-х гг. очутилось в полосе кризиса. Кри-

зис в максимальной степени затронул черносотенного помещика царской России. Его затруднения усугублялись появлением на мировом хлебном рынке такого капиталистически передового конкурента, как Америка, а затем и Аргентины, Египта, Британской Индии и т. д. В этих условиях выход из аграрного кризиса помещичьего хозяйства обусловливался принятием ряда мер, менявших положение помещичьего хлеба на мировом рынке. Вся экономическая политика царизма конца XIX века оказалась направленной к достижению основной цели—приспособить поместье к изменившимся условиям мирового хлебного рынка.

В интересах помещика «обширные земельные пространства Заволжской степи, Северного Кавказа, наконец, плодородные равнины Сибири были привлечены к участию в международном хлебном обороте». С этой целью правительство прибегло к усиленной постройке железных дорог. Сибирский железнодорожный путь, обширная, созданная в 1891—1895 гг. сеть в приволжских губерниях, с разветвлениями, обеспечивающими приток хлебных грузов к отпускным портам, постройка под'ездных путей к железнодорожным линиям—все эти сооружения являлись могущественными орудиями для состязания с соперниками по хлебной торговле [1].

Политика железнодорожного строительства являлась лишь одним из звеньев в цепи тех мероприятий, при помощи которых царизм пытался вывести помещичье хозяйство из кризиса. К этому же ряду явлений относится вся так наз. буржуазная политика царизма конца прошлого столетия. Сюда могут быть причислены мероприятия по пересмотру железнодорожных тарифов, основным результатом которых явилось понижение тарифов на перевозку хлебных грузов, а также мероприятия в области развития кредита. Наконец, приходится согласиться с авторами труда Комитета министров, что «на одно из самых видных мест в ряду правительственных мероприятий, облегчавших хлебной торговле лучшее достижение ее сложных задач, должна быть поставлена проведенная.. монетная (денежная — *Н. В.)* реформа. С урегулированием денежного обращения в стране создана прочная основа расценки товаров, без которой немыслимо правильное развитие международного обмена» [2].

Анализ материалов по денежной реформе приводит к таким же выводам. С. Ю. Витте в своей докладной записке аргументирует необходимость проведения реформы следующими словами:

«Не менее, если не более, вредно влияние, оказываемое колебаниями курса кредитных билетов на отпускную нашу торговлю, преимущественно же на хлебную, особенно потому, что условия ее в последнюю четверть нашего века и без того изменились в очень неблагоприятном для нас напра-

[1] «Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета министров», сост. под ред. Куломзина, т. III, с. 328.

[2] Там же, с. 330.

влении. Если вследствие целого ряда общественных фактов хлебные цены потеряли свою прежнюю устойчивость даже на всемирном рынке, то соприкосновение с колебаниями курса кредитных билетов окончательно устранило всякие следы этой устойчивости у нас».

«Следуя за колебаниями курса, хлебные цены у нас понижались, когда на всемирном рынке они повышались, и наоборот, т. е. колебания курса фальсифицировали хлебные цены и давали ложное направление нашему отпуску, усиливая и ослабляя его в направлении, прямо противоположном тому, в котором ему следовало двигаться, вводя нас в двойные убытки: подталкивая к отпуску, когда на всемирном рынке цены были убыточны, и удерживая от отпуска, когда цены были выгодны. Всего более от этого страдает у нас сельское хозяйство» [1].

Бесспорно, все указанные мероприятия далеко выходили за пределы непосредственных интересов помещика-крепостника. Они укрепляли вообще позиции развивающегося капитализма. Вне этого внедрения капитализма во все поры хозяйственной жизни страны не могла быть решена и проблема аграрного кризиса. Методологически, однако, правильнее подчеркнуть не вообще буржуазный характер реформ царизма конца столетия, а их целеустремленность и то обстоятельство, что они проводились руками крепостников. Этим мы оттеняем то «специфически-русское», что имелось в развитии капитализма в условиях царизма. Это «специфически-русское» содержалось даже в такой, казалось бы, отдаленной от помещичьих интересов области, как таможенная политика. Перемена в направлении таможенной политики царизма была поставлена в порядке дня тем же аграрным кризисом, ликвидация которого потребовала перехода к мероприятиям в области развития капиталистических отношений вне пределов поместья. Руководящая идея всей экономической политики царизма нашла свое отражение и в таможенной политике. Тариф 1891 г. имел, кроме общепротекционистского облика, «специфически-русские» черты, обусловленные тем же назначением, что и железнодорожная политика. Протекционистская реформа вводилась руками владельцев «70 миллионов десятин лучшей земли». В докладе на конференции историков-марксистов мы показали, что эта сторона таможенной политики нашла свое выражение в том, что крепостники или добились полного запрета ввоза промышленных изделий или отстояли минимальное обложение в зависимости от того, в какой степени та или другая статья тарифа касалась непосредственных интересов помещичьего хозяйства. Менее всего обсуждение тарифов касалось проблем поощрения капиталистического развития вообще. Выразительны в этом отношении две речи, произнесенные в заседании комиссии по пересмотру таможенного та-

[1] «Материалы по денежной реформе 1895—1897 гг.», под ред. А. Буковецкого, вып. I. Представление министра финансов об исправлении денежного обращения от 14 марта 1896 г.

рифа в 1890 году. Одна из речей исходила из уст министра финансов, защищавшего существующий запрет ввоза паровозов словами: «Паровозное дело для России, как мне кажется, есть дело почти ее независимости, до такой степени оно играет серьезную и важную роль» [1]. Во второй речи, исходившей из уст Корфа, защищавшего беспошлинный привоз сельскохозяйственных машин, заявлялось: «Вопрос о поднятии производительности земледельческой промышленности в России имеет настолько важное значение, что ради удовлетворительного его разрешения интересы незначительной группы заводчиков должны отойти совершенно на второй план. Пока наше сельское хозяйство не выйдет из своего оцепенелого состояния, до тех пор нечего думать о поднятии промышленной жизни России» [2].

Таким образом два совершенно противоположных мероприятия аргументировались одними и теми же соображениями, ничего не имеющими общего с действительным протекционизмом по отношению к промышленности. В обоих случаях защищаются интересы помещичьей России. Если учесть, что при окончательном установлении тарифа на привозные машины «было принято во внимание, что наше машиностроение служит в значительной доле для удовлетворения железных дорог» и что «сложные специальные машины еще не могли изготовляться в России» [3], то мы получим довольно ясное представление о «специфических чертах» буржуазной экономической политики землевладельцев-крепостников конца XIX века. Основные результаты этой политики заключались в том, что интенсивное развитие промышленности царской России конца XIX века по капиталистическому пути было в основном обусловлено развитием помещичьего хозяйства и приспособлено в значительной степени к его интересам. Отсюда—широкое капиталистическое предпринимательство в 90-х гг. в тех областях, которые, будучи защищены государственной помощью, были призваны вывести помещичье хозяйство из аграрного кризиса, и, наоборот,—слабое развитие тех отраслей, которые не защищались помощью крепостнического государства. Иллюстрацией сказанного может явиться следующая маленькая таблица:

Поступление на рынок некоторых основных продуктов тяжелой индустрии внутреннего производства, в % ко всему рыночному потреблению страны к началу XX века

Чугуна	Каменного угля	Паровозов	Вагонов	Паровых машин	Машин для обработки железа	Сел.-хоз. машин	Машин для обработки волокнистых веществ
86%	80%	90%	99%	46%	37%	39%	2%

[1] Заседания высочайше учрежденной комиссии для общего пересмотра таможенных тарифов. Стенографический отчет, ч. 3, 13-е заседание, 15/XI 1890 г.

[2] Там же, 17-е заседание, 28/XI 1890 г., с. 448.

[3] «Сравнительное обозрение тарифов по европейской границе 1891—1913 гг.», СПБ. 1914 г., с. 167. Соображения к тарифу 1891 г.

В результате под'ема 90-х гг. русская индустрия была в состоянии удовлетворить спрос со стороны железнодорожного строительства, спрос на сырье (чугун 86%), вызванный тем же железнодорожным строительством, и спрос на минеральное топливо (80%), поскольку эти отрасли в условиях аграрного кризиса удостоились максимального внимания крепостнического государства. Вся область машиностроения оказалась неразвитой, так как на нее не распространялась опека крепостников.

Капиталистическая индустрия в России в конце XIX века имела своеобразные черты: она оказалась отсталой, защищенной государственной помощью и «тысячами проделок» связанной с черносотенным помещиком. Это—то основное, из чего необходимо исходить при анализе финансового капитала в России. Ленин был сто раз прав, подчеркивая, что для приближения русской капиталистической индустрии к Америке нужна была «беспощадная, беззаветная борьба» с помещиком-крепостником. Это забывают как наши защитники трансформации промышленного капитализма в финансовый в конце XIX века, так и защитники «национальной» системы финансового капитала. Проблема «национального» финансового капитала не могла быть решена без той борьбы, о которой говорит Ленин. Поскольку проблема финансового капитала в бывшей царской России все же оказалась в той или иной степени решенной без устранения крепостников-помещиков, постольку наше внимание при анализе условий создания системы финансового капитала в России должно быть направлено не по тому пути, по которому идут наши критики. Они явно идут не по ленинскому пути.

С точки зрения того методологического подхода к вопросу, который мы только-что развили, понятной становится упорная защита нами тезиса, что революция 1905 г. была поворотным моментом в истории русского капитализма [1].

---

[1] В связи с критикой, которой подверглась эта дата, нам приходится раз'яснить, что́, в переводе на язык хронологии, мы понимаем под революцией 1905 г. Как бы странным это ни казалось, ряд недоразумений в нашем споре возникает на почве чисто хронологического понимания «1905» года. Революция «1905» отнюдь не совпадает с календарным 1905 годом. Нелепым поэтому является тот метод подбора аргументов, которым пользуется т. Грановский в опровержении установленной даты. Не замечая в статистических данных перелома, на следующий же день, вслед за последним днем декабря 1905 года, он торжествует победу. Нелепость очевидная: 1) «поворотным пунктом в истории нашей революции, началом некоторого особого периода» мы, вслед за Лениным, считаем не первое января 1906 года, а «разгон 2-ой думы и государственный переворот 3 июня 1907 г.»; 2) не с формальной даты—1-ое января 1906 г.—самодержавие попыталось взять на себя решение об'ективных задач буржуазной революции; 3) эффект новой политики царизма в статистическом выражении мог проявиться лишь некоторое время спустя.

Пусть т. Грановский проверит свои выкладки с этой точки зрения,—он убедится в их несостоятельности. Проверить нетрудно: т. Грановский облегчил себе эту задачу, ограничив рассмотрение счетов промышленного кредитования 1908 годом, т. е. хозяй-

Эпоха революции 1905 г. обнажила те противоречия, которые таило в себе развитие промышленного капитализма в России в конце XIX века. Промышленный кризис начала XX века, наряду с чисто кон'юнктурными моментами, обнажил то «истинно-русское», что направляло развитие капитализма в стране. Приспособленная к нуждам помещичьего хозяйства промышленность оказалась без тех рынков сбыта, которые она могла бы иметь, развиваясь не в условиях господства крепостника-помещика. В связи с рассасыванием аграрного кризиса удовлетворение нужд помещичьего хозяйства со стороны промышленности отходило на второй план (см. железнодорожное строительство), внутренний же рынок, в условиях пережитков средневековья, был настолько узким, что и думать не приходилось о возможности реализовать богатства, создававшиеся в промышленности. Рынок продуктов тяжелой индустрии был прочно в руках иностранцев. Вытеснить иностранную продукцию, обосноваться на этом рынке русская промышленность была просто не в состоянии, так как была приспособлена к удовлетворению совсем иных нужд. Кризис промышленности, начавшийся было, как проявление общего закона капиталистического развития, приобрел в условиях господства крепостников-помещиков характер кризиса системы капиталистического производства. Как бы чувствуя ответственность за содеянное собственными руками, самодержавие попыталось разрешить вначале проблему кризиса испытанным методом—государственной помощью. На данной стадии старый метод не мог дать положительных результатов. Проблема разрешения кризиса упиралась в уничтожение тех условий, которые породили чисто русский характер кризиса. Для разрешения кризиса требовалось уничтожение господства крепостников и самодержавия. Проблема дальнейшего развития капитализма в промышленности неразрывно связана с революцией 1905 г. Следовательно, не только обходить, но и поставить в центре анализа капиталистической промышленности в России революцию, задачей которой было уничтожение господства крепостника-помещика, абсолютно недопустимо. Мы рассматриваем революцию как поворотный момент в истории русского капитализма, в результате которого помещики вынуждены были попытаться взять на себя решение об'ективно-необходимых задач буржуазной революции. Решившись на это, они в области смягчения противоречий капиталистической промышленности оказались вынужденными стать на путь финансово-капиталистического преобразования системы промышленного капитализма в той своеобразной форме, которая диктовалась специфическими условиями этого развития. В итоге революции помещики стали перед двумя возможностями: либо дать смести себя ближайшей

ственным годом, по существу говоря, первым после революции 1905 г., когда эффект новой экономической политики не мог еще быть значительным. Внимательный читатель уже и в этом году заметит явный перелом в цифрах т. Грановского. См. «Монополистический капитализм в России», с. 48—49.

революционной волной, либо сделать еще шаг по буржуазному пути, попытаться разрешить задачи, об'ективно стоявшие перед революцией. Выбора не было—самодержавие сделало еще «шаг по пути к буржуазной монархии». Поскольку этот «шаг» касается мероприятий в области аграрной политики, нет среди марксистов-ленинцев двух точек зрения. Что касается, однако, этого шага в области решения проблемы капиталистического развития промышленности, то эта сторона пореволюционной политики самодержавия до сих пор совершенно игнорировалась. Между тем без шага в эту область никак не понять всей специфичности оформления финансово-капиталистических отношений в России. Далее мы более подробно остановимся на этой стороне вопроса, сейчас достаточно указать, что финансовый капитал в России мог создаться на основе новой «буржуазной» политики самодержавия в итоге революции 1905 г.

В своей «новой» политике царизм опирался на те процессы, которые наметились в промышленности к началу XX столетия. Мы детально остановились на рассмотрении под'ема 90-х гг. Что нового, с точки зрения интересующего нас вопроса, наметилось в годы кризиса до революции 1905 г.?

Во взаимоотношения банкового капитала с промышленным годы, непосредственно предшествовавшие революции 1905 г., не вносят ничего принципиально нового (смч таб.).

Приведенные в таблице данные свидетельствуют лишь о дальнейшем врастании банкового капитала в торговый оборот. Как и в 90-х гг., развитие счетов онколь и корреспондентов (лоро) отстает от увеличения операций по учету и ссудам. Значение учетно-ссудных операций в общем балансе возрастает с 37,5% до 40% при одновременном падении доли счетов, по которым проводилось промышленное кредитование (с 31,3% до 29,9%).

Основные операции банков в годы кризиса 1900—1904 гг.
(в млн. руб.)

Дата счета	Учет и ссуды	Онколь	Корреспонденты (лоро)
1/I 1900 г.	517	295,3	229,9
1/I 1905 г.	740,8	303,1	251,9
Увеличения в %	43,3%	30,3%	
Процент увеличения тех же счетов за 1895—1900 гг.	90%	46,5%	
Доля счетов в балансе всех операций банков в 1900 г.	37,5%	31,3%	
То же в 1905 г.	40%	29,9%	

Столичные банки при этом не составляют исключения. Даже наоборот. Счета онколь и корреспондентов (лоро) увеличились у них лишь на 22%, при росте учетных операций на 142%. По петербургским банкам мы несомненно наблюдаем более резкое, чем в остальных банках, снижение операций по финансированию промышленности. Снижение об'ясняется тем спекулятивным характером связей банков с промышленностью, которым характеризовались годы под'ема конца XIX столетия. Если бы отношения банков с промышленностью в 90-х гг. носили финансово-капиталистический характер, то банки отнюдь не стремились бы с такою легкостью «к извлечению капиталов из предприятий, хотя бы ценою их расстройства»[1]. Банки действительно пытались извлечь все средства, которые были предоставлены промышленности в 90-х гг. Тем не менее часть капиталов банков застряла в промышленности. Это вынуждало к дальнейшей поддержке предприятий (примеры: «Лесснер», «Буэ», «Сормово», «Гартман», «Ликфельд» и др.). Банки стали проявлять интерес к ведению дел, назначали свою администрацию и т. д. В годы кризиса до революции «1905», таким образом, наметилось финансово-капиталистическое сращивание банков с промышленностью. О господстве этих отношений еще не может быть и речи. Банковый капитал не меняет еще своих основных функций, а промышленный еще не подвергся финансово-капиталистическому перерождению, несмотря на то, что пути этой трансформации точно так же, как в системе банков, стали намечаться. Только после революции трансформация промышленного и банкового капиталов принимает ярко очерченный характер. С одной стороны, промышленные предприятия стали проявлять интерес к банковому капиталу, с целью укрепления связей с ним, с другой — банки снова поставили в порядок дня проблему промышленного кредитования.

Напрашивается вопрос: находился ли процесс наметившейся трансформации промышленного капитализма в финансовый в какой-нибудь органической связи с революцией 1905 г., или совпадение имело чисто случайный хронологический характер? Налицо — не формальное совпадение. Трасформация была обусловлена эпохой революции 1905 г. Мы уже выяснили, какие задачи, с точки зрения свободного развития промышленного капитализма, об'ективно должна была решить революция. Решила ли она эти задачи? Нет. Следовательно, не была решена и проблема кризиса системы русского промышленного капитализма. На другой день после революции неразрешенность этой проблемы должна была отразиться на жизни промышленности в стране. Русская промышленность в пореволюционное время переживала ряд застойных лет.

В итоге революции 1905 г. промышленный капитализм в России снова оказался перед вопросом о путях своего дальнейшего развития. Старая про-

[1] «Доклад Совета с'ездов о мерах к развитию производительных сил России» СПБ, 1915, с. 327.

блема оказалась нерешенной. Об'ективно она вновь становилась в порядок дня в результате одержанной помещиками-крепостниками победы над революцией.

Какими путями протекало смягчение противоречий в системе промышленного капитализма в условиях пореволюционного господства крепостников? Вот вопрос, разрешение которого — ключ к пониманию характера финансово-капиталистических отношений, сложившихся в России.

Один из путей вытекал из положения промышленности в условиях кризиса и связанной с ним конкуренции. Разрешение проблемы обострившейся конкуренции могло частично смягчить основное противоречие. Промышленность об'ективно была вынуждена пойти по пути дальнейшей концентрации производства и капитала и создания капиталистических монополий на смену господству свободной конкуренции. Результаты этих процессов могут быть представлены в довольно выразительном виде. В металлургической промышленности в 1909 г., по сравнению с 1900 г., общее число рабочих уменьшилось на 20%, при одновременном увеличении выплавки чугуна на один действовавший завод на 43%. По Украине увеличение выплавки достигло в 1909 г. 70% на завод. К 1908 г. заводы-большаки выплавляли уже 41,5% всей добычи чугуна в стране. Тот же процесс концентрации заметен в каменноугольной промышленности. Добыча крупных рудников Донбасса (с производством свыше 10 млн. пуд.) достигла к 1908 г. 80% добычи угля и т. д. Широко развернувшаяся концентрация сопровождалась бурной технической реконструкцией русской промышленности. Условия кризиса и приспособленность промышленности к нуждам помещичьего хозяйства в прошлом ставили в порядок дня обновление основного капитала промышленности и приспособление ее к изменившимся условиям рынка. Наиболее наглядно этот процесс может быть прослежен по приросту двигателей. В 1908 г., по сравнению с 1900 г., количество применявшихся в промышленности двигателей увеличилось с 864 тыс. до 2 072 тыс. лошадиных сил. Количество лошадиных сил, применявшихся на один металлургический завод, достигло к 1909 г. 1 085 лош. сил, что составляло увеличение на 55% по сравнению с 1900 г. Число двигателей в нефтеобрабатывающей промышленности возросло с 2 266 в 1900 г. до 6 514 лош. сил в 1910 г., в химической промышленности с 23,9 тыс. лош. сил до 52 тыс. и т. д. Реконструктивные процессы в русской промышленности еще более отчетливо выступают при прослеживании роста применения новых типов двигателей. Старая паровая машина стала вытесняться более совершенными двигателями внутреннего сгорания и электрическими машинами. Пар заменялся электричеством и двигателями внутреннего сгорания не только в сильно шагнувшем вперед Донецком бассейне, но и в отраслях по обработке металлов, минеральных веществ, химической промышленности, бумажной и даже в отраслях по обработке питательных веществ. Сила двигателей внутреннего сгорания

поднялась к 1908 г., по сравнению с 1900 г., в химической промышленности с 643 до 2 712 лош. сил, в металлообрабатывающей с 3,8 тыс. до 19,3 тыс. и в отраслях по обработке питательных веществ с 1,5 тыс. до 21 тыс. и т. д. Электричество стало проникать в угольную промышленность, нефтяную, химическую, не говоря уже о металлургических заводах Украины.

На основе этих реконструктивных процессов в промышленности стали оформляться монополистические организации. Синдикат «Продамета», в результате заключенного 1 января 1909 г. соглашения по торговле сортовым железом и рудничными рельсами, а в декабре 1909 г.—по торговле с железнодорожными рельсами, стал монополистом на железном рынке, сосредоточив в своих руках 43% всего отпуска железа и стали. 1 января 1907 г. вступил в силу договор между большинством уральских заводов, производивших кровельное железо. В результате 1905 г. реализовалась возникшая еще в 1904 г. идея организации синдиката «Кровля». В 1909 г. сила этого синдиката определялась монополизацией 54% оборота от торговли кровельным железом в стране.

В 1906 г. создался «Продуголь», об'единивший каменноугольные предприятия Донбасса с капиталом в 44% всех капиталов, вложенных в каменноугольную промышленность, и с добычею, равнявшейся в 1909 г. 66% добычи угля в Донецком бассейне. Шесть южных железнорудных предприятий образовали синдикат «Продаруд». К 1908 г. относится создание синдиката «Продвагон», об'единившего 13 вагоностроительных заводов, выполнивших в 1910 г. заказов на 12 млн. руб., из общей суммы заказов 15,2 млн. руб. В этом же году оформился, после ряда неудачных попыток, синдикат в области спичечного производства.

В результате такого усиленного роста монополистических тенденций, русская промышленность вскоре очутилась в руках немногочисленных монополистических организаций, постепенно охватывавших одну отрасль за другой, проникших к 1912 г. даже в текстильную индустрию и попытавшихся перейти к более прочным формам об'единения. К 1908 г., как известно, относится попытка создания металлургического треста.

Мотивы и причины широкого стремления промышленного капитала к монополистическим об'единениям неразрывно связаны с итогами революции 1905 г., остро поставившими перед системой промышленного капитала в России разрешение проблемы ее дальнейшего развития в условиях сохранившегося господства черносотенных помещиков. Эта сторона вопроса находит наглядное подтверждение при изучении как условий создания монополистических организаций, так и тех мотивов, которыми аргументировалась необходимость внедрения монополистических элементов в систему промышленного капитала в России. Записка совещательной конторы железозаводчиков конца 1908 г. и аргументация кандидата в директоры-распорядители металлургического треста И. И. Ясюковича вполне отчетливо формулируют

цели и задачи, преследовавшиеся руководителями об'единительных процессов русской промышленности после революции 1905 г.[1].

Эти задачи были вызваны неразрешенностью проблемы кризиса системы капиталистического производства в стране.

Характерно: в условиях пореволюционной депрессии банковый капитал стал отвечать задачам и целям смягчения противоречий в капиталистическом хозяйстве страны. Впервые после революции 1905 г. в практике банкового капитала мы замечаем перелом в характере его активных операций.

До революции 1905 г. увеличение банковской деятельности падало в основном на учетные и ссудные операции. С 1905 по 1909 г. мы замечаем перемещение банковских операций со счетов учета и ссуд на счета онколь и корреспонденты (лоро). Банковый капитал, обслуживавший до сих пор потребности товарооборота страны, стал переносить центр тяжести своей деятельности на финансирование промышленности. Если счета, по которым банки обыкновенно оказывали кредит промышленности, до революции обнаруживали значительно меньшее увеличение, сравнительно с учетно-ссудными операциями, то с 1905 г. по 1910 г. мы наблюдаем определенный перелом. Операции онколь и корреспонденты (лоро) увеличились за это время на 54%, а учетно-ссудные лишь на 42%. Что это явление не случайное, а выражало новые процессы, наметившиеся в развитии банкового капитала в итоге революции 1905 г., свидетельствует значительное укрепление этой тенденции в последующем пятилетии, когда учетно-ссудные операции увеличились лишь на 54,8%, а счета промышленного кредитования—на 227%. О том же свидетельствует вторая половина таблички. После революции 1905 г.

[1] «Синдикаты необходимы для упорядочения торговли металлами и металлическими изделиями. Одним из последствий неустойчивости цен является перенесение запасов железа из складов торговцев в заводские склады... Ненормальна также продажа южных заводских изделий на север и северных на юг. Правильно направленные синдикаты уничтожат эту несообразность и, регулируя производство и цены, дадут торговцу возможность увеличить склады, без боязни, что дальнейшее падение цен заставит его нести убытки даже на дешево купленном товаре. Кроме того, синдикаты могли бы повлиять на удешевление производства. Теперь каждый завод делает все. При правильном распределении заказов заводы могли бы более специализироваться, что, конечно, отразится на их стоимости» («Записка совещательной конторы железозаводчиков», 1908 г.).

«То угнетенное состояние нашей металлургической промышленности, в которой она пребывает теперь, долго продолжаться не может. Производительность наших паровозных заводов расчитана в общем на 1 500 паровозов, между тем имеется надежда на получение заказа только на половину этого количества. Вагонные заводы должны производить 44 000 вагонов, а заказов обещано только на четыре. Металлургические заводы должны вырабатывать 60 000 000 пудов рельсов, тогда как потребность в них не превышает 8 000 000 пудов... и вот мы решили учредить металлургический трест, прямая задача которого—разумное урегулирование производства и сбыта. Трест должен повлиять на равномерное распределение заказов, распределяя заказы по специальным заводам, трест вместе с тем удешевит производство» (Ясюкович).

основное значение в операциях банков начинают приобретать онкольные и корреспондентские счета. Январь 1910 г., по сравнению с январем 1905 г., дает устойчивое положение учетно-ссудных операций, при увеличившемся значении счетов промышленного кредитования. Следующее пятилетие устанавливает уже определенно доминирующее положение счетов промышленного кредитования.

Увеличение основных счетов русских банков с 1895—1914 гг. в %%			Место основных операций банков в общей сумме их активных операций с 1900—1914 гг.		
	Увеличение в %%		На 1 янв.	Счет учета и ссуд в %% к общему балансу банков	Счет онколь и корр. (лоро) в %% к общему балансу банков
	Учет и ссуды	Онколь и корр. (лоро)			
С 1 янв. 1895 г. по 1 янв. 1900 г.	90,0%	46,5%	1900	37,5%	31,3%
С 1 янв. 1900 г. по 1 янв. 1905 г.	43,3%	30,3%	1905	40,0%	29,9%
С 1 янв. 1905 г. по 1 янв. 1910 г.	42,0%	54,0%	1910	40,0%	32,7%
С 1 янв. 1910 г. по 1 янв. 1914 г.	54,8%	227,3%	1914	26,1%	44,8%

Мыслить себе иначе процессы, происходившие в банковом капитале в условиях пореволюционной концентрации производства и оформления монополистических организаций, не представляется возможным. Банки вынуждены были принять участие в общей системе наметившихся мероприятий по изживанию противоречий в русском капитализме. К этому их толкали как старые связи с некоторыми промышленными предприятиями и широкие перспективы их дальнейшей роли в промышленности, так и об'ективный ход развития капиталистической промышленности в России в итоге революции.

Участием банков в «финансовых реорганизациях» промышленных предприятий намечался путь сращивания промышленности с банками, выкристаллизовывались структурные изменения в системе русского капитализма. Эти изменения могли привести к торжеству финансово-капиталистических отношений в стране.

Мы проследили тот путь, по которому пошел русский капитализм после революции 1905 г., в целях изживания кризиса системы промышленного капитала в стране, наметившегося в результате развития русской промышленности в условиях господства самодержавия и землевладельцев-крепостников. Мероприятия, прослеженные нами, исходили из возможностей приспособления к пореволюционным условиям сил, лежащих внутри самой системы капитализма.

Могла ли, однако, система промышленного капитализма в России справиться своими собственными силами с противоречиями, вызванными условиями, лежащими вне этой системы? Конечно, нет. «Власть и доходы остаются попрежнему в руках землевладельцев-крепостников», попрежнему самодержавие регулирует развитие хозяйственной жизни страны. В этих условиях и думать не приходится о возможности изжить кризис промышленностью, предоставленной самой себе. Это покажется тем более вероятным, если мы вспомним, что крепостник-помещик и самодержавие были как-раз теми факторами, которые определили «черепашью медленность» развития России и отсталость ее в сравнении с другими капиталистическими странами. Чтобы русская промышленность догнала другие страны, понадобилась бы решительная победа революции над крепостниками и самодержавием. Чтобы ослабить противоречия, нужна была, по крайней мере, коренная ломка классового характера политики царизма. Мы знаем, царизм, одержав победу над революцией, попытался взять на себя решение задач буржуазной революции. Только в плоскости этой попытки можно об'яснить процессы капиталистического развития России в пореволюционные годы.

Самодержавие попыталось решить задачу буржуазной революции при помощи аграрной реформы Столыпина. Основной чертой этой реформы, поскольку она творилась руками Пуришкевичей, не могла быть коренная ломка докапиталистических аграрных отношений. Наоборот, она обозначала «самое медленное, самое узкое, наиболее отягченное следами крепостничества капиталистическое развитие» [1]. Реформа ни в коей мере не могла разрешить проблемы внутреннего рынка и не разрешила основного противоречия в системе промышленного капитализма, вызванного властью Марковых 2-х и Пуришкевичей. Защитники «национальной» точки зрения на систему финансового капитала не замечают, что, настаивая на оформлении крепкой национальной системы финансового капитала в 1909—1913 гг., они приходят к мысли о разрешенности всех тех противоречий, которые были обусловлены особенностями развития капитализма в России. Они не замечают, что, защищая «национальную» систему, они превращаются в апологетов столыпинщины, якобы оказавшейся способной решить об'ективные задачи буржуазно-демократической революции. Столыпин, рассчитывая на то, «чтобы измененные формы укрепили старое, чтобы организация зубров-помещиков и столпов капитала укрепила старое, чтобы частная поземельная собственность на место общины создала новый слой защитников старого», не мог решить этих задач.

Подытоживая к 1913 г. опыт капиталистического развития России, Ленин писал:

[1] Ленин, Как увеличить размеры душевого потребления в России, т. XII, ч. 2, с. 176—177.

«За полвека после освобождения крестьян потребление железа в России выросло впятеро, и все-таки Россия остается невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии и вдесятеро хуже Америки. В чем же дело?.. Что же необходимо для того, чтобы десятки миллионов русских крестьян увеличили свое потребление, перестали быть нищими, стали, наконец, хоть сколько-нибудь людьми?».

«Сатрапы нашей промышленности отвечают пустой фразой: «Общее культурное развитие страны», рост промышленности, городов, «под'ем производительности крестьянского труда» и т. п.».

«Пустое фразерство, жалкие оговорки! Более полвека происходит в России такое развитие, «такой под'ем происходит несомненно». За «культуру» распинаются все классы. На почву капитализма становятся даже черносотенцы и народники. Вопрос стоит давно иначе: почему это развитие капитализма и культуры идет у нас с черепашьей медленностью? Почему мы отстаем все больше и больше? Почему эта увеличивающаяся отсталость делает необходимой экстренную быстроту и скачки»?

«На этот вопрос, вполне ясный каждому сознательному рабочему, сатрапы нашей промышленности боятся ответить именно потому, что они—сатрапы... «угода» черносотенным помещикам неизбежно «приближает к Испании», а для приближения к Америке нужна беспощадная, беззаветная борьба с этим классом по всей линии»[1].

Более блестящей методологической критики «национальной» системы финансового капитала, возникшей якобы в итоге столыпинщины, чем та, которая дана в словах тов. Ленина, сказанных, правда, по другому поводу, не дать. Для того, чтобы русская промышленность догнала Америку не только в смысле душевого потребления, но и по своей структуре, необходима была беспощадная борьба с крепостником-помещиком, которую столыпинщина как-раз и не предусматривала.

С 1910 г. промышленность в бывшей России вступает в полосу устойчивого под'ема. Не является ли это достаточным доказательством изживания противоречий, тормозивших развитие русской промышленности на протяжении целого десятка лет в начале XX века? Это—вполне убедительное доказательство ослабления противоречий в русской капиталистической промышленности. Только методологически абсолютно неверно видеть условия рассасывания кризиса в результатах аграрного законодательства Столыпина. Оно в лучшем случае могло несколько смягчить противоречия, но далеко не в такой степени, чтобы вызвать расцвет русской промышленности накануне мировой войны. Эпоха расцвета 1910—1913 гг. не может быть об'яс-

[1] Ленин, Как увеличить размеры душевого потребления в России, т. XII, ч. 2, с. 176—177.

нена ни теми возможностями, которые были заложены в системе промышленного капитализма, ни ломкой докапиталистических отношений помощью столыпинского аграрного законодательства.

Процесс трансформации промышленного капитала в финансовый, который был в состоянии вывести русскую промышленность на более широкую дорогу, упирался в чисто русские особенности: отсталость, слабое развитие рынка капиталов и недоразвитость банковой системы. Мы видели, какую мизерную величину представляли наши банки к началу XX столетия. «Реорганизация» промышленных предприятий потребовала больших средств. Поиски выхода из кризиса толкали русскую промышленность к заграничному рынку капиталов. Финансовый капитал Европы не имел никаких об'ективных оснований отказать в такой «помощи», которая сулила значительные перспективы в деле «реорганизации» на новых началах промышленности России. Неоспоримым является факт развития монополистического капитализма в России в самой тесной связи с международным банковым капиталом, который, укрепляя свои позиции в русской индустрии, привел к оформлению системы финансового капитала в России.

Своеобразие этой системы заключалось в том, что, оформляясь в условиях господства крепостника-помещика и самодержавия, она приняла характер ненациональной системы.

Основная предпосылка нашего анализа, заключающаяся в учете того «специфически русского», что привносилось в общие условия развития капитализма господством в стране черносотенного помещика, может привести только к такой постановке вопроса. Нашим критикам пора перейти от разоблачения цифровых подсчетов и фактов к разоблачению этой основной методологической установки. Тут им придется пуститься в бой не только с нашей скромной персоной, но и с таким гигантом научной мысли современности, каким был В. И. Ленин.

До сих пор товарищи скромно обходили все то, что могло поднять дискуссию о финансовом капитале на эту высшую ступень. Они обходили такой решающий вопрос, как пореволюционную экономическую политику царизма в области стимулирования проникновения элементов международного финансового капитала в страну. В области изживания противоречий в капиталистической индустрии это был единственно мыслимый шаг со стороны крепостнического государства, пытавшегося решить задачи буржуазно-демократической революции. Мы имеем достаточное количество фактов, полностью подтверждающих эту точку зрения, ставящих под удар все построения представителей национальной теории. Изучив переписку Коковцова с Нецлиным и Вернейлем, внимательный читатель легко уловит основной стержень пореволюционной политики министерства финансов в этой области. Она может быть лучше всего иллюстрирована словами ее творца, обращенными к Нецлину в конце 1906 г.:

«... моя собственная (страна—*Н. В.*), больше чем всякая иная нуждается в свободных капиталах и представляет собою обширное поле для производительной деятельности при условии правильной организации таковой и проведения ее под руководством умелых и энергичных людей» [1].

Сомнений нет, к числу этих «умелых и энергичных людей» относился адресат доверительного письма—директор Парижского нидерландского банка, г. Эд. Нецлин. Полученное им письмо «его превосходительства» доставило ему «большое удовольствие: оно служит новым доказательством к нему доверия». «Я был так захвачен этим блестящим изложением,—пишет он в ответ Коковцову,—что счел возможным несколько нарушить сделанную вами пометку «лично». и показал его кое-кому из очень немногих, видных лиц, на которых я вполне полагаюсь; с радостью сообщаю вашему превосходительству, что впечатление, вынесенное при этом, было в высшей степени благоприятным» [2].

«Энергичный» г. Нецлин, воспользовавшись благосклонным расположением к нему Коковцова, поняв министра с полуслова, посвятил в планы русской пореволюционной политики других «умелых и энергичных людей» парижского финансового мира. Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что среди лиц, на которых г. Нецлин вполне полагался и которых он поставил в известность о полученном письме Коковцова, оказался синдик парижской фондовой биржи—Вернейль, обратившийся, вслед за Нецлиным, к Коковцову с письмом, содержащим проект образовать в Париже «с помощью друзей мощную финансовую группу, которая была бы готова изучить существующие уже в России коммерческие и промышленные предприятия, способные с помощью французских капиталов к широкому развитию». [3]. Предложение Вернейля было принято Коковцовым вполне: «обещаю вам свою самую широкую поддержку, как и поддержку правительства», отвечает он на предложение Вернейля. «Мне очень приятно, что вы не образовываете нового предприятия, а имеете в виду поддерживать и развивать те из существующих предприятий, которые, будучи здоровы сами по себе, страдают от недостатка капитала,—вещь, довольно естественная в стране, которая прошла совсем недавно через промышленный кризис и только что вынесла тяжкое бремя войны и внутренних смут» [4].

---

[1] Письмо В. Н. Коковцова Эд. Нецлину в Париж от 14/27 ноября 1906 г. «Центрархив, Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг.», 1926.

[2] Письмо Эд. Нецлина В. Н. Коковцову из Парижа от 21/XI—1/XII 1906 г. «Красный архив», т. IV. См. также: «Русские финансы и европейская биржа»... с. 370.

[3] Письмо Вернейля В. Н. Коковцову из Парижа от 30/XI 1906. Там же, с. 371. Письмо Коковцова к Нецлину датировано 4/27 ноября 1906 г., ответ Нецлина 21/XI—4/XII 1906 г., письмо Вернейля 30/XI—13/XII 1906 г.

[4] Там же, с. 373. Письмо В. Н. Коковцова Вернейлю в Париж от 8/21 декабря 1906 г.

Подчеркнутые слова Коковцова совсем недвусмысленно вскрывают пружину пореволюционной политики министерства финансов. Черносотенному помещику, одержавшему кровавую победу над революцией, очутившемуся в результате этой победы перед неразрешенностью основной проблемы капиталистического развития, усугубленной позорной войной, не было дано другого пути, как неоднократно повторять благодарность «за новое доказательство интереса», с каким французские банкиры относятся к «экономическому преуспеянию России»[1]. Интерес этот был весьма определенный и исходил из реального учета комплекса тех противоречий, по пути разрешения которых помещики-крепостники должны были пойти на другой день после «блестяще» одержанной победы над 1905 г.

«Настоящий момент,—писали они, на другой день после японской войны, после кризиса, который мог остановить на время развитие некоторых крупных предприятий,—представляется нам благоприятным для вхождения в эти предприятия на выгодных условиях и для предоставления им средств к всемерному развитию... Дело идет для нашего рынка о предоставлении ему предприятий здоровых и выгодных с самыми серьезными гарантиями, для России—о содействии широкому развертыванию этих самых предприятий посредством моральной и финансовой поддержки, в которой они могут нуждаться»[2].

Таковы планы министерства финансов, с одной стороны, и парижских банкиров, с другой, в результате революции 1905 г. На пути осуществления этих планов, бесспорно, встречались препятствия, вызванные то явным неприкрытым вымогательством со стороны французов, то необходимостью уступить «общественному» мнению страны, как это имело, напр., место с проектом металлургического треста. Из-за этих неопределенных препятствий не следует однако упускать из виду основного стержня как политики министерства финансов, так и французских банкиров. Коковцов обнаружил изумительную изворотливость в умении обходить непреодолимые препятствия, которые французы нередко выставляли при финансовых комбинациях. При этой изворотливости он всегда оставался верен основному принципу пореволюционной политики царизма. Во время переговоров по реализации облигаций Северо-донецкой ж. д. (февраль 1908), он, напр., уверял Вернейля:

«Это дело интересует не только русское правительство, признающее всю важность постройки железнодорожных путей в России, но, равным образом, и французских капиталистов, вложивших свои капиталы в угольные и металлургические предприятия Донецкого бассейна. Я даже убежден, аргументирует он, «что предприятия эти не смогут существовать, восстано-

---

[1] Там же, с. 374.

[2] Там же, с. 371—372.

виться и развиваться иначе, как только благодаря Северо-донецкой жел. дор. Без этого железнодорожного пути угольные предприятия не смогут вывозить всего того, что они производят, а металлургические заводы не будут иметь заказов, в которых они столь нуждаются» [1].

Этот частный, правда, весьма существенный, случай пореволюционной практики министерства финансов до чрезвычайности выразителен. Аргументация Коковцова не только проста в смысле необходимости содействия парижских банкиров в деле изживания кризиса капиталистической промышленности в России («металлургические заводы не будут иметь заказов, в которых они так нуждаются, предприятия не смогут восстановиться и развиваться»), но и убедительна в смысле тех факторов, которые непосредственно толкали финансовый мир Парижа по пути все большей заинтересованности в русском народном хозяйстве: предприятия, в которые французы вложили свои капиталы, смогут развиваться только при условии еще дополнительных вложений капиталов в народное хозяйство страны.

Таков тот путь, идя по которому единственно мыслимо было создать систему финансового капитала в пореволюционной России. Другой путь для русского капитализма, в связи с победой реакции, был исключен.

В одном из писем Якову Утину, ведшему в 1908 г. переговоры в Париже о реализации железнодорожного займа, Коковцов характеризовал претензию некоторых русских банков участвовать в реализации этого займа словами: «Это равносильно или уменьшению доли прибыли французов, или увеличению расходов казны во имя вознаграждения наших банков, просто присосавшихся к делу, в котором они реального участия не принимали... Выдвигать участие русских банков почти равносильно роли унтер-офицерши Пошлепкиной, которая сама себя высекла» [2]. В этой роли гоголевской унтер-офицерши самодержавие очутилось бы не только в результате удовлетворения данных претензий нескольких русских банков, но и вообще при проведении иной политики в области русской индустрии, чем та, которую усвоил себе Коковцов в результате 1905 г. В этом смысле слова Коковцова приобретают большой принципиальный смысл. Не желая уподобляться Пошлепкиной, самодержавие держало курс на проникновение международного финансового капитала в поры хозяйственной жизни страны. Попытка решить об'ективные задачи буржуазно-демократической революции в области капиталистической индустрии должна была итти по намеченному Коковцовым пути.

Столыпинщина в деревне, стимулирование элементов монополистического капитализма международной формации—вот тот круг мероприятий, которым царизм попытался решить задачи, поставленные, но не решенные

[1] Ленинградское отделение Центрархива. Второе экономич. отд. Секр. ч. М. Ф. № 1, 1908. Письмо Коковцова Вернейлю, СПБ 10/23 февраля 1908, № 103.

[2] Там же, письмо Коковцова Я. Утину, без даты.

революцией 1905 г. Одним из результатов победы реакции над революцией явилось укрепление иностранного капитала в России, сопровождавшееся оформлением «ненациональной» системы финансового капитала в стране.

Вытекает ли из нашей методологической предпосылки изучения финансового капитала в России игнорирование значения в пореволюционной экономике туземного—национального капитала?

Ни в коей мере.

Установить действительное значение и роль туземного капитала в России в изучаемую эпоху—задача гораздо более сложная, чем попытка изобличить защитников «ненациональной» системы финансового капитала в скрытии тех полутора миллиардов рублей, которые накопились в сберегательных кассах страны. Каковы бы ни были сбережения, они ни в коей мере не могли удовлетворить тех запросов, которые пред'являла к рынку капиталов трансформировавшаяся система промышленного капитализма.

Наблюдатели экономических процессов России с «национальной точки зрения» допускают в своих рассуждениях о роли туземного капитала в экономике 1909—1913 гг. три весьма существенных ошибки. Первая и основная ошибка—методологическая. Они упускают из виду, что господство крепостника-помещика ставило национальное накопление в определенные узкие рамки. Накопление в стране в результате поражения революции не могло

Эмиссия русских ценностей за 1908—1912 гг. (млн. руб.)

Род эмиссии	1908 г.			1909 г.			1910 г.		
	Всего	В России	За границей	Всего	В России	За границей	Всего	В России	За границей
I. Государственные займы	272	203	69	209	7	202	74	42	32
II. Ипотечные ценности	278	278	—	272	272	—	463	463	—
III. Ценности кредитных предприятий	11	10	1	23	18	5	95	62	33
IV. Железнодорожные ценности	156	138	18 11,5%	169	70	99 58,5%	120	41	79 66%
V. Промышленные ценности	183	137	46 25%	123	83	40 33%	169	107	62 37%
Всего	900	646	254	679	450	346	921	715	206
Всего по группам IV и V	339	155	184 54%	292	153	134 47,6%	289	148	141 48%
Всего по группам III, IV и V	350	165	185	315	171	144	384	210	174
Всего по группам I, III, IV и V	622	308	254	524	178	346	458	252	206

Род эмиссии	1911 г.			1912 г.			Всего		
	Всего	В России	За границей	Всего	В России	За границей	Всего	В России	За границей
I. Государственные займы	28	17	11	57	2	55	640 12%	265 42%	375 58%
II. Ипотечные ценности	635	63	—	645	545	100	2 293 44%	2 193 96%	100 4%
III. Ценности кредитных предприятий	114	93	21	171	167	4	414 8%	350 84,5%	64 15,5%
IV. Железнодорожные ценности	78	65	63 81%	205	26	179 88%	728 14%	170 24%	558 76%
V. Промышленнные ценности	381	226	155 40,7%	272	158	114 42%	1 128 22%	711 63%	417 37%
Всего	1 236	980	256	1 350	898	452	5 203	3 689 ок. 70%	1 514 ок. 30%
Всего по группам IV и V	459	241	218 48%	477	184	293 61%	1 856 36%	881 47%	975 53%
Всего по группам III, IV и V	673	334	239	648	351	297	2 270	1 231 54%	1 039 46%
Всего по группам I, III, IV и V	601	345	256	705	353	352	2 910	1 496 51,4%	1 414 48,6%

достигнуть об'ективно необходимых размеров. Признание несостоятельности этого положения равносильно признанию коренной ломки классового содержания экономической политики царизма после революции 1905 г. и неленинской трактовке столыпинщины.

Вторая ошибка вытекает из не вполне внимательного отношения к анализируемым фактам. Тов. Леонтьев, напр., защищал национальную теорию данными эмиссии русских ценностей за 1908—1912 гг. Беглый взгляд, брошенный читателем на результаты пятилетней эмиссии, как-будто подтверждает его точку зрения (см. таблицу на стр. 38—39 [1]): семьдесят %% всей эмиссии были реализованы внутри страны и только 30% за границей. От читателя потребуется не больше минуты внимания и терпения, чтобы рассеять впечатление, полученное от общих итогов эмиссии. На внутреннем рынке реализовались большие массы закладных листов земельных банков (свыше 2 млрд. руб. из общей суммы эмиссии в 5,2 млрд.). Долговые обязательства разоряв-

[1] «Русский денежный рынок 1903—1912 г.г.». Эмиссия русских ценностей за 1908—1912 г.г. см. «Статистический Ежегодник» за 1914 г., под ред. Шарова, стр. 478.

шегося помещика не находили держателей на европейском денежном рынке, они вынужденно реализовались внутри страны при активнейшей поддержке государства. Если исключить из общей суммы эмиссии ипотечные бумаги, соотношение долей заграничной и внутренней эмиссии явно изменится в нашу пользу: из 2 910 млн. руб. за границей было реализовано ценностей на 1 млрд. 414 млн. руб., что составляло почти 49% всей эмиссии. Присмотревшись к эмиссии промышленных и железнодорожных ценностей, мы обнаружим, что больше половины всей суммы этих ценностей (53%) было реализовано за пятилетие 1908—1912 г. за границей. Любопытно при этом отметить: доля заграничной эмиссии обнаруживала из года в год не уменьшение, как это должно было иметь место по «национальной» версии, а как-раз наоборот,—увеличение. В 1908 г. доля реализованных за границей промышленных ценностей составляла 25% эмиссии, в 1909 г.—33%, в 1910 г.—37%, в 1911 г.—40,7%, в 1912 г.—42%. Возрастание значения заграничного рынка мы наблюдаем и по железнодорожным ценностям: 1908 г.—54,6%, 1909 г.—47,6%, 1910 г.—48%, 1911 г.—48%, 1912 г.—61%.

Национальная версия могла найти подтверждение в цифрах эмиссии лишь благодаря не совсем критическому отношению к привлекаемому материалу.

Третья ошибка заключается в том, что товарищи видят значение национального капитала там, где он укреплял лишь позиции иностранного финансового капитала, и, наоборот, не замечают оформления национальной системы финансового капитала там, где оно действительно имело место. Совершенно бесспорно, что в результате создания крепкой системы капитала ненациональной формации с отдельными банковыми группами: французской, немецкой и английской, мобилизованные петербургскими банками средства туземного происхождения укрепляли позиции иностранного финансового капитала в стране.

Бесспорно и то обстоятельство, что в результате попытки самодержавия решить задачу буржуазно-демократической революции, в результате столыпинщины и охвата системой финансового капитала командных высот народного хозяйства, росло национальное накопление в стране и укреплялись позиции национального капитала в народном хозяйстве. Своеобразие значения национального капитала в период между революциями состояло в том, что его развитие, с одной стороны, в известной степени было обусловлено укреплением позиций иностранного капитала в стране, а с другой—протекало в условиях господства ненациональной системы финансового капитала. Монополистическим тенденциям национального капитала приходилось оформляться в условиях этого господства. Подтверждением является значительно более позднее оформление чисто национальных монополистических об'единений, какими были: «Общество хлопчатобумажных фабрикантов», об'единившее в 1912 г. 47 текстильных предприятий и «Русское льно-промыш-

ленное акц. об-во». Обе организации создались уже в пору господства системы финансового капитала в основных отраслях производства. В этих же условиях рождались финансовые предприниматели типа Рябушинских, Н. А. Второва, Гучкова и ряда других из числа русского купечества.

Предпринимательство последнего рода получило сильное развитие в годы империалистической войны, когда национальному капиталу представились широкие возможности развития. Группа Второва уже к 1915 г. об'единяла около 10 предприятий с миллионными оборотами. Сфера деятельности национальных финансистов не ограничивалась одной текстильной промышленностью. Второв соорудил в годы войны два снарядных завода (один в Москве, другой в Богородске), с производительностью до 30 тыс. гранат в день; к 1917 г. группа Второва получила место в правлении Донецко-юрьевского металлургического об-ва. Если принять во внимание, что на январском 1917 года собрании акционеров Донецко-юрьевского об-ва Московский промышленный банк, вместе со своими представителями Дьяконовым и Чемберсом, представил 54% всех пред'явленных акций, что Донецко-юрьевское об-во находилось в тесных отношениях с Коломенским об-вом и «Сормово», то вхождение А. Н. Дьяконова в правление Донецко-юрьевского об-ва свидетельствует о значительной силе, достигнутой Второвым не только в отраслях легкой индустрии.

Росту группы Второва в сильной степени способствовало приобретение в 1916 году одного из московских банков (Юнкер банка, позже Московско-промышленного). Крупнейшими акционерами этого банка и руководителями его политики финансирования стали: Н. А. Второв, Дьяконов, Коноваловы, Бордыгины, Сытины, Гучковы, Кноппы и др. Каждый из перечисленных акционеров Московского промышленного банка представлял собою не только держателя пакета акций банка, но, в свою очередь, являлся самостоятельным финансовым предпринимателем. Имя Н. И. Гучкова связано с предприятиями: Московским металлическим заводом, Об-вом химической промышленности 1914 г., Московским торгово-промышленным т-вом на паях 1915 г. и др.; Рябушинские, в свою очередь, руководили Московским банком, связанным с текстильными предприятиями Московского района. В годы войны предпринимательство группы Рябушинского стало выходить за пределы текстильной индустрии: в 1915 г. Рябушинские явились учредителями в Москве т-ва на паях для изготовления предметов военного снаряжения, под руководством братьев Сергея и Степана создается Московский автомобильный завод; В. П. Рябушинский стоял во главе т-ва Акуловских писчебумажных фабрик. Сытин организовал в 1917 г. О-во российских писчебумажных фабрик с целью об'единить всех производителей и потребителей бумаги. Группа Стахеева в 1917 г. купила акции Соединенного банка. Акции Русско-французского банка в 1916 г. перешли во владение группы московских и провинциальных промышленников. Большие успехи в годы войны

одержал Ярошинский—представитель русской сахарной промышленности,—овладевший Киевским частным коммерческим банком, и подчинивший себе накануне Октябрьской революции Русский торгово-промышленный банк. Группа Стахеева проникла в Азиатский и Волжско-камский банки.

Можно привести длиннейший ряд примеров активности национального капитала в годы господства «ненациональной» системы финансового капитала в стране. Приведенных примеров вполне достаточно для иллюстрации мысли о том, что господство «ненациональной» системы финансового капитала отнюдь не уменьшало, даже, наоборот, содействовало росту значения национального капитала и оформлению национальной системы финансового капитала.

Нам представляется чрезвычайно характерным спор, возникший между тт. Гиндиным и Грановским по вопросу о структурных сдвигах в системе финансового капитала в России в годы войны. Не разобравшись в методологических вопросах анализа развития финансового капитала в России, представители одной и той же «национальной» теории должны были споткнуться и разойтись по одному из вопросов, по существу проверяющему правильность их рассуждений о характере развития финансового капитала в России. Как тот, так и другой признают факт появления в России «финансового предпринимателя» в годы войны. Один из них (т. Гиндин) умозаключает, что этот факт «дает специфический колорит последнему историческому этапу развития отношений русских банков и промышленности», что «он ослабляет то монопольное положение, которое до войны принадлежало петербургским банкам в области финансирования промышленности» [1].

Другой, наоборот, полагает, что «эта категория покупателей акций ни в коей мере не является угрозой могуществу банков» и что петербургские банки «попрежнему продолжают быть главными посредниками в деле доставления промышленности нового капитала» [2].

Последовательный защитник «национальной» теории ничего особенного не видит в появлении «новых предпринимателей». Более об'ективный наблюдатель фактов согласен видеть в появлении их «нечто специфическое».

Как бы ни расходились между собою тт. Гиндин и Грановский, их об'единяет один и тот же недочет анализа исторического прошлого: отсутствие правильного методологического подхода. Последовательная защита национальной теории должна была привести Грановского к отрицанию значения тех сдвигов, которые произошли в русской экономике в результате пореволюционной политики самодержавия. Отрицать эти сдвиги представляется абсолютно невозможным. Они зашли так далеко, что нашли свое выражение не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны.

[1] Гиндин, Русские банки и иностранный капитал, с. 80 и 82.

[2] Грановский, Монополистический капитализм в России, с. 80.

Начиная с 1915 г., между Петербургом, олицетворением господства «ненациональной» системы финансового капитала, и Москвой, олицетворением «национальной» системы, происходит систематическая и упорная борьба. Эта борьба красной нитью проходит через весь 1916 и 1917 гг. Знамя этой борьбы:

«Правда будущего—здесь, в Москве. Ведь странно видеть эту совершенно покинутую Россию, это огромное хозяйство, управляемое как-то теоретически из «Чухляндии», из-за границы... Вот они текут перед нами, эти непостижимо широкие и глубокие реки нашей жизни, вливаясь в Москву, как в океан. Со всех сторон бегут к ней живые струи, везде их биение о берег, везде пульсация этого огромного кровообращения... Вот русский центр—этот самобытный мир промышленности, «Манчестер», созданный трудами простых русских людей, которым не помогала, а только мешала в их творчестве петербургская властная рука... Вот Волга, русская Миссисипи, страна русских американцев, нефти, хлеба, живущая точно вопреки Петрограду, умевшему только тормозить ее бег; вот Дон, царство угля, вот Туркестан, где зреет хлопок для московских станков, где могло бы быть неисчерпаемое народное богатство..., а там невероятная Сибирь, сказочная страна, когда-то созданная Москвой ценою упорства, лежащая втуне... Все это связано с Москвой, все это тянет свои руки к Москве. Здесь все, — здесь земледелие, здесь торговля и здесь промышленность...».

«Петербург хотел бы, чтобы она всегда оставалась только «порфироносной вдовой» [1]...

Борьбу против Петербурга, как экономического центра страны, можно было бы проследить шаг за шагом. Богатый материал в этой области дает изучение военно-промышленных комитетов, истинное значение которых можно об'яснить только с точки зрения тех сдвигов, которые вполне об'ективно подметил т. Гиндин. Только под этим углом зрения можно понять значение большинства с'ездов промышленников за 1916 и 1917 гг. С'езд металлообрабатывающей промышленности (февраль 1916 г.), руководимый директором Русско-азиатского банка, А. И. Путиловым, был создан, напр., в противовес Центральному военно-промышленному комитету, фактически заменившему собою Совет с'ездов торговли и промышленности. В отчетах с'езда металлообрабатывающей промышленности мы читаем: «С'езд родился не под знаком обороны, а под знаком нападения. Это сразу же определилось во вчерашних речах А. И. Путилова, Гужона и др. Нападение велось сразу на два фронта. Во-первых, на правительство..., во-вторых, против Совета с'ездов торговли и промышленности, который недостаточно энергично, по словам ораторов, защищает интересы металлургов... Речь А. И. Путилова была вариацией на ту же тему. Та же нота враждебности к Ц. В.-Пр. К-ту» [2].

[1] «Утро России» № 1, Москва, 1917.

[2] «Финансовая газета», 30 марта 1916.

Далее, в марте 1917 г. собирается I Всероссийский торгово-промышленный с'езд. Руководители с'езда, с П. П. Рябушинским во главе, поставили задачей организовать Всероссийский союз торговли и промышленности, сорганизовав вокруг него всю русскую национальную торговлю и промышленность. По адресу Петербурга здесь было сказано не мало горьких слов. А. А. Бубликов призывал участников с'езда «создавать свои органы не для защиты наших личных интересов, а для защиты той экономической идеологии, которая лежит в основе нашей деятельности и которая, по нашему глубокому убеждению, единственно может вывести на правильный путь всеми нами горячо любимую Россию» [1].

Экономическая идеология организаторов с'езда была пространно изложена П. П. Рябушинским. К ней мы еще вернемся. Здесь укажем лишь, что она соответствовала духу и смыслу передовой цитированного нами «Утра России», подводившей итоги 1916 году.

После московского с'езда руководители петербургского финансового мира спешно принялись за организацию защиты своей экономической «идеологии». В мае они, в противовес московскому центру, создали свой «Союз торгово-промышленных предприятий». Руководителями этого союза совершенно не случайно оказались Путиловы, Вышнеградские, Давыдовы и Ивановы, зарекомендовавшие себя поборниками совсем иной экономической программы, чем та, с которой выступали в 1916—17 гг. Рябушинские, Коноваловы, Гучковы, Терещенки и им подобные.

Тов. Грановскому следовало бы проверить свои умозаключения сквозь призму этих фактов исторического прошлого, тогда бы он понял, что его соратник по полю брани т. Гиндин в состоянии значительно об'ективнее наблюдать экономические процессы эпохи финансового капитала в России.

Не собираясь отрицать роста значения петербургских банков в русской промышленности в годы войны, мы полагаем, что ни в коем случае не следует упускать из виду параллельного роста организационных форм, в которых складывалась система национального финансового капитала. С параллельным ростом двух систем углублялись противоречия между ними и ослаблялось «то монопольное положение, которое до войны принадлежало петербургским банкам в области финансирования промышленности». Тов. Гиндин с чисто наблюдательской точки зрения совершенно прав. Его роднит с т. Грановским то, что он не сумел из правильно подмеченных фактов сделать соответствующие выводы. Он связан вместе с т. Грановским оковами «национальной» теории. Между тем стоит только отойти от этой теории, методологически правильно подойти к анализу финансового капитала в России, как специфический колорит последнего исторического этапа русского капитализма получает свое обоснование.

[1] I всероссийский торгово-промышленный с'езд в Москве 19—22 марта 1917 г. Стенографич. отчет. Москва, 1916, с. 145.

Это обоснование сводится к тому, что все попытки царизма решить задачи буржуазно-демократической революции после кровавой расправы над ней об'ективно должны были оказаться неосуществленными и противоречия, выдвинувшие в порядок дня эту попытку,—не разрешенными. На примерах результатов столыпинщины это излишне доказывать. Вряд ли найдется такой революционный марксист, который счел бы возможным оспаривать точку зрения Ленина по данному вопросу. Однако и попытка Коковцова разрешить противоречия путем внедрения элементов иностранного финансового капитала в командные высоты народного хозяйства не могла увенчаться успехом. Противоречия, несколько сгладившиеся в результате воздействия иностранного финансового капитала, должны были вновь проявиться на более широкой основе. Годы войны 1914—1917 гг. наглядно иллюстрируют неразрешенность проблемы капиталистического развития русской промышленности: черепашья медленность ее развития и отсталость привели капиталистическую промышленность царской России к катастрофе.

Противоречия капиталистической промышленности усугублялись не только условиями войны, но и теми дополнительными противоречиями, которые непосредственно вытекали из пореволюционной политики царизма. Укрепление позиции «ненациональной» системы финансового капитала, способствуя росту элементов национального финансового капитала, порождало борьбу между «национальным» и «ненациональным» в системе русского капитализма. Одно противоречие рождало другое. Это другое противоречие в эпоху, непосредственно предшествующую Октябрьской революции, достигло значительных размеров. Об этом свидетельствует программная речь одного из крупнейших представителей русского национального капитала, П. П. Рябушинского, произнесенная 19 марта 1917 г. на торгово-промышленном с'езде в Москве. Мы даем существенные выдержки из этой речи:

«Мы, господа, отлично понимаем, что когда кончится война, то к нам направится поток германских товаров. К подобному экономическому давлению мы должны быть готовы, мы должны совершить большую подготовительную работу, которая должна нам помочь выдержать натиск германизма на совместном пути народов. Из дружественных стран каждая также имеет свои эгоистические побуждения, которые должны встретить в нас также вполне сознательное к себе отношение... ныне мы много должны Франции... естественно, что мы оправдаем наши обязательства, но следует помнить, что наше экономическое положение должно стоять на надлежащей высоте, чтобы обладать силой сопротивления...».

«Вы сами хорошо знаете нашу бедность с капиталами и необходимость привлечения их из-за границы для приложения их к развитию наших производительных сил... Но возможно ли в один прекрасный день отдать их в иностранные руки и как-раз тогда, когда для энергии и самодеятельности народа открывается широкое поле... Это не значит, что мы должны

отвергнуть иностранные капиталы, но нужно, чтобы иностранный капитал не являлся капиталом победителем, а чтобы ему был противопоставлен наш собственный капитал, для чего необходимо создать условия, при которых он мог бы возникать и развиваться...».

«Нам нужна такая торговля, которая сумела бы вывозить наши товары на иностранные рынки... Наши консулы почти все иностранцы, недоброжелательно относящиеся к русским торговцам, даже не удостаивающие выслушать их и презирающие всю русскую торговлю. Следовало бы созвать всех консулов в Петроград, и пусть все увидят, кому вверялись наши русские интересы за границей... Для того, чтобы мы могли экономически сопротивляться иностранцам, необходимо не только искать путей проникновения за границу наших товаров... на нас лежит еще одна великая титаническая работа по созданию целого ряда новых предприятий. Только по выполнении этой задачи мы приобретем должное достоинство... Нам указывают, что наша страна является не промышленной, а по преимуществу земледельческой, что в эту область и нужно направлять и капиталы и внимание народа... Если бы подобные взгляды были проведены в жизнь, то они сослужили бы нам плохую службу... нам нужно стремиться ко всестороннему промышленному развитию России» [1]. Только на почве тех сдвигов, которые отмечены т. Гиндиным в области взаимоотношения банков и промышленности в годы войны, и на почве неразрешенности проблемы развития капиталистической промышленности в результате пореволюционной политики самодержавия могла появиться программа, стремящаяся «к всестороннему промышленному развитию России» и к созданию условий, «при которых мог бы возникнуть и развиваться» национальный капитал, который противостоял бы «капиталу победителю».

Разрешение противоречий вновь стало делом революции. Запоздалая буржуазно-демократическая революция теперь уже этих задач решить не могла. Не могла она решить и проблемы борьбы «национального» с «ненациональным». Тысячами проделок и сделок оказалась русская национальная буржуазия связанной с «ненациональным» в русском народном хозяйстве и с крепостником-помещиком. Вся политика Временного правительства—яркий тому показатель.

Узел противоречий могла разрубить только победоносная Октябрьская революция. Победивший пролетариат, строя социализм, мимоходом решает задачи буржуазной революции. Национализируя банки и средства производства, ограждая монополией внешней торговли социалистическое строительство, пролетариат попутно решает и проблему борьбы «национального» с «ненациональным» недавнего исторического прошлого.

[1] I Всерос. торгово-промышленный с'езд. Стеногр. отчет, с. 14—16.

И. Ф. ГИНДИН.— НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

Прошедшая недавно Всесоюзная конференция историков-марксистов показала, что интерес к проблеме финансового капитала в России не ослабевает. В то же время противоположность мнений по самым основным вопросам проблемы не только не сглаживается, но получает еще большее заострение. Это свидетельствует о том, что многие вопросы, в частности и некоторые из затрагиваемых ниже, нуждаются еще в основательном исследовании. В части последних вопросов настоящая статья не претендует дать исчерпывающего ответа и ставит себе целью лишь наметить правильные пути их разрешения.

I. «РУССКИЕ» И «ИНОСТРАННЫЕ» ЭЛЕМЕНТЫ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА РОССИИ

Как известно, среди финансово-капиталистических сращений России преобладали непосредственные сращения русских банков с промышленными предприятиями. Но в то же время последние были тесно связаны как с иностранными банками, так и с другими действовавшими в России иностранными финансово-капиталистическими группами. Это весьма усложняет выяснение вопроса о соотношении русских и иностранных элементов в системе финансового капитала в России. Попытка упростить исследовательскую задачу, свести ее к одному тезису, о полном подчинении русских банков иностранным привела к схематическому решению вопроса в смысле сплошной «денационализации» финансового капитала России. Такое решение не могло не породить больших споров.

Тему «иностранный капитал в России» можно изучать с различных точек зрения. Одна из них, наиболее старая,—это всестороннее изучение влияния иностранных капиталов, техники, руководителей, т. е. иностранные элементы в русском хозяйстве во всей их полноте. Так вопрос поставлен в классической работе Брандта или у Ишханьяна.

В другой постановке — реальный приток иностранных капиталов в страну—вопрос может изучаться путем сопоставления новых иностранных вложений, с одной стороны, и доходов, извлекаемых иностранцами, с дру-

гой,—в их отражении на расчетном балансе страны. Эта точка зрения уже игнорирует ту часть иностранных капиталов, владельцы которых иммигрировали в страну и в ней ассимилировались или стоят на пути ассимиляции.

Третий подход заключается в выяснении массы капиталов, принадлежавших иностранцам, особенно в промышленных и других акционерных предприятиях. Соответствующие подсчеты производились неоднократно. Наиболее полно они были осуществлены П. В. Олем. Со временем становится ясно, что в эти подсчеты должны включаться лишь иностранные капиталы, владельцы которых живут за границей.

Отказ от включения в подсчеты иностранных капиталов, владельцы которых иммигрировали вместе с ними, тесно связан с мыслью, что с развитием финансового капитала распоряжение и юридическое владение капиталами уже не совпадают. Следовательно, теряет смысл подсчет иностранных капиталов для определения той их массы, которой распоряжаются иностранцы. Для этого требуется уже новый, четвертый разрез изучения, где по другим признакам приходится определять, какие группы (банки или предприниматели, русские или иностранные) распоряжались теми или иными предприятиями.

Для ответа на поставленный в данном параграфе вопрос существенен только этот последний разрез.

Однако при исследовании этого вопроса многие авторы пытались привлекать также статистические материалы в роде данных о размерах эмиссии ценных бумаг в России и за границей, о размерах участия иностранных банков в капиталах русских или об удельном весе иностранных капиталов в общей сумме основных капиталов русских акционерных обществ. Все эти подсчеты не могут дать ответа на основной вопрос—о природе отношений русских и иностранных банков. Данные о росте удельного веса внутренних эмиссий в общей их массе могут служить материалом для понимания роли туземных банков в финансировании промышленности. Но значительные размеры эмиссий, проводимых на иностранных рынках, ничего еще не говорят о том, являются ли они показателями финансово-капиталистических сращений или связей иного характера. Точно так же цифры участия иностранных банков в капиталах русских ничего не говорят о существе складывавшихся между ними взаимоотношений,—скрывалось ли за ними участие ради известных финансовых выгод или последнее осложнялось определенным руководством русскими банками с точки зрения интересов капиталистического развития другой страны. Даже рост удельного веса иностранного участия в капиталах акционерных обществ не говорит еще ничего о природе приливающего в страну иностранного капитала. Но повышение удельного веса иностранного капитала в период громадного роста русских носителей финансового капитала производит большое впечатление на многих авторов и играет известную роль в их аргументации. Поэтому необходимо на этих

подсчетах остановиться несколько подробнее. Это будет тем более уместно, что, как я надеюсь показать, самые эти цифры имеют под собою скрытую предпосылку—определенное, осознанное или неосознанное, представление о природе взаимоотношений русских и иностранных банков, т. е. как-раз то, что они призваны будто бы доказать.

Остановлюсь на наиболее тщательных и серьезных подсчетах П. В. Оля. Другие авторы производили подсчеты лишь на один определенный момент. Б каждом таком подсчете имеется значительный элемент суб'ективной оценки. Поэтому едва ли допустимо прослеживать изменения удельного веса иностранных капиталов путем сравнения относящихся к разным годам цифр разных авторов. Один лишь Оль дал хронологическую цепь цифр за несколько десятков лет. Тем самым его цифры за разные годы надо полагать исчисленными на основе единой методологии и, следовательно, единственно сопоставимыми.

Самые методы исчисления, примененные П. В. Олем в его работах, не освещены им с достаточной полнотой. Наиболее существенным было бы знать, производил ли П. В. Оль подсчеты на каждый год в отдельности или только на определенные точки (и в таком случае какие именно) и экстраполировал цифры на промежуточные годы. Ведь значительная масса акций находится в непрерывном движении, и то, что уловлено на один момент, может оказаться неверным для следующего. Вторая неясная сторона методологии Оля заключается в его взглядах на представительную роль русских банков. Неизвестно, оперирует ли Оль с точно известными ему в каждом отдельном случае фактами представительства интересов иностранных банков или же исходит из общего понимания им представительной роли русских банков (что в последней части у Оля не все благополучно—об этом в своем месте еще будет сказано). Точно так же неизвестно, как автор расценивает и какие выводы он считает возможным делать из отношений, складывающихся на почве финансирования (например из участия иностранных банков в возглавлявшихся русскими банками синдикатах по эмиссии акций). Отдельные факты, с которыми мне пришлось столкнуться при исследовании сферы влияния русских банков в сопоставлении с данными Оля относительно тех же предприятий, наводят на мысль, что Оль считает вытекающее из синдикатских участий владение акциями гораздо более прочным, чем оно является в действительности (т. е. в этом случае распространяет на длительный период факты, относящиеся к сравнительно короткому промежутку).

Едва ли однако имеет смысл останавливаться на этих фактах. В такой большой и кропотливой работе, как исследование Оля, неизбежны единичные ошибки. Отсюда указаниям на отдельные факты всегда может быть противопоставлено то соображение, что дело вовсе не в методологических неправильностях, но в подобных ошибках (возможность которых допускает и сам автор).

При невозможности привлечь материал, сколько-нибудь соответствующий по об'ему обильным выкладкам Оля, гораздо плодотворнее найти иной способ проверки результатов, к которым пришел автор. Этот прием является вполне законным. Всякий подсчет иностранных капиталов, с какой бы тщательностью он ни был сделан, является, по общему признанию, всего только экспертной оценкой. В ней суб'ективные суждения исследователя играют не меньшую роль, чем трудно уловимые об'ективные признаки, на которых он должен базироваться. Поэтому всякий подсчет иностранных капиталов является лишь статистической гипотезой и, как каждая гипотеза, законно может быть подвергнут проверке в том отношении, не противоречит ли он фактам другого порядка.

По счастливой случайности материал для данной проверки не только существует, но имеет под собой определенную статистическую базу. Я разумею здесь счета негарантированных ценных бумаг по сводному балансу акционерных банков. За 6 лет с 1 января 1908 г. по 1 января 1914 г. эти счета выросли на миллиард триста миллионов рублей. Ставится вопрос, могут ли эти данные быть согласованы с цифрами увеличения иностранных капиталов за те же годы по подсчетам П. В. Оля.

Первое, что необходимо уяснить для сопоставимости тех и других цифр, это—какова была номинальная сумма акций, скрывающихся за цифрой 1 300 млн. руб. (ведь Оль подсчитывает капиталы в номинальном выражении) и не находилась ли часть этих акций в иностранном владении. Путем известных расчетов (удельный вес акций среди всех негарантированных бумаг в банках, разница между номинальной и курсовой стоимостью, маржа при онколе) я пришел к цифре в 710—790 млн. руб. акций по номинальной цене, осевших в русских банках за шестилетие 1908—13 гг.

Об'яснение этого расчета дано мною в другом месте [1], здесь же достаточно отметить, что самое сопоставление цифр—1 300 млн. руб., с одной стороны, и 700—800 млн. руб., с другой, показывает, что последние едва ли преувеличены.

Об юридической принадлежности указанных акций представление дает характер отдельных банковских счетов. Счет собственных бумаг не нуждается в комментариях. На счете лоро под негарантированные бумаги скрываются в основном синдикатские (консортиальные) участия. Как известно, синдикатские счета фигурируют в балансе банков (разумеется, под другим наименованием) в размере их собственного участия или же в размере кредитов, предоставляемых руководящими банками другим участникам синдикатов. В первом случае, очевидно, бумаги принадлежали соответствующим банкам, во втором же—другим русским банкам, ибо участие иностран-

[1] «Банки, кредитование и финансирование промышленности в России с 1887—1927 г.» в IX томе еще невышедшего издания «Динамика российской и советской промышленности».

ных банков конечно использовывалось для привлечения их средств, и трудно предположить, чтобы, наоборот, русские банки оказывали им кредит. Бумаги, фигурировавшие на счетах ссуды и онколь под негарантированные бумаги, принадлежали юридически не банкам, а их клиентуре. Среди последней могли быть иностранцы и даже работавшие в России иностранные предприниматели. Можно полагать, что таковых почти не было среди более мелкой онкольной клиентуры (по данным Азовско-донского банка на эту группу—с кредитами ниже 100 тыс. руб.—падает около $^1/_3$ кредитов). Несомненным преувеличением будет считать, что среди более крупной клиентуры иностранцы составляют $^1/_3$ (надо думать, что это могло иметь место разве только в таких банках, как Русско-Азиатский). Прирост акций на счетах ссуд и онколь по моим исчислениям составил 360—380 млн. руб. Принимая из осторожности указанную выше преувеличенную долю иностранцев, я прихожу к цифре в 80—85 млн. руб.

Таким образом, прирост бумаг в акционерных банках, безусловно не принадлежащих иностранцам, составлял 710—790 минус 80—85 млн. руб., т. е. *630—700 млн. руб.*

В дальнейшем в эту цифру придется внести еще одну поправку. Среди прироста бумаг в акционерных банках необходимо выделить, с одной стороны, ту часть, в которую вложены их собственные средства (собственные бумаги и часть онкольных в размере банковой ссуды под них), и, с другой— ту часть, в которую вложены собственные средства русской клиентуры (30% онкольных акций, прирост которых, по моему исчислению, составил около 360 млн. руб.). Тогда из цифры 630—700 млн. руб. окажутся соответственно выделены *520—590 млн. руб. и 110 млн. руб.*

Второе — надлежит выяснить общий прирост акционерных капиталов, а также, по возможности, прирост акций, принадлежавших другим русским капиталистам, помимо банков. Оба эти вопроса удобнее выяснять вместе. Акционерные капиталы всех акционерных обществ даны в нижеследующей таблице.

Хотя у всех авторов основным источником являются «Ежегодники министерства финансов», публикуемые разными авторами, итоговые цифры акционерных капиталов нередко не совпадают. Это об'ясняется неудовлетворительной классификацией отраслей, неодинаковым об'емом сведений в «Ежегодниках» за разные годы и отсюда необходимостью в разном об'еме пополнять их сведениями из других источников. Общая ссылка на источники по изложенным причинам не дает возможности разобраться в подсчете разных авторов. Поэтому я предпочитаю дать не только итоги, но и составные части подсчета.

Основные данные заимствованы из «Ежегодника министерства финансов» за 1909, 1915 и 1916 гг., причем отрасли промышленности взяты по сводке С. Г. Струмилина («Проблема промышленного капитала в СССР», 1925 г.), а другие отрасли непосредственно из «Ежегодников». Данные на 1/I 1908 г. представляют собой, как и у Оля, балансы за 1907 г., а на 1/I 1914 г.—за 1913 год. В «Ежегоднике» за 1915 и 1916 гг., в отличие от

«Ежегодника» за 1909 г., отсутствуют капиталы ж.-д. обществ и ломбардов. Они добавлены в сумме 147 млн. руб. и 12,9 млн. руб. Капиталы страховых об-в и земельных банков для 1/I 1908 г. взяты из «Статистического ежегодника» под ред. Шарого за 1914 г., а для 1/I 1914 г.—путем подсчета данных в «Русских биржевых ценностях» 1914—15 г. Капиталы коммерческих банков взяты по «Сводным балансам», причем на 1/I 1908 г. добавлен не фигурирующий там Русско-Китайский банк (15 млн. руб.).

	В млн. руб.		
	На 1/I 1908 г.	На 1/I 1914 г.	Прирост
1. Выплавка и обработка металла	305,1	703,2	+ 398,1
2. Горное дело	492,9	595,4	+ 102,5
3. Химическое производство	103,1	135,0	+ 31,9
4. Обработка минеральных веществ	46,7	108,0	+ 61,3
5. Обработка волокнистых веществ	486,5	685,7	+ 199,2
6. Обработка пищев. и вкусовых веществ	184,6	327,4	+ 142,8
7. Прочие	65,9	157,7	+ 91,8
Итого промышленность	1 694.8	2 712,4	+ 1 017,6
Торговля	92,9	249,6	+ 156,9
Транспорт	180,4	312,9	+ 132,5
Благоустройство	128,4	228,9	+ 100,5
Смешанная группа	145,5	102,2	— 43,3
Страховые общества	31,7	39,3	+ 7,6
Земельные банки	71,8	91,1	+ 19,3
Коммерческие банки	238,5	585,0	+ 346,5
Итого	2 583,8	4 321,4	+ 1 737,6

К цифре прироста акций у других русских капиталистов (кроме банков) можно подойти только путем ряда числовых комбинаций. В качестве минимальной цифры может быть взят прирост акционерных капиталов в тех отраслях, в которых участие иностранных капиталов было сравнительно невелико и которые в то же время лишь спорадически финансировались русскими банками. Тем самым эта цифра окажется преуменьшенной, но это единственный способ подойти к ней и в то же время избегнуть двойного счета (например, один раз прирост у владельцев, другой раз прирост на онколе). К отраслям, удовлетворяющим этим двум требованиям, относятся текстильная промышленность, значительная часть пищевой (кроме табачной)[1], другие более мелкие отрасли промышленности (лесная, кожевенная и бумажно-полиграфическая—в моей таблице «прочие») и вся акционированная торговля. Прирост капиталов в этих отраслях за шестилетие составил около 590 млн. руб. Из этого прироста на иностранное участие и оседание в банках может падать около 40 млн. руб. по табачным, отчасти сахарным и другим предприятиям пищевой промышленности и максимум 80 млн. руб.—по текстильной и прочим отраслям промышленности. Сам Оль

[1] Сахарная промышленность хотя и была тесно связана с банками, но деньги получала главным образом по вексельным и подтоварным счетам всяких наименований.

оценивает прирост иностранных капиталов в этих отраслях за пятнадцать лет всего в 122,5 млн. руб., а оседание их акций в банках было крайне незначительно. Отсюда следует, что 80 млн. руб. за шестилетие взято для сугубой осторожности с несомненным преувеличением. Для торговли из максимальной осторожности на прирост иностранного участия относится 50 млн. руб. (Оль для 15 лет дает цифру 63 млн. руб., в том числе по о-ву Зингер за 6 лет капитал увеличился на 30 млн. руб.). За вычетом всех этих сумм (170 млн. р.) минимальный размер прироста акций у русских капиталистов определится в сумме 420 млн. руб.

Третье. Теперь надлежить сделать следующие сопоставления:

	В млн. руб.		
	1/I 1908 г.	1/I 1914 г.	Прирост
Все акционерные капиталы . . .	2 584	4 321	+ 1 737
В т. ч. иностранные капиталы по Олю	945	1 701	+ 756
В т. ч. акции в русских банках (минус 80—85 млн. руб. иностр. клиент.)	140 — 160	770 — 860	+ 630 до 700
Разница, падающая на русских капиталистов, держащих акции без банковского кредита (первая ориентировка)	1 500 — 1 480	1 850 — 1 760	+350 до +280
В т. ч. в текстильн., пищевой, лесной, кожевен., бумажно-полиграф. и в торговле (I группа).	829	1 420	+ 590,4
В т. ч. в остальных отраслях (тяжелая пр-сть, банки, транспорт и др. (II группа)	670 — 650	430 — 340	— 240 до —310

Далее следует внести поправки на участие иностранных капиталов и русских банков в текстильной и других отраслях—во-первых, и на ту часть онколированных акций, в которые были вложены собственные средства клиентуры,—во-вторых.

	Прирост в млн. руб.		
	Текстильн. и другие отрасли (I группа)	Тяжелая промышл., транспорт и др. (II группа)	Итого
Первая ориентировка прироста акций у русских капиталистов	+ 590	— 240 до —310	+ 350 до 280
I поправка	— 170	+ 170	—
II поправка	—	+ 110	+ 110
Вторая ориентировка прироста акций у русских капиталистов, купленных на собственные средства, включая акции на онколе в части купленной на собственные средства +110 млн. руб.	+ 420	+ 40 до —30	+ 460 до 390
Акции в банках, принадлежащие банкам и русской клиентуре в части, купленной на средства банков 630—700 млн. руб минус 110 млн. руб.).	—	—	520—590
Иностранные капиталы	—	—	756
Итого			1 736

Из этих сопоставлений должен быть сделан один из следующих двух выводов:

А. За шестилетие 1908—14 гг. помещение русских капиталов (за исключением находившихся в русских банках) в акции предприятий тяжелой промышленности, транспорта и кредитных учреждений не только не возросло, но осталось стабильным или, может быть, даже уменьшилось. Точнее, уменьшилось, так как я старался исходить из возможно меньшей суммы «первой группы» у русских независимых капиталистов и, следовательно, стремился притти к максимально возможной (совместимой с подсчетами Оля) сумме акций «второй группы».

Б. В цифрах прироста иностранных капиталов, с одной, и акций в русских банках, с другой стороны, в некоторой доле фигурируют одни и те же суммы.

Первый вывод представляется мало правдоподобным. За 1901 — 1908 гг. капиталы акционерных обществ увеличились на 620 млн. руб., иностранные капиталы увеличились за это время по подсчетам П. В. Оля на 185 млн. руб., непосредственные вложения русских банков остались стабильными. Таким образом вложения самих русских капиталистов в период депрессии увеличились по Олю на 435 млн. руб. При этом капиталы текстильной, пищевой и др. отраслей, где преобладали независимые русские капиталисты, увеличились менее, чем на 300 млн. руб., т. е. вложения русских капиталистов в акции предприятий тяжелой промышленности, банков и т. п. возросли не менее, чем на 150 млн. руб. А в годы промышленного под'ема, небывало высокого накопления и вовлечения широких кругов, средних и даже мелких капиталистов в биржевую спекуляцию, все вложения возросли только на те же 390—460 млн. руб. и в ряде важнейших отраслей остались стабильными или даже понизились. Последнее утверждение не становится правдоподобнее от того, что контрольные пакеты многих предприятий могли перейти к иностранцам или к русским банкам. Ведь покупка контрольных пакетов отнюдь не означает ухода капиталов прежнего владельца из данной отрасли, а тем более направление его в иное помещение, нежели акции. Состав рядовых акционеров вообще может сохраниться при переходе контрольного пакета. Сращение предприятия с банком приводит не только к вложению в акции банковских средств, но к еще большему вовлечению средств капиталистов— клиентов банка. От того, что капиталист вкладывает не только свои средства в акции, но еще берет под них ссуду в банке, он начинает вкладывать не меньше, а больше собственных средств. Это находит себе выражение в огромных депо акций на хранении и излишнем обеспечении на онкольных счетах сверх того, что требует банк для обеспечения данного размера кредита (вышеприведенные цифры «акций в банках» 630—700 млн. руб. означают лишь те акции, в которые вложены средства самих банков,

т. е. они исчислены при допущении наименьшего нормального обеспечения кредита в размере 70% от курсовой стоимости акций).

Заслуживают внимания еще следующие соображения. В таких отраслях, как текстильная и пищевая с преобладанием семейных предприятий, преобразование единоличных предприятий в акционерные общества не означает реального прироста капитала. За 1901—13 гг. из увеличения на 570 млн. руб. акционерных капиталов текстильной, пищевой и трех более мелких отраслей промышленности, около 320 млн. руб. падает на новые акционерные общества, преобразованные из существовавших единоличных предприятий. Отсюда следует, что около половины прироста капитала этих отраслей за 1908—14 гг., т. е., примерно, 250 млн. руб., нельзя считать реальным. Таким образом, оставаясь при цифре в 390—460 млн. руб., придется сказать, что реальный прирост акционерного капитала, принадлежавшего русским капиталистам за шестилетие промышленного под'ема, составил всего-на-всего 140—200 млн. руб.

Несостоятельность первого вывода с неизбежностью приводит ко второму предложенному решению. В цифру «акций в русских банках» и цифру прироста иностранных капиталов входят в какой-то части одни и те же суммы. То-есть в каких-то довольно широких размерах пред'явление акций на общих собраниях и другие т. п. действия русских банков могли расцениваться П. В. Олем как осуществление представительства иностранных банков. Не зная в каждом отдельном случае юридической принадлежности акций, П. В. Оль вынужден был решать вопрос не на основе знания конкретных отношений русского и иностранного банков, но исходя из общих своих представлений на этот счет. Достаточно, чтобы эти представления отразились цифрой примерно в 130 млн. руб. в составе общего его подсчета, и никакое повышение удельного веса иностранного капитала не может быть доказано.

В млн. руб.

	1 I 1908	1 I 1914	
Акц. капиталы	2 583,8	4 321,4	4 321,4
В т. ч. иностранные по Олю	945,1	1 700,6	1 570,6 [1]
В процентах	36,6	39,3	36,3

Как явствует из сказанного выше, относительно вложений русских капиталистов в дивидендные бумаги, под сомнение может быть взята гораздо большая, чем 130 мил. руб. сумма.

Таким образом подсчеты иностранных капиталов вместо того, чтобы подтверждать «денационализаторскую» версию, сами неосознанно на ней базируются. Получается своеобразный petitio principii. Все возвращается к альфе и омеге обоснования «денационализации»—тезису о полном подчинении русских банков иностранным.

[1] 1 700,6 минус 130.

* * *

Еще домарксистская русская литература об иностранном капитале пыталась дать свое решение вопроса о взаимоотношениях русских и иностранных банков и влиянии последних на русскую промышленность. Но эта литература не могла дать ему даже правильной постановки, ибо для нее оставалась неясной природа финансово-капиталистических отношений, получивших господство в значительной части русской промышленности. Финансовый капитал в России в важнейших отраслях (на юге) зарождался как иностранный капитал. Русский промышленник, который при столкновении с иностранными предприятиями, в качестве конкурентов или контрагентов, всегда готов был заговорить об иностранном засилии, особенно остро должен был чувствовать это «засилие» со стороны предприятий, попавших под господство финансового капитала. Естественно, что все тенденции финансового капитала к монополизации, повышению цен и т. д. воспринимались современной русской публицистикой как черта свойственная иностранному капиталу. Соответствующие тенденции, развивавшиеся под влиянием русских банков, должны были поэтому восприниматься как тенденции, проводимые русскими банками в интересах того же иностранного капитала. Это станет тем более понятным, что банки всегда предпочитают оказывать поддержку финансовому предпринимателю, а таковых русские банки скорее могли найти среди иностранных элементов.

Другим подтверждением мог служить такой, казалось бы, не требующий особого анализа факт, как широкое участие иностранных банков в капиталах наиболее активных в области финансирования промышленности русских банков. Простое сопоставление всех этих фактов без серьезного научного анализа должно было привести к таким выводам, к каким пришел П. В. Оль: раз через посредство определенных русских банков притекали иностранные капиталы в русскую промышленность, то следовательно иностранный банк через такой же русский финансировал или даже распоряжался таким-то русским предприятием.

Непонимание природы финансово-капиталистических отношений осложнялось еще недостаточно ясной постановкой вопроса. Обычно устанавливалось, что иностранные капиталы в лице иностранных банков имели влияние (вернее, могли иметь влияние) на русскую промышленность. Но никогда с достаточной четкостью не анализировалось, в чем заключалось это влияние, как оно проводилось, какие цели себе ставило. Даже у такого тонкого исследователя, как В. С. Зив, можно найти ряд заявлений, хотя, может быть, и непротиворечащих друг другу, но не поставленных в надлежащую логическую связь. Так, в одном месте он сообщает, что французский рынок имеет колоссальное значение для финансирования русской промышленности, и слова: «Париж идет» часто определяют кон'юнктуру данного момента на

петербургской бирже. В другом месте он говорит, что директора заводов, входящих в «Продамету», являются в большинстве случаев лишь исполнителями воли парижских и частично, русских и немецких банков. А несколькими строками ниже он цитирует одну французскую биржевую газету: «Французские капиталы не проникают так глубоко в экономическую жизнь России, как например германские или бельгийские капиталы». Газета приписывает это обстоятельство незнакомству французов с общими условиями коммерческой жизни в России, «в русской промышленности французский капитал во многих случаях играет скорее пассивную, чем активную роль» [1].

Специально вопрос о взаимоотношениях русских и иностранных банков был поставлен в работе Агада [2].

Автор ее, банковский практик, сообщил много интересных и чрезвычайно ценных для историка русских банков фактов. Однако освещение вопроса, данное Агадом, и, главное, некоторые неясности в его постановке помешали ему сделать выводы из приводимого им самим материала. Работа Агада относится к той мелкобуржуазной обличительной литературе, что и известная французская работы Лизиса. Агад не только не понимает природы финансово-капиталистических отношений, но считает их извращением нормального экономического порядка. Это заставляет весьма критически относиться к выводам Агада, во всяком случае, приводит к необходимости снимать с них шелуху его социально-экономической «философии». Так например, Агад в фактических частях своей работы прекрасно показывает, в чем именно заключалось влияние иностранных банков на русские или же как они совместно эксплоатировали русскую казну. Это не мешает ему в другом месте, при рассмотрении участия иностранных банков в капиталах русских, заявлять: «Международный банк—читай Discontogesellschaft» и говорить, что немецкие банки работали под вывеской русских. Ниже, когда придется подробнее цитировать Агада, будет видно, насколько такие выводы противоречат сообщаемым самим же Агадом фактам.

По странной иронии новейшие авторы-марксисты пытаются использовать Агада почти исключительно в части его выводов, совершенно игнорируя сообщаемые факты, являющиеся прекрасным свидетельством о характере взаимоотношений иностранных и русских банков. Работы новейших исследователей, впервые поставивших вопрос о финансовом капитале в России, тоже не остановились с достаточной полнотой на характере взаимоотношений русского и иностранного финансового капитала. В появившейся раньше других работе Н. Ванага автор поставил себе целью обрисовать сферу влияния финансового капитала. Но автор нигде не считает нужным детали-

---

[1] В. Зив, Русские ценные бумаги на французской бирже. «Вестник финансов», 1913, № 38.

[2] Agadh, Grossbanken und Weltmarkt, Berlin 1914.

зировать вопрос. Установив факт пред'явления каким-либо банком крупного пакета акций к общему собранию акционеров промышленного предприятия, он включает его в сферу господства финансового капитала. На тех же основаниях русские банки относятся к сфере господства соответствующих иностранных банков, и в результате иностранные банки через русские сращиваются с русской промышленностью. Схема, придуманная П. В. Олем с приправой из Агада, торжествует в марксистском освещении. Но т. Ванаг идет гораздо дальше. Русские банки изображаются им в виде послушных солдат соответствующих иностранных групп, притом организованных в армии, ведущие меж собой борьбу под флагом соответствующего иностранного финансового капитала. Эта теоретически неверная схема заставляет автора укладывать в Прокрустово ложе фактическую сторону истории русских банков [1].

Гораздо тоньше подошел к интересующему нас здесь вопросу С. Ронин. Не строя схем, подобных ванаговским, и не насилуя фактов, Ронин пытается нарисовать картину того, как овладел иностранный капитал русскими банками. Но, исключая из сферы своего рассмотрения политику финансирования, проводимую русскими банками, т. Ронин нигде не касается детально тех целей, которые преследовались банками. Собственно, Ронин устанавливает последовательный рост участия французских банков в капиталах русских, слияние некоторых патронируемых ими банков, неудачную попытку присоединить к ним Сибирский банк. Далее он подробно—и в этом главная ценность его работы—показывает, что министерство финансов не столько руководило русскими банками, сколько давало им беспрепятственно себя эксплоатировать (об этом подробнее в след. параграфе). Поэтому министерство финансов не могло служить защитой для русских банков при походе на них иностранного капитала.

То, что активной стороной в этом процессе сращения русских и иностранных банков являлись последние, Ронин усматривает в их попытках (осуществившихся и неосуществившихся) к слиянию и об'единению русских банков, в эксплоатации министерства финансов и в договорах, которые они заключали с русскими банками по финансированию. Ронин приводит только один пример такого договора, заключенного между одним второстепенным французским и еще более второстепенным русским банком [2].

Но содержание этого договора лишь говорит о том, что французские банки, помещая капиталы в русскую промышленность через посредство русских банков, меньше всего собирались активно вмешиваться в дела промышленных предприятий, т. е. целиком подтверждает ту характеристику взаимоотношений русских и иностранных банков, которая будет дана ниже.

---

[1] Подробную критику Ванага см. в «Банках и промышленности», с. 190—196.
[2] С. Ронин, цит. работа, с. 133—134.

Другие авторы, продолжавшие мысли Ванага и Ронина, ничего существенного и нового не дали. М. Гольман[1] в своей широко задуманной работе пытался примирить факт подчинения русских банков иностранным с развитием внутреннего рынка капитала в 1909—13 гг. и сделал следующее дополнение к ванаговской схеме.

Накопление в стране действительно развивалось, и имелись предпосылки для развития самостоятельного русского финансового капитала. Но так как еще до промышленного под'ема русские банки оказались в руках иностранных, то и растущее внутреннее накопление попало в распоряжение иностранного капитала. Эта поправка в сущности ничего не дает для обоснования концепции Ванага, так как самый факт овладения русскими банками базируется попрежнему исключительно на процентах участия иностранных банков в капиталах соответствующих русских кредитных учреждений.

Оставаясь на почве ванаговской схемы, Гольман впадает в целый ряд новых ошибок. В руки иностранного финансового капитала он отдает, через посредство русских банков даже вклады сберегательных касс. Всякий ссудный капитал у Гольмана превращается в капитал финансовый. Иностранные банки у него распоряжаются через посредство русских не только частными железными дорогами[2], как у Ванага, но даже казенным железнодоорржным строительством, поскольку для этой цели заключались государственные займы на иностранных рынках[3].

Эта общая схематическая трактовка вопроса, данная авторами отдельных монографий, успела проникнуть и в широкую периодическую литературу. Так например, т. Гайстер, сделавший экскурсию в интересующую нас область[4], полагает, что фактическое управление «Продуглем» из-за границы служит серьезным подкреплением точки зрения Ванага и Ронина. Автору невдомек, что значительная часть предприятий, входивших в «Продуголь», имели свои правления за границей, а в главнейших остальных—русские капиталы почти не участвовали. Не трудно было бы привести еще ряд подобных примеров.

Для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях русских и иностранных элементов финансового капитала, необходимо ясно представить себе особенности отдельных носителей иностранного финансового капитала, действовавших в России, и характер хозяйственной политики, проводимой ими за пределами своей страны.

В наиболее чистом виде хозяйственная политика в интересах своей страны проводится дочерними обществами, особенно теми, которые орга-

[1] М. Гольман, Русский империализм, Ленинград, 1927

[2] О том, как русские банки могли распоряжаться железными дорогами, см. «Банки и промышленность в России», с. 171.

[3] У Гольмана можно найти еще целый ряд оригинальных добавлений в том же роде. Краткая критика Гольмана дана мною в журнале «Историк-марксист», № 5, с. 191.

[4] Вводная статья к материалам о Продугле», «Красный архив», т. 16, 1926, с. 141.

низованы крупнейшими финансово-капиталистическими концернами. Эти дочерние общества могут ставить на чужой почве то же промышленное производство, которое является основным для концерна у себя дома. Но, преследуя какие-нибудь свои специфические цели, концерн может придать этому производству характер, не отвечающий в достаточной мере интересам страны, где работает дочернее общество. Так вместо организации соответствующего производства концерн может в другой стране организовать сборочные мастерские. Или же он может построить в другой стране производство таким образом, чтобы оно в каких-либо мелких, но важнейших деталях зависело от основных заграничных предприятий концерна и без их помощи не могло работать. Финансово-капиталистические промышленные об'единения могут организовывать в других странах так же дочерние предприятия, носящие вспомогательный характер, например, для подведения сырьевой базы под свое основное производство. Такие общества основываются обычно в странах колониального или полуколониального типа.

Финансово-предпринимательские об'единения организуют за границей также самостоятельные предприятия. Последние могут в этом случае вести внутри страны, где они действуют, хозяйственную политику, ни в какой степени не связанную с экономическими интересами метрополии. Но при слабом развитии промышленности той страны, где они работают, ее политической зависимости и т. д., эти, вначале не ставящие себе определенных целей, финансово-предпринимательские об'единения могут со временем, монополизировав напр. источники сырья, закрепить одностороннее развитие страны, где они работают, или, по крайней мере, втянуть ее рессурсы в мировое распределение, осуществляемое несколькими мощными финансово-капиталистическими группами (например нефть).

В этих комбинациях иностранных финансово-капиталистических групп банкам принадлежит скорее пассивная роль,—они поддерживают за границей финансово-предпринимательские группы своей страны. Такова, в сущности, установка всех английских колониальных банков, т. е. банков той страны, которая имеет наибольшие достижения в области финансово-капиталистического овладения в своих интересах целыми хозяйственными организмами или отдельными отраслями хозяйства других стран. Несколько большую активность за границей проявили германские банки. В виду более позднего экономического развития Германии им приходилось оказывать сильную поддержку своим финансовым предпринимателям и даже отчасти замещать их, как это было напр. перед войной в румынской нефтяной промышленности. Но таких задач не могут себе ставить банки тех стран, промышленность которых не ведет активной внешней хозяйственной политики. Действующие за границей финансово-предпринимательские группы этих стран остаются на первой стадии развития, т. е. проводят в другой стране ту же хозяйственную политику, которую проводили бы ее собственные фи-

нансовые предприниматели. Поэтому, рассматриваемая категория иностранных банков расценивает поддержку своих финансовых предпринимателей, работающих за границей, как обычное помещение капитала.

Необходимо подчеркнуть, что и в период расцвета финансового капитала крупнейшие банки могут направлять за границу капиталы в качестве чисто ссудных капиталов. Достаточно указать огромное развитие краткосрочных, так называемых пенсионных кредитов в Англии и во Франции, которыми до войны в широких размерах пользовались германская и американская промышленность через посредство банков своей страны. Огромные средства, вкладываемые в иностранные государственные займы, также представляют собой чисто ссудный капитал. Правда, в эпоху финансового капитала внешние займы в особенно широких размерах становятся при известных предпосылках (но не обязательно) орудием политического влияния на должника и его ростовщической эксплоатации со стороны кредиторов.

Удельный вес капиталов, помещаемых банками в иностранные займы, часто настолько значителен, что рядом с ним участие в финансировании заграничных предприятий имеет для банков второстепенное значение. Поэтому у банков при известных условиях очень легко вырабатывается одинаковое отношение к обоим случаям. Иначе говоря, размещая у себя в стране акции заграничных промышленных и других предприятий, банки подходят к этому только как к несколько более рискованной (но зато и более выгодной) операции. Надежность помещения определяется здесь тем, кому доверяются за границей деньги. Предоставление их своим финансовым предпринимателям, действующим за границей, считается во многих случаях более надежным, чем предоставление туземным предпринимателям. Но еще надежнее может оказаться предоставление капиталов через посредство крупных туземных банков, активных в области финансирования промышленности и других отраслей хозяйства. Особенно это необходимо, если собственные финансовые предприниматели проявляют мало активности за границей, и банкам приходится самим подыскивать соответствующих лиц и нести, следовательно, большой риск.

Подходя с изложенными соображениями к оценке тех иностранных носителей финансового капитала, которые действовали в России, придется дать им следующую характеристику.

Дочерние общества иностранных концернов действовали только в двух-трех отраслях русской промышленности. Таковы русские предприятия электротехнических концернов, дочерние общества германских химических предприятий, Шелл в нефтяной промышленности, компания жатвенных машин, Вестингауз и Зингер в области металлообрабатывающей промышленности. Почти все эти дочерние общества принадлежат к таким, которые организовали в России производство, аналогичное предмету деятельности их материнских обществ. В остальных случаях в русской промышленности дей-

ствовали иностранные финансово-предпринимательские группы, не связанные в своей промышленной политике с политикой, проводимой близкими им финансово-капиталистическими группами у себя на родине. Исключением не является даже направление английского финансового капитала в нефтяную, медную и золотую промышленность. В медной промышленности например соответствующие предприятия не могли даже удовлетворить потребностей внутреннего рынка (Россия, как известно, импортировала медь из-за границы). Финансово-предпринимательские группы в нефтяной промышленности в значительной свей части носили пионерный характер и не имели особенно тесной связи с Шеллем. Разумеется, можно утверждать, что тенденции английского финансового капитала, устремившегося в Россию лишь начиная с 1907 г., не успели еще полностью проявиться к 1914 г. Но здесь важно установить, что при анализе финансово-капиталистической системы России в том виде, в каком она создалась к 1914 г., нельзя опираться на приведенные факты для доказательства включения России в систему иностранного финансового капитала. Исключением, может быть, является военная промышленность. Но отношения в ней носят специфический характер, и притом различные интересы переплетались здесь довольно причудливым образом [1].

Поэтому все указанные выше авторы не пытаются с этой стороны доказывать столь полюбившееся им включение России в систему какого-либо отдельного или всех вместе иностранных финансовых капиталов. Доказательством такого включения служит всегда лишь тезис о господстве иностранных банков над русскими, которые, как уже указано, занимали преобладающее количественно место в смысле непосредственного сращения с русской промышленностью. Но, как это сейчас будет показано, политика иностранных банков в России в точности отвечает данной выше характеристике [2].

В литературе хорошо известны черты французских банков, до войны 1914 г. нежелание поддерживать туземную промышленность, направление почти всех средств французского рынка в более «надежные» заграничные займы,—а в этом суть политики французских банков. Достаточно известна знаменитая фраза Жермена, руководителя одного из крупнейших французских банков, что «правление сознательно придерживается такой системы, ибо не видит во Франции людей, способных вести промышленные предприятия, и, не желая рисковать, предпочитает работать с заграничными займами».

[1] Ср. ниже II.

[2] Общую постановку вопроса о взаимоотношениях русских и иностранных банков я пытался дать в «Банках и промышленности в России» (стр. 182—183). Дальнейшее свое развитие она получила в весьма содержательной статье Е. Грановского «Иностранный капитал в системе монополистического капитализма в России», «Вестник Комакадемии», 1927, № 22. Весьма ценно, что т. Грановский, повидимому, незнакомый еще тогда с моей работой, пришел, на основании внимательного изучения материалов, к тем же самым выводам. Наша аргументация местами почти полностью совпадает.

Огромное поле деятельности французские банки нашли в русских государственных займах. Эти займы давали им доходы, не только превышавшие в абсолютных размерах прибыли от вложений в русскую промышленность, но нередко приближавшиеся и в процентном выражении к доходам банков при промышленных учредительствах и эмиссиях. Согласно Лизису, русское правительство нередко получало по своим займам не более 85%, а то и меньше от номинальной суммы займов (сюда входят потери на курсе, гербовый сбор, вознаграждение банкам). Особенно существенно, что руководители французских банков могли иметь на русских займах огромные личные доходы, во много раз превышающие доходы директоров при эмиссиях промышленных ценностей. При займе 1906 г., доходы одного лишь руководителя Banque de Paris et Pays-Bas составили, по опубликованным в печати данным, около 12 млн. фр. Эта сумма, является лишь комиссией «посреднику» (Нетцлину), который, возможно, должен был еще делиться с другими лицами. Однако сюда не входят курсовые разницы при выпуске и дальнейших спекуляциях на займах. Отсутствие у французской промышленности какой-либо активной политики за границей [1] и преобладающее значение государственных и иных твердопроцентных займов в работе французских банков должны были, естественно, привести к тому, что основной точкой зрения банков при эмиссиях русских промышленных ценностей являлось выгодное и надежное помещение средств. Вначале, когда русские банки были слабы, приходилось непосредственно финансировать иностранные финансово-предпринимательские группы, которых часто нельзя было найти среди французов. «С французскими капиталами ехали в Россию немцы и бельгийцы». К концу депрессии первого десятилетия 900-х гг., когда окрепли русские банки, положение радикально изменилось. «Парижские эмиссионные круги приучились следующим образом подоходить к спросу на капиталы для руссих промышленных предприятий. Установился принцип предоставлять капиталы для русской промышленности. лишь в том случае, если соответствующее предложение поступает от петербургского банка. Парижская фирма называет это теперь «моральной гарантией» и желает в этом случае, как выражаются в Париже, «нести только обязанности акушера». Таким образом, с того момента, когда акции резмещены среди французской публики, парижский банк не желает ничего больше знать о предприятии, но предоставляет ведение операций соответствующим русским банкам. В этом случае, следовательно, проводится принцип—заработать комиссию и затем поставить русский банк между французскими акционерами и русским предприятием... Модус участия... используется парижскими эмиссионными фирмами для получения комиссии и прочих доходов (Zwischengewinne), а после завершения эмиссии эмитент пря-

[1] Чрезвычайно показательно в этом отношении отсутствие связи между импортом в Россию капиталов и импортом товаров. Этот вопрос достаточно освещен Грановским, так что нет нужды на нем останавливаться подробнее.

чется за другим заграничным (т. е. русским) банком. Этот последний должен принимать бумаги в случае обратного их возвращения в Россию («auf welche (Russische Bank) das eventuell zurückströmende Material abgeschoben werden kann»)[1]. Это место из Агада чрезвычайно ярко характеризует взаимоотношения, установившиеся между французскими и русскими банками. Ряд других фактов в книге Агада, упорно не замечаемых многими авторами, только усиливают нарисованную выше картину. Здесь чрезвычайно существенно отметить, что политика банков Германии, страны с совершенно иным направлением экспорта капиталов, в основном не отличалась от политики французских банков. «Влияние крупного (германского) банка, — говорит Агад,—распространяется, естественно, лишь на дела заграничного (т. е. русского) предприятия внутри страны (т. е. Германии), т. е. крупный германский банк может добиться, чтобы известные операции соответствующих предприятий вне своей страны производились через посредство этого банка, но это влияние ни в какой степени не распространяется на направление капиталов заграничного предприятия у себя в стране, ибо, во-первых, банковские директора не имеют ни времени, ни знаний, чтобы заботиться о заграничном рынке, во-вторых, для них не представляет никакого интереса давать предписания заграничному предприятию до тех пор, пока оно платит дивиденды»[2].

А вот как Агад описывает переговоры директоров берлинского банка с директорами русского независимого банка: «Ему говорят... милостивый государь, здесь сидят прежние директора такого-то и такого-то банка, которые вам также известны и могут при случае стать вашими конкурентами. Мы можем с этими господами организовать новый банк, который будет иметь филиалы именно там, где вы действуете. Говоря прямо, хотите вы иметь нас конкурентами или работать с нами совместно? В конце концов приходят к соглашению, новый банк не основывается. Вместо этого соответствующий заграничный (т. е. русский) банк обязывается выпустить новые акции, которые германский банк перенимает по дешевой цене с обязательством не делать никаких персональных изменений в заграничном банке, он даже гарантирует прежним директорам их места и обязуется оставить программу банка неизменной»[3].

---

[1] Agadh, цит. работа, с. 114.

[2] Агад, цит. работа, с. 19, разрядка всюду моя.

[3] Агад, цит. работа, с. 73. Здесь Агад подразумевает Сибирский банк, капитал которого был увеличен с помощью Deutsche Bank. Последний однако не долго держал его акции и продал французам «господство над Сибирским банком и русской промышленностью» за «чечевичную похлебку»—80% курсовой разницы по акциям Сибирского банка.

Действительно, вся политика германских банков в отношении русских является крайне загадочной, если держаться версии, созданной Олем, Ванагом и другими авторами. Германские банки отдают в руки враждебного финансового капитала Сибирский банк, разрешают выход на парижский рынок Международному банку для увеличения капитала последнего на какие-нибудь 10—20 млн. руб. Германское участие в капиталах русских банков составляло 37 млн. руб., тогда как французских—97 и английских—13 млн. руб. Выходит, что германские банки при всей относительной бедности германского рынка не сумели мобилизовать нескольких десятков млн. руб., чтобы противостоять растущему влиянию враждебного им финансового капитала. Еще менее понятной становится политика английского финансового капитала, не потрудившегося вложить при своих громадных рессурсах больших средств в капиталы русских банков.

Но все эти факты получают простое и понятное об'яснение, если только исходить из ясного представления о целях иностранных банков. Задачами иностранных банков являлось получение учредительских и эмиссионных прибылей, а также использование разницы в высоте процента на русском и иностранных денежных рынках.

Неудовлетворительность самостоятельного помещения капиталов в русскую промышленность поставила перед французским банком в 900-х гг. задачу приобрести участие в русских банках. Германские банки, издавна участвуя в капиталах некоторых важнейших русских банков, не нуждались в новых «завоеваниях». Равным образом, английский капитал, имевший другие методы помещения за границей, не искал возможностей связаться с русскими банками [1].

Отсюда знаменитый «поход» французских банков на петербургские банки и русскую промышленность. Как правильно подчеркнул Грановский, участие французских банков не может быть признано очень удачным. Русско-Китайский и Северный банки накануне своего слияния были в весьма тяжелом положении, и один из них, во всяком случае, стоял на грани банкротства. Петербургский Частный банк и только что образовавшийся из слияния поляковских банков Соединенный буквально «валялись на улице», и министерство финансов принимало героические меры, чтобы найти иностранных капиталистов, которые бы взялись за их санирование. Даже к 1914 г., по подсчетам Грановского, все три банка, да еще вместе с Русско-Французским, имели всего 96 мест в правлениях акционерных обществ, тогда как пять крупнейших петербургских банков, в которых не участвовал или мало

[1] Как показали Агад, Финн-Енотаевский и Ронин, участие английских капиталов в Торгово-Промышленном банке (важнейшее из двух английских участий в русских банках) являлось делом второстепенного лондонского спекулянта, и с точки зрения общей политики английского рынка должно быть признано случайной операцией.

участвовал французский капитал, имели 211 мест, в том числе один Международный—108.

В этих условиях директора петербургских банков не только обладали полной самостоятельностью в деле финансирования русской промышленности, но даже могли противостоять чрезмерным аппетитам иностранных банков в области дележа доходов от финансирования и других спекулятивных операций.

Ронин в одном месте указывает, что фактический глава Сибирского банка, с ничтожными собственными средствами, путем онколирования акций банка и использования его же средств на эту цель, сумел обеспечить себе полное влияние на банк. Ронин считает этот пример аргументом в пользу того, что иностранным банкам легко было овладеть русскими банками. Как правильно отмечает Грановский, пример Ронина обращается против его аргументации. Директора петербургских банков, лавируя между различными иностранными группами, взаимно поддерживая друг друга путем использования огромных онкольных пакетов клиентуры [1], пользуясь, наконец, поддержкой министерства финансов, могли годами сохранять за собой руководство банками, при условии конечно полной общности интересов с соответствующими иностранными банками в области биржевых спекуляций и проч.

В отдельных банках иностранное влияние сказывалось далеко не в одинаковой степени. Крупнейший банк—Русско-Азиатский—был наиболее французским по составу своих учредителей, акционеров и даже правления. Русско-Азиатский банк представлял в России интересы французских военных фирм. Но в то же время ему лишь в ограниченной степени было поручено представительство интересов французских банков в области южной металлургии (только в Донецко-Юрьевском и Мальцевском заводах). Во всех остальных случаях его деятельность по существу ничем не отличалась от работы других русских банков. Русско-Азиатский банк отличался максимальной активностью в области нефтяной промышленности. Однако нет никаких данных о какой-либо особой французской политике, проводившейся в этой области, как, впрочем, вообще ничего неизвестно о существовании такой линии, хотя, казалось бы, для нее была почва в такой отрасли, как нефтяная промышленность. Точно так же нельзя видеть никаких специально французских интересов в выходе Русско-Азиатского банка на лондонский рынок и организации там Holding Company для русского табачного треста, обществ финансирования для других русских предприятий и т. д.

---

[1] По архивным данным Азовско-донского банка, в его онкольном портфеле находилось 5 тысяч акций Русского для внешней торговли банка, 5 тысяч—Международного и 4—Петербургского Частного. Все эти банки относятся к числу дружественных. Кроме того, на счетах директоров соответствующих банков находилось 3 тысячи акций Торгово-Промышленного банка и т. д.

Второе и третье место по размеру операций занимали Международный и Русский для Внешней Торговли банки, издавна связанные с германскими банками. Международный банк повидимому частично осуществлял представительство интересов германских банков и электротехнической промышленности. Но во всех прочих случаях Международный банк, проводивший наиболее активную среди всех русских банков политику финансирования промышленности (в особенности металлообрабатывающей), был совершенно самостоятелен. Основные интересы Русского для Внешней Торговли банка лежали в области финансирования сахарной промышленности. Здесь не только нельзя обнаружить представительства интересов германских банков, но даже использования германских капиталов для финансирования этой отрасли. Международный банк в нужный для него момент самостоятельно вышел на парижский рынок. Русский для Внешней Торговли банк сумел привлечь французский капитал для финансирования сахарной промышленности.

Следующее за ними место занимал Азовско-Донской банк, издавна связанный с германскими банками, но в то же время еще в самом начале 900-х гг. вышедший на французский рынок. В отношении его даже Ронин допускает значительную долю независимости от иностранных банков. Русский Торгово-Промышленный банк, попавший в результате спекуляции главы Русско-Азиатского банка в руки второстепенного лондонского спекулянта, не являлся проводником каких-либо иностранных интересов.

Сибирский банк вышел на заграничный рынок благодаря спекуляции Deutsche Bank. Французские банки пытались слить его с каким-либо из банков, находившихся под французским влиянием, в целях укрепления этих банков. Однако, как уже сказано, старой руководящей группе удалось отстоять свою независимость. Позднее Сибирский банк, не меняя своих владельцев и распорядителей, работает главным образом с английскими финансово-предпринимательскими группами (на Урале, в Сибири, в нефтяной промышленности). Эта совместная работа явилась в значительной мере результатом совпадения района деятельности банка и английских групп (Урал, Сибирь).

Петербургский Учетный и Ссудный банк издавна находился в дружественных отношениях с германскими банками. Однако, подобно Азовско-донскому банку, он возглавлялся в течение 15 лет одной и той же руководящей туземной группой.

В Московском Соединенном и Петербургском Частном банках, купленных французами через посредство русского министерства финансов, участие французских капиталов было весьма велико. Но позже значительная часть акций обоих банков вернулась в Россию. Соединенный банк, имевший свой центр в Москве, значительно отличался от петербургских банков. Он гораздо сдержаннее финансировал промышленность, и операции провинциальных филиалов занимали в его балансе гораздо большее место, чем у петербургских банков.

Подводя итоги, можно сказать, что тезис о захвате иностранными и, в первую очередь, французскими банками петербургских банков, а через них русской промышленности в свете серьезного анализа не выдерживает никакой критики. Говоря о влиянии французского финансового капитала на русскую банковскую систему, обычно незаметно подменяют экономическое влияние политическим. Но это влияние вытекало в первую очередь из огромных займов, предоставленных русской казне, а также из одного уже факта широкого предоставления капитала русскому рынку. Искать же для об'яснения политического влияния включение русских банков (очевидно, экономическое) в систему французского финансового капитала столь же излишний, как и напрасный, труд. Но, разумеется, интересы русского финансового капитала были тесно переплетены с интересами различных иностранных финансово-капиталистических элементов, и нелепо поэтому ставить вопрос о сплошной «национализации» или «денационализации». Это переплетение— общее всем странам явление, ибо и самые независимые в экономическом отношении страны являются членами мирового хозяйства. Особенностью России являлась недостаточная четкость общей картины, поскольку русские элементы финансового капитала получили свое полное развитие всего лишь за несколько лет перед 1914 г.

Тенденция, наметившаяся в этот период, заключалась в усилении русских элементов, опиравшихся на огромный рост внутреннего накопления. Продолжение этих тенденций могло бы окончательно закрепить преобладающее значение русских банков в системе финансово-капиталистических отношений России.

Мировая война, благодаря отрыву от иностранных рынков и широкому финансированию промышленности за счет военных заказов, привела к переходу большого количества акций в русские руки, следовательно, как-будто усилила процесс, наметившийся до 1914 г.

Однако, весь этот процесс базировался на эмиссии бумажных денег и иностранных займах, предоставленных самому государству и ведших к закабалению страны.

Если теоретически представить себе ликвидацию мировой войны в условиях существования капиталистической России, то в результате колоссальной внешней задолженности должен был бы иметь место массовый переход акций русских предприятий в руки иностранцев. Это могло бы радикальным образом изменить картину финансово-капиталистических отношений России.

В заключение надлежит отметить, что рассмотренный выше вопрос можно считать решенным. Критика схемы Ванага, данная мной и т. Грановским, осталась по существу без ответа. В своем докладе на Всесоюзной конференции историков-марксистов т. Ванаг ограничился тем, что об'явил критику в этой части несущественной и избрал более легкое дело—критиковать некоторые «национализаторские» увлечения Грановского, в роде его

утверждения о моменте возникновения туземного финансового капитала или внешней политики последнего. Четко поставленные мною на конференции т. Ванагу вопросы: согласен ли он с ленинским определением французского финансового капитала как «ростовщического империализма» и считает ли он нужным делать вытекающие из этого определения выводы—можно ли из чего-нибудь усмотреть, что у французского финансового кипатала в России была своя французская и притом специфическая промышленная политика,—так же остались без ответа.

Приходится подчеркнуть, что если некоторые русские историки считают возможным оставаться на такой бесплодной в научном отношении точке зрения (французский финансовый капитал=германскому финансовому капиталу=английскому финансовому капиталу), то наши западные историки уже остро чувствуют необходимость работать в другом направлении. В этом смысле чрезвычайно показателен в докладе т. Лукина, прочитанном на той же конференции,—«Проблемы изучения эпохи империализма»,—тезис о необходимости конкретного изучения особенностей финансового капитала в различных странах.

II. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ

Вопрос, указанный в заголовке, относится к числу тех, которые нуждаются еще в основательном исследовании. Но все же некоторые главные линии его решения уже достаточно определились.

Необходимо различать две стороны интересующего нас сейчас вопроса. Всякая государственная власть является исполнительным комитетом господствующих классов. Но особенностью эпохи господства финансового капитала является непосредственное его сращение с государственной властью. Элементы такого сращения знают и предыдущие эпохи. Точно так же основной метод сращения—личная уния—известен задолго до эпохи финансового капитала. Но, как и в области чисто хозяйственных связей, личная уния носит характер спорадического (например английское правительство и Ост-индская компания), а не универсального явления. Как далеко успел зайти этот процесс в России и каковы были особенности использования финансовым капиталом в своих интересах этого сращения с властью в России? Кроме того, Россия была ареной действия иностранного финансового капитала. Последний не срастается с туземной властью, но поскольку он действует в отсталых странах, он подчиняет себе эту власть. Как же сложились эти отношения в России? Это—первая сторона вопроса.

В странах, где уже господствует промышленный капитал, по мере развития финансового капитала, последний постепенно и беспрепятственно завладевает властью. Иначе складываются отношения в странах, где финансовый капитал возникает, когда промышленный еще не успел притти к власти.

Основной и руководящий элемент финансово-капиталистического сращения на ранней стадии его развития—банки—обладают величайшей политической приспособляемостью. Они могут сращиваться с такой властью, которая мало или во всяком случае еще недостаточно выражает интересы финансового капитала. Но, разумеется, самый факт этого сращения в сильнейшей степени содействует тому, что власть все больше становится выразителем интересов финансового капитала. В какой мере крепостническое самодержавие сумело стать выразителем интересов финансового капитала? Такова вторая сторона вопроса.

Только учтя описанные выше разные стороны вопроса и особенности русской исторической обстановки, можно правильно наметить некоторые основные линии взаимоотношений финансового капитала с государственной властью. Изолированное рассмотрение одной части приводит неизбежно к односторонним выводам, к каким например пришел т. Ронин, рассматривая только взаимоотношения власти с иностранным финансовым капиталом, или же к абстрактному и бессодержательному выводу т. Ванага.

> «С развитием капиталистических отношений в пореволюционной (1905 г.) России социальное содержание самодержавия, делая еще шаг в сторону буржуазную, остается крепостническим. Крепостнический характер государственной власти отрицает возможность сращивания финансового капитала с царизмом, а последнее ставит под сомнение существование национальной системы финансового капитала» (из тезисов Ванага к докладу на Всесоюзной конференции историков-марксистов, тезис 9. Разрядка моя — *И. Г.*).

С вступлением России в период развития промышленного капитала, основное противоречие власти, выросшей на иной социальной основе, заключалось в необходимости для собственного экономического укрепления всячески содействовать процессу индустриализации страны. Это противоречие власть пыталась разрешить следующим образом: никаких уступок там, где это затрагивает ее как выразителя определенных социальных интересов, но зато сколько угодно денег. Такое решение имело за собой солидные исторические традиции. Во многих отраслях промышленности первыми ее пионерами были дворяне, смотревшие на казенный сундук, как на свою общую собственность. (Ключи от него, правда, находились у полновластного, но зато милостивого распорядителя, к тому же чувствовавшего себя только «первым дворянином»). К этому сундуку имели доступ и пионеры из представителей торгового капитала.

Зарождение промышленного капитала в других странах также происходило не без усиленной поддержки абсолютной монархии. Но нигде политика казенной поддержки не приняла такого широкого и длительного ха-

рактера, не сохранилась так, как в России, почти в неприкосновенности, уже после того, как промышленность твердо стала на ноги.

Здесь достаточно указать на общеизвестные факты. История железнодорожного строительства, металлическая промышленность, родившаяся и развивавшаяся под звездой казенных заказов, постоянное субсидирование целых отраслей, в роде винокуренной и сахарной промышленности, или отдельных предприятий, попавших в тяжелое положение, например целая система внеуставных ссуд из Государственного банка после кризиса 1900 г.,— все это разные стороны одного и того же твердо усвоенного государством принципа. Но стоит особо подчеркнуть, что и в последний, наиболее зрелый период развития русского хозяйства — промышленный под'ем 1909—13 гг.—в этой области все остается по-старому.

Приведу только один яркий пример. В последние годы перед войной в области железнодорожной политики правительство опять повернуло в сторону частного строительства. Одной из важнейших линий, которую предполагалось тогда строить, являлась Южно-сибирская. Первоначально она проектировалась в качестве казенной, и стоимость ее была определена в 86 млн. руб. Но потом было решено передать ее частным лицам. Из появившихся 12 соискателей совет министров выбрал В. Ф. Трепова, по проекту которого линия должна была обойтись в 116 млн. руб. Сам. В. Ф. Трепов никогда железнодорожными делами не занимался и передал концессию банкам. Облигационный капитал организуемого общества должен был быть собран путем консолидированного займа, выпускаемого правительством. В сущности, банкам оставалось только «выкроить» из 116 млн. руб. облигационного капитала еще 10 млн. руб. акционерного капитала. В качестве строителя был намечен крупный чиновник путейского ведомства, который, естественно, привлек бы из среды своих бывших подчиненных основной технический персонал для строительства. Так изображает Мигулин в своем журнале всю эту операцию [1].

В этом примере выпукло выражены все черты русской казенной политики. Частная железная дорога снабжалась по существу капиталом со стороны государства. Строительство, как утверждает Мигулин, должно было производиться теми же самыми лицами, которые вели бы его, в случае, если бы за осуществление его взялась сама казна. Но... В. Ф. Трепов—близкое к сферам лицо и к тому же брат министра путей сообщения. А главное, за его спиной стоят крупнейшие банки, для которых вся эта операция чрезвычайно выгодна и притом не связана почти ни с каким риском.

Можно смело сказать, что банки были среди других опекаемых любимым детищем правящей бюрократии. Медленное и мучительное развитие частной кредитной системы в первые 30 лет ее существования происходило

---

[1] «Новый экономист», 1914, № 25, статья «Когда же новый порядок?».

при непрерывной и сильной поддержке со стороны Государственного банка. Государственный банк явился одним из учредителей первого акционерного коммерческого банка в России в 1864 г. До середины 70 гг. даже не ставился вопрос о том, что Государственный банк должен оказывать другим банкам поддержку главным образом в моменты затруднений и то лишь в известных пределах. Но и после того, как этот принцип политики центральных банков других стран был в теории усвоен руководителями нашего Государственного банка, они продолжают на практике постоянно от него отступать. В 1876 г. при первом крупном в России банковском крахе Государственный банк принимает на себя все последствия краха и берется даже за самую ликвидацию банка. После кризиса 1900 г. Государственный банк организует интервенционный синдикат для поддержания курсов ценных бумаг, получивший характерное название «биржевого красного креста». Далее он входит в управление «крахнувших» банков, вкладывает в них огромные средства, производит за свой счет своеобразное санирование трех главных поляковских банков, организует новый банк—Соединенный—и возвращает к жизни эти в конец обанкротившиеся учреждения. Петербургско-Азовский банк ликвидируется также при ближайшем участии Государственного банка. После потрясений, испытанных кредитной системой в 1905—1906 гг., наступает полоса бурного развития русских банков, превращавшихся в мощные и устойчивые хозяйственные организмы. В этот период Государственный банк начинает развиваться, по крайней мере, в части своих операций в сторону превращения в банк банков. Переучет и перезалог векселей частным банкам возрастает с 44 млн. руб. на 1 января 1910 г. до 245 млн. руб. на 1 января 1914 г., тогда как непосредственный учет—с 185 млн. рублей до 350 млн. руб.

Следует особо подчеркнуть, что этот переход не произошел обычным на Западе естественным путем. Центральные банки на Западе с самого своего возникновения были, прежде всего, банками эмиссионными. Это сразу устанавливало известные границы развитию их чисто кредитных операций. Широкое привлечение ими краткосрочных ресурсов (текущие счета), востребование которых могло повлечь за собой отлив золота, никогда не считалось особо желательным. В результате эти ресурсы скоплялись в частных банках и вели к огромному росту последних. Эти банки получили возможность оказывать более дешевый кредит и стянули к себе лучшую часть векселей. Осторожный подход к подбору вексельного портфеля, обычно обеспечивающего часть эмиссии, и вытекающее отсюда требование третьей подписи на векселе также содействовали процессу превращения центральных эмиссионных институтов в банки банков своей страны.

Все эти причины не играли особой роли в России. Государственный банк стал эмиссионным лишь с момента денежной реформы 1897 г. Получив право выпуска непокрытых банкнот, он реально его не использовал, и рус-

ские кредитные билеты до самой войны 1914 г. оставались золотыми сертификатами. Отказавшись с 1889 г., подобно западным банкам, от привлечения процентируемых текущих счетов, Государственный банк имел крупнейший источник для активных операций в виде крупной казначейской наличности, т. е. чрезвычайно устойчивого рессурса, отлива которого не приходилось особенно опасаться. Денежный рынок страны, даже в последние годы перед войной, нельзя характеризовать как богатый. Учетная ставка Государственного банка была всегда в России, в отличие от Запада, дешевле частного дисконта. Ранняя концентрация банков в России имела следствием недостаточное обслуживание некоторых специальных потребностей в кредите, и поэтому у Государственного банка до самого конца оставались специфические задачи в этой области (хлебная торговля, «захолустье», где недостаточно была развита кредитная сеть и т. д.). Государственный банк имел значительный круг мелкой клиентуры, которая нигде в другом месте не могла получить столь дешевого кредита. (Крупная клиентура, несмотря на более высокие ставки в частных банках, пользовалась там льготными условиями кредита, и подчас даже платила по вексельным кредитам ниже ставки Государственного банка).

В этих условиях довольно таинственный вид приобретает взятый Государственным банком курс на переход на позицию банка банков. Едва ли могут служить достаточным об'яснением те или иные теоретические взгляды, усвоенные руководителями Государственного банка. А. И. Буковецкий[1] например считает достаточным указать на воззрения руководителей совета банков, стремившихся, вопреки министру финансов, кредитовать в первую очередь торговлю и развивать преимущественно краткосрочные вексельные кредиты, в особенности переучет, как это подобает эмиссионному учреждению. Но Буковецкий не подчеркивает главного,—что об'ективные результаты этих стремлений шли в первую очередь на пользу крупнейшим акционерным банкам. Увеличение за 4 года переучета на 200 млн. руб. означало прежде всего освобождение их рессурсов из кредитования торгового оборота и возможность направить их на финансирование промышленности. В то же время это означало, при отсутствии органических причин для перехода на позицию банка банков, прямой подарок акционерным главным образом крупнейшим банкам, так как учет векселей производился последними по более дорогой ставке и переучет в Гос. банке—по более дешевой, и вело к сокращению возможностей кредитования типичной для Государственного банка более мелкой клиентуры.

Это станет еще более ясным, если учесть, что Государственный банк оказывал усиленную поддержку частным банкам, не имеющую ничего общего с нормальной политикой эмиссионного банка. Еще задолго до первого серьез-

---

[1] «Вестник финансов» 1925, № 9.

ного биржевого напряжения за период 1909—14 гг. (сентябрь 1912 г.) Государственный банк предоставил акционерным банкам значительные кредиты в форме онколя под ценные бумаги: 80 млн. руб. на 1/I 1911 г. и 127 млн. руб. на 1/I 1912 г. От пополнения оборотных средств банков путем залога принадлежащих им гарантированных ценных бумаг, частью бумаг запасного капитала, был лишь один шаг к всемерному снабжению их средствами из государственных источников (сотни млн. руб. вкладов казны в заграничных отделениях русских банков, вкладов от железно-дорожных займов). Размах этих операций, как известно, становился все шире с приближением конца промышленного под'ема, когда за исчерпанием банковых рессурсов тенденции падения биржевых курсов становились все более угрожающими. В 1912 г. Государственный банк, вопреки «новому курсу», вновь организует интервенционный «биржевой красный крест», и последний действует за его счет и под его руководством вплоть до войны 1914 г.

Таким образом Государственный банк вовсе не шел к тому, чтобы стать хранителем золотого запаса и последним прибежищем других банков в моменты кризиса. Об'ективно и стремления совета, и политика единоличного хозяина банка—министра финансов—вели к одному: к возложению на Государственный банк совершенно несвойственных центральному эмиссионному институту задач—быть опорой и резервом крупнейших акционерных банков в их деятельности по финансированию промышленности и других предприятий.

Нетрудно понять, почему именно банкам казенное покровительство оказывалось в особенно широких размерах. Интересы бюрократии, управлявшей государством, могли всего теснее сращиваться именно с интересами банков. Уже в первые годы существования акционерных банков в России в их правлениях фигурирует ряд чиновников Государственного банка, министерства финансов и даже других министерств [1].

К 1914 г. руководящие места во всех крупных петербургских банках принадлежат бывшим чиновникам министерства финансов. Председатели правлений Русско-Азиатского, Русского для Внешней Торговли, Международного и Торгово-Промышленного банков (четырех из пяти самых крупных банков в России) пришли в банки либо из кредитной канцелярии Министерства Финансов, либо из Государственного банка [2]. Ряд других членов правлений, а также руководящие лица в более мелких банках начали равным образом свою карьеру в министерстве финансов. Отсюда легко становится понятным особое расположение министерства финансов к некоторым банкам, например, к

[1] Ср. И. И. Левин, Акционерные коммерческие банки в России, 1917, с. 232—234.

[2] В четвертом и шестом по размеру банках—Азовско-донском и Сибирском, перебравшихся в Петербург из провинций около 1902—4 гг., во главе остались те же провинциальные по происхождению группы, мало связанные с министерством финансов.

Русско-Азиатскому: во главе последнего и ранее во главе его предшественника—Русско-Китайского банка стоял бывший близкий сотрудник министра финансов. Однако интересы правящей бюрократии гораздо шире переплетались с интересами банков, чем можно даже судить по указанным выше фактам личной унии. Лучше всего об этом свидетельствует пример биржевой интервенции 1912—14 г.

«Сползание» курсов в 1913—14 г. было обусловлено близким исчерпанием промышленного под'ема, и, может быть, близостью кризиса, а также тревожной политической атмосферой в связи с уже чувствовавшимся приближением войны. Официозная пресса никак не могла «понять» падения курсов при продолжающемся промышленном под'еме. Отсюда создается официальная теория о злостных «понижателях», борьба с которыми, якобы, может изменить наметившуюся биржевую тенденцию, и таким образом подводится идеологическая основа под биржевой «красный крест».

Упорно проводимая вплоть до начала войны интервенция интересна не только как яркий пример традиционной политики неумелого вмешательства бюрократии в хозяйственную жизнь страны и ее стремления вносить свои «поправки» за счет казенного сундука в пользу капиталистической верхушки страны. Более существенно в данной связи, что интервенция не в малой степени была обусловлена своеобразным сращением правящей верхушки с верхами финансовой буржуазии. Эта связь не являлась секретом для современников. «Зарвавшиеся игроки, в числе которых всегда есть много лиц высокопоставленных и влиятельных, всячески поддерживали эту политику (подразумевается интервенция) финансового ведомства», пишет Мигулин [1]. Еще более резко ставится вопрос в том же журнале в статье члена думы Титова, содержащей прозрачные намеки: «Разве история не знает случаев, когда жены министров и сами министры делались бланкистами» и т. д.

С отставкой Коковцова и приходом Барка (из Волжско-камского банка, стоявшего вдалеке от финансирования промышленности и спекуляции на дивидендных бумагах) возвещается прекращение биржевой интервенции. Однако, спустя короткое время она возобновляется с новой силой [2].

В эти сложившиеся между банковскими заправилами и правящей бюрократией отношения с 1900-х гг. стал вклиниваться иностранный финансовый капитал. Последний не мог широко не использовать основной особенности правительственной хозяйственной политики.

В сущности, с самого начала иностранный капитал устремился как-раз в те отрасли, которые пользовались усиленной казенной поддержкой: в железнодорожное строительство, банки и металлическую промышленность. После кризиса 1900 г. французский капитал впервые пытается возложить на

[1] Мигулин, «Новый экономист», 1914, № 23.

[2] Весь этот любопытный эпизод надлежало бы расследовать во всех подробностях.

русскую казну ответственность за понесенные им убытки, но вначале лишь с частичным успехом [1].

Иное положение создалось после 1905 г. Пошатнувшийся кредит русского правительства, а также жизненная для него необходимость привлечь иностранные капиталы для оживления промышленности (ибо при создавшемся положении продолжение хозяйственной депрессии становилось для правительства политически опасным) сделали министерство финансов гораздо более уступчивым. Кроме того, на этот раз министерство столкнулось уже не с многочисленными просьбами отдельных лиц, а с организованной волей крупнейших французских банков. Еще в прежние годы верное своей политике министерство финансов сохранило за собой руководство Русско-Китайским банком после того, как акции его были проданы французским банкам. Когда этот банк очутился в 1907—8 гг. накануне банкротства, французские банки поставили вопрос об ответственности министерства финансов. Они указывали министру на неблагоприятное влияние, которое может иметь на курс русских государственных и других бумаг на парижской бирже банкротство банка, на невозможность дальнейшего притока французских капиталов в Россию и т. д. С этого времени министерство финансов приняло на себя перед французскими банками гарантию за их капиталы, вложенные в русские банки. К эксплоатации русской казны в качестве непосредственного заемщика на французском рынке прибавилось совместное выкачивание средств русскими и французскими банками из казенного сундука, своеобразная общность интересов на почве международных банковских операций. Эта сторона вопроса весьма четко показана в работе Ронина.

Но ошибка Ронина заключается в следующем:

Ронин постулирует хозяйничание иностранных банков в русских и анализирует весь вопрос под тем углом зрения, насколько министерство финансов могло препятствовать такому хозяйничанью. Как было показано

---

[1] Вот в каких выражениях сообщает об этом Витте во всеподданнейшем докладе 1901 г.:

«... мелкие французские капиталисты... в погоне за быстрой наживой скупили паи и акции сомнительных предприятий, основанных в России, и облигации исключительно с целью спекуляции. Когда эти предприятия, не обеспеченные оборотными средствами, созданные без всякого коммерческого расчета, управляемые нехозяйственным образом, стали клониться к упадку, ко мне начали поступать настойчивые ходатайства о выдаче из русского Государственного банка ссуд для их поддержания. В подобных ходатайствах пришлось систематически отказывать... Когда возник вопрос о поддержке одного из наиболее крупных финансируемых ими в России предприятий—Брянского завода, то мне пришлось считаться с таким настойчивым ходатайством французского министра финансов, что для сохранения добрых отношений с французским правительством я признал за лучшее оказать в виде исключения поддержку названному заводу...» («Красный архив», 1925 т. X, с. 38).

выше, этот постулат является неверным. Следовательно, вопрос о том, могло или не могло министерство финансов препятствовать господству иностранных банков над русскими, не может ничего доказать. В то же время Г. Ронин, рассматривая интересующую нас проблему только в такой ее служебной постановке, рисует ее несколько односторонне. Вырвав вопрос из рамок общей политики казенной поддержки, Ронин невольно создает впечатление, что именно благодаря своей власти иностранные банки могли особенно широко эксплоатировать русскую казну. На самом же деле эти факты ничем принципиально не отличаются от субсидирования русских банков и предприятий и даже не выделяются по своему размаху по сравнению, например, с «санированием» поляковских банков, которое стоило казне много миллионов рублей (в прессе того времени «подарок Полякову» оценивался в 25 и даже 50 млн. руб.).

Наконец, Ронин чрезмерно заостряет отдельные факты эксплоатации. Так, держание за границей крупных казначейских сумм отнюдь нельзя рассматривать под углом зрения эксплоатации. Правильна или неправильна была эта политика—вопрос иной, и нет возможности рассматривать его в данной связи. Даже, если считать «золото за границей» непроизводительным расходом для народного хозяйства, то этот расход во всяком случае не более «непроизводителен», чем чрезмерно большая золотая наличность в подвалах Государственного банка. Это сопоставление показывает, что здесь не приходится говорить только об одних интересах иностранных банков. Равным образом, ничего не говорит в этом отношении высота процентов, платимых заграничными банками по вкладам русского казначейства. Ронин сравнивает проценты по вкладам кредитной канцелярии во Франции (около 3%) с учетным процентом Государственного банка в России (около 6%). Кроме того, Ронин забывает, что в некоторых случаях высота процента по вкладам являлась одним из условий выпуска самих займов, ибо по договорам выручка от займа должна была нередко оставаться в известной части и в течение определенного срока на вкладах во французских банках из заранее обусловленного процента. Тем самым очевидно процент по вкладам должен быть включен в стоимость займа. Это полностью об'ясняет поразившую Ронина комбинацию, когда железнодорожный заем был оставлен на вкладках во французских банках из 1%, а французские банки предоставили те же средства русским банкам из 4½%, положив себе разницу в карман одним росчерком пера в бухгалтерских книгах. Этот факт свидетельствует не о власти французских банков, благодаря их участию в капиталах русских банков, но является только составной частью той системы ростовщической эксплоатации русской казны, о которой говорилось выше.

Русская казна действительно «платила дань» французским банкам, и те имели возможность оказывать непосредственное или даже политическим путем давление на министерство финансов. Рассуждая теоретически, отно-

шения могли бы сложиться иначе, если бы французское хозяйство и интересы французской промышленности за границей носили иной характер. Но французский финансовый капитал активно выступал за границей в узкой области военной промышленности. Здесь «за неисправных контрагентов русского правительства (французов) вступалось даже иногда, как кажется, французское правительство, вступалась биржа... и мы часто вынуждены были уступать, принимать то, что было забраковано, платить за то, что не было исполнено. Такие вещи допускались не только в отношении казенных заказов, но и по отношению к частным обществам (нашумевшее дело Туапсинского порта)» [1].

Правда, и в этой области нажим имел известные границы. При постройке царицынского артиллерийского завода концессия была дана в виду изложенных выше обстоятельств не Крезо-Шнейдеру, предложившему наиболее выгодные условия, но английской фирме Виккерс.

Таким образом сращение русских банков с правительственным аппаратом страны и общность интересов русских и заграничных банков привели к широко поставленной эксплоатации казны в интересах русского и иностранного финансового капитала. Так, взращенный с помощью традиционной правительственной политики русский финансовый капитал *сумел оказываемую милостью начальства поддержку превратить в почти-что обязательную дань государства.*

Но в предыдущем изложении дан материал и для освещения того, сумело ли царское правительство сделаться выразителем интересов финансового капитала. Я не берусь в настоящее время ответить на вопрос, как далеко успел зайти этот процесс в России. Ибо, мне думается, нельзя дать на него правильного и точного ответа до исследования под этим углом зрения экономической политики правительства, в особенности в отношении отдельных участков русского монополистического капитализма. Но можно уже сказать нечто определенное в отношении банковской верхушки русского финансового капитала.

М. Н. Покровский как-то указал, что Витте для своего времени выражал интересы промышленного капитала, и, можно добавить, для современной ему стадии развития финансового капитала—интересы последнего. Надо сказать, что и после ухода Витте министерство финансов осталось представителем интересов промышленного и финансового капитала внутри самого правительства.

Выше было дано краткое описание политики Государственного банка. Ее следует оценивать не только под углом зрения традиционной казенной поддержки и постепенного сращения интересов банков и бюрократии. Даже в биржевом под'еме и последующей интервенции нельзя видеть одну лишь

---

[1] «Новый экономист», 1914, № 4, статья «Крупп и Шнейдер».

спекуляцию, махинации действующих лиц и т. п. Это значило бы сбиваться на путь мелкобуржуазной критики, не видящей часто за специфическими формами финансового капитала происходящих экономических процессов. Укрепляя всячески традиционными путями крупнейшие акционерные банки, министерство финансов в период промышленного под'ема само было втянуто в тот процесс максимального вложения ресурсов денежного рынка в основные капиталы, который являлся основной «установкой» банков в этот период; втянуто гораздо дальше, чем этого хотелось министерству: и в поддержку все больше развивавшейся перекапитализации. В этом обстоятельстве свою роль сыграло не только описанное выше сращение и подчинение министерства, но и политическая спекуляция на промышленном под'еме самодержавия, не хотевшего примириться с мыслью, что под'ем подходит к концу.

С этой оговоркой можно считать, что министерство финансов было выразителем и представителем интересов русского финансового капитала.

Отметим еще одно существенное обстоятельство. Несмотря на резко отрицательное отношение аграриев к синдикатам, власть относилась к ним достаточно сочувствено и во всяком случае вполне терпимо. Этому утверждению как будто противоречит дело «Продугля», которое часто приводится в подтверждение обратного. Такая аргументация не учитывает всего своеобразия инцидента между синдикатом и правительством. В 1914 г. в своих столкновениях с финансовым капиталом правительство уже чувствовало, что хотя оно и является распорядителем столь привлекательных для финансового капитала казенных денег, но уже далеко не свободным в своих действиях полновластным их хозяином. В отдельных группах буржуазии в это время заходят разговоры о власти. И вот правительство решило дать бой за свой авторитет. Эффект был неожиданный—вокруг «Продугля» под лозунгом: «мы можем обойтись без чиновника», сплотилась вся крупная буржуазия, даже ее фракции, не особенно дружественно настроенные к иностранному капиталу. Поэтому дело «Продугля» ни с какой стороны не может характеризовать отношения правительства к синдикатам.

В заключение этого параграфа—маленькая политическая иллюстрация сказанного о банках и министерстве финансов. В 1910 г. товарищ министра внутренних дел, небезызвестный Курлов, пишет министру финансов следующее. По сведениям министерства внутренних дел управляющий одним из филиалов Азовско-Донского банка, близкий родственник председателя правления банка, совершил одно из тех уголовно наказуемых, но никогда до суда не доходящих дел, которые обычны в практике руководящих кругов капиталистических предприятий (спекулировал в собственных интересах, потерял банковские деньги и списал с прибылей отделения). По сведениям министерства внутренних дел, Азовско-Донской банк усиленно финансирует кадетскую партию. Министерство внутрених дел полагает, что министерство финансов могло бы намекнуть на щекотливое дело, предложить банку пре-

кратить указанную противоправительственную деятельность. Коковцов коротко ответил, что не считает возможным принять какие-либо меры в этом направлении. Министерство внутренних дел на этом не успокоилось. Через некоторое время в следующем письме сообщается, что Азовско-Донской банк через члена правления А. И. Каминка (известный профессор гражданского права) широко финансирует провинциальную кадетскую прессу. Это сопровождается просьбой о принятии мер воздействия на банк. Ответа Коковцева на это письмо в деле нет. Его реакция выразилась только в нервной пометке карандашом: «Что же я могу сделать?»[1]. Получается весьма живописный треугольник. Единственный невернопbriподданный банк («еврейский»), предпочитает по политической линии сращиваться с кадетской партией, где все более крепко финансово-капиталистическое крыло (группа Струве). Следует грозный окрик начальства в лице той части правительственного аппарата, которая являлась наиболее чистым выразителем социальной сущности самодержавия. Окрик разбивается о глухую стену—представительство интересов финансового капитала внутри того же правительственного аппарата.

III. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Вопрос о том, в какой мере империалистическая политика России выражала интересы финансового капитала, является весьма сложным и мало еще исследованным. Как хорошо показал в своих работах М. Н. Покровский, внешняя политика царской России в основном двигалась интересами торгового капитала. Но дальше почему-то М. Н. Покровский считает нужным примирить этот вывод с тем, очевидно, невозможным на его взгляд положением, что интересы торгового капитала доминировали во внешней политике страны со сложившейся системой монополистического капитализма. Противоречия, по мнению т. Покровского, нет лишь в том случае, если система финансового капитала в России была системой ненациональной. С этой точки зрения ему и представляется наиболее убедительной схема Ванага, отрицающая начисто существование в России национальной системы финансового капитала.

Разумеется, нельзя недооценивать влияния иностранного финансового капитала на внешнюю политику страны, где правительство является в огромных размерах его должником, и с ним же тесно связаны интересы верхних слоев финансовой и, отчасти, промышленной буржуазии. Но если только попытаться непосредственно из тезиса о ненациональном характере финансового капитала России делать выводы о движущих силах ее внешней политики, то неизбежны те грубые несообразности, до которых договорился Гольман. Последний об'являет, что зависимость России от иностранного финансового капитала была того же типа, что зависимость Испа-

[1] Архив кредитной канцелярии, III стол, Дело сек.

нии или Португалии. Его совершенно не смущает, как же быть тогда с экспансией России в сторону проливов, весьма неприятной для одного «хозяина»—французского финансового капитала, или с устремлением в сторону Персии, еще более неприятным для другого «господина»—английского империализма.

Но и для энтузиастов другого лагеря, в роде Грановского, камнем преткновения служит вопрос о роли интересов финансового капитала во внешней политике России. Ибо они также считают, повидимому, невозможным преобладание торгово-капиталистических интересов во внешней политике страны со сложившейся системой финансового капитала. А кроме того им необходимо найти во что бы то ни стало в чистом виде все признаки империализма.

Поэтому Грановскому нужно обязательно доказать империалистический характер русско-японской войны: империалистический в ленинском смысле, точнее, в том смысле, который вложил Ленин в понятие «империализм» в своей одноименной работе, а не в том, в каком он его употреблял в других работах («военно-феодальный империализм» России). Здесь Грановский, опираясь на т. Томсинского, указывает, что в период тяжелой депрессии начала девятисотых годов китайский рынок был важен для металлургии, а также для нефтяной промышленности (здесь, правда, Грановский оговаривается: как п о т е н ц и а л ь н ы й рынок). Кроме того, повидимому, Грановский вместе с Томсинским считает весьма показательным то обстоятельство, что «войну фактически вел Русско-Китайский банк». Как это ни странно, гораздо хуже обстоит дело у Грановского с войной 1914 г., в которой решающую роль играли империалистические интересы в ленинском смысле и в которую Россия вступила с сложившейся системой финансового капитала. Здесь для характеристики империалистических интересов России Грановский может сослаться только на одного французского автора, утверждавшего, что «истинными творцами стремления России к Константинополю являются промышленники Донецкого бассейна». К ним Грановский от себя добавляет еще нефтепромышленников.

Во всех этих суждениях Грановского обращает на себя внимание то обстоятельство, что он гораздо увереннее говорит об империалистических интересах России в русско-японской войне, чем в войне 1914 г. «П о с к о л ь к у Россия в мировой войне преследовала капиталистическо-империалистические цели, это были в п е р в у ю о ч е р е д ь цели русского финансового капитала» и т. д. (разрядка моя), а в конце статьи он говорит: «Тесное переплетение интересов русского финансового капитала с интересами помещичьего класса было причиной того, что Россия приняла участие в мировой войне».

Но у Грановского в этом случае меньше уверенности как-раз потому, что ему удается обосновать свою точку зрения гораздо лучше именно в от-

ношении русско-японской войны. Здесь ему приходит на помощь последовавшая за кризисом 1900 г. депрессия. Довольно слабые в обычное время интересы русской металлургии к внешним рынкам могли в этот период усилиться. Но суть вопроса не в тех нескольких фактах, которые может привести Грановский,—если бы он привел еще несколько, его аргументация отнюдь не стала бы убедительнее,—а в том значении, которое он им придает, в удельном весе констатируемых им явлений среди других определяющих мотивов русской внешней политики. Известный тон интересы финансового капитала ей конечно давали точно так же, как и интересы чисто промышленного капитала (например, в Персии). Но все это не тот основной тон, который, как известно, делает музыку.

Вся та политика, которая логически привела к русско-японской войне, началась задолго до кризиса 1900 г., когда русской металлургии еще не приходилось думать о внешнем рынке. Уже по одному этому можно говорить лишь о том, что интересы металлургии могли вплетаться в какие-то более существенные и определяющие явления. Далее, всякое расширение хозяйственной территории страны—желательное явление с точки зрения интересов ее промышленности (потенциальные рынки). Но это еще вовсе не означает, что интересы промышленности на данной стадии ее развития повелительно требуют такого расширения территории. Ведь, очевидно, возобновление широкого железно-дорожного строительства внутри страны устроило бы русскую металлургию в тот момент не хуже, чем железно-дорожное строительство в Манчжурии. А капиталы в России для этой цели отсутствовали бы в обоих случаях. С этой точки зрения следует еще показать, что мог дать китайский рынок русской металлургии не в потенции, а реально в данный исторический период (в потенции и русский рынок обещал достаточно много). Скорее, может быть, Грановскому следовало бы обратить внимание на то, что металлургия и, в еще большей степени, металлообрабатывающая промышленность от войны обычно выигрывают. Отсюда ясно, что, независимо от своих прямых целей, война могла отвечать интересам некоторой части русской промышленности и именно монополизированной промышленности. Но в этом случае ее интересы носят уже явно производный характер.

Не спасает положения и аргумент от Русско-Китайского банка. Колониальные банки в большинстве стран появляются раньше, а где и задолго до эпохи финансового капитала. Таким колониальным банком в своеобразном для России преломлении являлся Русско-Китайский. Вплоть до своего слияния с Северным банком Русско-Китайский банк не имел серьезных связей с промышленностью. Ведь, Грановскому, давшему длиннейший список промышленных предприятий, связанных к 1900 г. с русскими и иностранными банками, должно быть хорошо известно, что Русско-Китайский банк там ни разу не фигурирует.

Продолжив мысли Грановского—Томсинского (обнаружен банк—значит, налицо и финансовый капитал), можно, например, договориться до следующего. Если определяющим моментом русской внешней политики являлись интересы хлебного экспорта, а банки этим делом занимались, то, следовательно, тем самым интересы финансового капитала и определяли эту политику. Но торговля является почтенной и древней отраслью деятельности банков, корни которой восходят гораздо дальше времени появления первых подобий финансово-капиталистических сращений. В эпоху финансового капитала торговая деятельность банков может стать одним из элементов финансово-капиталистического сращивания, поскольку она имеет дело с промышленным сырьем или продукцией. Но в области хлебной торговли банки выступают в качестве торгово-капиталистических органов. Наконец, по сравнению с другими их интересами, интересы русских банков в этой области были не так уже значительны.

Не более убедителен последний аргумент Грановского [1]. Экспорт угля и металла с юга России к 1914 г. все еще не вышел в значительной мере из состояния потенции. Единственной серьезной отраслью экспорта была нефть. Здесь и можно говорить о в п л е т е н и и (а отнюдь не п е р е п л е т е н и и) интересов некоторых финансово-капиталистических групп в определяющие интересы торгового капитала, помещиков и правящей бюрократии. Насколько мало ведущий элемент русских финансово-капиталистических сращений—банки—был заинтересован в этой внешней политике, показывает следующий факт.

В первой половине 1914 г., когда газеты взяли уже воинственный тон по отношению к Германии и шла ожесточенная газетная перепалка по поводу готовящегося пересмотра торгового договора, банки были чрезвычайно миролюбиво настроены по отношению к центральным державам. В это время директор кредитной канцелярии созвал совещание банков по вопросу о продолжении биржевой интервенции. Но банки довольно холодно отнеслись на сей раз к этой любезной их сердцу деятельности и нашли необходимым подчеркнуть, что трудно ожидать на бирже хорошей погоды, пока правительство ведет свою антипромышленную линию («Продуголь»), а газеты трубят тревогу, тогда как банки в своей деятельности тесно связаны с банками Германии и Австрии [2].

---

[1] Об'ективности ради надо сказать, что и в этом вопросе далеко заводит Грановского полемическая установка его статей. Удачно доказывая, что «смешно было бы думать, что цель захзата Константинополя и проливов, из-за которого Россия вступила в войну, была поставлена перед ней французским финансовым капиталом», он перегибает палку в сторону русского ф и н а н с о в о г о капитала.

[2] К сведению Ванага и других: в этой заметке ничего не говорится о разделении банков в совещании на два лагеря, и если даже предположить, что заявление исходило от «германских» банков, то где же резкий протест русской агентуры французского и английского капитала?

Иначе говоря, интересы сращенной с русскими банками промышленности не требовали от них иной позиции, а их чисто кредитные операции (и в частности, заграничные кредиты), могли только пострадать от войны.

Как же могло случиться, что в эпоху финансового капитала в стране с сложившейся системой монополистического капитализма определяющую роль в ее внешней политике играл «военно-феодальный империализм»?

Об'яснение этому, как мне кажется, следует искать в своеобразии исторической обстановки, в которой сложилась русская система финансового капитала, и в некоторых специфических особенностях самой этой системы, которые условно можно назвать чертами ее незрелости.

Своеобразие исторической обстановки надо видеть в том часто и основательно забываемом факте, что колониальные территории уже находились в составе страны к моменту зарождения финансового капитала и далеко еще не были освоены последним даже к 1914 г. Поэтому у русского монополистического капитализма в ц е л о м не могло быть заинтересованности в активной внешней политике, и только отдельные группы финансового и промышленного капитала могли иметь иную позицию. О втором из указанных моментов придется сказать гораздо подробнее.

IV. ПРОТИВОРЕЧИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА РОССИИ

Развиваясь в определенной исторической среде, система монополистического капитализма приобретает известные специфические особенности.

Прежде всего, в зависимости от общего характера экономики страны, в которой складывается данная конкретная система финансового капитала, отдельные характерные для всякой системы признаки получают неодинаковое развитие (наиболее яркий пример—отсутствие экспорта капитала в русской системе). А затем, в зависимости от отношений, складывающихся между носителями финансового капитала, с одной стороны, и дофинансово-капиталистических форм, с другой,—эти признаки получают особые очертания.

Складывающиеся под влиянием указанных причин методы финансово-капиталистического сращения имеют далеко идущее влияние на другие экономические связи в стране. Банки являются не только важнейшей составной частью финансово-капиталистического сращения, но и органами, осуществляющими, в своей кредитной в широком смысле работе, другую важнейшую народнохозяйственную функцию. Типичная для России гипертрофия банковских интересов внутри финансово-капиталистического сращения накладывала определенный отпечаток на всю кредитную деятельность банков как в части хозяйства страны, непосредственно входящего в сферу господства финансового капитала, так и в части, не включенной в эту сферу. Эта же гипертрофия частично вела к отказу от включения в сферу господства финансового капитала целых отраслей промышленности и тем самым оказывала значительное влияние на их развитие.

Изложенные моменты были мною недостаточно учтены в моей первой работе и теперь подробнее исследованы в статье «Банки, кредитование и финансирование промышленности с 1887—1927 г.»[1]. Здесь, поэтому я могу ограничиться только конечной оценкой деятельности банков в области кредитования торгового оборота и промышленного кредита в тесном смысле этого слова.

Отсталые формы широкого торгового оборота в России и, в частности, складывавшихся в нем кредитных отношений представляли разительный контраст с господствовавшими передовыми формами финансового капитала; ранняя концентрация банкового дела привела к тому, что обслуживание кредитных нужд торгового оборота в основном ложилось на главных носителей финансово - капиталистических отношений — крупнейшие петербургские банки. В их деятельности в этой области надлежит отличать количественную и качественную сторону. Довольно распространенное среди современников мнение, что другая сторона их деятельности, концентрирующаяся главным образом в столице,—финансирование промышленности, привела к известному обескровливанию провинции и недостаточному снабжению средствами широкого торгового оборота,—в общем не подтверждается. В период максимального развития операций по финансированию (1911—1914 гг.), петербургские банки оставляли в провинции все собранные там огромные средства и даже несколько пополняли их за счет средств центра. В общем и целом в течение всего этого периода не было никакого стеснения в кредитном обслуживании нужд торгово-промышленного оборота.

Но чего нехватало в этой области деятельности крупнейших русских банков, имевших большие доходы от финансово-спекулятивных операций,— это внимательного и скрупулезного приспособления к нуждам торгового оборота и к специфическим особенностям его в отдельных отраслях хозяйства. Целые районы с особым хозяйственным укладом, например, Сибирь, оставались без достаточного кредитного обслуживания. Если организующая роль банков довольно сильно проявилась в обороте массовых товаров (хлеб, хлопок), то почти ничего ими не было сделано в таких областях, как оборот второстепенной сельскохозяйственной продукции.

Большая инертность была проявлена банками также в области внешнеторговых операций. Главным назначением филиалов русских банков в Западной Европе являлось участие в международной биржевой спекуляции,—вытекавшее из их операций по финансированию, — и «аккумуляция» заграничных ресурсов министерства финансов. Оба существовавших в России колониальных банка: Русско-Китайский[2] и Учетно-Ссудный банк Персии, представляли собой правительственные учреждения и были созданы без участия

[1] В невышедшем еще изд. «Динамика российской и советской промышленности», т. IX или X.

[2] Русско-Азиатский банк уже не был колониальным банком.

других русских банков. Нужды экспорта на Ближний Восток, за вычетом товаров, которыми банки сами торговали (сахар, отчасти уголь), обслуживались неудовлетворительно. Стоит отметить, что возникшая на юге России идея экспортного банка не встретила сочувствия со стороны петербургских банков. За ее осуществление, правда, взялась группа капиталистов и даже получила разрешение министерства финансов на учреждение Русско-Турецкого банка (самое название указывает на основную цель банка— экспорт на Ближний Восток). Но затем оказалось выгоднее использовать разрешение для организации Русско-Французского банка, и в результате возник еще один мелкий представитель типа петербургских универсальных банков. Ибо специальный банковский институт мог существовать в России либо будучи правительственным учреждением, либо органом крупнейших банков (обычный тип германского колониального или экспортного банка).

В свое время я показал резкое преобладание операций по финансированию над промышленными кредитами в его регулярных формах, но не сделал отсюда всех надлежащих выводов. В ряде отраслей промышленности на определенной стадии их развития не существует почвы для крупных операций по финансированию. Здесь сращивание с банками может происходить лишь на почве регулярного промышленного кредита, который требует подчас от банков еще более скрупулезного внимания к особенностям этих отраслей, чем кредитование специальных областей торговли. В то же время эти отношения дают банкам несравненно меньше выгод, чем операции по финансированию. В западных странах (в Германии, например), где не наблюдалось такой гипертрофии банковских интересов, даже крупнейшие банки не отказывались от сращивания с предприятиями на почве регулярных кредитных отношений. Главное же, более позднее и не так далеко, как в России, зашедшее поглощение местных банков делало из последних наиболее подходящие органы для обслуживания «второстепенных» отраслей промышленности. Наоборот, крупнейшие петербургские банки, рано поглотив местные банки, не заместили их в исполнении этой важной народно-хозяйственной функции. Итоги, к которым я пришел в статье «Банки, кредитование и финансирование промышленности 1887—1927 гг.», при более подробном рассмотрении промышленного кредита, сформулированы мною следующим образом.

«Некоторые отрасли тяжелой индустрии, как металлическая, нефтяная, цементная, находились с банками в теснейшей связи по финансированию, и, следовательно, для них промышленный кредит в необходимых размерах всегда был обеспечен. То же самое относится к крупнейшим предприятиям других отраслей горнодобывающей промышленности. Во время промышленного под'ема 1909—13 гг., банки приняли участие в увеличении капиталов даже целого ряда угольных, золоторудных и других предприятий относительно небольшого размера (с капиталами 1—1½—2 млн. руб.). Более же

мелкие предприятия в угольной промышленности пользовались поддержкой банков лишь постольку, поскольку это было связано с товарно-комиссионными операциями банков. Из других отраслей промышленности в совершенно особом положении находилась текстильная, имевшая специальный банковский аппарат, приспособленный к ее нуждам».

«Остальные отрасли промышленности (за исключением некоторых крупнейших предприятий) не представляли интереса для петербургских банков, занимавшихся различными биржевыми и финансовыми операциями. Поэтому промышленный кредит акционерным обществам меньших размеров широко предоставлялся лишь в тех отраслях, где банки могли иметь добавочные выгоды иного порядка (сахарная или хлопковая). В прочих отраслях банки усиленно поддерживали отдельные крупнейшие предприятия, капиталы которых достигли таких размеров, что банки могли надеяться перейти в ближайшее время от промышленного кредита к их финансированию (пример, почти вся табачная промышленность). Или же банки предоставляли значительные кредиты чисто персонального характера лицам с крупным состоянием, имевшим мельницы, лесные предприятия и т. д. За этим исключением вся масса средних предприятий в таких отраслях, как кожевенная, стекольная, лесная, мукомольная, бумажная, издательская, была лишена регулярной поддержки банков как в отношении оборотного кредита, так в еще большей степени в отношении капитальных затрат».

Такое положение должно было оказывать задерживающее влияние на развитие отраслей, лишенных регулярной поддержки банков. Это признает даже один из руководителей совета с'ездов промышленности и торговли, видный выразитель взглядов крупного капитала в текущей экономической литературе — В. В. Жуковский. «Благодаря условиям нашего кредита, его недостаточности», говрит он, «Россия до сих пор почти исключительно страна крупной промышленности... Между тем, несомненно, что без мелких и средних предприятий развитие и крупной промышленности является односторонним. Без них немыслимо, например, развитие в стране массового машиностроения, и самое насаждение промышленности идет сверху, а не развивается естественно, путем развития и роста наиболее здоровых и жизненных мелких предприятий»[1]. Для полноты картины надо еще отметить, что учредительство новых предприятий русскими банками имело место лишь в единичных случаях и почти исключительно в отраслях, обеспеченных казенной поддержкой или работавших на казну (военная промышленность, судостроение и т. д.).

В передовых капиталистических странах складывающиеся финансово-капиталистические отношения, в особенности на ранней стадии своего развития, оказывают, несмотря на заложенную в них тенденцию к загниванию, большое стимулирующее влияние на все стороны развития народного хозяй-

[1] В «Докладе совета с'ездов о мерах к развитию производительных сил России». П., 1915.

ства. С этой точки зрения банки на Западе являлись выразителями интересов всего капиталистического хозяйства. Этого, как явствует из только-что изложенного, отнюдь нельзя сказать о русских банках. Яркой иллюстрацией тому может служить политика банков в годы войны 1914—17 гг.: незначительная роль их в организации хозяйства для нужд войны и широкий размах дезорганизаторской деятельности в области товарного оборота (огромная спекуляция на недостаточных товарах).

Закон неравномерного капиталистического развития имеет свое применение не только к отдельным частям мирового хозяйства, т. е. к целым странам, но и к отдельным участкам хозяйства внутри стран, особенно тех, где капитализм стал поздно развиваться. Эти контрасты были особенно резки в то время, когда начался усиленный приток иностранных капиталов в 90-х гг. Крестьянин, ковырявший сохой землю рядом с выраставшими как грибы металлургическими заводами юга России, может быть, в особенно резком виде изображает этот существующий во всех капиталистических странах контраст между сельским хозяйством и промышленностью. Но резкий контраст наблюдался в России не только между сельским хозяйством и промышленностью в широком смысле этого слова (т. е. со всем обслуживающим ее торговым и кредитным аппаратом). Внутри последней в русских условиях обнаружились свои неравномерности развития. Банки росли быстрее промышленности и торговли и овладевали последними на такой ступени развития, когда это являлось «преждевременным» с точки зрения интересов капиталистического хозяйства в целом. Чрезвычайно рано овладев внутренним денежным рынком страны, крупнейшие банки также преждевременно с этой точки зрения закрепляли ее одностороннее развитие в смысле раннего и резкого преобладания крупной промышленности. Высшие формы финансового капитала, с одной стороны, неупорядоченность торгового кредита, недостаточное внимание банков к кредиту промышленному, с другой,— таково основное противоречие, разительно подчеркивающее эту «неравномерность развития» самих носителей финансового капитала в России. «Преждевременно» возникнув в обстановке отсталого капиталистического хозяйства, банки-левиафаны не только преобразовывали и преодолевали эту отсталость, но и частично сами ее закрепляли непроизвольно или даже в своих собственных интересах.

V. ТЕНДЕНЦИИ К ЗАГНИВАНИЮ РУССКОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА

Единственным автором, подробнее остановившимся на этом вопросе, является М. Гольман. Он пытался добросовестно найти в русском империализме все три основных признака загнивания, указанные Лениным для системы империализма в передовых капиталистических странах. Прежде всего, Гольман останавливается на влиянии промышленных монополий в

России—на техническом застое—и правильно отмечает, что «техническая отсталость России опиралась и на докапиталистическую «паутину» в народном хозяйстве». Но тут же Гольман пытается найти третью причину: вспрыскивает живой водой марксизма ветхую и, казалось, покойную «теорию»: «немец виноват» в том, что русская промышленность слабо развивалась[1]. Спрашивается, почему французский финансовый капитал и подчиненные ему целиком (по мнению Гольмана) русские банки должны были воздерживаться от развития русского машиностроения для того, чтобы германский финансовый капитал мог ввозить в Россию орудия производства? Но так далеко анализ Гольмана (к его счастью и к нашему сожалению) никогда не простирается. Еще менее вразумительно другое вредительство иностранного финансового капитала. «Владея всем денежным рынком страны и вывозя огромные дивиденды и проценты по внешним займам, иностранный финансовый капитал этим самым суживал базу для капитализации туземного внепромышленного накопления, что еще более консервировало техническую отсталость монополистического капитализма в России»[2]. Дивиденды и проценты (по крайней мере, по железно-дорожным займам), вывозимые иностранным финансовым капиталом, выплачивались из прибавочной стоимости, созданной на основе расширенной, в результате иностранных вложений, технической базы страны. Вывозу их соответствовал прилив новых капиталов, или, что то же самое, дивиденды и проценты оставались в России, и росла цифра ее внешней задолженности. Поэтому совершенно непонятно, что и как суживал иностранный финансовый капитал, особенно в свете огромных размеров внутреннего накопления в 1908—14 гг. Тесная связь русских банков с иностранными и международная спекуляция русскими ценностями в ином совсем смысле приносили вред русскому денежному рынку (см. об этом «Банки, финансирование и кредитование промышленности», гл. IV).

Далее, Гольман правильно отмечает отсутствие в России другого основного признака загнивания—рантьеризации буржуазии. Но тут же он силится найти производный отсюда третий ленинский признак—«подкармливания» рабочей аристократии. Правильно констатируя отсутствие его в отношении русского пролетариата, Гольман, в своем стремлении его обязательно найти, констатирует новое понятие—«подкуп» буржуазией интеллигенции и мелкой буржуазии. Не требует особых доказательств, что это явление совершенно иного порядка, ибо самая социальная природа этих слоев не требует «подкупа», чтобы сделать их союзниками крупной буржуазии (например, повышенная оплата чиновников, банковских, промышленных и торговых служащих, на которую указывает Гольман, существует раньше и

---

[1] «Задерживающее влияние западно-европейского капитала, избегавшего вкладывать свои рессурсы в русскую машиностроительную промышленность и предпочитавшего ввозить в Россию из-за границы средства производства».

[2] М. Гольман, русский империализм, 1927, с. 373.

независимо от развития финансового капитала и рантьеризации передовых капиталистических стран).

Не умея пользоваться ленинской теорией для анализа конкретного исторического материала, и обращая ее в голые схемы, механически заполняемые фактическим материалом, Гольман проглядел специфические черты загнивания русского финансового капитала, как *системы, сложившейся в капиталистически отставшей стране*.

Эти черты уже даны в предшествующем изложении: оставление без достаточной кредитной поддержки целых экономических районов, слабое кредитование экспортной торговли, игнорирование кредитных нужд целых отраслей промышленности, дезорганизаторская роль банков в товарообороте в годы войны. Возникающие в капиталистически отсталой стране передовые носители финансового капитала оказывают огромное стимулирующее влияние на ее экономическое развитие, но в то же время частично закрепляют ее отсталость непроизвольно или даже в собственных интересах,—в этом специфичность тенденции к загниванию русской системы финансового капитала.

Е. ГРАНОВСКИЙ.—СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РОССИИ

(Вместо выступления на I Всесоюзной конференции историков-марксистов)

Проблема финансового капитала в России привлекла за последние несколько лет живейшее внимание ряда исследователей, вызвав к жизни литературу, в пределах которой уже довольно четко наметились основные разногласия. Однако, несмотря на то, что первые работы, проводившие точку зрения, противоположную изложенной в работах тт. Н. Н. Ванага, С. Л. Ронина и др., появились уже в начале 1927 г., никакого ответа в печати они до сих пор не вызвали. Поэтому, когда мы узнали, что критика наших положений по вопросу о финансовом капитале в России явилась главной темой доклада т. Н. Н. Ванага на 1-й всесоюзной конференции историков-марксистов, то это было для нас приятной неожиданностью. Мы полагали, что выступление Н. Н. Ванага даст, наконец, исчерпывающее рассмотрение основных наших аргументов и вызовет плодотворную дискуссию, в ходе которой все существующие воззрения подвергнутся обстоятельной и обоснованной критике. Такая дискуссия ничего, кроме пользы, принести бы не могла.

Однако, уже ознакомление с тезисами Н. Н. Ванага вызвало глубокое разочарование, которое стало еще глубже после ознакомления с более подробными материалами конференции[1]. Ни в тезисах, ни в самом докладе т. Ванаг не сказал в фактической части почти ничего нового в защиту своих старых положений по сравнению с тем, что им было сказано в его книге, вышедшей в 1925 г. В основном вопросе о соотношении российской и иностранных империалистических систем аргументы, выставленные оппонентами т. Н. Н. Ванага, были им обойдены, за исключением одного — о связи между внешней политикой царизма и финансовым капиталом, против которого т. Н. Н. Ванаг выдвинул крайне оригинальное с методологической стороны положение, вызвавшее единодушную критику почти всех участников прений, — о невозможности сращивания финансового капитала и царизма (§ 9 тезисов).

[1] См., например, отчет о докладе в «Историке-марксисте», т. XI, с. 231—235.

В части методологической, кроме вышеуказанного положения, т. Н. Н. Ванаг также, к сожалению, не привнес ничего нового.

От скудости аргументации т. Н. Н. Ванага выгодно отличались прения, в которых был высказан ряд интересных соображений, опровергавших основную мысль докладчика. Но так как по поводу всей экономической аргументации противников теории «денационализации» т. Н. Н. Ванаг красноречиво изобразил фигуру умолчания, то и прения приняли, к сожалению, недостаточно многосторонний характер, сосредоточившись почти исключительно на весьма важных, но отнюдь не исчерпывающих всей темы, вопросах внешней политики русского империализма и классовой природы царизма. По этим же вопросам — мы должны это отметить — большинство выступавших встало на точку зрения существования непосредственной связи между внешней политикой русского империализма и *русской*, т. е. туземной, системой финансового капитала.

Здесь мы хотим высказать некоторые соображения, с которыми выступили бы на конференции, если бы имели возможность на ней присутствовать. Замечания наши будут по необходимости краткими, ибо мы не имеем возможности в данный момент подвергнуть затрагиваемые вопросы более обстоятельному рассмотрению. Мы надеемся это сделать впоследствии, когда появятся, наконец, в печати стенограммы конференции, а может быть и некоторые критические замечания по поводу вышедшей в начале этого года нашей работы — «Монополистический капитализм в России», представляющей собой изложение и некоторое развитие взглядов, высказанных в статьях, ставших, благодаря критике т. Н. Н. Ванага, об'ектом внимания конференции. Пока же остановимся на разборе тезисов Н. Н. Ванага, ограничившись на этот раз исключительно методологическими моментами, привлекшими к себе наибольшее внимание конференции.

Первые два тезиса носят декларативный характер. В них, как это искони принято делать перед состязанием, т. Н. Н. Ванаг размахивает своим оружием («денационализация») и восхваляет свою силу. Поэтому мы прямо перейдем к 3 и 4 тезисам, касающимся методологии исследования проблемы финансового капитала в России.

1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ?

Параграф 3 тезисов Н. Н. Ванага гласит: «Опыт прошедших лет показал, что, *ограничиваясь одной лишь областью статистики и всевозможных арифметических подсчетов*, критика не могла опровергнуть взгляда на систему русского финансового капитала, как на систему национальную».

Параграф 4. «Решение вопроса о характере русского финансового капитала должно одновременно опираться как на итоги статистико-экономического исследования, так и на результаты изучения социальных явлений

эпохи. Рассмотренная с этих точек зрения теория «национализация» оказывается несостоятельной ни с методологической стороны, ни по существу».

Здесь т. Н. Н. Ванаг выступил сторонником новый методологии в области исследования проблемы финансового капитала в России, упрекая своих оппонентов, в первую очередь меня, в том, что они искали решения проблемы исключительно в арифметических подсчетах величины притока иностранного капитала и национального накопления.

После такого упрека представителям противоположной точки зрения, стороннему наблюдателю даже в голову не придет подумать, что т. Н. Н. Ванаг сам хоть в какой-нибудь мере повинен в подходе, получившем в его устах столь резкое и справедливое осуждение. Наоборот, благородное негодование стороннего наблюдателя устремится в сторону несогласных с т. Н. Н. Ванагом, которые в его глазах превратятся в представителей вульгарного «экономического материализма», игнорирующих обратное влияние, оказываемое «надстройкой», совокупностью социальных условий, на породивший ее экономический «базис».

Сторонний наблюдатель и не подумает, что обвинение, бросаемое Н. Н. Ванагом своим научным противникам, представляет собой не что иное, как маневр, цель которого отвести подобный упрек от самого себя. А между тем это — факт, так как ни один из исследователей вопроса о финансовом капитале в России не подходил к нему так упрощенно и без всякой попытки изучить и понять характер и тип отношений, которым дается количественная характеристика, как Н. Н. Ванаг.

Прежде чем перейти к разбору обвинения, пред'явленного Н. Н. Ванагом своим оппонентам, мы хотим внести некоторую ясность в существо спора. Касаясь методологических вопросов, Н. Н. Ванаг путает статистический (Н. Н. Ванаг предпочитает называть его арифметическим) подход с экономическим. Дать цифровое обозначение какого-нибудь явления еще не значит дать его экономической характеристики. Последняя вскрывает тип социальных связей, стоящих за явлениями, которым дается цифровое определение. Поэтому резко отграничивать и даже противопоставлять, как это делает Н. Н. Ванаг, экономический анализ изучению социальных явлений — более чем неверно. Экономический анализ есть один из видов социального анализа и служит основой для всякого другого социального, в частности, социально-политического анализа. Конечно, это не значит, что он может заменить социально-политический анализ. Наоборот, огромное обратное влияние, оказываемое совокупностью социально-политических условий на экономические отношения, делает соц.-пол. анализ необходимым звеном всякого исторического и даже специально истор.-эк. исследования.

Тов. Н. Н. Ванаг декретировал тип отношений русского и иностранного капитала, как подчинение иностранному капиталу, не по-

трудившись проанализировать, в какой мере то, что он декретировал, отвечает действительной природе этих отношений. Непонимание существа экономического анализа, как направленного на изучение характера связей, а не на количественную характеристику, привело к тому, что Н. Н. Ванаг ограничил сферу своего «экономического» анализа одними сомнительного характера цифровыми подсчетами, даже не попытавшись вникнуть в подлинные отношения, стоявшие за приведенными им цифрами. Результатом этого явился ряд неправильных допущений, передержек, ошибочных выводов, и, как венец всего этого — пресловутая «схема» т. Н. Н. Ванага. «Схема» эта получила уже должную оценку в наших работах, и на критике ее мы здесь останавливаться не станем. Здесь мы хотим только показать, как т. Н. Н. Ванаг, ограничившись цифровой характеристикой, обошел в своей работе самую суть вопроса — аналитическое рассмотрение характера связи между системой финансового капитала в России и другими империалистическими системами.

В своих работах («Финансовый капитал в России» и статья «Реабилитирована ли теория национализации русского капитализма» в «Вестнике Комм. академии», т. XII) т. Н. Н. Ванаг пытается доказать: 1) что большая часть (три четверти) русской банковой системы была филиалом заграничных банковых групп, 2) что к началу войны, главным образом, через русские банки иностранный финансовый капитал «распоряжался» большей частью основного капитала важнейших отраслей промышленности, 3) что удельный вес иностранного капитала в России с начала XX века и до 1914 г. непрерывно возрастал, что означало растущее подчинение русского народного хозяйства и его финансово-капиталистического сектора иностранному капиталу. Эти три положения, три «кита» составляют основное содержание работ т. Н. Н. Ванага.

Как «доказывает» т. Н. Н. Ванаг эти свои положения?

По первому вопросу т. Н. Н. Ванаг поступает очень просто. Допустим, он имеет перед собой факт введения в 1911 г. в котировку на парижской бирже акций Азовско-донского банка. Моментально, на основании одного только этого факта т. Н. Н. Ванаг делает вывод о том, что Азовско-донской банк превратился в учреждение, «под прикрытием которого действовал французский банковый союз» (с. 48). Киевский частный коммерческий банк был поглощен Азовско-донским банком; значит он превратился также в агентуру французского банкового капитала. На самом деле, как мы уже отмечали прежде [1], и как было отмечено еще т. С. Л. Рониным, стоящим в основном на позициях т. Ванага, это совсем не так. Факт введения акций в котировку на парижской бирже отнюдь не означает подчинения Азовско-донского банка французскому финансовому капиталу.

[1] «Вестник Ком. академии», т. XXII, с. 84—85, «Монополистический капитализм в России», с. 108—109.

Или, к примеру, возьмем Сибирский банк. «Первоначально,—говорит т. Н. Н. Ванаг, — Сибирский банк находился почти исключительно в руках немецкого Deutsche Bank (с. 48). Доказательство этого положения не приводится. Но затем, видите ли, на собрании в 1913 г. французской группой представляется около 10 400 акций (около 25% всех представленных к собранию акций и 13% всех акций банка), и акции вводятся в котировку на парижской бирже. Отсюда делается тот вывод, что в Сибирском банке «французский банковый капитал одержал блестящую победу» (с. 49). На самом же деле, ни в одном русском банке французский капитал не терпел такой полной и исключительной неудачи, как в Сибирском банке [1].

Полное подчинение Русско-французского банка французскому финансовому капиталу принимается без всякой аргументации: помилуйте, одно название...

Лодзинский купеческий банк превращается в «агентуру французского финансового капитала» на том только основании, что в нем заинтересован Русско-азиатский банк.

В результате такого «анализа» составляется список 11 банков с основным капиталом в 231 млн. руб., находившихся в 1914 г. в полном распоряжении французского финансового капитала» (с. 50).

Еще забавнее доказывается на следующей странице «полное распоряжение» банками, бывшими, якобы, «агентурой» германского финансового капитала. Здесь единственной аргументацией служит представление германскими кредитными учреждениями к собранию акционеров Международного банка 19 514 акций (10% всех акций и 25% всех представленных к собранию акций) [2].

«Подчинение» Русского для внешней торговли банка Deutsche Bank «доказывается» для предвоенного года участием «немецкого» Международного банка, бывшего, якобы, представителем Deutsche Bank в Русском для внешней торговли банке.

[1] Цит. статья Н. Ванага, с. 83—84, цит. кн., с. 107—108.

[2] Чтобы как-нибудь повысить влияние германских банков, т. Н. Н. Ванаг превращает в представителя германских банков Н. Н. Клименко, члена правления банка, представившего 3 000 акций. Так как последний смахивает скорее на украинца, то наш автор сопровождает отнесение его к «немцам» следующим невинным примечанием: «Вполне допустимо, что Клименко, фигурировавший в списке с 3 000 акций, являлся подставным лицом немецкого банкового синдиката» (с. 51). Но и вместе с «подставным лицом немецкого банкового синдиката» Клименко, число акций, представленных германскими кредитными учреждениями, составило бы 26 422, т. е. 13,7% общего числа акций банка и около 36% числа акций, представленных к собранию; количество это отнюдь не говорит о решающей роли «немцев»: последнее обстоятельство могло иметь место лишь в том случае, если бы группе германских кредитных учреждений не противостояла не менее крепко спаянная группа русских членов правления Международного банка с участием самого «подставного лица» Клименко.

«Подчинение» СПБ учетного и ссудного банка германскому финансовому капиталу «явствует» из факта реализации Disconto-Gesellschaft и банкирским домом Мендельсон и К° дополнительного выпуска акций банка на 5 млн. руб. в 1912 г.

Далее декретируется, что Рижский коммерческий банк, Коммерческий банк в Варшаве и Лодзинский торговый банк были «агентурой» германских крупных банков.

На основании всего вышеприведенного составляется список крупных банков с капиталом в 158 млн. руб. «Сумма в 158 млн. руб. составляет 36,4% основного капитала банков, работавших в качестве агентур иностранных кредитных учреждений» (с. 52—53).

Следующая страница приносит иностранному капиталу новую победу, на этот раз английскому. Подчиненность последнему Русского торгово-промышленного банка т. Н. Н. Ванаг обосновывает следующим образом: «Из русских банков только один Торгово-промышленный банк связал свою судьбу с английским банковым капиталом. Английский банк British Bank for Foreign Trade (Британский для внешней торговли банк) со времени усиления заинтересованности английских капиталов в русской горной промышленности превратился в фактического владельца русского банка. На общем собрании 26/III 1914 г. из 72 791 акции British Bank представлено 21 921 акциею, фирмой Крисп—банкирский дом, крупный клиент Британского для внешней торговли банка — 9 203, всего 50% всех акций» (с. 53).

Готово. Доказано. На самом деле, в приведенном «солидном» рассуждении «с цифрами и фактами» все до крайности извращено и перепутано. Крипс—вовсе не клиент British Bank for Foreign Trade, а «хозяин» банка, владелец контрольного пакета его акций. Таким образом, Крипс и British Bank суть одно и то же лицо или учреждение. Во-вторых, сам Крипс есть подставное лицо А. И. Путилова (об этом знали даже воробьи, чирикавшие на крыше петербургской биржи, а т. Н. Н. Ванагу, это, к сожалению, осталось неизвестным)—председателя правления Русско-азиатского банка. Таким образом, если можно говорить об иностранном влиянии в Торгово-промышленном банке (иначе Петропари), то только о французском, но никак не об английском. В-третьих, 21 921+9 203=31 124 акции, что составляет не 50%, а только 44% всех представленных к собранию и 22,9% всех вообще акций банка, что далеко не всегда гарантирует «распоряжение». В данном же случае никаких иных доказательств «распоряжения» т. Н. Н. Ванаг не привел.

Русско-английский банк т. Ванаг, по аналогии с Русско-французским, не говоря ни одного слова (буквально!), вставляет в табличку банков, находившихся в «распоряжении» английского капитала. Всего капитал «английских» банков в России составляет, по подсчетам т. Н. Н. Ванага, 45 млн. руб.

После всех блестящих побед, одержанных т. Н. Н. Ванагом над русскими банками, он подводит подсчет своим трофеям. «Сумма всех основных капиталов русских коммерческих банков на 1 января 1914 г., читаем мы на той же с. 53, выражалась в 585 млн. руб. На долю банков, представлявших собой агентуры иностранных банковых консорциумов, приходится 434 млн. руб. (231,0+158,0+45,0), что составляет 72,4% всей суммы основных капиталов русских коммерческих банков».

Мы не станем здесь заниматься подробным разбором фактической стороны «аргументации» т. Н. Н. Ванага в вопросе о взаимоотношениях иностранных и русских банков, ибо это свелось бы к обнаружению множества фактических неточностей, ошибок, извращений, которыми у т. Н. Н. Ванага хоть пруд пруди. Это было бы слишком легкой победой, так как необоснованность и тенденциозность «построений» т. Н. Н. Ванага ясно видна и невооруженному знанием экономики современных капиталистических банков глазу. Отчасти мы сделали это в предыдущих работах, хотя, поскольку выступили тогда против целой группы исследователей, предпочли выбрать главным об'ектом своей критики в этом вопросе специальную работу т. С. Л. Ронина, — исследователя гораздо более вдумчивого, нежели т. Н. Н. Ванаг.

Нас здесь интересует только методология т. Н. Н. Ванага, и только для выяснения ее мы привели его рассуждения. И тут вырисовывается неприглядная картина. Исходным пунктом аргументации т. Н. Н. Ванага, как мы видели, являются взятые из сообщений хроники биржевой прессы данные о некотором, отнюдь не решающем (за исключением Русско-азиатского банка) количестве акций, представлявшихся иностранными банками, банкирскими домами и частными лицами к собраниям акционеров русских банков, произвольно принятые за показатели «распоряжения».

Тов. Н. Н. Ванаг ни в своей работе, ни в докладе на конференции совершенно не подверг анализу типп отношений русских и иностранных банков. Весь метод его свелся к арифметическим выкладкам, вычислению удельного веса русских банков, которыми, якобы, «распоряжался» иностранный капитал, т. е. к тому, против чего он с таким благородным негодованием и таким сознанием собственного достоинства выступал на конференции. Трудно, однако, сказать, в какой мере ошибочные выводы т. Н. Н. Ванага явились результатом этой методологической его беспомощности. Решающую роль здесь, пожалуй, сыграла предвзятость постановки вопроса, так как и цифровые данные (конечно, реальные, а не фантастические, приведенные т. Н. Н. Ванагом), если даже считать их совершенно достаточными для решения поставленного вопроса, все же ни в какой мере не подтверждают его выводов.

Основной ошибкой вангговской методологии является, как это уже указывалось на конференции, недиалектический подход, игно-

рирование противоречий, существовавших между притекавшими в Россию иностранными капиталами разных национальностей, а также между оперировавшими в России отдельными капиталистическими группами одной и той же национальности. Иностранный капитал, шедший в Россию, представляется т. Н. Н. Ванагу в виде многоголового чудовища, сплошной стеной наступавшего на русское народное хозяйство и беспощадно давившего русский финансовый капитал в его самом невинном возрасте.

На самом деле, все было далеко не так, да и не могло обстоять так, ибо противоречия, в первую очередь, между отдельными империалистическими системами неизбежно должны были сказаться и в деятельности иностранных финансово-капиталистических групп в России.

Особенно остро проявлялись эти противоречия в области участия в русских банках, так как последнее было важным ключем к активному участию иностранных банков в финансировании русской промышленности, что составляло важнейшую цель их устремлений. Как искусно противоречия между различными национальными банковыми группами и между отдельными группами внутри одной и той же национальности использовались руководителями русских банков в целях сохранения их самостоятельности, мы показали на примере Сибирского банка [1] с участием около 50% иностранного капитала разных видов, Азовско-донского банка [2] с участием французского, германского и английского капитала в размере около 45% всего акционерного капитала, СПБ международного банка [3] с 35% германским участием в акционерном капитале и тесными связями с французским и английским капиталом, Русского для внешней торговли банка [4].

Тов. Н. Н. Ванаг игнорирует эти противоречия и упрощает этим свою задачу. Однако, такое «облегчение» обошлось т. Н. Н. Ванагу чересчур дорого. Не выявивши противоречий в об'екте своего исследования, он вобрал их внутрь своего построения. Получилась надуманная и противоречивая в своих основах схема. Ползучий эмпиризм и неуменье применять к конкретному материалу марксо-ленинский диалектический метод исследования жестоко отомстили за себя.

Неумение применить в конкретном исследовании марксо-ленинский диалектический метод проявилось у т. Н. Н. Ванага также в неисторизме, в игнорировании специфических способов осуществления экономического господства в эпоху финансового капитала и неучете особенностей русского денежного рынка, стоявших в связи с особым состоянием национального накопления в России.

---

[1] «Монополистический капитализм в России».
[2] Там же, с. 108—109.
[3] Там же, с. 114—115.
[4] Там же, с. 115.

Участие иностранного банка (не капитала, а именно банка) представляется т. Н. Н. Ванагу чем-то устойчивым и направленным к единой цели—порабощению русского банка. Тов. Н. Н. Ванаг совершенно не понял характера владения иностранными банками, а также руководителями русских банков, акциями этих последних. Лишь ничтожная часть акций находилась постоянно в портфелях этих наиболее влиятельных в русском банковом деле групп. Остальная масса была распространена среди многочисленных держателей, что открывало для обоих групп широкую возможность скупки акций перед собраниями акционеров банков и борьбы за руководящее влияние в них. Вот эта обстановка борьбы совершенно ускользнула из поля зрения т. Н. Н. Ванага. А между тем, учтя это специфическое проявление связанных с возможностью быстрой мобилизации капиталов новых методов обеспечения экономического господства, т. Н. Н. Ванаг увидел бы всю совокупность рассматриваемых взаимоотношений в совершенно ином свете.

Далее, об особенностях русского денежного рынка.

В части нашей работы, посвященной взаимоотношениям русских и иностранных банков, мы уже указывали на то, что благодаря относительной слабости русского денежного рынка, выражавшейся, в частности, в очень большом количестве акций, циркулировавших в биржевом обороте, руководящие «деятели» русских банков обладали более широкими возможностями мобилизации к общим собраниям ранее не принадлежавших им акций, нежели их иностранные коллеги. Это облегчало первым сохранение руководящей роли в своих банках. Не поставив вопроса о специфических условиях, в которых развивались взаимоотношения иностранных и русских банков, т. Н. Н. Ванаг, естественно, не мог заметить отмеченных выше особенностей и сделать из них соответствующие выводы.

Если сравнить его постановку вопроса о взаимоотношениях иностранных и русских банков с той, которая была дана по этому вопросу в наших работах, то легко убедиться, что упрек в сведении метода исследования к арифметическим подсчетам относится прежде всего и исключительно к самому т. Н. Н. Ванагу.

В противовес чисто цифровой аргументации т. Н. Н. Ванага мы указывали на необходимость анализа характера участия французских банков в русских. Мы настаивали на изучении типа отношений обоих сторон и на выявлении существовавших здесь градаций. Такие градации с отнесением к ним отдельных банков были нами в общем установлены. Далее мы попытались, хотя бы на отдельных примерах, вскрыть противоречия между различными иностранными банковыми группами и осветить специфические условия, облегчавшие сохранение независимости русских банков.

Мы возражали против вывода о подчинении ¾ русской банковской системы иностранным банковым группам именно потому, что для нас было недостаточно одних подсчетов размеров иностранных капиталов в русских

банках, приведенных т. С. Л. Рониным, хотя сами подсчеты больших сомнений в нас не вызывали.

Никакого аналогичного анализа т. Н. Н. Ванаг не только не сделал, но даже и не попытался сделать.

Сделал ли т. Н. Н. Ванаг в своей работе или, уже четыре года спустя, на конференции какие-нибудь шаги в направлении перехода от голых арифметических подсчетов и выкладок к анализу типа связей в другой важнейшей части своего исследования—в вопросе о взаимоотношении банков и промышленности в России? Отнюдь нет. Он не сделал даже попытки такого перехода. Больше того, он даже не подумал об этом.

К чему, собственно, сводится метод исследования т. Н. Н. Ванага в этом вопросе. Он берет данные о количестве акций, представленных к собраниям предприятий, и отсюда заключает о полном «распоряжении» банков этими предприятиями. Нет слов, что таких случаев, когда фактическими владельцами предприятий были крупные банки, в дореволюционной России было очень много, и в общей массе случаев финансово-капиталистического сращивания они преобладали. Но грубейшей ошибкой было бы сказать, что одним подчинением исчерпывались отношения финансово-капиталистического сращивания банков и промышленных предприятий. Между тем, именно это делает т. Н. Н. Ванаг, считающий, что распоряжение—основная черта монополистического капитализма [1]. В свое время мы уже указывали на ошибочность такого представления, отмечая наличие градаций в этой сфере [2]. Не предполагая, что может существовать какой-либо иной тип финансово-капиталистических отношений, кроме подчинения промышленности банкам, т. Н. Н. Ванаг, естественно, и не попытался подойти к анализу этих градаций, в результате чего все рассматриваемые отношения (подобно тому, как это имело место в вопросе о взаимоотношениях русских и иностранных банков) были подстрижены под одну гребенку и на один манер приглажены. Это, конечно, привело и к ряду фактических ошибок как по линии определения фактов финансово-капиталистической связи предприятий с банковым капиталом вообще, так и, в частности, по линии определения отношений предприятий к иностранному банковому капиталу.

Совершенно понятно, почему т. Н. Н. Ванаг даже не попытался поставить, а не то что разрешить, также и вопрос о динамике отношений банкового и промышленного капитала.

Ведь, если «распоряжение» есть основная черта монополистического капитализма, то ни о какой динамике в характере взаимоотношений банков и промышленности в период финансового капитала не может быть и речи.

[1] Н. Ванаг, Финансовый капитал в России накануне мировой войны, с. 15.

[2] «Историк-марксист», 1927, т. IV, «Вестник Комм. академии», т. XXII, с. 105, «Монополистический капитализм в России», с. 20—21 и 136.

Тов. Н. Н. Ванаг настолько прочно завяз в болоте голых подсчетов, где в один и тот же итог часто входят совершенно разные и несоизмеримые величины, что ему остается только весьма и весьма посочувствовать.

В работе «Монополистический капитализм в России» мы попытались проанализировать динамику соотношения основных элементов финансово-капиталистической системы[1], а в статье, помещенной в «Вестнике Комм. академии» (т. XXII) еще в 1927 г., указывали на изменения в отношениях иностранных банков к русским промышленным предприятиям, связанные с началом предвоенного промышленного под'ема. В это время система самостоятельной организации иностранными (главным образом, французскими) банками промышленных предприятий с управлением ими при помощи иностранцев заменилась системой соучастия банков в финансировании предприятий, причем руководящая роль в этих предприятиях стала принадлежать русским банкам. Изменение форм участия иностранных банков мы попытались поставить в связь с изменением характера довоенного французского капитализма[2].

Теперь по третьему важнейшему вопросу—о динамике удельного веса иностранного капитала в финансово-капиталистическом секторе русского народного хозяйства. Данные об изменениях удельного веса иностранного капитала в акционерных предприятиях вообще сами по себе не дают возможности разрешить этот вопрос. Важнее всего здесь те позиции, которые занимает иностранный капитал в народном хозяйстве и тип связей его с предприятиями, в которых он участвует.

Здесь дело обстоит следующим образом. В период, непосредственно предшествовавший началу мировой войны, несколько повышается по сравнению с 1900 г. удельный вес иностранного капитала в крупных банках, что, однако, вопреки уверениям т. Н. Н. Ванага, не привело к потере ими своей самостоятельности, за исключением Соединенного банка, преобразованного из находившейся в крайне критическом положении поляковской группы банков и СПБ частного банка (прошедшего аналогичный с поляковской группой банков путь). Что касается Русско-азиатского банка, то главная составная часть его—Северный банк—с самого основания (1901 г.) целиком принадлежала французам.

В промышленности значительное снижение удельного веса иностранного капитала произошло в течение XX века, главным образом, в отраслях производства средств производства — горнопромышленных предприятиях (уголь, нефть, руды, металлургия черная и цветная и т. д.), предприятиях по обработке металлов и машиностроению, предприятиях по обра-

[1] «Монополистический капитализм в России», гл. I, II и III.
[2] Там же, с. 136 и «Вестн. Комм. академии», т. XXII, с. 105—106.

ботке минералов и по механической обработке дерева, являвшихся центром сосредоточения финансово-капиталистических отношений.

Повышение удельного веса иностранного капитала произошло в отраслях текстильной, бумажно-полиграфической, по обработке питательных и вкусовых веществ, химической и в торговых и комиссионных предприятиях, где отношения финансово-капиталистического сращивания и монополизации находились к началу войны в зачаточном состоянии.

Уже это одно обстоятельство дает основание говорить об ослаблении позиций иностранного и усилении позиций русского финансового капитала во всей системе финансового капитала в России.

Далее, поскольку дело идет о динамике удельного веса иностранного капитала в системе финансового, монополистического капитала в России, т. е. о динамике соотношения различных составных частей финансового капитала в России (а именно так стоит вопрос), то тут мы считали необходимым указать следующее: в конце 90-х—начале 900-х годов отношения финансово-капиталистического сращивания охватывали значительно меньший круг предприятий, нежели в период предвоенного промышленного под'ема, причем в первый период эти предприятия в большей своей части находились в сфере влияния иностранного банкового капитала. Русская же система финансового капитала охватывала относительно небольшую часть финансово-капиталистического сектора. Период предвоенного промышленного под'ема приводит к тому, что огромная часть крупных предприятий в отраслях производства средств производства охватывается финансово-капиталистическими отношениями, в результате чего удельный вес русской системы финансового капитала в общем комплексе финансово-капиталистических отношений сильно возрастает.

Далее, важен тип участия иностранного банкового капитала в русской промышленности. Мы уже указывали, что в то время как в конце 90-х—начале 900-х годов участие французских банков—главных инвесторов иностранного капитала в России—выражалось в самостоятельном учредительстве и непосредственном руководстве промышленными предприятиями в России, в период промышленного под'ема руководство в предприятиях даже со значительным участием иностранного капитала переходит к русским банкам, так как французские банки оставляют за собой только функцию срыва учредительской прибыли («обязанности акушера»), сбывая акции широкой биржевой публике, как только курс их достигнет необходимого уровня. В руках же последней акции невероятно распылялись, так что о каком-либо значительном влиянии широкой французской биржевой публики на ход дел в русских промышленных предприятиях говорить не приходилось. Акции могли быть при желании мобилизованы французскими банками, однако, это удавалось им в гораздо меньшей степени, чем русским банкам,

в виду сосредоточения за границей большого количества акций в так наз. «крепких руках».

Наконец, для выяснения соотношения русской и иностранной системы финансового капитала в России и его динамики огромное значение имеет анализ противоречий, существовавших между отдельными образованиями иностранного финансового капитала. Это ослабляло силу последнего и увеличивало силу русской системы финансового капитала. Пример такого использования противоречий мы видели у русских банков, игравших в системе финансового капитала в России руководящую роль.

Из всего этого совершенно очевидна недопустимость голого сопоставления цифр удельного веса иностранного капитала в акционерном деле в 1900 г. и в 1913 г. для решения вопроса о *динамике составных частей системы финансового капитала в России*. Необходимо учесть ряд указанных нами моментов *структурного* порядка, прежде чем делать какие-либо выводы из этих цифр. В нашей работе мы попытались это сделать.

Товарищ же Н. Н. Ванаг, заявляющий себя на словах сторонником учета всех экономических и социальных условий и противником чисто статистического метода исследования, ничего подобного не сделал. В статье, затрагивающей этот вопрос[1], он ограничивается чисто цифровым анализом, совершенно не входя в суть того, каковы реальные экономические связи, отображением которых являются эти цифры. Мы не будем входить в разбор этих цифр.

Здесь мы хотим подчеркнуть только разницу в методологическом подходе к изучению рассматриваемой проблемы у т. Н. Н. Ванага и у нас.

Через четыре года после написания своей книги, в заключительном слове на 1-й Всесоюзной конференции историков-марксистов т. Н. Н. Ванаг в качестве последнего и самого важного «экономического» довода против нашей концепции выдвинул то обстоятельство, что, по приведенным нами данным Оля, удельный вес иностранного капитала в акционерных предприятиях повысился с 38,8% в 1900 г. до 40,5% в 1913 г. Товарищу Н. Н. Ванагу совсем невдомек то, о чем мы говорили выше. Увеличение удельного веса иностранного капитала во всем акционерном деле на пару процентов ничего не доказывает, даже если бы оно действительно имело место. Но и этого нет. Мы уже вскользь отмечали в своей работе[2], что считаем цифры Оля преувеличенными для 1909—1917 гг., потому что он засчитывает, как иностранный, вложенный в предприятия капитал русских банков с иностранным участием; последнее же, как мы неоднократно указывали, абсолютно неправильно. Если внести в цифры Оля

[1] «Вестник Комм. академии», т. XII.

[2] «Монополистический капитализм в России», с. 127—128.

для вложений 1909—1913 гг. эту поправочку (данные Оля можно было бы, как это показывает приведенное нами сопоставление их с другими данными о вложениях 1908—1912 гг. [1], снизить едва ли меньше, нежели процентов на 20), то удельный вес иностранного капитала для этого периода покажет, по сравнению с 1900 г., существенное понижение. Однако мы не стали этим подробно заниматься, потому что, повторяем, вопреки т. Н. Н. Ванагу, не считаем цифровые подсчеты (особенно, когда дело идет о таких небольших изменениях) сколько-нибудь решающим моментом. Гораздо важнее для нас анализ характера связей, существовавших между системой финансового капитала в России и в других империалистических странах [2].

Стремление изучить возможно более разносторонне совокупность социально-экономических условий существования системы финансового капитала в России заставило нас сделать попытку анализа внешне-торговых связей России в эпоху финансового капитала на основе сопоставления импорта товаров с импортом капитала. Анализ этот всецело подтвердил правильность основной нашей позиции. Тов. Н. Н. Ванаг не подошел к этому вопросу.

Экономическая аргументация т. Н. Н. Ванага показывает, что он не понимает, каким должен быть экономический анализ.

§ 8 тезисов т. Н. Н. Ванага представляет собой единственное экономическое «обоснование» господства монополий иностранного финансового капитала в системе финансового капитала в России. Он гласит:

«Увеличившееся в результате аграрной политики царизма накопление туземного капитала до войны 1914 г. в основной массе укрепляло позиции иностранного финансового капитала, действовавшего на территории России». Этот тезис не представляет из себя ничего нового и получил в свое время наибольшее заострение в работе одного из единомышленников т. Н. Н. Ванага—М. Гольмана.

---

[1] Там же, с. 130—131.

[2] В свете приведенных рассуждений читателю также предоставляется судить, насколько прав т. Н. Н. Ванаг, упрекая меня в невключении облигационного капитала в подсчет размеров участия иностранного капитала в России во избежание увеличения иностранной доли. Я действительно сознательно устранил облигационные капиталы из общего подсчета, но только совсем по другим соображениям. Во-первых, потому, что считаю недопустимым сваливать в одну кучу (как это делает т. Н. Н. Ванаг) акционерный и облигационный капитал, в виду различия их роли в деле определения типа связей между инвестором и «должником» (понимая под последним предприятия, куда вложен под акции или облигации капитал). Во-вторых, потому, что проверенных данных о размерах облигационных капиталов для 1890—1907 гг. не имеется, на что я и указывал. Пользоваться же сомнительными данными, которыми пользовался т. Н. Н. Ванаг, мне не хотелось.

Для того, чтобы доказать этот тезис, необходимо доказать, что русские банки, куда стекалась большая часть накоплений страны, действительно находились в полном подчинении у иностранных банков. Мы видели, как т. Н. Н. Ванаг обосновал это положение. Против этого обоснования был выдвинут ряд возражений с нашей стороны, а также со стороны другого исследователя вопроса о финансовом капитале в России т. И. Ф. Гиндина. Опроверг ли т. Н. Н. Ванаг выставленные против него аргументы? Нет.

Тов. Н. Н. Ванаг просто умолчал об этих возражениях, как-будто их и не существовало. Его заявление, что спор о том, насколько Азовско-донской банк был банком «независимым», не имеет решающего значения,—представляет попытку замазать вопрос и свести всю проблему взаимоотношений русских и иностранных банков к одному частному случаю. Но замазать вопрос т. Н. Н. Ванагу не удается. Дело идет не об одном Азовско-донском банке, а обо всей системе русских банков, и в первую очередь о петербургских банках.

Поскольку т. Н. Н. Ванаг оказался не в состоянии дать ответ на выдвинутые против него в этой части возражения, вся его теория «денационализации» обнаруживает свое полное банкротство.

В самом деле, факт интенсивного роста туземного накопления в России перед войной 1914 г. не подлежит никакому сомнению. Не отрицает его даже т. Н. Н. Ванаг. Если это так, то туземное накопление должно было неизбежно приводить к укреплению национальной системы финансового капитала, а не иностранных. Последнее могло, повторяем, иметь место лишь в том случае, если будет доказано, что петербургскими Grossbanken действительно распоряжался иностранный банковый капитал. Этого т. Н. Н. Ванаг не доказал ни в своей работе, ни в докладе и возражений по этому вопросу не опроверг.

2. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Грубейшей ошибкой сторонников концепции «денационализации» является метод, при помощи которого они совершают переход от положения об экономической «денационализации» русского капитализма к выводу о подчинении царизма и, в частности, его внешней политики иностранному финансовому капиталу. Например, т. Н. Н. Ванаг, «доказав», что в России господствовали монополии иностранного финансового капитала (соответствующие части книги и §§ 7, 8 и 9 тезисов к конференции), делает отсюда тот «логический» вывод, что «отношения между самодержавием и иностранным финансовым капиталом устанавливаются по линии подчинения крепостнического государства иностранному финансовому капиталу» (§ 10 тезисов).

Такой переход сопряжен с совершенно недопустимым логическим скачком. Даже если бы т. Н. Н. Ванагу удалось доказать «денационализацию» русского капитализма и экономическую «аннексию» его иностранным капиталом, то это не дало бы ему еще права говорить о подчинении царизма иностранному финансовому капиталу.

Тов. Н. Н. Ванагу нужно было бы сперва убедиться в этом на анализе самой внешней и внутренней политики российского царизма. Этого анализа т. Н. Н. Ванаг не только не дал, но и не подошел к нему. Постановка вопроса т. Н. Н. Ванагом является совершенно ошибочной. Факт экономической «аннексии», как это неоднократно отмечал Ленин, отнюдь не означает еще политического подчинения. Возражая П. Киевскому (Пятакову), Ленин пишет: «Экономическая «аннексия» вполне «осуществима» без политической и постоянно встречается. В литературе об империализме вы встретите на каждом шагу такие, например, указания, что Аргентина есть на деле «торговая колония» Англии, что Португалия есть на деле «вассал» Англии, и т. п. Это верно: экономическая зависимость от английских банков, задолженность Англии, скупка Англией местных железных дорог, рудников, земель и пр.,—все это делает названные страны «аннексией» Англии в экономическом смысле, без нарушения политической независимости этих стран»[1]. (Разрядка наша—*Е. Г.).*

Экономическая зависимость какой-нибудь Аргентины или Португалии от иностранного капитала была значительно большей, нежели зависимость довоенной России. Экономическая зависимость этих стран усугубляется еще тем обстоятельством, что в них господствовал иностранный капитал одной национальности—английской, что не вело, как в России, к ослаблению роли иностранного капитала вследствие борьбы между различными империалистскими группами. Аргентина, бесспорно, относится к типу «зависимых» стран и в качестве таковой ее определяет программа Коминтерна, тогда как в проекте программы Россия до 1917 г. отнесена к странам со средним уровнем развития капитализма. Несмотря на все это, Ленин полагает, что экономическая «аннексия» Аргентины не привела к ее политической «аннексии» и что Аргентина осталась политически независимой.

Товарищ же Н. Н. Ванаг, несмотря на огромную и совершенно бесспорную разницу в отношениях к иностранному капиталу довоенной России и Аргентины (в пользу первой), в качестве «последнего слова нашей науки» и как вывод из инвестиций иностранного капитала в России преподносит политическое подчинение царизма иностранному финансовому капиталу.

[1] Ленин, Собрание сочинений, т. XIII, с. 355. Статья «О каррикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме». § 3. «Что такое экономический анализ?»

В тезисе 11 т. Н. Н. Ванаг говорит, что политическое подчинение России иностранному капиталу не предопределяет превращения России в колонию и что Россия относится к типу «зависимых» стран.

Но и это отнесение абсолютно неправильно и противоречит установке программы Коминтерна, относящей к зависимым, равно, как и к колониальным и полуколониальным странам, страны совершенно иного типа, нежели Россия.

Программа Коминтерна говорит об этих странах: «Центральное значение имеет здесь борьба с феодализмом, докапиталистическими формами эксплоатации и последовательно проводимая аграрная революция крестьянства, с одной стороны, борьба с иностранным империализмом, с другой. Переход к диктатуре пролетариата возможен здесь, по правилу, лишь *через ряд подготовительных ступеней*, лишь в результате целого периода перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, а успешное социалистическое строительство в большинстве случаев — *лишь при условии прямой поддержки со стороны страны пролетарской диктатуры*». Судите сами, читатель, отвечает ли эта характеристика хоть сколько-нибудь действительным отношениям предреволюционной России. Ведь, признать, что отвечает, значит, впасть в несомненную ошибку.

Совершенно ясна ошибочность отнесения России к типу «зависимых» стран. Но допустим даже, условно, конечно, что Россия относится к этому типу стран: даже это, однако, не дает т. Н. Н. Ванагу права отказывать России в той политической независимости, которую имела Аргентина. Для того, чтобы сделать вывод подобный ванаговскому, необходимо найти подтверждение его в самом анализе политических отношений. Такого анализа, который доказал бы политическое подчинение царизма иностранному финансовому капиталу, мы как-раз ни у т. Н. Н. Ванага, ни у какого-либо другого представителя разбираемой концепции не встречаем. Анализ показывает как-раз совершенно обратное. Методологическая ошибочность (мы здесь сознательно ограничиваемся разбором одних методологических ошибок) подхода т. Н. Н. Ванага совершенно очевидна.

Другая коренная методологическая ошибка, допущенная т. Н. Н. Ванагом в анализе социально-политических условий существования системы финансового капитала в России, заключается в том его утверждении, что сращивание царизма с финансовым капиталом, якобы, невозможно. На этом основании т. Н. Н. Ванаг отрицает возможность существования национальной системы финансового капитала в России.

Параграф 9 тезисов т. Н. Н. Ванага гласит: «С развитием капиталистических отношений в пореволюционной России 1905 г. социальное содержание самодержавия, делая еще шаг в сторону буржуазную, остается крепостническим. Крепостнический характер государственной власти *отри-*

цает **возможность сращивания финансового капитала с царизмом, а последнее ставит под сомнение существование национальной системы финансового капитала в стране**». (Разрядка наша—*Е. Г.)*.

Тов. Н. Н. Ванаг представляет себе дело таким образом, что «сращивание» туземного русского финансового капитала с царизмом могло иметь место лишь исключительно в том случае, если бы в социальной природе русского самодержавия произошло коренное перерождение, т. е. если бы царизм стал буржуазным и из власти класса полукрепостников-помещиков превратился бы в буржуазную монархию. Признание наличия в дореволюционной России сращивания между царизмом и туземным финансовым капиталом означает поэтому, по мнению т. Н. Н. Ванага, ни больше ни меньше, как переход на чисто меньшевистскую точку зрения о коренном перерождении социальной природы самодержавия, выраженную, в частности, в работе А. О. Гушки-Ерманского, которая неоднократно цитировалась т. Н. Н. Ванагом на конференции.

Бóльшую нелепость, нежели выраженную § 9 тезисов т. Н. Н. Ванага, трудно было бы придумать.

Неверно это положение прежде всего теоретически. Можно привести многие примеры, когда государственная власть—представительница правящего класса полуфеодальных помещиков—вбирала в себя элементы капиталистические, результатом чего было совместное участие обоих классов в составе государственной власти. Чем позже наступала в данной стране буржуазная революция, чем больше соответственно была в ней роль пролетариата и чем реальнее становилась для буржуазии опасность со стороны рабочего класса, тем больше ищет буржуазия компромисса с классом помещиков. Различная «природа» обоих классов отнюдь не мешает тому, что государственная власть становится представителем обоих этих классов, при обязательной гегемонии одного из них. Все это настолько элементарно, что не требует долгих об'яснений.

Неверно это положение и постольку, поскольку дело идет о дореволюционной России. Проникновение буржуазных начал в политику самодержавной власти началось уже непосредственно после реформы 1861 г. Однако до 1905 г. этот процесс протекал чрезвычайно медленно, испытавши длительную остановку в царствование Александра III. Революция 1905 г. ускорила процесс превращения самодержавия в буржуазную монархию («шаг к буржуазной монархии»). Последний путь был для крепостников единственным средством избежать новой революции и обеспечить «сохранение их власти и доходов». Резолюция декабрьской конференции 1908 г. РСДРП говорит о новом шаге по пути превращения в буржуазную монархию, выразившемся в союзе царизма с черносотенными помещиками и верхами тор-

гово-промышленной буржуазии[1]. В этом союзе безусловно решающая роль принадлежала крепостникам-помещикам. Поэтому глубоко ошибались тогдашние ликвидаторы, утверждавшие, что «о крепостничестве-де в современной России нечего и говорить, власть уже переродилась в буржуазную», и революции, подобной 1905 г., помещикам и крупной буржуазии опасаться нечего. Крепостнический характер самодержавной власти на деле, в основном, не изменился, и противоречия между крепостниками и буржуазией остались. Важнейшим проявлением сделанного царизмом шага по пути превращения в буржуазную монархию явилась столыпинская аграрная политика. Крах этой политики явился крахом всей политики «мирного» врастания крепостника в капитализм с сохранением власти и доходов, крахом последней мыслимой для царизма политики. Вторая буржуазная революция в качестве продолжения первой оказалась неизбежной.

«Столыпин пытался,—пишет Ленин,—в старые мехи влить новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монархию, и крах столыпинской политики есть крах царизма на этом последнем мыслимом для царизма пути. Помещичья монархия Николая II после революции пыталась опираться на контрреволюционное настроение буржуазии и на буржуазную аграрную политику, проводимую теми же помещиками; крах этих попыток, несомненный теперь даже для кадетов, даже для октябристов, есть крах последней возможной для царизма политики»[2].

Пореволюционный период (после 1905 г.) характеризуется наличием финансово-капиталистической буржуазии, создавшейся в 1895—1904 гг. Поэтому союз крепостников с верхами торгово-промышленной буржуазии после революции 1905 г., о котором говорит резолюция декабрьской конференции, был, по существу, союзом помещиков с магнатами финансового капитала. «В 1904—16 гг.,—пишет Ленин,—особенно рельефно обрисовалось соотношение классов в России за последние годы царизма. Горстка крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем II, была у власти в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала, которым доставались неслыханные в Европе прибыли, и в пользу которых заключались грабительские договоры внешней политики»[3].

Приведенная цитата Ленина об'ясняет т. Н. Н. Ванагу, три вещи:

1) К 1905 г. в России уже были налицо магнаты финансового капитала, т. е. существовал финансовый капитал, существовал капиталистический империализм. Тов. Н. Н. Ванаг делает в этом вопросе первую большую ошибку (Книга и § 6 тезисов к конференции Н. Н. Ванага).

---

[1] Ленин, Собрание сочинений, т. XI, ч. 2, с. 532.

[2] Ленин, т. XI, ч. 2, с. 366.

[3] Ленин, Собрание соч., т. XX, 2-е изд., с. 570.

2) Классовый крепостнический характер самодержавного государства отнюдь не исключает возможности «сращивания» финансового капитала с царизмом и нисколько не ставит под сомнение существование «национальной системы финансового капитала в России». Тов. Н. Н. Ванаг делает в этом вопросе вторую большую ошибку (§ 9 тезисов т. Н. Н. Ванага), и во много раз бо́льшую, нежели первая, так как здесь дело идет уже не о «неточностях» фактического порядка, а о серьезных ошибках методологического характера.

3) Что внешняя политика российского самодержавия велась, отчасти, в интересах магнатов финансового капитала (в остальном это военно-феодальный империализм), «в пользу которых заключались грабительские договоры внешней политики». Здесь т. Н. Н. Ванаг, говорящий о подчинении самодержавия и, в частности, его внешней политики иностранному (французскому) финансовому капиталу, делает третью ошибку.

Остановимся несколько только на вопросе о «сращивании» царизма с финансовым капиталом.

Наше утверждение о существовании в России туземной системы финансового капитала и о наличии во внешней политике русского империализма самостоятельных капиталистическо-империалистических моментов, сделанное в полном согласии с неоднократными высказываниями Ленина по этому вопросу и общим ленинским пониманием предпосылок и «существа» Октябрьской революции, вызвало грозную филиппику т. Н. Н. Ванага, заявившего, что признание отмеченных выше моментов означает не что иное, как переход на меньшевистские позиции. Как выражается отчет о конференции, т. Н. Н. Ванаг, за отсутствием других, более подходящих аргументов, решил противников своей концепции «припугнуть меньшевиками» («Историк-марксист», т. XI, с. 233).

Тов. Ванаг отрицает возможность союза между финансовым капиталом и царизмом, пока последний остается, в основном, крепостническим. Отсюда и проистекает неспособность т. Н. Н. Ванага понять, что царское, крепостническое, в основном, правительство было способно вести буржуазную аграрную политику или представлять в своей внешней политике, наряду с интересами класса крепостников-помещиков, также самостоятельные интересы русского финансового капитала—империалистической буржуазии. «Прямолинейность» т. Н. Н. Ванага лишает его возможности понять, что исторически мог сложиться такой переплет обстоятельств, когда крепостническое государство вынуждено было для сохранения власти и доходов представляемого им класса частично проводить буржуазную политику, прибегая для этого к союзу с наиболее реакционными элементами капиталистического класса, т. е. в первую голову с представителями финансового капитала. «Связь закона 14 июня 1910 г. (аграрный закон Столыпина) с системой выборов в III Государственную думу и ее социальным составом,—

пишет Ленин,—очевидна: иначе как союзом центральной власти с феодальными (употребим это не вполне точное общеевропейское выражение) помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии нельзя было бы осуществить этого закона, провести ряд мер для введения его в жизнь» [1].

Метафизический метод мышления т. Н. Н. Ванага исключает для него возможность понимания «единства противоположностей», которое в данном случае проявляется в том, что два класса с противоречивыми интересами могут заключать союз и, соединившись, одновременно продолжать борьбу между собой. Тот же недиалектический подход мешает т. Н. Н. Ванагу понять процесс становления буржуазной монархии, процесс, на протяжении которого в «старые мехи вливается новое вино». Внешняя политика русского царизма служит этому процессу блестящим примером. Завоевание Константинополя есть старая торгово-капиталистическая задача. Еще Николай I зарился на Константинополь и проливы. Внешне, казалось бы, за 60 лет, с 50-х годов прошлого столетия до 1914 г., не произошло никаких изменений. Однако это далеко не так. Если в 50-х годах стремление к захвату Константинополя отвечало исключительно интересам хлебной торговли крепостников-помещиков, то в империалистическую войну 1914 г. сюда прибавились еще специфические интересы русского капиталистического империализма. Недаром же буржуазное Временное правительство и, в частности, первый его министр иностранных дел, идеолог русского капиталистического империализма—П. Н. Милюков, так рьяно отстаивало Константинополь и Дарданеллы. Здесь завязывался узел будущей гегемонии российской империалистической буржуазии в бассейне Черного моря, в Малой Азии и на Балканах. Мехи остались старыми, но старое дворянское вино в них оказалось порядком разбавленным буржуазно-империалистическим квасом.

Тов. Н. Н. Ванаг отказывается понять возможность и действительность такого положения, когда царизм перестал быть исключительно крепостническим (а таковым, т. е. исключительно крепостническим, он перестал быть уже после реформы 1861 г.), но еще не стал в преобладающей части буржуазным. Как сочетается это положение т. Ванага с указанием на то, что царизм сделал шаг в сторону буржуазной монархии,—это представляет уже его секрет.

Возможность наличия в военно-феодальной, в основном, внешней политики царизма капиталистическо-империалистических элементов, о чем говорит неоднократно Ленин [2], т. Н. Н. Ванаг совершенно игнорирует. Так как, по мнению т. Н. Н. Ванага, «сращивания» финансового капитала и царизма быть не могло, то признание наличия капиталистическо-империалистических мотивов во внешней политике царизма «неизбежно» должно вести

[1] Ленин, Собрание соч., т. XI, ч. 2, с. 240.

[2] Ленин, т. XIII, статья «Социализм и война», с. 99, и мн. др. места

к отрицанию его крепостнической сущности. Или, наоборот, признание крепостнического характера царизма исключает наличие капиталистическо-империалистических моментов в его внешней (и, очевидно, внутренней) политике.

Задачу доказательства правильности своих методологических предпосылок и социологических теорий т. Н. Н. Ванаг облегчает тем, что приписывает нам взгляд на систему внешней политики царизма, как на политическую надстройку одной только системы финансового капитала в России. Выходит так, как-будто мы стоим на точке зрения отрицания крепостнических военно-феодальных элементов во внешней политике самодержавия, на позиции перерождения социальной природы самодержавия.

Такое «истолкование» наших взглядов представляет собой сознательное извращение того, что писалось нами по этому вопросу. В статье, которой пользовался т. Н. Н. Ванаг («Иностранный капитал в системе монополистического капитализма в России», «Вестник Комм. Академии», т. XI), на с. 115—116 мы писали: «Как система внешней политики, русский империализм никогда не был чистым капиталистическим империализмом. В нем было немало элементов военно-феодального характера, как это отмечал Ленин.

Поскольку же он был капиталистическим империализмом, он был политической надстройкой системы финансового капитала в России».

На с. 121 после анализа капиталистическо-империалистических мотивов во внешней политике царизма мы писали: «Не нужно забывать того, что самодержавное царское правительство было прежде всего представителем помещичьего класса». И далее устанавливалась связь между внешней политикой царизма и интересами помещиков в области хлебного экспорта. «Тесное переплетение интересов русского финансового капитала с интересами помещичьего класса,—заканчивали мы статью,—было причиной того, что Россия приняла участие в мировой войне». Еще резче педчеркивался преобладающий крепостнический характер российского самодержавия в книге «Монополистический капитализм в России».

«Самодержавное царское правительство, — писали мы там, — было в основном представителем помещичьего класса. Стоило ли с точки зрения интересов господствующего класса полукрепостных помещиков ввязываться в войну для завоевания проливов, Галиции и Турецкой Армении? Безусловно, стоило» (с. 158).

Несмотря на это, т. Н. Н. Ванаг приписывает нам тот взгляд, что внешняя политика русского империализма была политической надстройкой одной только системы финансового капитала в России.

После такого грубого маневра т. Н. Н. Ванагу не трудно итти дальше и поставить нас и всех других противников его концепции рядом с Ерман-

ским-Гушкой, стоявшим на точке зрения полного перерождения социальной природы самодержавия.

Ерманский писал: «Представители крупного капитала уже давно заняли в России позицию господствующего класса в полном смысле этого слова».

Ленин писал о Ерманском: «Это сплошная фальшь. Тут забыто и самодержавие и то, что власть и доходы остаются попрежнему в руках землевладельцев-крепостников».

Читатель, надеемся, убедился, что только сознательное стремление извратить истину, замазать вопрос могло позволить приписать нам забвение социальной сущности самодержавия.

«Г. Ерманский,—продолжает Ленин,—напрасно думает, что только в конце XIX и начале XX века «наше самодержавие перестало быть исключительно крепостническим». Этой «исключительности» не было уже в эпоху Александра II по сравнению с эпохой Николая I. Но смешивать крепостнический режим, теряющий свойства исключительно крепостнического, делающий шаги к буржуазной монархии, смешивать его с «полным господством представителей крупного капитала» совершенно непозволительно»[1].

Последние слова прямо относятся к т. Н. Н. Ванагу. Это он не понимает или, во славу своей концепции, не хочет понять, что кроме «чистого» крепостнического и «чистого» буржуазного государства может существовать промежуточный тип в виде крепостнического, делающего шаги к буржуазной монархии. Именно, т. Н. Н. Ванаг вместе с Ерманским готов принять любое указание на наличие буржуазных моментов в политике самодержавия за признание полного перерождения его социальной «природы».

Это он, т. Н. Н. Ванаг, рассуждает так, что признать наличие капиталистическо-империалистических элементов во внешней политике царизма, значит, признать полную трансформацию царизма, так как царизм и элементы капиталистического империализма во внешней политике, якобы, исключают друг друга.

Тов. Н. Н. Ванаг не сходится с Ерманским в том, что отрицает частичный буржуазный характер некоторых мероприятий власти. Но оба стоят методологически на одной почве, оба исключают в дореволюционной России состояние становления, процесс перехода от крепостнического государства к буржуазной монархии.

В настоящей статье мы сознательно ограничились рассмотрением важнейших методологических вопросов, связанных с исследованием проблемы финансового капитала в России. Анализ фактических возражений,

[1] Ленин, т. XII, ч. 1, с. 138.

выдвинутых т. Н. Н. Ванагом и другими представителями теории «денационализации» против нашей концепции, а также фактических «дополнений», сделанных т. Н. Н. Ванагом к своей концепции, заставил бы нас выйти далеко за пределы журнальной статьи. Сделать это, однако, необходимо, особенно потому, что интересно выяснить, в какой мере соответствует духу «денационализаторской» теории признание т. Н. Н. Ванагом в § 12 его тезисов существования в системе финансового капитала в России наличия и даже роста *туземной составной части*. Мы попытаемся выполнить это в другой раз, уже когда появятся в печати исчерпывающие материалы конференции.

Ф. ПОТЕМКИН. — ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ

ПЕРЕВОРОТ В ШЕЛКОПРЯДИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Едва ли нужно доказывать значение истории промышленного переворота.—Период промышленной революции—подлинный период «бури и натиска» (как нередко называл его Маркс)—является такой эпохой, когда характерные черты капиталистического накопления выступают особенно откровенно и резко. Но экономисты всех направлений как в прошлом, так и в текущем веке в своих исследованиях и иллюстрациях пользовались преимущественно классическим примером из английской экономической истории конца XVIII—начала XIX столетия. Поскольку такое предпочтение встречаешь в исследованиях середины прошлого века, не приходится удивляться; в странах континентальной Европы еще не замкнулся тот круг экономического развития, который характеризует Англию 1780—1850 гг. Самые источники изучения социальных отношений на континенте несравненно более скудны.

Однако, если для Маркса даже неудовлетворительная континентальная статистика все же приподнимала покрывало настолько, «чтобы заподозрить под ним голову Медузы», то в руках буржуазных экономистов и историков в новейшее время та же статистика аргументирует отрицание существования «Медузы». Обширность литературы, созданной антимарксистами разных стран по таким чисто теоретическим проблемам, как ценность, реализация, кризисы, рента, равно как и обратно пропорциональное отношение об'ема этой литературы к ее научности очень хорошо известны. Менее известна и, в общем, менее разработана историко-экономическая литература. Но и в этой области можно указать на обширные течения, целые школы, не только чуждые марксистской идеологии, но именно «одухотворенные» идеей борьбы с тем или иным марксистским тезисом. В частности, проблема промышленного переворота не только не получила развития в направлении исследования социальных отношений на континенте в первую половину и около середины XIX века, как отношений, характерных для промышленной революции, но новейшая буржуазная историография даже Англию пытается представить в аспекте длительной эволюции экономи-

ческих отношений, причем отдельные представители подобного ревизионизма по-своему воскрешают «стиль Рубенса» для характеристики положения рабочего класса в эпоху «натиска и бури»[1].

Возможно ли, однако, противопоставить этим новейшим тенденциям в освещении эпохи промышленного переворота новое историческое исследование, которое обнаружило бы социальные отношения «бури и натиска», как таковые, не только в Англии, но именно в совершенно иной национально-исторической среде? Опыт изучения экономической истории Франции за соответствующий период убеждает, что подобное противопоставление вполне обосновывается материалом первоисточников[2].

Начиная публикацию наших исследовательских этюдов из истории промышленности во Франции в эпоху промышленного переворота с шелкопрядильного производства, приходится прежде всего пояснять, почему мы отступаем от традиционного приема—излагать историю революции в хлопчатобумажной промышленности, как первый этап эпохи «бури и натиска». К такому отступлению обязывает положение вопроса в литературе.

Еще Манту в своей известной работе о «Промышленной революции в XVIII веке в Англии» создал тенденцию переоценки экономического значения той механизации производства, которая была осуществлена в шелкокрутильных станках братьев Ломб, применивших выкраденные ими итальянские секреты в 1717—1718 г. в Англии[3]. Крупнейший французский историк развития промышленной техники в XVIII веке — Шарль Балло (Charles Ballot), который «прочел солидный труд Манту» и надумал написать «парал-

[1] Charles Beard в своей популярной истории промышленного переворота в Англии (The Industrial Revolution, 1-е издание в 1901 г.; 6-е издание—в 1921) впервые попытался изобразить промышленную революцию как явление, характерное для всего XIX века; более серьезная работа с той же установкой принадлежит Knowles (The Industrial and commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century). Проблемы социальной гигиены и населения рассматриваются в работах Griffith (Population Problems of the Age of Malthus) и (Buer Healh, Wealth and Population the Early Days of the Industrial Revolution).

[2] В рамках данного очерка нет возможности дать сколько-нибудь удовлетвори тельный обзор литературы вопроса. Предлагаемая статья является прямым продолжением критического обзора в IV томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». Что касается общей методологической установки исследования, то она была изложена автором в докладе на 1-ой Всесоюзной конференции историков-марксистов (см. «Труды» конференции).

[3] Mantoux (La révolution industrielle au XVIII siècle), с. 187—189. Отмечаемая в тексте тенденция характеризуется уже самой постановкой вопроса о предприятии братьев Ломб как вопроса, вовсе якобы неисследованного в литературе.

Между тем еще автор «Философии мануфактур» был отлично осведомлен об итальянских шелкокрутильных предприятиях и станках бр. Ломб. Но сравнительно с какой поучительной осторожностью он пишет о них на с. 14 своей работы (Ure. The Philosophy of manufactures, London 1835).

лельную работу о введении машинизма во Франции»[1], пошел дальше своего учителя, высказав вполне категорически тезис о том, что шелкопрядильное производство во Франции претерпевает переворот раньше, чем какие бы то ни было другие отрасли текстильной промышленности.

Изучение истории техники шелкового производства более всего и убедило Шарля Балло в необходимости полного пересмотра общепринятого мнения о том, что техническая «эволюция», подобная промышленному перевороту в Англии, происходит во Франции в эпоху Реставрации и позднее. Вопреки такой обычной точке зрения[2], Балло выдвинул общее положение о том, что «экономическая трансформация» на основе введения машинизма закончилась во Франции уже в 1815 г. Сравнительная параллель, которая дается в начале синтетической части книги Балло (именно, сравнение английской и французской истории «введения машинизма»), а также некоторые высказывания в тексте заставляют историка-марксиста обратить особенное внимание на следующие положения, в той или иной степени уже принятые в новейшей общей французской историко-экономической литературе[3]:

1) в отличие от Англии, французская промышленная техника результат не «спонтанейного» развития, но плод правительственных насаждений, правительственной инициативы;

2) «трансформация», соответствующая началу английского промышленного переворота, во Франции совершается путем длительной эволюции, причем уже к концу 1-й империи введение машинизма—«совершившийся факт»;

3) в период этой «трансформации» заработная плата не падает, а возрастает.

Таким образом, исследователь истории промышленной революции во Франции вынужден начать свою работу прежде всего с критической проверки тезисов Балло, т. е. с изучения документов эпохи «старого порядка». С другой стороны, исследование первоисточников следует продолжить за хронологическую границу, принятую в основном у Балло, т. е. необходимо проследить экономическую историю технических нововведений в период всей первой половины XIX века.

Результаты такой работы частично и излагаются в предлагаемой статье.

---

[1] Как сообщает нам об этом проф. Алеви в своей довольно наивной биографической заметке, предпосланной посмертно изданной и, в целом, незаконченной диссертации Шарля Балло о «Введении машинизма во французскую промышленность» (Charles Ballot, L'Introduction du machinisme dans l'industrie française. Publié d'après les notes et manuscrits de l'auteur par Claude Gével. Lille—Paris 1925. В дальнейших ссылках будем обозначать Ballot, цит. соч.

[2] Levasseur, Henri Sée, Е. В. Тарле.

[3] Ср. Sée, La vie économique de la France sous la monarchie censitaire, c. 57.

* * *

Две замечательные особенности следует прежде всего отметить в числе прочих признаков, отличающих «шелкопрядильную» промышленность от других отраслей текстильного производства. Во-первых, отсутствие операции прядения в строгом смысле слова; не человек и не машина выпрядывают шелковую нитку, а червяк, кокон которого достаточно размотать, чтобы получить необработанную пряжу. Операция мотки (tirage, filature)[1] и составляет первую стадию шелкопрядения, т. е. «прядения» в условном, не собственном смысле слова. С этим техническим своеобразием производства соединяется и важная экономическая особенность: названная первичная стадия производственного процесса часто совершенно отделена от последующей ступени обработки, именно отделена экономически, т. е. не одним лишь территориальным разграничением сфер производства, но рынком, на который необработанная шелковая пряжа поступает, как шелк-сырец, или, более точно, шелковая грежа[2].

Для выделки большей части шелковых тканей необработанная шелковая пряжа слишком непрочна. Поэтому шелк-сырец подвергается дополнительной обработке, так называемой крутке (moulinage), составляющей, таким образом, следующую ступень шелкопрядильного производства. Операция крутки совершается и в других отраслях текстильной промышленности, но только в шелкопрядильном производстве она получает то исключительно важное значение, которое и составляет вторую крупную техническую особенность. Продукт вторичной обработки, в зависимости от различий в самом способе крутки, получает во французской сортировке следующие обозначения: 1) les organsins, 2) les trames, 3) les grenadines, 4) les crêpes, 5) les poils, 6) les soies à coudre et les cordonnets[3].

Основные сорта—это les organsins и les trames; о них чаще всего идет речь в документах, и к ним respective приближаются les grenadines и les crêpes.

Как явствует из самого термина, сорт трам идет в уток ткани; органзин, о котором чаще всего упоминается в источниках, как о продукте производства шелкокрутильных фабрик, вырабатывается из лучших

---

[1] «Tirage»—термин, более употреблявшийся в прошлом «filature» иногда предпочтительно обозначала промышленное, более или менее крупное предприятие, в отличие от «кустарного» (ср. Pariset, Histoire de la fabrique lyonnaise, с. 288; ср. также русское «филатурная размотка»—термин, обозначающий именно фабричную размотку).

[2] «Товароведение» проф. Вильямс, Петров, Царевитинов и Новицкий, т. III, с. 165.

[3] Beauquis, Histoire économique de la Soie. Grenoble 1910, с. 136. Боки, бывший инспектор труда в Гренобле, автор прекрасного технологического компендия, еще не устаревшего и в наше время.

сортов шелка-сырца, т. е. из размотки наилучших коконов [1], и предназначается для основы тканей.

Таким образом нам предстоит здесь исследовать две различные сферы производства: техническую и экономическую историю предприятий, вырабатывавших шелк-сырец, во-первых, и предприятий, превращавших этот сырец в trame и organsin, т. е. в крученый шелк, во-вторых.

I. РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ В ШЕЛКОПРЯДИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВО ФРАНЦИИ В КОНЦЕ XVIII—В НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЙ

Чтобы получить ясное представление о том, когда именно та или иная отрасль промышленности переживает технический переворот, характерный для эпохи промышленной революции, необходимо совершенно точное знание всех этапов на пути развития простейшего ручного инструмента в фабричную машину. Само собой разумеется, что разрешение этой задачи требует более или менее близкого ознакомления с технологией данного производственного процесса. Достаточно вспомнить, с каким усердием вынужден был Маркс изучать современные ему трактаты по технологии и слушать лекции специалистов, чтобы овладеть конкретным материалом технологии для экономической теории. Неоспоримые следы этой напряженной работы сохранились в переписке Маркса, где еще до выхода в свет «Капитала» высказываются уже глубочайшие суждения по вопросу о машинах. Раньше, чем цитировать эти суждения, рассмотрим поближе несколько поучительных сопоставлений.

Несомненно, что на Востоке те или иные орудия производства сохранили свою элементарную, первобытную форму дольше, чем на Западе. Поэтому неудивительно, что, например, при изучении эволюции простейшего инструмента в шелкопрядильном производстве во Франции оказываются очень ценными те сведения, которые сообщаются в работах кавказского шелковода Н. Н. Шаврова и в других специальных русских работах. Интересно описание технических приемов, применявшихся исстари кавказскими кустарями.

Рассмотрим сначала шелкомотальное производство. К чему сводится здесь схема архаического способа производства? С древнейших времен для получения мотка шелковой пряжи из некоего количества коконов шелковичного червя необходимы были две работницы. Одна женщина садилась около котла и, разбивая коконы палочкой, удаляла «фризон» и подыскивала «концы», пропуская по 10—20 из них между пальцами; другая, стоя на ногах, посредством ручного мотовила сматывала получаемую (без пряде-

---

[1] Alcan, Essai sur l'industrie des matières textiles. Paris, 1847, с. 293. Трактат Алькана—наилучшая для своего времени работа по технологии текстильного производства и по многим вопросам имеет значение первоисточника. Ниже всюду будет цитироваться именно 1-е издание этой книги.

ния, в строгом смысле слова) шелковую пряжу-грежу. Такова примитивная форма размотки с помощью ручного мотовила.

Гораздо более усовершенствованным является распространяющийся позднее способ размотки посредством особого шелкомотального станка. При этом следует различать две формы или две ступени в развитии этого станка. В первичной форме употребляется четырехперое мотовило, и котел, где варятся коконы, не утвержден в каком-либо определенном, постоянном месте. На следующей ступени развития появляется шестиперое мотовило, диаметром от ¾ до 1 метра, покоящееся на 2 стойках, прочно вбитых в землю; мотовило приводится в движение при посредстве небольшого рычажка и длинной педали[1]. В иных местах, однако, как описывает Шавров, этот станок приводится в движение не педалью, а рукою размотчицы.

Раньше, чем формулировать значение этих сравнительных данных, рассмотрим еще кустарные технические приемы в шелкокрутильном производстве.

Примитивнейший способ крутки, применявшийся закавказскими кустарями,—это способ подсучивания шелка при помощи ручного веретена. Одной рукою вращается веретено, другой—дощечка (с намотанной пряжей), которую работница одновременно поворачивает над головой. Очевидно, что здесь мы имеем элементарную форму. На следующей ступени развития появляются туземные крутильные станки простейшего типа и «караси».

Даже в типе простейшего крутильного станка мы находим известную механизацию производства. Как описывает Шавров, «такие станки состоят из очень большого махового колеса, приводимого в движение рукой, которое приводит в движение веретена, расположенные на вертикальной или несколько наклонно расположенной стойке, с которых затем шелк перематывается на особые катушки, с которых поступает для сматывания основы и утка»[2]. Даже на таких примитивных станках может крутиться шелк тонкой размотки. Но более усовершенствованными крутильными станками, с которыми местные крутильщики ознакомились только в сороковые—пятидесятые годы прошлого века, оказались так называемые «караси».

Итак оказывается, что в шелкомотальном производстве об'ектами возможной и важной с экономической точки зрения механизации являются две ручные операции: 1) удаление фризона и подыскивание концов, 2) вращение мотовила. Но еще раньше появления фабричной техники, в кустарном производстве кавказских шелкопрядов крупный шаг к механизации производственного процесса был уже сделан: в материалах Шаврова идет речь и о вращении мотовила рукояткой и о вращении с помощью педали; упомянут даже раскладник. В шелкокрутильном же производстве

[1] Н. Н. Шавров, Труды кавказской шелководственной станции, т. XII, вып. 3. Кустарные шелковые промыслы Кавказа. Тифлис 1902, с. 4—5.

[2] Цит. соч., с. 13.

механизация пошла еще дальше. С внешней стороны, не только «караси», но даже туземные крутильные станки первичной формы похожи на ручные Дженни, и уж во всяком случае простейший крутильный станок стоит гораздо ближе к Дженни, чем примитивный способ крутки веретеном к способу крутки на простом туземном кавказском станке: «рабочий инструмент»—«the working machine»—и в Дженни и в кустарном крутильном станке приводятся в движение не непосредственно рукою рабочего, но механически.

Подобное сравнение шелкопрядильного и бумагопрядильного и, если угодно, льнопрядильного производства очень полезно. Ясно, что если применение вращаемого рукою мотовила в шелкопрядильном производстве можно еще уподобить переходу от прядения на «копыле» (франц. «quenouille», англ. «distaff») к прядению на прялке с педалью (франц. «rouet», англ. «wheele»), то степень механизации, достигнутая в простейшем крутильном станке, не имеет аналогии в «мануфактурной» истории других отраслей текстильного производства.

На Западе, конечно, много раньше, чем на Кавказе, появляются и распространяются эти шелкокрутильные станки, изобретение которых приписывается болонцу Боргезано, жившему в XIII веке. Таким образом, техническая революция в шелкокрутильном производстве, поднимающая его на ступень фабричного производства, вовсе не заключалась и не могла заключаться в области одного лишь преобразования «рабочего инструмента», механизированного уже в течение мануфактурного периода.

Обратимся теперь непосредственно к конкретным утверждениям и фактам, сообщаемым Балло, к тем фактам, которые как самому автору «Введения машинизма во французскую промышленность», так и его ученым читателям внушили идею о некоем «перевороте в науке».

В VIII главе своей книги[1] Балло пишет: «История введения машинизма в этом производстве представляет особенный интерес с двух точек зрения: именно в шелковой промышленности машинизм впервые достигает своего полного развития; и (именно) во Франции-то и должна была эта промышленность воспринять наиболее важные усовершенствования как в отношении прядения, так и ткачества. Благодаря гению Вокансона и искусству некоторых других механиков, во Франции с середины XVIII века можно было видеть в действии такие машины, совершенство которых возвестило об искуснейших современных машинах». И хотя ткацкие станки Жаккарда начинают распространяться только в эпоху империи Наполеона, но «крутка шелка уже с XVIII века производилась посредством очень усо-

[1] Следует напомнить, что если незаконченность общего исследования и снимает с Балло ответственность за ту форму, в которой были посмертно изданы рукописи покойного автора, то глава VIII представляет собой лишь перепечатку статьи Балло, опубликованной еще при его жизни (в 1914 г. в «Revue d'histoire de Lyon).

вершенствованных машин, которые действовали автоматически и более не оставляли рабочим никакой иной роли, кроме наблюдения [за их ходом]»[1].

Далее следует необходимая технологическая справка. По мнению Балло, для операции мотки шелка необходим «довольно сложный аппарат»[2]. Вот составные части этого «сложного аппарата»: 1) la filière de deux anneaux, 2) un appareil croiseur, 3) le va-et-vient, 4) l'asple ou guindre. Попробуем однако сравнить этот «довольно сложный аппарат» с выше описанными кустарными кавказскими станками, и мы обнаружим между ними поразительное сходство во всех основных частях. L'asple ou guindre превращаются в «мотовило», va-et-vient — в «раскладник»; manivelle и тут и там вращается рукою.

Ниже Балло сообщает ряд кратких сведений из технологии шелкокрутильного производства. По его определению, «крутка» (le moulinage) состоит из двух операций:

1) скручивание du fil simple или первая выделка, дающая le fil poil, обычно употребляющуюся для утка;

2) ссучивание нескольких крученных нитей, дающее органзин[3].

Следует прежде всего заметить, что подобное определение «крутки» отнюдь не свидетельствует о глубине проникновения в технологические детали изучаемого производства: Балло должен был различать «le poil» и «la trame», как два разных сорта крученой пряжи[4]; если же в данном случае подразумевался только технический термин для обозначения той пряжи, которая получается в результате первой технической операции при выработке органзина, то в таком случае Балло неправомерно суживает определение крутки, идентифицируя неравные по об'ему понятия «мулинаж» и «органзинаж».

Другой пример: Балло совершенно правильно утверждает, что шелкокрутильные мельницы механизированы более чем шелкомотальные станки. Но тут же рядом, в тексте[5], непосредственно следующем, для ознакомления читателя с техническим устройством крутильной мельницы, произвольно избирается определенный пьемонтский тип крупной «мельницы».

---

[1] Ballot, цит. соч., с. 297. Здесь, как и во всех других цитатах, где не дается специальной оговорки, разрядка наша.

[2] Там же, с. 298.

[3] Ballot, цит. соч., с. 299.

[4] Выше цитировалась современная классификация, сообщаемая в работе Боки. Поскольку однако речь идет не о современной технологии шелкокрутильного производства, а о технологии XVIII и XIX столетий, обратимся к другому источнику: «Celle qui n'a pas passé au moulin est appellée Soie plate; celle qui y a passé est de trois sortes, le poil, la trame et l'organsin», etc. Такое определение мы находим в книге Le Payen'a, Essai sur les moulins soie. Metz 1767, с. 2. ср. Bulletin des sciences technologiques, № 59, sept. 1829, p. 59.

[5] Ballot, цит. соч., с. 299.

Причина, побуждающая Балло сосредоточить свое внимание только на одном технологическом типе крутильного станка, об'ясняется очень просто: «эти тяжелые и громоздкие аппараты нуждаются в гидравлическом двигателе»! Таким образом, фабричная механизация всего производственного процесса дается как характеристический признак, неразрывно связанный с описываемым типом. Но мало этого. Со стремительной решительностью Балло высказывает здесь основы своей концепции о прообразе «настоящей современной фабрики». «Совершенно автоматическая размотка», пишет Балло в цитируемом тексте, «требует лишь нескольких рабочих для связывания [порванных] нитей и не подвергается более никаким видоизменениям в течение XIX века» [1].

Поверочное изучение материалов, использованных Балло, вносит необходимый корректив. Сравним цитированный текст Балло с соответствующими страницами превосходной работы председателя французской комиссии на Лондонской выставке 1851 г. известного генерала Понселэ [2]. Достаточно сопоставить детали описываемой у Понселэ так называемой «круглой» шелкокрутильной мельницы с теми технологическими данными, которые сообщаются на с. 299 в книге Балло, чтобы вполне убедиться в том, что в обоих случаях речь идет об одном и том же типе. Но так как генерал Понселэ не ставил своей задачей доказать законченность механизации французского шелкопрядильного производства до 1815 г., то, во-первых, мы узнаем от него, что «тяжелые и громоздкие аппараты» не всегда приводились в движение гидравлическим давлением; во-вторых, с точностью устанавливается, о каком «девятнадцатом» веке говорил Балло, когда высказывал свой тезис о неизменяемости якобы усвоенного раз навсегда способа сматывания шелка. Понселэ также констатирует значительную усовершенствованность мотовил, действовавших на крупных старинных шелкокрутильных мануфактурах; но вот «модальность» суждения генерала Понселэ: «Они так удачно соответствовали той цели, для которой предназначались, что ни во Франции, ни в Англии с начала текущего столетия (т. е. XIX века. *Ф. П.)* не подвергались, так сказать, никаким модификациям и продолжали изготовляться из дерева, по крайней мере до 1831 г., судя по работе д-ра Ларднера» [3]. Современник эпохи промышленной революции, точный наблюдатель и выдающийся знаток исторической технологии изучаемого производства [4] — генерал Понселэ не мог сказать больше.

[1] Там же.

[2] Poncelet, Exposition universelle de 1851. Travaux de la commission française sur l'industrie des nations, v. 3, deuxième partie. Machines et outils de filature et tissage, Paris 1857, c. 34.

[3] Там же, с. 39; ср. у Ballot, с. 299.

[4] Poncelet дает в своей работе самую подробную историю развития технических усовершенствований в шелкопрядильном производстве во Франции, но историю, написанную на основании изучения изобретательских патентов.

Вернемся теперь к нашей постановке историко-технической проблемы. У нас две задачи: проследить возникновение и развитие **фабрики** в шелкомотальном и шелкокрутильном производствах.

Нетрудно вскрыть гиперболизацию Балло в его выводах о **мотальном** производстве. «Довольно сложный аппарат», как бы ни усовершенствовались его отдельные детали, остается кустарным **станком** до того момента, пока радикальное техническое преобразование не изменит отношение рабочей силы к массе вырабатываемого продукта.

Справка из истории отсталых кустарных промыслов на Кавказе показала, что размотка коконов всегда требовала участия двух работниц.

Следует же со всею силою подчеркнуть тот факт, что техническая революция, которая создала бы радикальное преобразование «мануфактурной» функции первой и наиболее ответственной работницы, работницы у котла («tireuse»), не совершается ни в XVII, ни в XVIII, ни в XIX веке.

Работница у котла—не прядильщица в том строгом смысле слова, как оно употребляется в терминологии других отраслей текстильного производства. Техническая ловкость, продолжительность выучки, та «мануфактурная» виртуозность, которая менее всего является отличительным признаком **фабричного** рабочего, сохраняют свое решающее значение не только в эпоху «старого порядка», но и в период, когда многие отрасли промышленности давно уже революционизированы машиной. Обратимся ли мы к технологическому справочнику 1839 г. [1], будем ли штудировать солиднейший компендий 1847 г. [2], станем ли методически изучать архивный материал об изобретениях в сороковые—пятидесятые годы XIX века [3],—повсюду мы констатируем признанную отсталость шелкомотального производства в отношении столь характерной и важной для прочих отраслей текстильной промышленности **механизации рабочего инструмента**.

Однако не всякий патент гарантирует историко-экономическое значение регистрируемых изобретений, как и не всякое изобретение, с признанным экономическим значением, гарантирует приобретение изобретательского патента. Поэтому даже обстоятельная работа Poncelet не избавляет от необходимости исследования ряда вопросов по архивным материалам.

[1] Devilliers, Nouveau manuel complet de la soiere, Paris, 1839, 2 v. in 16°, c. 28.

[2] Alcan, Essai, c. 298: «c'est presque un axiome de l'industrie séricicole que la fileuse est tout et l'instrument peu de chose».

[3] Нац. арх. F[12] 2203. Louis Reinhart, Министру торговли и земледелия, 1/V 1850. Содержание цитируемой переписки аннулирует значение многих более ранних документов, перечисление которых было бы излишним педантизмом. В 1850 г. только еще надеются, что вновь изобретенный «tour» для прядения шелка «поднимет шелковую промышленность до высоты, на которой стоят другие отрасли текстильного производства», так как «различные части машины устраняют необходимые до сих пор сноровку и ловкость прядильщицы». Ср. Audiganne, L'industrie contemporaine, Paris 1856, c. 217.

Лишь во второй половине XIX века и в наше время появляются важные усовершенствования, которые хотя и не устраняют окончательно значения технической ловкости работницы у котла, но все же значительно механизируют ряд операций. Так, например, прежний ручной способ баттажа коконов удалось уже заменить механическим действием специальных круглых щеток; особенно же крупное значение имело изобретение так называемых автоматических подбрасывателей [1]. Но даже и эти ценные усовершенствования еще не поднимают шелкомотальное производство до уровня подлинного механического прядения [2].

Но конечно никто не вздумает отрицать, что как в наше время, так и в XIX веке шелкомотальное производство во Франции поднялось на ступень ф а б р и ч н о г о производства. Какое же изобретение и в какую эпоху превращает шелкомотальную мануфактуру в фабрику?

Теперь уже совершенно ясно, что разрешение этого вопроса сводится к исторической справке о моменте появления и распространения такого изобретения, которое механизировало бы ручную операцию в т о р о й работницы, работницы у мотовила («tourneuse»). «Аркрайт» в шелкопрядильном производстве—это изобретатель, сумевший устранить работниц «tourneuses», заменив их рабочую силу автоматически действующим двигателем, с приводом на несколько станков.

Совершилась ли эта техническая революция в XVIII веке? Точный ответ на этот вопрос дает нам исследование документов.

В XVIII веке, до появления изобретений Вокансона, как в Италии, так и во Франции «идеальным» станком (или «машиною» в терминологии Балло) для размотки коконов считался «tour» пьемонтского типа. Выше мы сравнивали этот «tour» с кавказскими станками. Теперь же документируем основательность нашего сравнения цитатою из знаменитого «Пьемонтского регламента», одна из статей которого совершенно точно констатирует, что «каждый котел для прядения шелка первого и второго сорта должен обслуживаться опытным мотальщиком или мотальщицей, которым воспрещается вращать мотовило ногою» [3].

Итак, функции «tourneuses» не только не устранялись, но именно они-то и составляли одно из требований идеального регламента эпохи.

Появляющиеся около середины XVIII века изобретения Вокансона привлекли особенно пристальное внимание Шарля Балло: в усовершенствованиях гениального механика Балло видит момент радикального переворота технического строя шелковой промышленности.

---

[1] B e a u q u i s, Histoire économique de la soie, c. 82—83.

[2] Там же, с. 81: «В шелкопрядильном производстве ловкость прядильщиц играет, напротив, очень крупную роль, и, несмотря на беспрерывные попытки конструкторов (машин), все еще не достигнуто механическое прядение шелка».

[3] Нац. арх. F^{12} 1453 A. Traduction du Règlement...concernant le tirage dessoies,1724.

Проблему развития ткацкого производства мы рассмотрим в другой статье. Поэтому здесь следует остановиться только на тех изобретениях Вокансона, которые относятся к сфере шелкомотальной и шелкокрутильной промышленности. Оценку усовершенствований Вокансона в этой области поищем в документах эпохи [1].

Прежде всего мы находим ее в том обширном анонимном мемуаре (написанном приблизительно около 1745 г.), авторство которого Балло приписывает Монтескьи [2]. Здесь указывается, чем именно отличается новый мотальный станок Вокансона от станка пьемонтского типа: «в Пьемонте «les croiseurs» делаются рукою прядильщицы»; «double croisure» Вокансона устраняет это неудобство, частично механизируя работу станка. Совершает ли это новое изобретение переворот в мотальном производстве? Отнюдь не совершает.

Требующая продолжительной выучки, сложная мануфактурная функция работницы у котла сохраняет свое значение, а рукоятка мотовила попрежнему вращается вручную, т. е. требует непременного участия второй работницы.

Но не описывает ли цитируемый анонимный автор лишь первые опыты Вокансона? Быть-может позднее последовали крупные изменения, совершенно модифицировавшие описываемый здесь первичный тип? Все сомнения по этому поводу рассеивает изучение более поздней переписки. В 1783 г. в Парижской академии был прочитан мемуар изобретателя Табарэна: «Размышления о размотке шелка во Франции» [3].

Документ имеет двойную ценность: здесь не только дается крайне важная для нас оценка жалких результатов правительственных экспериментов с искусственным насаждением фабрик, но сообщаются также и подробности всех технических усовершенствований Вокансона в шелкомотальном производстве; вот эти изобретения: 1) экономическая топка, 2) двойной ко-
производстве; вот эти изобретения: 1) экономическая топка, 2) двойной котел, 3) усовершенствованный раскладник, 4) особый способ croisade, 5) мотовило.

Табарэн не отрицает полезности всех этих изобретений, но так как «мотовило» вращается рукою, а не посредством педали, то работница, выполняющая функции мотальщицы, больше утомляется, и вся работа идет очень медленно [4].

[1] Еще проф. Тарле цитировал в своей диссертации мнение Holker'a («Рабочий класс во Франции», т. II, с. 164); и общая оценка экономического значения вокансоновских изобретений у Тарле правильнее, чем у Балло. Но стоит лишь перечитать с. 164—165 работы Тарле, чтобы убедиться в недостаточности документирования в этом вопросе: усовершенствования Вокансона не ограничивались сферою крутильного производства.

[2] Нац. арх. F^{12} 2293, большая рукопись, 60 с. f°.

[3] Нац. арх. F^{12} 2201, досье с устаревшим шифром F 95. 0 51. Soie. Seine S-r Tabarin à Paris.

[4] Нац. арх. F^{12} 2201, цит. мемуар; ср. также Devilliers, Nouveau manuel complet de la soierie (P. 1839), p. 32.

Оценку собственных изобретений Табарэна находим в технологическом справочнике Девилье, изданном в 1839 г. Табарэн тоже усовершенствовал лишь второстепенные (с экономической точки зрения) детали. Патент Табарэна действовал с 1796 по 1811 г., и главное значение его изобретений заключалось в более экономической системе утилизации тепла.

В указанный промежуток времени появилось другое, гораздо более важное изобретение подобного же рода. Именно, изобретатель Жансуль придумал такую систему нагревания котлов, при которой, с помощью применения пара, из одного источника тепла нагревалось по 40 и больше бассинок (т. е. котлов с коконами) [1]. Нельзя не признать, что изобретение Жансуля имеет важное экономическое значение [2]. Переворота в техническом строе и это усовершенствование не совершает: пар применяется не как двигательная сила, но для нагревания котлов. Но это изобретение является необходимой предпосылкой развития мануфактуры в фабрику.

«Аркрайтом» французского шелкомотального производства был Родье [3]. В Национальном архиве в Париже, в картоне F^{12} 2199, сохраняется ценнейший документ—свидетельство самого Родье по вопросу о хронологии и значении его изобретений. Содержание документа заверено специальным актом торговой палаты, и, таким образом, не остается никаких сомнений в точности сообщаемых здесь сведений. Как оказывается, Родье еще в 1819 г. [4] впервые изобрел такой способ механизации шелкомотального производства, применение которого сокращало число работниц на половину: упразднялись функции «tourneuses». Изобретатель, однако, не располагал необходимыми денежными средствами для получения патента [5]. Двадцатые и тридцатые годы—эпоха дальнейших усовершенствований открытого Родье нового приема и время широкого распространения этого способа в деп. Гард. Актом торговой палаты города Нима от 21/IV 1839 г. засвидетельствовано, что Родье действительно был первым изобретателем, «избавившим» промышленников

---

[1] Нац. арх. F^{12} 2293 S-r Faissoles à Lyon.

[2] Léon de Teste в своей интересной работе «Du commerce des soies et Soieries» (Avignon 1830), неиспользованной, впрочем, ни у Балло, ни у Тарле, указывает, что Жансулю принадлежит также усовершенствование Вокансоновской системы double croisure (назв. соч., с. 53).

[3] Сравнение, впрочем, очень условное. Технологические особенности «шелкопрядения» долго еще будут затруднять изобретателей и после смерти Родье; с другой стороны, изобретательность Аркрайта была гениальною скорее в области хрематистики, чем техники.

[4] Таким образом, Clerget на с. 20 «Les industries de la soie en France» (Paris, 1925), в новейшей общей работе о шелковой промышленности во Франции, очень далек от научной точности в описании этого наиболее важного момента в истории шелкомотального производства.

[5] Нац. арх. F^{12} 2199 «Mémoire de M. Rodier» (1839 г.), в подлиннике это выражено сильнее: «... mais dépourvu de moyens et écrasé par la Taxe celui des brevets»...

от работниц «tourneuses»[1]. Но действительно ли перед нами передовой по своему промышленному значению департамент, руководящий общим движением технических усовершенствований в шелкомотальном производстве? Различные источники как будто бы в достаточной мере это подтверждают. Так, из переписки префекта департамента Дромы с министром торговли по поводу изобретения некоего Палэ (Palais), проживавшего к 1831 г. в Роман (Romans), с очевидностью явствует, что до этого времени технический уровень, достигнутый деп. Гард, считается идеальным[2].

В деп. Роны в 1819 г., как видно из мемуара Фессоля (Faissoles), изобретение единого двигателя в мотальном производстве составляло лишь предмет горячих желаний местных мануфактуристов[3]. Высокосортность продукции шелкопрядильных предприятий в департаменте Гард констатирована и в технологическом справочнике эпохи, изданном в 1839 г.[4].

Возможно, что историк, не преследующий никаких других задач, кроме истории техники, присоединил бы к нашему рассказу обильный материал о различных удачных и неудачных усовершенствованиях других изобретателей той же эпохи. Историк-экономист едва ли обязан брать на себя подобную задачу. В данной связи заслуживает быть отмеченным лишь изобретение Локателли (Locatelli), усовершенствования которого имели особенно крупное значение, достаточно, впрочем, освещенное в литературе[5].

Таковы главнейшие факты из истории спонтанейного развития «машинизма» в шелкомотальном производстве. Но, как уже сказано выше, «шелкопрядение» в широком смысле включает также и важную операцию крутки шелка. Существование в сфере шелкокрутильной промышленности таких машин, где работа пальцев была заменена действием более или менее остроумно придуманных механических приспособлений, невозможно отрицать не только для второй половины XVIII века, но даже в эпоху, предшествующую собственно мануфактурному периоду.

Здесь уместно теперь указать на ту осторожность, с какой следует цитировать известное замечание Маркса из письма к Энгельсу от 28/I

---

[1] Понятно, что Родье отнюдь не был единственным экспериментатором. О более или менее удачных опытах других изобретателей, работавших над той же проблемой, ср. у Poncelet, в цит. соч., с. 74. Léon de Teste к 1830 г. констатирует первые успехи итальянца Fossombrone, французов Laporte, Pellet, Bonnard, Lacombe. Но характерно, что сам de Teste еще сомневается в возможности окончательного устранения работниц tourneuses (у de Teste'a: vireuses, ср. цит. соч., с. 64).

[2] Нац. арх. F^{12} 2199. Префект—министру, IV 1830 г.: «...que M. Palais, par ces procedés aurait porté le perfectionnement des soies filées à Romans, jusqu'ou point d'égall les plus belles soies du département du Gard».

[3] Нац. арх. F^{12} 2293, мемуар Faissoles'я: «...que l'on pourrait peut-être faire tourner les hasples de plusieurs tours à filer avec une roue hydraulique».

[4] Devilliers, цит. соч., с. 31.

[5] Нац. арх. F^{12} 2390; ср. Alcan, цит. соч., с. 307.

1863 г., где Маркс писал: «Но если мы обратим внимание на машину в ее элементарной форме, станет ясным тот факт, что промышленная революция исходит не от движущей силы, но от той части машины, которую англичане называют Working machine»... и т. д. Это замечание абсолютно справедливо, поскольку оно касается собственно прядильных производств. Но мотальное и крутильное производства характеризуются существенно отличной технологической особенностью, на которую было указано выше.

«Исходит» ли промышленная революция в шелковой промышленности от крутильных станков Боргезано? Конечно, нет. В конце того же письма Маркса к Энгельсу мы читаем: «Промышленная революция начинается с того момента, когда механизм начинает применяться там, где издавна требовалась человеческая сила для достижения конечного результата»... и т. д. Человеческая сила издавна требовалась для приведения в движение крутильной мельницы, где еще с XII века шелк мотался не на дощечку, поворачиваемую над головою, а на механически действующие веретена. С другой стороны, фабрику современного типа создают вполне развитые машины, а «всякая вполне развитая машина состоит из трех существенно различных частей: двигательного механизма, трансмиссии, наконец, исполнительного механизма, или собственно рабочей машины»[1].

Между тем Балло стремится открыть не только одни лишь элементы машинизма. Значение исследования шелкокрутильного производства заключается для Балло в том, что, по его мнению, он открывает здесь подлинный прототип современной крупной фабричной промышленности. Посмотрим, как и в этой области Балло преувеличивал данные своих источников.

Балло рассказывает о появлении во Франции первых шелкокрутильных мельниц с водяным двигателем. Как только документы эпохи заговорят о механической крутке, как только появятся данные о применении водяной силы, воображение Балло тотчас же дорисовывает картину современной фабрики. В действительности, даже там, где источники дают эти элементы, далеко еще нет всех необходимых данных для подобной аналогии. Балло цитирует, например, монографию Барбье (Barbier, La Savoie industrielle). Но что представляли из себя шелкокрутильные мельницы с водяным двигателем, насколько в них весь процесс производства был механизирован? Приводимые у Барбье документы не дают достаточно ясного ответа. Больше того, некоторые из этих документов могли бы аргументировать не сходство, но именно отличие шелковых мануфактур XVII—XVIII столетий от фабрики XIX века. Автор прекрасной монографии «Промышленная Савойя» рассказывает, между прочим, о предприятии некоего

[1] Маркс, Капитал, I, русск. изд. 1925 г., с. 350.

крупного крутильщика Вепра (Vespre), арендатора мельниц, принадлежавших l'hôpital général Шамбери. Дело происходило в 1689 г.[1]. Арендатор ходатайствовал о скидке с условленной арендной платы. Барбье сообщает нам мотивы этой челобитной. Как оказывается, арендатор в свое время условился о предоставлении ему рабочей силы 27 местных пауперов; между тем, по независящим от его воли обстоятельствам, на «фабрику» прислали не взрослых рабочих, а детей, в возрасте от семи до восьми лет, «которые не могут делать ничего другого, как только портить шелковую пряжу в течение одного часа в таком количестве, какое не вырабатывают за 6 лет». С'емщик вынужден был поэтому прибегнуть к найму иностранных рабочих. Итак, применение детского труда на «современной» шелковой «фабрике» оказывается разорительным, невозможным! Совершенно очевидно, что той механизации, которая отличает подлинную фабрику от мануфактуры, еще не было в данную эпоху.

Из документов более поздней эпохи отметим мемуар Фессоля, которому было отлично известно о существовании шелковых мельниц XVIII века; он знает, что уже в эту эпоху «можно было приводить в движение сразу 5 или 6 мельниц»[2]. Но вот один из крупных недостатков (vices) вышеописанных мельниц: «они приводятся в движение человеческой силой»!

Теперь понятно, почему те данные, которые приводятся у Балло о продукции вновь организованных крупных крутильных предприятий, оборудованных именно машинами Вокансона, совсем не обнаруживают чего-либо похожего на крутой под'ем производительности труда[3].

Итак, Балло преувеличивал в своей работе также и значение тех изобретений Вокансона, которые имели целью техническое усовершенствование крутильного производства. Основная ошибка этого исследователя заключалась в том, что он не обратил достаточного внимания на важнейшее (с экономической точки зрения) указание «мемуара Монтесюи»: крутильные фабрики с машинами Вокансона могли просуществовать только при условии королевской дотации и были вовсе непригодны для нормальной экономической эксплоатации; частные предприниматели не смогли бы составить себе состояние, владея такими фабриками[4].

Спонтанейно развивающуюся, нормальную капиталистическую крутильную фабрику следовало также искать не в XVIII, а в XIX веке. Вокансоновские опыты не увенчались экономическим успехом. К началу

---

[1] Barbier, La Savoie industrielle. Première partie. Chambéry, 1875, с. 127.

[2] Нац. арх. F12 2293.

[3] Ср. Ballot, цит. соч., с. 327.

[4] Нац. арх. F12 2293, цит. выше рукопись f : «...qu'ils ne sont pas faits pour la fortune des entrepreneurs».

Ср. Léon de Teste, Du commerce des soies, с. 87: «...ils ne pouvaient donner un bénéfice».

второй половины XIX века исчезает и описанный у Балло пьемонтский тип крутильной мельницы—технический идеал XVII—XVIII столетий[1].

Промышленная революция в шелко*крутильном* производстве совершается во второй четверти XIX века; при этом техническая основа переворота очень своеобразна. Механизация рабочего инструмента существовала в этом производстве с XIV столетия; поэтому фабричный способ производства создается здесь *комбинированной механизацией*, заключающейся в применении регулярно и автоматически действующего двигателя и обусловливаемом этим применением дальнейшим усовершенствовании «рабочего инструмента».

Вот как радикально видоизменяются перечисленные элементы:

Пьемонтская мельница имела 336 веретен, вращавшихся от 600 до 800 оборотов в минуту[2].

В 1850—1855 г. «французская мельница» (схематическую форму которой можно изобразить математическим знаком бесконечности) имела 2 этажа веретен, вращающихся со скоростью от 1.600 до 2.000 оборотов в минуту[3]. Ряд дальнейших усовершенствований приводит к тому, что в новейшее время скорость вращения веретен возрастает до 6, 9 и даже 12 000 оборотов в минуту[4].

Постараемся теперь очертить динамику *экономического* развития шелкопрядильного производства. Факты, которые здесь удается установить и осветить, органически связаны с описанным техническим переворотом. И если допустить, что справка из области *технической* истории интересующего нас производства все еще недостаточно убеждает в правильности предлагаемой периодизации промышленного переворота, то все сомнения должны быть рассеяны изучением экономической и социальной истории эпохи.

II. ОБЩАЯ КАРТИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕЛКОПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

В рамках предполагаемого очерка нет возможности остановиться на многих вопросах из истории шелкопрядильного производства в эпоху старого порядка. В основном, задача исследователя в этой области сводилась бы к тому, чтобы более тщательно раскрыть картину *мануфактурного* строя производства, развивающегося в условиях феодального режима.

[1] *Reynier*, La Soie en Vivarais, p. 98.

[2] *Poncelet*, цит. соч., с. 37; *Le Payen* на с. 16—17 своего *Essai* описывает более сложный тип, но нераспространенность подобного типа во Франции точно констатирована *de Teste*'ом (с. 85).

[3] *Нац. арх.* F[12] 2298. M. *Poidebard*—Министру торговли, 6/IX 1843: «Les Moulinages connus portent la vitese des fuseaux à 1.000 tours par minute au filage et 2.000 tours au torse. Ср. *Poncelet*, с. 124; *Reynier*, с. 98.

[4] *Beauquis*, Histoire économique de la Soie, p. 140.

Но если в пределах поставленной темы и позволительно отказаться от специального исследования подобного рода, то для освещения последующей эпохи, в частности для освещения той закономерности, с какою развивается ряд сходных экономических явлений в истории Англии и Франции, совершенно необходимо расчистить поле исследования от искусственно созданного усложнения, появившегося с опубликованием работ Балло.

Сопоставляя Францию и Англию в отношении развития машинизма, Балло отмечает то существенное различие, которое, как ему думается, состоит в самопроизвольности, спонтанейности развития английской фабричной техники и искусственной насажденности, именно правительственной насажденности этой техники во Франции. В другом месте нам уже проходилось рассматривать ошибочность подобной установки[1], и поэтому здесь можно лишь резюмировать результаты поверочного изучения документов XVIII века.

Не говоря уже о том, что тезис об абсолютной и чистой «спонтанейности» даже и для истории английского машинизма неприемлем без оговорок, самое сравнение у Балло поставлено методологически неверно.

Небольшое число опытных и недолговечных предприятий, которые повсюду обнаружили свою неэкономическую природу[2], сравниваются с «нормальными» капиталистическими фабриками; эпоха, предшествующая промышленной революции, сравнивается с эпохою «бури и натиска» в другой стране. Вместо того, чтобы и во Франции проследить развитие подлинной экономической «спонтанейности» в соответствующую эпоху, исследовательский поиск произвольно ограничивается периодом империи Наполеона. Наконец, действия французского правительства во второй половине XVIII века рассматриваются у Балло вне экономических предпосылок, властно требовавших полной реорганизации шелкомотального производства. Допуская, что первые опыты усовершенствования техники мотального производства были сделаны в интересах «фабрикантов» шелковых материй, Балло далее совершенно «спонтанейно» упускает из виду значение целой серии мемуаров, четко отражающих перелом в экономической кон'юнктуре ткацкой промышленности в XVIII веке и развивающееся на этой почве обострение и без того уже назревшей потребности в повышении качества туземной пряжи с одновременным удешевлением ее цены[3].

Таким образом, истинное значение правительственных «поощрений», как жалкого и неудовлетворительного компромисса, каким только и могла

[1] В IV томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса», в критической статье о промышленной революции во Франции в новейших работах.

[2] Нац. арх. F[12] 2201, мемуар Табарэна.

[3] Ср. мемуары, сохраняющиеся в Нац. архиве, в картонах F[12] 1432 A, F[12] 1432 B, F[12] 1453 A, F[12] 2293, цитированные нами в вышеуказанной статье в IV томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса».

ответить классовая экономическая политика правительства «старого порядка», остается в работе Балло нераскрытым.

Подводя общий итог по вопросу о развитии шелкопрядильной промышленности во Франции в конце XVIII и в самом начале XIX столетий, следует признать, что как в деп. Ардеш, специально и тщательно обследованном в монографии Рейнье, так и во всем шелкопрядильном районе в этот период все еще господствует мелкое производство[1]. В предшествующей части статьи было показано, что лишь с двадцатых годов начинает распространяться фабричная система в шелкомотальном производстве. Исследуем же ряд экономических показателей, освещающих именно данную эпоху.

Район шелкопрядильного производства расположен преимущественно в трех провинциях: Лангедок, Дофинэ и Прованс. С ростом шелкоткацкого производства быстро развивалась культура тутовых деревьев и разведение шелковичного червя.

Эта культура возрождается там, где она была заброшена еще со времен Великой революции[2], и даже в тех департаментах, где прежде никогда не практиковалось насаждение тутовых деревьев[3], к началу второй трети XIX века оно начинает с успехом применяться.

До исхода двадцатых годов нельзя еще говорить о благоприятной кон'юнктуре. Цены на коконы с 1789 по 1830 не падают, а возрастают, и хотя с 1821 г. по 1830 г. общее производство коконов возрастает на 100% по сравнению с периодом 1813—1820 г., но средняя цена на коконы в течение всего этого времени (с 1813 по 1830) остается стабильной. Но с началом тридцатых годов цены падают; табличка (табл. № 1) убедительно показывает, что период 30—40-х годов, т. е. период развития промышленной революции в шелкопрядильном производстве, характеризуется наиболее благоприятными условиями рынка сырья.

---

[1] Observations sur les Manufactures d'Etoffes d'Or, d'Argent et de Soie de la ville de Lyon,—анонимная брошюра эпохи 1789 г. (in 16°, p. 47) отмечает существование субсидировавшихся правительством предприятий Жюбье и Дейдье, но их исключительность еще резче оттеняется общей характеристикой организации производства (ср. с. 24). Ср. Reynier, La Soie ien Vivarais, c.74.

[2] Leon de Teste к 1830 г. перечисляет следующие департаменты: Ардеш, Устья Роны, Дрома, Гард, Изер, Воклюза, Вар, Эн, Аллье, Эро, Луара, Индра-и-Луара; на полях помечен еще и Лозер, но некоторые из перечисленных департаментов очень незначительны по об'ему производства.

[3] Bulletin des sciences agricoles № 10. 1830, pp. 156—157, о департаменте Пюи-е-Дом.

[4] Напр., успешные опыты проделывались в 1828 г. в деп. Авейрон, где в одной только деревне близ Millau собирают в 1827 г. около 145 квинталов коконов (Bulletin des seiences agricoles et économiques, № 8, 1928, p. 136). Kauffmann в 1846 г. насчитывает уже 42 департамента, где культура тутового дерева развилась всего лишь «в течение нескольких лет» (Kauffmann, De la fabrique lyonnaise, Lyon, 1846, c. 12—13).

Таблица 1

Продукция коконов и цены на них с 1789 по 1876 г.[1]

Периоды	Цены во фр. и сант. за кг	Рост продукции коконов (средн. колич. в тыс. кг)	Ценность продукции коконов в тысячах франков
1789—1800	2.80	3.500	9.800
1808—1812	3.40	5.147	17.503
1813—1820	4.10	5.200	21.520
1821—1830	4.10	10.800	44.080
1831—1840	3.71	11.537	42.840
1841—1845	3.80	17.500	66.500
1846—1852	3.79	24.254	91.816
1853	4.50	26.000 (24.000)	117.000
1855	5	19.800	99.000
1856—1857	7.60	7.500	57.000
1865	8	—	—
1873—1876	6.50 (1873 г.)	7.394	—

Что касается сырьевого рынка для шелкокрутильных фабрик, т. е. рынка грежи, то его общая характеристика сводится к следующим чертам в эту эпоху.

Условия импорта иностранного сырья очень благоприятны для французских коммерсантов: покупая на самых различных рынках (Италия, Индия, Китай), они не имели необходимости снаряжать корабли; грежа и органзин приобретались по консигнационным сделкам за страх и риск продавцов пряжи[2]. Соотношение импортируемой и туземной пряжи на внутреннем рынке в начале двадцатых годов определяется следующими данными[3]:

вся масса шелкового сырья, потребляемого в 1823 г. ткацкой промышленностью Лиона, С.-Этьенна и С.-Шамона,—1.157.000 *кг*.

долю туземного сырья в этой сумме составляют 390.000 *кг*.

По показаниям современника эпохи, лучшая обработка грежи производилась в Оранж, т. е. в деп. Воклюзы. По достоинству производимой пряжи второе место принадлежало деп. Гард; в деп. Дромы обычно удавались прекрасные выводки, но прядение было еще незначительно развито к 1823 г. Напротив, деп. Ардеш, где физические условия для культуры тутового дерева были неблагоприятны, был богаче других водопадами, и уже тогда был важнейшим районом шелкопрядильного производства, а считался Обенас наиболее крупным сырьевым рынком. В деп. Луары крутился шелк, импор-

[1] Block, Statistique de la France, t. II p. 150, Natalis Rondot, L'art de la Soie. Les Soies, t. I p. 96, Zolla, Les fibres textiles d'origine animale, Paris, 1910, pp. 126—127. Pariset, Histoire de la fabrique lyonnaise, p. 281; см. также Gobin Mûrirs et vers à Soie, Paris, 1874, стр. 200 и 221, где сообщаются ежегодные цены на рынке Алэ.

[2] Нац. арх. F^{12} 2293, мемуар de Teste'a, 1823 г.

[3] Там же, цитируемый мемуар; ср. Chaptal, De l'industrie fransoise, p. 180.

тируемый из Леванта; деп. Изер производил довольно значительное количество шелкового сырья, но более низкого сорта, чем в деп. Воклюзы и Дрома.

Цены на грежу в период 1815—1850 гг. довольно неустойчивы. Нижеследующая сводная табличка (табл. № 2) покажет общую картину движения цен на сырье и на продукты крутильных фабрик[1].

Таблица 2

Движение цен на грежу и органзин с 1783 по 1846 г.

Годы	Цены на грежу	Примечания	Годы	Цены на органзин	Примечания
1783	40	в ливрах за два фунта	1783	60	в ливрах за два фунта
1812—1813	40	во франках за *кг*	перед 1815	60—64	в среднем во франках за *кг*
1814—1815	52—68	» » » »	—	—	—
1817—1818	80—82	» » » »	1817	89—120	во франках за *кг*
1819	50—60	» » » »	1818	95	» » » »
1820—1821	50	» » » »	1819	73	» » » »
1822	60—70	» » » »	—	—	—
1825	49	» » » »	—	—	—
1831	39, 57	» » » »	1831	54	во франках за *кг*
1833	50—60	» » » »	1836	89	» » » »
1834—1839	60	в среднем во франках за *кг*	1842	73	во франц. валюте I сорт, за *кг* на миланск. рынке
1841—1842	50—60	в среднем во франках за *кг*	1843	67	во фр. за *кг* I сорт департ. Воклюза
1843	59—70	в деп. Воклюза и Ардеш	1843	73	во франц. валюте I сорт, на миланском рынке
1844	59, 52, 65	Ардеш, Вар, Воклюза	1844	80—70	Ардеш, Воклюза
1845—1846	60—70	в среднем во франках за *кг*	1845	79	Ардеш

Общий рост шелкопрядильного производства трудно выразить в совершенно точных цифрах. Но при всей неудовлетворительности французской торговой статистики, нельзя отказаться от возможности использовать некоторые статистические данные, как общие ориентировочные показатели темпа развития. Нижепомещаемая табличка характеризует рост шелкомотального производства[2].

[1] Источники для сводки: Нац. арх. F12 1432 B, F12 4476 B, F12 4476 B, F13 2298; Pariset, цит. соч., с 282; Reynier, цит. соч., с. 82; Gobin, Mûriers et vers à soie, pp. 221—222.

[2] Pariset, цит. соч., с. 289; Reynier, цит. соч., с. 94.

Таблица 3

Рост продукции шелкомотального производства
(средние, по периодам, в тысячах *кг*)

Периоды	Продукция всей Франции	Продукция одного деп. Ардеш	В периоды
1813—1820	433	87	1811 — 1820
1821—1830	900	128	1821
1831—1840	960	141	1831 — 1839
1841—1845	1.500	210	1841 — 1845
1846—1852	2.109	242	1846 — 1848

Приведенная табличка настолько выразительна, что не требует комментарий; в скачкообразном, революционном темпе развития не может быть сомнений. Еще более характерную картину представляет статистика торговли крученой пряжей[1].

Таблица 4

Французский экспорт неокрашенной крученой пряжи
(commerce spécial)

Годы	Вывоз в *кг*	Годы	Вывоз в *кг*	Годы	Вывоз в *кг*
1833	3 195	1841	5 153	1849	52 097
1834	2 708	1842	32 554	1851	39 591
1835	2 354	1843	56 295	1852	43 569
1836	4 538	1844	58 248	1853	171 062
1837	419	1845	51 947	1854	155 719
1838	4 927	1846	45 300	1855	200 217
1839	6 481	1847	32 987	1856	216 378
1840	5 995	1848	160 142		

Конечно, сама по себе эта таблица еще недостаточно убеждает нас в быстром росте французского крутильного производства. Ясно, что вывоз крученой пряжи значительно вырастает. Но не происходило ли увеличение вывоза пряжи за счет сокращения внутреннего рынка сбыта, т. е. сокращения французского ткацкого производства? В том-то и дело, однакоже, что параллельно с неуклонным ростом экспорта «излишней» пряжи не прекращается и рост ткацкого производства.

В 1836 г. было вывезено . . 1 063 958 *кг* выработанных во Франции шелковых материй
» 1846 » » » . . 1 071 958 *кг*
» 1853 » » » . . 2 150 902 »

Следует подчеркнуть, что эти цифры еще не характеризуют французского потребления пряжи,—так, здесь сообщаются данные о вывозе одних лишь материй без учета значительного экспорта лент и других шелковых изделий.

[1] Tableau décennal du Commerce de la France aveco ses colonies et les puissances étrangères, publié par l'administration des douanes, 1827—1836, 1837—1846, 1847—1856.

О приблизительном удвоении потребления пряжи на внутреннем рынке в промежутке всего лишь с 1845 по 1853 г. говорят нам данные о кондиционировании шелка в Лионе, С.-Этьенне, Ниме и Авиньоне[1]:

В Лионе,	в 1845 г. было кондиционировано		1 444 982 *кг*
	» 1850 » » »		2 066 662 »
	» 1853 » » »		2 375 387 »
в С.-Этьене	в 1845 » » »		426 287 *кг*
	» 1850 » » »		536 762 »
	» 1854 » » »		623 358 »
В Авиньоне	в 1850 » » »		13 906 *кг*
	» 1853 » » »		18 640 »
А Ниме	в 1846 » » »		34 729 »
	» 1852 » » »		51 904 »
	» 1853 » » »		42 669 »

Наконец, не только не сокращался, но, напротив, бурно и неуклонно развивался в этот период импорт грежи[2]:

Средний импорт за 10 лет, с 1827 по 1836 г.	248 тыс. *кг*
» » » 10 » » 1837 » 1846 »	534 » »
» » » 10 » » 1847 » 1856 »	1.095 » »

Выразительную картину дает и сравнение периода 1849—1854 гг. с последующей эпохой (табл. № 5)[3].

Таблица 5

Производство крученой пряжи с 1849 по 1878 гг.
(годовые средние, в тысячах *кг*)

Периоды	Производство крученой пряжи из грежи, выпряденной во Франции	Производство крученой пряжи из импортированной грежи	Вся продукция франц. крутильных фабрик
1849—1854	1.746	883	2 629
1855—1860	749	1 204	1 953
1861—1866	535	1 423	1 958
1873—1878	629	1 825	2 454

Все эти данные в достаточной мере характеризуют общий рост шелкопрядильной промышленности. Что же касается специальной проблемы о под'еме производительности предприятий с переходом от мануфактуры к системе фабричного производства, то вполне точные характеристические показатели найти здесь довольно трудно. Главное неудобство возможных в этой области сравнений заключается в неравной годовой продолжительности работ.

Но некоторые сопоставления все же не лишены общего ориентирующего значения.

---

[1] Нац. арх. F^{12} 2390. Relevé statistique de la quantité de soie conditonnée à Lyon S-t Etienne, Nîmes et Avignon.

[2] Exposition universelle de 1889, classe 33, p. 152 (Morand, rapporteur).

[3] Natalis Rondot, Les Soies, t. I, p. 106.

Задолго до появления настоящей мотальной фабрики, в 1754 г., когда шелкопрядильные мануфактуры были особенно активны[1], 7 крупнейших «фабрик» разматывали 268 тысяч фунтов коконов. В эпоху сложившегося фабричного производства, в 1860 г., 11 фабрик округа Турнон, представлявших не отборную группу крупнейших, а все число имевшихся в этом районе крупных и мелких предприятий, обрабатывали 944 тысячи фунтов коконов[2].

По крутильному производству показательны следующие цифры: в 1785 г., в Виварэ, 410 «мельниц» производили 1.672 квинтала органзина и 311 квинталов трама, т. е. всего 203 тысячи фунтов крученой пряжи; в 1860 г., в округе Турнон, не 410, а всего лишь 286 предприятий производят, по данным официальной статистики, около 536 тысяч фунтов пряжи[3].

Другой пример — это приблизительный расчет повышения производительности на одного рабочего: в 1787 г. в крупнейшей крутильной мануфактуре, вновь оборудованной «мельницами» Вокансона, 24 работницы производили 30 квинталов органзина[4]. В 1836 г. 24 крупных и мелких крутильных фабрики в округе Турнон производят 100.000 *кг*, т. е. 2 000 квинталов крученой пряжи, эксплоатируя 750 рабочих[5]. Таким образом, средняя продукция в крупнейшей мануфактуре на одного рабочего равнялась 1,2 квинтала, продукция же «средней фабрики» на одного рабочего измеряется в 1836 г. в 2,6 квинталов. Для более правильного и гораздо более выразительного сравнения требовалось бы сопоставить не эту, совершенно исключительного типа, мануфактуру, сильно уже механизированную и ни в какой мере не типичную для характеристики экономически-нормального шелкокрутильного предприятия XVIII века; но основное затруднение — неодинаковая продолжительность годовой работы и недостаточная исследованность мануфактурного строя производства, пока-что исключают для нас эту возможность.

Было бы, впрочем, большой ошибкой изображать промышленный переворот в шелкопрядильном производстве до идентичности сходным с подобным же феноменом в бумагопрядильной или, например, в льнопрядильной промышленности. Революционный темп развития не возбуждает сомнений, но темп этот все-таки менее бурный, чем в других отраслях текстильного производства. В целом, еще и к 1848 г. не исчезает мелкая шелковая фабрика, работающая всего лишь несколько месяцев в году. Кроме того, по количеству рабочих, занятых на каждой отдельной мотальной или кру-

[1] Ballot, цит. соч., с. 310: «L'année 1754, au contraire, fut très favorable et les manufactures en pleine activité».

[2] Reynier, La Soie en Vivarais, p. 107.

[3] Reynier, цит. соч., с. 45 и 107.

[4] Ballot, цит. соч., с. 327.

[5] Reynier, цит. соч., с. 96.

тильной фабрике (иногда оба производства соединяются в одном предприятии или в двух разных предприятиях, но принадлежащих одному лицу), шелкопрядильное производство в 30-е и 40-е годы все еще не поднялось до размеров, типичных для эльзасских, вогезских или лилльских фабрик. Мы уже отметили, что деп. Ардеш представляет наиболее развитый район промышленного шелкопрядения. Посмотрим же, как распределяется здесь рабочая сила по предприятиям. Нижеследующая таблица дает сводку ориентирующих данных, рассеянных на многих страницах статистических сведений, по счастью уцелевших в архиве [1].

Таблица 6

Распределение рабочих по крутильным предприятиям в начале 40-х гг. в деп. Ардеш

Районы	Число фабрик с паров. двигателем	Число рабочих по предприятиям	Число фабрик с гидравл. двиг.	Число рабочих	Число предприятий, где двиг. не указан	Число рабочих
Прива	2	28—69	33	от 16 до 60	13	от 8 до 40
Обенас	1	24	38	» 13 » 73	—	—
Бур С. Андеоль . .	—	—	2	» 16 » 45	1	40
Ляржантьер и др.	—	—	74	» 8 » 17 » 13 » 36 » 10 » 25 и т. п.	—	—

Как видим, к середине 40-х годов XIX века, при всей очевидности, что именно эта эпоха является наиболее важным этапом промышленного переворота в интересующем нас производстве, все еще сохраняется довольно много фабрик—мастерских, занимающих по 8, 10, 13 рабочих.

Тем не менее характерный для эпохи процесс концентрации производства обозначается совершенно четко. Уже к 1829 г. документы констатируют начавшееся уменьшение числа мелких предприятий [2]. В дальнейшем, в конце 40-х и в начале 50-х годов, этот процесс становится очевидным. Так, к 1855, в результате фактической экспроприации мелких предпринимателей и на основе той хищнической эксплоатации детского труда, картина которой будет освещена в последней части этой статьи, физиономия «нагуливавшего

[1] Нац. арх. F[12] 4708, Ardèche. Опускаем данные нашего источника о числе детей на фабриках, так как именно эта деталь освещена у Reynier, в цит. соч., с. 210, где он дает следующую статистику 1841 г.

В округе Прива	4.490 рабочих,	из них	1.193 детей,	т. е.	26%.
» » Турнон	818 »	» »	168 »	» »	13%.
» » Ляржантьер	922 »	» »	407 »	» »	44%.

[2] Нац. арх. F[12] 2293. Lettre de M. Vincent de Nimes, membre du Conseil Général du Commerce, 2/VI 1829, о Дофинэ: «Le nombre des petites filatures a sans doute diminué dans notre pays, sur tout depuis que l'on file à la vapeur»...

себе щеки» капитала в шелкопрядильном производстве вырисовывается в следующих «контурных» штрихах:

В деп. Ардеш предприниматель Бланшон нанимает уже до 300 рабочих, причем ценность годовой продукции достигает 1 000 000 франков; существующее с 1826 г. предприятие Мазелье занимает в середине 50-х годов 230 рабочих, а ценность их годовой продукции — 900 000 франков; фирма Фужейроль, основанная в 1849 г., имеет к 1855 г. до 250 рабочих, с годовой продукцией 1 200 000 франков; у Герэна 420 рабочих, etc, etc. Сообщая нам эти данные, исследователь местного края, Рейнье, правильно формулирует свой вывод: «Cette énumération atteste nettement, par les dates, l'importance de la période 1825—1855, et, par les chiffres, celle de la concentration industrielle déjà bien marquée»[1].

Общую картину изучаемой эпохи, как периода, наиболее экономически благоприятного для капиталистов[2], дополняет историческая справка о таможенной политике правительства Людовика Филиппа по отношению к экспорту-импорту шелкового сырья. При «старом режиме», до Великой революции и после революции вплоть до 1834 г., вывоз шелковой пряжи был воспрещен. Королевским ордоннансом от 29/VI 1833 г. воспрещение экспорта отменялось, и устанавливались следующие тарифы: 4 фр. 40 сант. на 1 *кг* грежи; 2¾ фр. на *кг* органзина, 2 фр. 20 сант. на другие сорта крученой пряжи и 6 фр. 60 сант. на крашеную пряжу-трам. Официально считалось, что эти тарифы представляют приблизительно от 2 до 10% ценности экспортируемой пряжи[3].

Действительное же значение тарифов скорее выражают 5—6% ad valorem. Выше уже приводились данные о бурном росте экспорта крученой пряжи, производство которой очень заметно стимулируется легализированной возможностью экспорта. Заинтересованные в дешевых ценах на пряжу «фабриканты» шелковых изделий с энергией, но без успеха, борются за повышение экспортных тарифов[4].

В 1846 г. дело дошло до Генерального мануфактурного совета, заслушавшего доклад специальной комиссии по этому вопросу (5/I 1846), однако, предложение о повышении тарифа было отклонено. Что касается импортируемой пряжи, то после падения империи, обеспечивавшей французский рынок итальянской пряжей по тарифу 1816 г., невзирая на энергичные

[1] Reynier, цит. соч., с. 100.

[2] Pariset, La fabrique lyonnaise, c. 287: «La sériciculture, cependant, était très prospère, et pendant une période de 25 ans, de 1825 à 1850, elle a offert le plus brillant tableau.

[3] Conseils généraux de l'Agriculture, des Manufactures et du Commerce. Procès-verbaux (Paris 1846, in 4°), t. II, p. 47.

[4] Особенно заинтересованы были сент-этьеннские промышленники, потреблявшие почти исключительно туземную французскую пряжу.

протесты «фабрикантов» материй, импортируемая грежа облагалась сбором по 1 фр. 2 сант. с одного *кг*, а крученая пряжа — по 2 фр. 4 сант. Резкое повышение цен в 1815—1817 г. (когда цена органзина доходила до 88—120 фр.) привело к временному снижению действовавшего тарифа (13 сант. на *кг* грежи и 51 сант. на *кг* крученого шелка); но в 1819 г., когда цена органзина упала до 73 фр. за *кг*, вновь были восстановлены повышенные тарифы. К концу эпохи Реставрации в борьбе с промышленниками, добивавшимися понижения и даже отмены импортных тарифов, шелководы круто меняют свою тактику и соглашаются на понижение под условием отмены воспрещения экспорта. Но, как мы уже видели, не правительство Реставрации, а правительство буржуазной монархии с ее лозунгом «обогащайтесь» открыло для шелкопрядов таможенные шлюзы. Вместе с тем импортные тарифы были понижены до 5 и 10 сант. вместо существовавших к этому моменту 1 фр. 10 сант. и 2 фр. 20 сант. таможенных сборов на различные виды ввозимой пряжи[1].

III. ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ НА ШЕЛКОМОТАЛЬНЫХ И ШЕЛКОКРУТИЛЬНЫХ ФАБРИКАХ В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

Приступая к заключительной части нашего очерка, посвящаемой проблеме положения рабочего класса, занятого в шелкопрядильном производстве, нельзя не констатировать крайнюю недостаточность разработки этой проблемы в литературе.

Несомненно, что одна из главных проблем подобного «забвения» значительной профессиональной группы французского рабочего класса в XIX веке лежит в недостаточной освещенности вопроса в сочинениях социальных писателей изучаемой эпохи.

Новейшая историография (Сэ, Тарле, Поль Луи), касаясь проблемы положения рабочего класса в 30—40-х годах XIX века, ограничивается цитатами из Виллермэ, Вильнев де Баржемона, Бланки, Одиганна, Рейбо и т. п.

Однако шелкопрядильная промышленность была обследована Виллермэ несравненно слабее, чем другие отрасли текстильного производства. Многие характеристические черты поэтому выражены у него очень обще; многое же самому Виллермэ осталось, повидимому, неизвестным[2].

В работе Бланки *совсем исчезла* проблема исследования положения рабочих в шелкопрядильном производстве[3].

---

[1] *Procès-verbaux* du Conseil général des Manufactures, t. II, pp. 114—126 ср. *Pariset*, цит. соч., с. 282—285.

[2] *Villermé*, Tableau de l'Etat physique et morale (Paris 1840) т. I, ч. III, с. 341 и след.

[3] *Blanqui*, Des classes ouvrières en France pendant l'année 1848 г. Напр., на с. 166 Бланки уверяет, что «к югу от Лиона не встречается более ничего, напоминающего ужасную нищету северных промышленных городов». Ср. также с. 223.

Что касается Одиганна[1] и Рейбо[2], то они ведь обладали такой большой дозой оптимизма и относились к своей задаче — доказывания социального прогресса — настолько честно, что не могли, конечно, позволить себе останавливаться на явлениях, не гармонирующих с их миросозерцанием[3]. Бывшему фабричному инспектору Боки принадлежит честь впервые, повидимому, дать самую общую характеристику эксплоатации шелкопрядильных рабочих: на ряду с обильным технологическим материалом в его книге есть несколько блестящих страниц, приоткрывающих уголок завесы, долго скрывавшей картину страданий этой группы рабочего класса в XIX веке. Следующий крупный шаг делает неоднократно цитированный нами Рейнье (Reynier), тщательно исследовавший один из наиболее значительных департаментов шелкопрядильного района, деп. Ардеш; но при всех своих бесспорных достоинствах книга Рейнье все же остается только локальной монографией, не исследующей к тому же такого важного вопроса, как движение продовольственных цен. Таким образом, задача преимущественно архивного исследования вопроса определялась здесь с большей необходимостью, чем в любой другой части нашей работы.

* * *

Начнем с той общей характеристики, которую дают сохранившиеся в Национальном архиве инспекторские отчеты[4].

В деп. Ардеш, в округе Прива, функции инспектора были возложены на верификатора мер и весов, добросовестного и энергичного чиновника Парше (Parchet).

Как видно из переписки, первый отчет Парше относится к 1845 г. Послушаем же, о чем сообщает этот фабричный инспектор в своих докладах префекту.

---

[1] Audiganne, Les populations ouvrières et les industries de la France. Paris 1860, ср. 146—147 и след. во II томе.

[2] Louis Reybaud, Etudes sur le régime des manufactures. Condition des ouvriers en soie. Paris 1859. Почтенный ученый посетил только 2 крутильных предприятия. Этого оказалось достаточным, чтобы признать режим фабричного способа производства «оздоровляющим» (ср. с. 26—27).

[3] Небольшая работа de la Farelle, Etude économique sur l'industrie de soie dans le midi de la France, принадлежит к той же «школе».

[4] Служба инспекции труда устанавливается во Франции в связи с законом 22/III 1841 г. (об ограничении детского труда на фабриках). Ничего похожего на знаменитые отчеты английских фабричных инспекторов во французских архивах мы не находим. В подавляющем большинстве департаментов (мы изучили всю серию картонов F¹² 4704 à F¹² 4715) неоплачиваемые инспекторские комиссии были бездеятельны, и только там, где служба охраны труда была возложена на инспекторов мер и весов (vérificateurs des poids), там иногда отдельные старательные и добросовестные чиновники составляли более или менее содержательные доклады. Мы не останавливаемся ни на характеристике закона 22/III, ни на истории его последствий, предпочитая сделать это в особой статье.

Периодические об'езды вверенного района убеждают инспектора в том, что фабриканты по большей части в полной мере игнорировали постановления закона 22/III: не имелось ни публикации этого закона в мастерских, не было ни регламента, ни рабочих книжек. Из личного опроса рабочих Паршэ установил 16-часовую общую продолжительность рабочего дня. При этом оказалось, что «некоторые хозяева мастерских», «спекулируя на более продолжительном рабочем дне», ежедневно переводят стрелку фабричных часов и, таким образом, посредством обмана задерживают истомленных рабочих на еще более продолжительный срок. Инспектор здесь точно указывает «законный» рабочий день: с 5 часов утра до 9 часов вечера, т. е. 16-часовой рабочий день, с формальным трехчасовым отдыхом. Насколько этот трехчасовой перерыв был действительно лишь формальным, а не фактическим правом рабочих, мы увидим ниже.

Санитарное, точнее антисанитарное состояние общих рабочих спален описывается в следующих чертах: по большей части эти дортуары неопрятны (mal tenus); некоторые вовсе без окон[1], вентиляция отсутствует, и при чрезмерно тесном расположении кроватей работницы спят по-двое и по-трое на одной и той же постели; солома в тюфяках переменяется только один раз в год, постельное же белье остается по 2 и 3 месяца без смены. Состав рабочих—преимущественно женщины и девочки. Инспектор указывает на желательность неожиданных ночных посещений для проверки показаний об отсутствии ночной работы на фабриках. Таким образом, инспектор Паршэ с самого начала своей новой службы приступил к честному и усердному выполнению возложенных на него неоплачиваемых обязанностей.

Во втором отчете[2] Паршэ сообщает, что помимо вторичного осмотра тех фабрик, о которых он уже докладывал раньше, им были посещены еще несколько предприятий. Злоупотребления с часами продолжают практиковаться: обманом выигрывают «по меньшей мере целых два часа» лишних ежедневно. В целом картина не изменилась[3]. Более того, инспектор теперь сообщает еще и о другой проделке фабрикантов: малолетних детей фабриканты скрывают: они прячут их, как только становится известным о приближении инспектора к фабрике[4].

Нельзя без грустной улыбки читать последующие отчеты Паршэ. Начальство неоднократно и разными способами старалось внушать мысль о прогрессирующем улучшении положения рабочих. Достаточно указать на

[1] Нац. арх. F[12] 4709, Ardèche, первый отчет Паршэ.

[2] Этот отчет не цитируется у Reynier.

[3] Нац. арх. F[12] 4709, там же, второй отчет инспектора Паршэ.

[4] Там же, цит. доклад: «l'orsque (Sic) j'arrive dans les fabriques ou ateliers le mot d'ordre est donné, le premier qui me voit se porte de suite à l'atelier, previent le maitre ou contre maitre de mon arrivée, ce lui-ci fait disparaitre les enfants au dessous de douze ans».

стиль правительственных циркуляров, на публичное выступление министра торговли с отчетом о результатах применения закона 22/III. Понятно, что Паршэ старается писать в более оптимистическом тоне. Но стоит лишь внимательно вчитаться в последующие донесения инспектора, чтобы раскрыть истинное значение обманчивого оптимизма. «Я нашел значительное улучшение», так начинает свой третий отчет инспектор Паршэ. «Часы уже не переводятся на столько (как прежде)» и сами рабочие не жалуются на чрезмерную работу. И далее, инспектор весьма неудачно сопоставляет настоящее с прошлым. Повидимому, у Паршэ не сохранились черновики первых докладов. Вспоминая о прошлом, т. е. о первых своих посещениях фабрик, Паршэ в этом отчете пишет уже не о ежегодной смене тюфяков в рабочих спальнях, а о смене по одному разу в 2 года, и не о трехмесячном сроке перемены постельного белья, а 6-месячном сроке. Итак, положение изменилось к лучшему в том смысле, что стало более точно соответствовать характеристике, изложенной в первых отчетах!

Следует также отметить, что сохранившиеся документы не оставляют никаких сомнений в отсутствии до 1848 г. каких бы то ни было законов правительственного поощрения усердной службы инспектора; равнодушным молчанием отвечало правительство на безуспешно возобновляемые ходатайства Паршэ о возмещении дорожных расходов, необходимо сопряженных с периодическими об'ездами обширного района [1].

Показания инспекторов других кантонов того же департамента—лучшие образчики лаконического «казенного» оптимизма; ни малейшего доверия они не внушают; но чтобы даже у самого недоверчивого читателя не осталось никаких сомнений по поводу возможной односторонности в подборе документов, процитируем еще одно показание — отношение префекта деп. Ардеш министру от 4/XII 1850 г. Новый префект открыто признает, что шелкокрутильные фабрики «еще оставляют желать много лучшего»; фабричные часы переводятся настолько произвольно, что хозяева посредством этого приема увеличивают продолжительность рабочего дня на час и иногда на два часа в день. Префект прямо заявляет о трудностях борьбы с этими злоупотреблениями фабрикантов, причем — и это особенно важно отметить — указывает на главную причину, затрудняющую инспекторов: фабрики открываются в 2 и в 3 часа утра! [2].

Перейдем к изучению совершенно неисследованных районов шелкопрядильного производства. По производству шелковой пряжи, как мы уже отметили выше, рядом с деп. Ардеш может быть поставлен деп. Дромы.

[1] Уже в первом отчете Паршэ просит об «allocation»; он повторяет просьбу и в следующих отчетах; но, как явствует из отношения префекта министру от 2/II 1848, расходы инспектора не были возмещены.

[2] Нац. арх. F^{12} 4709. Префект—министру от 4/XII 1850; ср. также Extrait du Registre des délibérations du Conseil Général, от 25/VIII 1865 г. (в той же связке).

Префект деп. Дромы констатирует в своих отношениях министру, что закон 22/III и здесь до 1844 г. нисколько не изменил прежних условий эксплоатации детского труда. «Было установлено,—пишет префект 16/III 1844 г., что на большинстве фабрик, вопреки закону 22/III, дети, моложе 12 лет, работают по 12 часов в день, школ не посещают и в летнее время года начинают рабочий день ранее 5 часов утра. Инспектора не решаются противодействовать злоупотреблениям фабрикантов «из боязни нажить врагов и потерять свою популярность» [1]. В своем ответе министр рекомендует возложить инспекторские функции на инспекторов мер и весов. Последовавшее затем возложение инспекторских функций на верификаторов также не изменило положения дел, но теперь появляются документы, бросающие яркие лучи света в эти во всех отношениях темные углы глухой провинциальной фабрики. Из донесений инспекторов-верификаторов явствует, что не сходившее со страниц официальной переписки выражение «двенадцатичасовой день действительной работы»—не что иное, как некий условный эвфемизм. Инспектор с наивностью сообщает, что рабочие хотя и не жалуются на своих хозяев, но выражают пожелание отдыхать несколько больше, т. е. «вместо того, чтобы разделять [рабочий день] передышками по ¼ и ½ часа, отдыхать по целому часу» [2]. Ясно, что трехчасовой перерыв был только фикцией. Что касается возраста эксплоатируемых детей, то и здесь, как в деп. Ардеш, отсутствие сертификатов и книжек открывает широкую возможность для нарушений закона 22/III.

Изучение дальнейшей переписки ни в какой мере не подтверждает левассеровскую конструкцию о прогрессирующем улучшении после революции 1848 г. В переписке префекта Второй империи в 1857 г. констатируется уже не «двенадцатичасовой», а 13-часовой день «действительной работы»; общая продолжительность этого рабочего дня с 4 час. утра до 8 часов вечера [3].

Рассмотрим скудные данные о деп. Луары. Отсутствие более обширной документации вполне об'ясняется социальным составом местной инспекторской комиссии (су-префект, член генерального совета, фабрикант, артилл. капитан, директор банка, 2 врача, бывший фабрикант, мэр, директор копей, два собственника и один чиновник). Но даже и такая комиссия не могла не обратить внимания на чрезмерную продолжительность рабочего дня в ряде производств, особенно же на шелкокрутильных фабриках. Комиссия почти бездействует. Ее «деятельность», «ставшая уже очень мало заметной еще до февральской революции», совершенно прекращается после событий 1848 г., как констатируется в донесениях префекта Луары [4].

[1] Нац. арх. F[12] 4710. Префект—министру, 16/III 1844.

[2] Там же, отчет инспектора по округу Валанс.

[3] Там же, отношение префекта—министру, от 6/V 1857 г.

[4] Нац. арх. F[12] 4711. Префект—министру, от 13/X 1849 г.

В другом департаменте шелкопрядильного района, в деп. Верхней Луары, данные о шелкопрядильных фабриках интересны тем, что их можно сопоставить с данными о положении рабочих в других производствах в том же районе. Ко времени первых инспекций (в связи с законом 22/III) здесь имелось 12 шелкокрутильных фабрик, три бумажных мануфактуры, одна мануфактура зеркал и мануфактуры, вырабатывавшие косы. Инспектора-верификаторы, сравнивая шелковые фабрики с другими мастерскими, констатируют различную продолжительность рабочего дня. «Действительный» рабочий день на «фабрике» кос — 10—11 часов; шелкокрутильные фабрики работают с 5 часов утра до 9 ч. вечера. Инспектора отмечают также особенную утомительность труда девочек, вынужденных стоять на ногах в течение 14 часов [1]. Каков возраст этих малолетних работниц? Были ли девочки моложе 8 лет? Никто не сможет ответить на эти вопросы: сертификатов о возрасте, вопреки закону 22/III, дети не имели. Поражает инспекторов и низкая заработная плата.

Изучение последующей переписки — до конца сороковых годов и даже до конца пятидесятых — лишний раз убеждает, с каким упорством сохранялись в шелковом производстве все злоупотребления, отмеченные выше.

Труднее обследовать положение рабочих в деп. Роны и Изера. Префект деп. Роны оказывал решительное сопротивление постановке инспекторской работы хотя бы и в той несовершенной форме, как это было в деп. Ардеш или Дромы [2]. В деп. Изер верификаторы приступают к службе фабричной инспекции около 1844 г. Из отчетов сразу же выясняется, что местные фабриканты не только не подчиняются закону 22/III, но что некоторые из них не потрудились даже и ознакомиться со статьями этого закона. По отчету за 1844 г. можно установить, что и здесь, как в других частях шелкового района, рабочий день на мотальных фабриках начинается с 4 час. утра и кончается в 8 вечера. Инспекция остается слабой и бездейственной до 60-х г. В 1864 г. префект деп. Изер признается министру, что у инспекторской комиссии никогда не было серьезного отношения к своим обязанностям [3].

В интересном по своему промышленному характеру деп. Гард инспекторская служба также была поставлена очень плохо, и соответствующее досье картона F[12] 4710 далеко не изобилует фактическим материалом. Общий тон оптимистических донесений префекта резко нарушается случайным документом — докладной запиской некоего Фижье (Figier), обитателя деп. Гард, обратившегося непосредственно к министру с сообщением о жесточайшей эксплоатации детской рабочей силы на шелкокрутильных и хлопкопрядильных фабриках в районе Виган.

---

[1] Там же, досье Haute-Loire, отчет инспектора Warnet от 16/IV 1847 г.
[2] Нац. арх. F[12]4712, досье Rhone, отношения префекта-министру.
[3] Нац. арх. F[12]4711. Префект—министру, 16/III 1864 г. (досье Isère).

По мнению Фижье, условия работы на этих фабриках настолько непосильны, что всему местному промышленному району грозит опасность вырождения рабочей силы[1]. Донесение это пересылается министром оптимистически настроенному префекту деп. Гард для расследования дела. Ответ префекта характерен: подпись Фижье он считает «апокрифической», и вместо расследования по существу он преспокойно доносит о том, что, по мнению его помощника — су-префекта, дети моложе 8 лет не принимаются на работу.

Перейдем, наконец, к последнему из департаментов шелкопрядильного района — к деп. Эро. Инспекторская служба началась здесь лишь после 1845 г. Первоначальная же комиссия, состоявшая из банкиров, собственников и учителей, никакой работы не вела, и к 1845 г. убыло в отставку более половины ее состава. С назначением верификаторов появляется некоторый материал. Инспектор по округу Монпелье сообщает о довольно значительном развитии в округе Монпелье шелкокрутильных фабрик к 1847 г. Состав рабочих — «почти исключительно» дети 8—16 лет. Эти малолетние «рабочие» крепко связаны с фабрикой,—они остаются здесь ночевать. «Вы без труда поймете, — откровенно пишет инспектор, — как легко при такой системе требовать сверхурочной работы от детей, возраст которых и их изолированность гарантируют послушание»[2]. И далее, совершенно так же, как в других департаментах шелкопрядильного района, отчеты инспектора Bonnet с честной откровенностью говорят нам о трудностях ревизии фабрик при существующем обычае прятать детей от приезжающих инспекторов и о 14-часовом рабочем дне, как о минимальном рабочем дне малолетних, и об обманах с фабричными часами[3]. Приезжая на фабрику в 3 — 4 часа утра, инспектор лично убеждался в достоверности сведений об этих обманах. Инспектор округа Монпелье пишет также о недостаточности питания рабочих, об убожестве и неопрятности рабочих спален.

В заключение дадим краткую справку о санитарных условиях самого шелкопрядильного производства. Губительная профессиональная вредность его была отмечена еще старшим Виллермэ[4]. Отвратительный запах

---

[1] Нац. арх. F[12] 4710, досье Gard, докладная записка Figier «...Un grand nombre d'Enfants sont employés. Ces pauvres créatures travaillent le même nombre de temps que les hommes de trente ans. Si le gouvernement ne prend pas les moyens de faire surveiller ces établissements d'une manière stricte ç'en est fait de la race humaine dans ce pays».

[2] Там же, досье Hérault, отчет Боннэ.

[3] Там же: Avant mon inspection tous ces enfants étaien soumis à un travail minimum de 14 heures par jour; cette énorme journée était souvent même allongée à l'insu des ouvriers eux—mêmes au moaen des variations que le contre-maitre faisait subir à la pendule qu'il avynsait le matin de $^3/_4$ d'heure ou d'une heure et qui était de manière à retarder d'une heure et demie dans le courant de la journée».

[4] Villermé, Tabbleau I, pp. 345 et 347.

из котла не устранялся и после изобретения Жансуля. У крутильщиц шелка, работающих целый день на ногах, с наклоненным и вытянутым вперед корпусом (для связывания рвущихся нитей), развиваются легочные болезни и происходит деформация грудной клетки [1].

Такова общая характеристика эксплоатации рабочих в шелкопрядильном производстве по департаментам. Как видим, сравнение с английской социальной историей эпохи «натиска и бури» напрашивается достаточно часто при чтении добросовестных инспекторских отчетов. Закономерность развития изучаемого феномена станет еще более очевидной, если эту общую картину дополним исследованием о движении реальной заработной платы.

У нас имеются следующие данные о номинальной заработной плате: очень многочисленный контингент мужчин (механики, мастера) оплачиваются от 1 фр. 50 сант. до 2 фр. в день; по свидетельству Рейнье [2], заработки этой очень узкой прослойки рабочих поднимаются к 1855 г. до 2 фр. 25 сант. и 2 фр. 50 сант. (pour les chauffeurs). Заработная плата в собственно прядильном и крутильном производствах колеблется в пределах 24—30 фр. в месяц, т. е. около 1 фр. и меньше в день. Ученики, где они имеются, работают от 1 до 2 месяцев бесплатно, а затем оплачиваются по следующему расчету: девочки — от 8 до 9 франков в месяц, мальчики — от 10 до 11. По окончании срока ученичества, т. е. приблизительно по истечении одного года, заработная плата работниц-крутильщиц устанавливалась от 15 до 20 фр. в месяц и от 90 сант. до 1 фр. в день для мотальщиц; там, где сохранились еще работницы «tourneuses», они оплачиваются от 60 до 75 сант.

Эти данные были собраны исследователем Рейнье и, следовательно, относятся к деп. Ардеш, в период «расцвета».

Наши архивные источники сообщают некоторые дополнительные данные. В деп. Эро в 1847 г. дети получают от 20 до 40 сант. в день, заработная плата мотальщиц в деп. Дромы варьируется в пределах 8—25 фр. в месяц около 1845 г. [3]. Трудно дать сколько-нибудь удовлетворительную по своей полноте картину движения номинальных заработных плат. Фактические попытки снижения расценок вскользь отмечаются в работе Рейнье. Цитированные выше отчеты инспекторов констатируют, как мы уже видели, крайне низкий уровень заработной платы в сороковые годы,—годы промышленного расцвета шелкопрядильных предприятий. В интересном сообщении Рейнье о стачке рабочих на одной из шелкопрядильных фабрик округа Турнон дается сравнение расценок, пониженных владельцем этой фабрики до 75 сант., с теми ставками, которые получали рабочие других

[1] Reynier, цит. соч., с. 211.
[2] Reynier, цит. соч., с. 210—211.
[3] Нац. арх. F[12] 4710.

фабрик того же района; «другие прядильщики» платили в 1853 г. по 90 сантимов[1].

Сравним эти номинальные заработные платы с теми, которые приводились когда-то Виллермэ в его известной Tableau. Наблюдения Виллермэ относятся к началу 30-х г. XIX века. Средняя ставка взрослой работницы в шелкопрядильном производстве определяется в эту эпоху в размере 18 су в день. Амплитуда колебания—в пределах 15—22 су, т. е. от 75 сант. до 1 фр. 10 сант.[2].

Таким образом, в период промышленного переворота даже и номинальная заработная плата снижается и уж во всяком случае не возрастает[3].

Посмотрим теперь, что происходило с реальной заработной платой.

Нижеследующие сводные таблицы, представляющие результат методического исследования продовольственных цен в шелкопрядильном районе в течение ряда лет, за один и тот же годовой период, который, по своей одинаковой удаленности от «случайных» осенних понижений и весенних вздорожаний, повидимому, лучше всего выражает «средние цены».

Рассмотрим сначала таблицу 7, изображающую движение цен в деп. Ардеш:

Таблица 7[1]

Цены в деп. Ардеш в декабре 1825, 1835, 1840, 1845, 1853, 1855 гг. (во франках и сантимах)

Годы	Белый хлеб I сорт, кг			Полубелый II сорт, кг			Хлеб III сорт, кг			Картофель гл			Говядина кг		
1825	0.35	0.40	0.40	—	—	—	0.30	0.30	0.30	4.—	5.—	—	0.70	0.60	0.60
1835	0.30	0.32	0.35	—	—	—	0.27	0.27	0.27	3.—	1.50	—	—	0.85	0.90
1840	0.45	0.45	0.41	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	—	4.25	3.—	—	1.—	1.—	0.90
1845	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	—	0.32	0.35	0.35	4.—	5.25	5.35	0.90	1.—	0.90
1853	0.50	0.51	0.50	0.45	0.46	0.45	0.40	0.41	0.37	4.80	8.—	4.20	1.—	1.—	—
1855	0.56	0.56	0.57	0.52	0.51	0.52	0.46	0.46	0.45	5.—	7.50	5.60	1.20	1.10	—
Товарные рынки	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас

Читатель видит, что мы не ограничились каким-либо одним товарным рынком. Совершенно ясно, однако же, что хотя цены иногда и различны по районам, но общее их удорожание не оставляет никаких сомнений. Как и следовало ожидать, особенно заметное повышение цен наблюдается по мясным продуктам. Вздорожал и каменный уголь, поднявшись

[1] Reynier, цит. соч., с. 211.

[2] Villermé, цит. соч., т. I., стр. 347.

[3] В деп. H-te Loire сами фабриканты признают заработную плату детей ничтожной (Нац. арх. F[12] 4711).

Годы	Мясо коровье, *кг*			Телятина *кг*			Баранина *кг*			Свинина *кг*			Каменный уголь *гл*	
1825	0.60	0.45	0.36	0.70	0.85	0.84	0.70	0.85	0.84	1.10	—	0.96	4.—	6.—
1835	0.70	0.60	0.60	0.85	0.95	1.—	0.85	0.95	1.—	—	—	1.10	3.70	5.—
1840	0.90	0.80	0.80	1.—	1.20	1.10	1.—	1.20	1.10	—	—	1.20	4.—	3.40
1845	0.90	0.80	0.80	0.90	1.20	1.10	0.90	1.20	1.10	—	1.20	1.20	4.	4.50
1853	1.—	0.90	0.80	1.—	1.10	1.10	1.—	1.20	1.20	1.30	1.20	1.50	5.—	5.—
1855	1.—	1.10	1.—	1.10	1.40	1.30	1.20	1.30	1.40	1.40	1.40	1.60	5.—	5.—
Товарные рынки	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива	Обенас	Турнон	Прива

Источники: Нац. арх. F[11] 1792*, F[11] 1912*, F 131.273, F 131.333, F[11] 2127*, F[11] 2150*.

с 4 до 5 фр. По другим видам топлива даются часто неодинаковые меры: то меры об'ема, то меры веса и сводка подобных данных весьма затруднительна.

Следующая таблица иллюстрирует движение цен в деп. Дрома:

Таблица 8[1]

Цены в деп. Дрома в декабре 1825, 1835, 1840, 1845, 1847, 1853, 1855.

Годы	Белый хлеб I сорт *кг*			Полубелый II сорт *кг*			Хлеб III сорт *кг*		Картофель, *гл*		
1825 . . .	0.40	0.38	0.35	0.35	0.34	0.30	0.30	0.20	5.—	6.50	—
1835 . . .	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	5. —	4. —	—
1840 . . .	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40	0.35	0.30	0.25	6.—	9.—	—
1845 . . .	0.45	0.45	—	0.40	0.40	0.33	0.35	0.23	5.—	6.—	4.50
1847 . . .	0.45	0.40	0.42	0.40	0.35	0.35	0.33	0.25	5.—	6.75	—
1853 . . .	0.48	0.46	0.50	0.43	0.43	0.45	0.38	0.40	7.50	7.50	5.69
1855 . . .	0.53	0.55	0.54	0.48	0.50	0.50	0.43	0.44	5.—	6.25	4.20
Товарные рынки	Ди	Нион	Роман	Ди	Нион	Роман	Ди	Роман	Ди	Нион	Роман

Годы	Говядина, *кг*			Мясо коровье, *кг*		Телятина, *кг*		Баранина, *кг*			Свинина, *кг*		
1825 . . .	0.70	0.74	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.90	1.—	0.70	—	1.—	0.70
1835 . . .	0.70	0.80	0.82	0.70	0.82	0.80	0.82	1.—	1.10	0.82	—	1.—	—
1840 . . .	1.—	1.—	0.95	1.—	0.95	1.—	0.95	0.95	1.10	0.95	1.20	1.20	—
1845 . . .	1.—	1.—	0.95	1.—	0.95	1.—	0.95	1.—	1.10	0.95	1.20	1.20	—
1847 . . .	1.—	0.80	0.95	1.—	0.95	1.—	0.95	1.10	1.10	0.95	1.20	1.30	—
1853 . . .	1.—	1.—	1.—	1.90	0.90	1.20	1.—	1.10	1.20	1.—	1.10	1.20	—
1855 . . .	1.10	1.10	1.10	1.—	1.—	1.10	0.10	1.10	1.30	1.10	1.20	1.40	1.30
Товарные рынки	Ди	Нион	Роман	Ди	Роман	Ди	Роман	Ди	Нион	Роман	Ди	Нион	Роман

Источники: Нац. арх. F″ 1792*, F″ 1912*, F 131.273, F 131.133, F″ 2.055*, F″ 2127*, F″ 2.150*.

Здесь имеется возможность сопоставить цены кризисного, знаменитого 1847 г. с общим движением и в частности с движением цен после революции 1848 г. Наступившее новое оживление промышленности не принесло рабочему ничего другого, кроме дальнейшего понижения реальной заработной платы. Нельзя, впрочем, не оговорить некоторой средней стабильности цен на картофель в деп. Дромы.

Дрома и Ардеш составляют географический центр шелкопрядильного района.

Для более законченного представления об изменении цен во всем районе в целом рассмотрим еще данные таблицы № 9, изображающей динамику цен в деп. Эро.

Таблица 9 [1]

Цены в деп. Эро в декабре 1825, 1835, 1840, 1845, 1847, 1853, 1855 (во франках и сантимах)

Годы	Белый хлеб I сорт, кг		Полубелый II сорт, кг		Хлеб III сорт, кг		Картофель, гл.		Говядина, кг	
Товарные рынки	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев
1825	0.33	0.34	—	—	0.24	0.25	15.—	4.—	0.80	0.70
1835	0.35	0.36	0.29	—	0.24	0.26	6.—	3.56	0.80	0.70
1840	0.41	0.40	0.34	0.33	0.29	—	6.50	6.—	1.10	0.70
1845	0.47	0.48	0.40	0.35	0.34	—	9.—	4.93	0.82	0.90
1847	0.41	0.40	0.36	0.32	0.30	—	9.—	6.25	0.80	0.90
1853	0.49	0.50	0.43	0.40	0.36	—	12.—	11.50	0.95	1.10
1855	0.57	0.57	0.47	0.47	0.40	—	11.—	12.—	1.40	—

Годы	Мясо коровье, кг		Телятина, кг		Баранина, кг		Свинина, кг	
Товарные рынки	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев	Монпелье	Лодев
1825	0.60	0.60	1.10	1.20	0.90	1.—	1.10	1.20
1835	0.70	0.60	1.40	1.—	1.—	1.—	1.10	1.—
1840	0.80	0.60	1.30	1.10	1.08	1.20	1.40	1.40
1845	0.62	0.85	1.17	1.30	1.13	1.—	1.45	1.30
1847	0.75	0.80	1.18	1.40	1.20	1.20	1.40	1.40
1853	0.83	1.10	1.95	1.40	1.16	—	1.10	—
1855	1.30	1.20	2.05	1.40	1.60	1.60	1.60	—

Источники: Нац. арх. F″ 1792*, F″ 1912*, F″ 131.273, F 131.333, F″ 2055*, F″ 2127* F″ 2150*.

Цена на картофель, показанная в этой таблице по 1825 г. на рынке Монпелье, по всей вероятности является простой опиской. Но в таком слу-

чае обозрение таблицы № 9 убеждает нас в том, что в деп. Эро жизнь вздорожала еще больше, чем в центральной части района.

В самом деле, некоторые продукты здесь возрастают в цене с 1825 по 1855 г. на 100%.

Таким образом, падение реальной заработной платы представляется вполне доказанным фактом.

ВЫВОДЫ

Подведем итоги. Изучение первоисточников по технической, экономической и социальной истории французского шелкопрядильного производства, преимущественно с конца XVIII до середины XIX века убеждает нас в том, что:

1) промышленная революция в том самом смысле, как это понятие применялось и применяется в английской экономической истории конца XVIII—начала XIX века, во Франции в шелкопрядильном производстве происходит не в XVIII веке, а в период приблизительно 1825—1855 г.;

2) технический переворот в этом производстве, по сравнению с другими отраслями текстильной промышленности, отличается своеобразием, определяющимся технологическими особенностями шелкопрядильного производства; это своеобразие характеризуется как в мотальном, так и в крутильном производстве экономической значительностью момента механизации двигательной силы;

3) совокупность одинаковых с Англией общественных и технических элементов в «способе производства» (капиталистический режим и технологическая база фабричной системы производства) порождает ряд до идентичности сходных социальных явлений.

4) со времени превращения мануфактуры в фабрику, источники констатируют:

а) непомерно продолжительный рабочий день, общей длительностью, как и на английских фабриках, около 16—18 часов,

б) широкое привлечение детского труда с самых ранних лет, часто еще до 8-летнего возраста, с эксплоатацией в рамках рабочего дня взрослых рабочих,

в) антисанитарные условия производства, особенно антисанитарное состояние рабочих общежитий при фабриках,

г) систему злоупотреблений и обкрадывания рабочих,

д) падение реальной заработной платы, несмотря на растущее процветание производства, общий темп развития которого определяется характерными показателями эпохи «натиска и бури».

А. ТЮМЕНЕВ. — ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ И ГЕНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОДЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ[1]

1. ОБОСНОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕГО МЕТОДА ЕГО СТОРОННИКАМИ

Те доводы, какие обычно приводятся в пользу выделения исторической науки из числа других наук, исходя из самого характера изучаемых ею явлений, не выдерживают критики[2]. Поскольку факты общественной жизни и общественной истории не образуют какого-то особого мира, но составляют часть единой реальной действительности, они могут одинаково быть изучаемы при посредстве того же обобщающего метода, каким пользуются естественные науки при исследовании явлений природы. Дело, следовательно, не в различном характере изучаемых явлений, а в нашем подходе к ним, в том методе, какой мы в каждом данном случае применяем при изучении явлений[3].

[1] Статья представляет собою одну из глав работы «Основные проблемы методологии истории».

[2] Этому вопросу посвящены первые главы вышеназванной работы.

[3] Различный подход к фактам со стороны историков и естественников недурно иллюстрирован Г. Тардом (G. Tarde, Les lois de l'imitation, Paris 1890; p. 9, suiv.; русское издание 1892 г., с. 8 и след.): «Аналогия между социальными фактами и другими явлениями природы остается неизменной. Но если первые из них, рассматриваемые через обычную призму историков и даже социологов, представляют для нас какой-то хаос, тогда как прочие явления, рассматриваемые через обычную призму физиков, химиков и физиологов, оставляют впечатление весьма хорошо упорядоченных фактов, то этому удивляться нечего. Эти последние ученые показывают нам предмет своей науки только со стороны его сходств и повторений, благоразумно скрывая в тени сторону соответствующих разнородностей и видоизменений. Историки же и социологи, наоборот, набрасывают покрывало на однообразную правильную сторону социальных фактов, на их повторяемость и раскрывают перед нами все то, что есть в них случайного и интересного (?), обновляющегося и разнообразящегося до бесконечности». Если, однако, обычно историки подходят к фактам с их индивидуальной стороны, то не менее возможен и обратный подход к фактам действительности. Так, Гегель, как известно, именно в природе видел мир случайностей, в исторической же действительности, напротив, мир разумного, т. е. разумно-закономерного, см. «Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im grundrisse», §§ 248, 250. Приведем это характерное место: «Природа есть царство случайностей и внешних продуктов. В особенности случайны и разно-

В зависимости от применения того или иного метода всякая наука может из «генерализирующей» превратиться в «индивидуализирующую» и обратно.

Сторонники индивидуализирующей точки зрения на историческую науку, в сущности, и не пытаются обосновать свою точку зрения методологически, не пытаются показать обусловленность и необходимость индивидуализирующего метода в истории самым характером предмета исследования. Мало того, ни один из них не отрицает ни возможности, ни даже необходимости применения обобщающего, «генерализирующего» метода и в «науках о культуре». Причем в то же время, с другой стороны, ими отмечается и факт применения индивидуализирующего метода в естествознании[1].

Сам глава направления Риккерт не ищет доказательств для проводимого им различия методов в самом материале, составляющем предмет исследования наук о природе и наук о культуре. Он не может и не пытается доказать, чтобы такое различие методов требовалось самым характером исследуемого материала в том и в другом случае. Он признает далее, что «природа» и «культура» не две различные реальности, но одна и та же действительность, рассматриваемая лишь с различных точек зрения[2]. Еще определеннее мысль о независимости методов исследования от предмета исследования выражена основоположником и родоначальником идиографического направления Виндельбандом. Виндельбанд становится при этом почти на диалектическую точку зрения. «Вообще,—говорит он,—не надо упускать из виду, что эта методологическая противоположность классифицирует только приемы познания, а не его содержание (разрядка здесь, как и в дальнейшем, моя.—*А. Т.*). Возможно и случается на самом деле,

---

образны неорганические тела, которые бывают непосредственным результатом взаимодействия веществ. Эти неорганические тела легко теряют некоторые из своих свойств под влиянием других тел и случайно видоизменяются и разнообразятся до бесконечности. Природа бессильна удержать необходимые ступени своего развития в их чистоте и представляет все их частности и подробности на волю случая и обстоятельств» (Энциклопедия философских наук в кратком очерке Г. В. Ф. Гегеля, часть 2-я, «Философия природы», перевод В. П. Чижова, М. 1868, т. 1, с. 44—45).

[1] Г. Риккерт, Границы естественно-научного образования понятий ПБ 1904, с. 349—353, др.; ср. «Науки о природе и науки о культуре», ПБ. 1911, с. 124; «Философия истории», ПБ. 1908, с. 30, 36, 40—42, 72—73. Виндельбанд, История и естествознание, см. «Прелюдии», ПБ. 1904, с. 321, 324—326. M. Weber, Die objektiwität... Socialwissenschaftlichen Erkenntniss в Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, s.s. 174, 178—179, 180, где допускается возможность построения исторических законов, причем в то же время последние признаются ненужными. Д. Петрушевский, Очерки из экономической истории средневековой Европы, с. 26, 49, сл. и, в особенности, «Очерки из истории средневекового общества и государства» изд. 4, М. 1917, с. 11, где признание равноправности генерализирующего и индивидуализирующего методов проводится более последовательно и не сопровождается никакими оговорками, как в новейшей работе Петрушевского.

[2] Г. Риккерт, Границы естественно-научного образования понятий, с. 255.

что один и тот же предмет служит одновременно об'ектом как номотетического, так и идиографического исследования. Дело в том, что **противоположность между неизменным и единожды совершающимся в известном смысле относительна.** То, что в течение очень большого времени не испытывает непосредственно заметного изменения и, тем самым, допускает номотетическое исследование своих постоянных форм, может оказаться с точки зрения более широкой перспективы все же явлением ограниченным во времени, т. е. единожды совершающимся». Таковы, например, законы языка, представляющие «все же лишь единичное, преходящее явление в общей эволюции человеческого языка». То же можно сказать о физиологии тела, о геологии, об астрономии, но в особенности «классическим примером» может служить наука об органическом мире, которая в качестве систематики имеет номотетический характер, но в качестве истории видов, описывающей процесс развития, повторение которого на другом небесном теле не только недостоверно, но даже и невероятно, она есть идиографическая историческая наука»[1].

Если, признавая, таким образом, одинаковую законность и необходимость применения обоих методов как в естествознании, так и в исторической науке, Риккерт и его последователи тем не менее считают нужным противопоставлять исторические науки наукам естественным в качестве специально индивидуализирующих наук, то такая точка зрения подсказывается им не самым характером исследуемых явлений, но чисто суб'ективными соображениями, чисто суб'ективным интересом к индивидуальным фактам истории. Соображения эти, сами по себе для людей, не предубежденных в пользу индивидуалистического взгляда на историю и не зараженных неокантианством, малоубедительные, представляют тем больший интерес, как лучший показатель ничтожности тех мотивов, которые побуждают риккертианцев с таким ожесточением и настойчивостью отрицать значение и роль обобщающего метода в исторической науке.

Особенно рельефно суб'ективизм сторонников индивидуализирующей точки зрения выступает у Виндельбанда, у которого он возвышается до настоящего пафоса. «В противоположность этому (мнимой бесплодности обобщающего метода в исторических науках.—*А. Т.*) надлежит подчеркнуть, что всякий человеческий интерес и всякая оценка, все имеющее значение для

[1] **Виндельбанд**, Прелюдии, с. 321, ср. Б. **Кистяковский**. «В самых об'ектах естественно-научного и исторического исследования, т.-е. между социальным миром и миром природы. не существует принципиальной разницы. Все толки о том, что мир человеческих отношений гораздо сложнее, чем сфера естественных явлений, сводятся к тому, что существует известная относительная разница. Это относительное усложнение различных категорий явлений... не может служить методологическим основанием для принципиального разделения наук. Совсем иначе обстоит с точками зрения, применяемыми к той или иной области явлений» («Категории необходимости и справедливости в исследовании социальных явлений», «Жизнь», 1900, май, с. 288—289).

человека, относится к единичному и однократному. Вспомним, как быстро притупляется наше чувство, когда предмет его умножается или когда обнаруживается, что есть тысяча однородных с ним предметов. «Она не первая», гласит одно из самых ужасных мест Фауста. На единичности, на несравнимости предмета покоятся все наши чувства ценности... Насколько всякая живая оценка человека связана с единичностью об'екта, это обнаруживается прежде всего в нашем отношении к личностям. Разве не невыносима мысль, что любимый, почитаемый человек может со всем его своеобразием существовать хотя бы только в двух экземплярах, разве не ужасна и допустима мысль, что в мире может найтись второй экземпляр нас самих со всеми нашими индивидуальными особенностями?.. А если это так по отношению к индивидуальной человеческой жизни, то это тем более применимо ко всему историческому процессу: он имеет ценность только, если он однократен»[1]. Далее устанавливается преемственная связь между ценностной точкой зрения современных теоретиков и теориями, защищавшимися... христианской патристикой...

Аналогичные доказательства в пользу индивидуализирующего метода приводит и Риккерт. «Имеются науки,—говорит этот последний,—целью которых является не установление естественных законов и даже вообще не образование общих понятий, это исторические науки в самом широком смысле этого слова. Они хотят излагать действительность, которая нигде не бывает общей, но всегда индивидуальной (?), с точки зрения ее индивидуальности; и поскольку речь идет о последней, естественно-научное понятие оказывается бессильным, так как значение его основывается именно на исключении им всего индивидуального, как несущественного. Историки скажут об общем вместе с Гете: «мы пользуемся им, но мы не любим его, мы любим только индивидуальное»[2] (разрядка моя.—*А. Т.*).

[1] «Прелюдии», с. 328—329.

[2] «Науки о природе и науки о культуре», с. 90—91; ср. «Философия истории», с. 27—28. И для Мелиса история есть не более как теоретическое занятие любимым предметом: «Die theoretische Beschäftigung mit dem geliebten Gegenstand» (G. Mehlis, Lehrbuch der Geschichtsphilosophie. Berlin 1915, s. 7—9). Любопытную параллель к высказываемым здесь Риккертом мыслям о целях и интересах исторической науки представляют мнения виднейших представителей исторической школы Ранке, наиболее близкой к индивидуализирующей теории Риккерта [Риккерт ссылается только на Ранке и прежде всего, если не исключительно, именно его исторические взгляды и методы имеет в виду, с другой стороны, именно представители исторической школы Ранке особенно высоко ценят заслуги Риккерта в области теории (см. G. Below, «Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen», München—Berlin 1924, s. 104)]. Сам глава школы Ранке говорит о «наслаждении» (Vergnügen), получаемом от исторического исследования при прослеживании внутренней духовной связи вещей, конечным результатом которого является «вчувствование» (Mitgefühl), см. его дневник «Zur eigenen Lebensgeschichte», hg. von A. Dove, s. 569. Для Мейнеке «высо-

Но если Риккерту, таким образом, доподлинно известно, чего именно «не хочет» и «не любит» история, то ему одинаково открыт секрет, в чем заключаются сокровенные чаяния и желания этой капризной науки. «Дело идет, поучает он нас, прежде всего о том, чтобы разрушить веру, будто при помощи только естествознания или естественно-научной философии возможно дойти до того, что для всех нас должно быть наиважнейшим»[1]. «Наиважнейшим» для Риккерта, как известно, является система трансцендентных ценностей. «Мы желаем,—говорит он в другом месте,—разрушить логические утопии некоего универсального метода (!)»[2].

Итак мы знаем теперь, что именно по признанию основоположников индивидуализирующей точки зрения представляется «невыносимым» для исторической науки, чего она «желает» и чего «не хочет», и «не любит». Выслушаем еще одно показание, на этот раз лица, которое само является авторитетным историком, мнение которого представляет поэтому для нас особый интерес. Мы говорим о Максе Вебере и его уже цитированной статье об «об'ективности» исторического познания. Необходимость индиви-

кой целью» (hohe Ziel) истории является «чистое созерцание исторических фактов» (Die reine Anschauung der Geschichtlichen Dinge), причем этот идеал чистого созерцания, раз проникнув в душу и воспринятый ею, не может уже исчезнуть в ней. Он образует как бы «внутреннее святилище» (inneren Heiligtum), в котором душа находит освобождение от мрачных и темных сторон жизни. «Пусть же оставят нам это тихое убежище» (diesen stillen Ort), патетически восклицает Мейнеке. Кстати, этим «тихим убежищем» для Мейнеке служит прежде всего история возвышения прусской монархии и биографии прусских фельдмаршалов, см. F. Meinecke, Die deutsche Geschichtswissenschaft und die moderne Bedürfnisse, в сборнике статей: «Preussen und Deutschland», Berlin 1917, s.s. 467, 470. Индивид должен представлять для историка «святыню» [Meinecke, «Historische Zeitschrift», B. 77 (1896) s. 265], в которую никто проникать не имеет права [Rachfall, Ueber die Theorie einer kollektivistischen Geschichtswissenschaft, Jahrbuch f. Nat. Oekonomie und Statistik, B. 64 (1897) s. 685]. Из совершенно аналогичных и столь же суб'ективных мотивов нежелания разрушать иллюзию свободной индивидуальной личности исходит и Белов в своей полемике с Лампрехтом, см. G. Below, Die neue historische Methode Historische Zeitschrift, B. 81 (45), 1898, ss. 244—245, ср. s. 249. Разумеется, ни наслаждение и любование индивидуальной стороной исторической действительности, ни чистое ее созерцание, ни устройство святынь и тихих убежищ не может входить в задачи науки, и то обстоятельство, что представители исторической школы Ранке не могли привести в пользу своей точки зрения на историю никаких иных оснований, и что, во всяком случае, именно приведенные соображения представляют собою сокровеннейшие мотивы представителей индивидуализирующего направления, показывает, насколько суб'ективна сама по себе индивидуализирующая точка зрения на историю и насколько в выборе путей и методов своего исследования ее сторонники руководствуются даже не столько своими личными взглядами, сколько личными суб'ективными настроениями и переживаниями. Тот же Мейнеке в полном согласии с Риккертом ставит вопрос не о задачах и целях исторической науки, но о том, чего «хотим» или «не хотим» мы, историки. «Preussen und Deutschland», ss. 462, 468.

[1] Риккерт, Границы естественно-научного образования понятий, с. 12.
[2] «Границы»,..., с. 494.

дуализирующего метода в исторической науке он выводит из чисто суб'ективных предпосылок. «Того, что имеет для нас значение,—говорит он,—не сможет конечно раскрыть никакое непредвзятое исследование эмпирически данного, но его установление составляет предпосылку к тому, чтобы нечто стало предметом исследования. То, что имеет значение, как таковое, само собой разумеется, не совпадает ни с каким законом, как таковым, и значение это тем менее, чем общее этот закон. Ибо специальное значение, какое имеет для нас та или иная часть действительности, заключается как-раз именно не в тех ее отношениях, которые оказываются у нее общими с возможно большим числом других. Отнесение действительности к ценностным идеям, которые только и сообщают ей значение, и выделение и упорядочение отмеченных, таким образом, с точки зрения их культурного значения составных частей действительности есть совсем гетерогенная (инородная) и диспаратная (отличная) точка зрения по сравнению с анализом действительности на законы и упорядочением ее в общих понятиях» [1].

2. СУБ'ЕКТИВИЗМ И ОБ'ЕКТИВИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Поскольку сторонники индивидуализирующего метода никаких, собственно методологических, вытекающих из практики и опыта исторической работы доводов в пользу своей точки зрения не приводят, поскольку они в своей аргументации исходят из чисто суб'ективных, притом намеренно подчеркнутых, суб'ективных мотивов и предпосылок, поскольку они базируются на трансцендентном понятии ценности и привлекают себе на помощь даже отцов церкви, в которых наука обычно привыкла видеть не своих союзников, но антиподов и антагонистов, постольку по существу против них возражать не приходится [2]. Раз люди говорят на разных языках, раз общего языка у них, как у представителей различных классовых идеологий, и не может быть, для них все равно нет возможности ни понять друг друга, ни притти к какому-либо общему решению. Остается предоставить дело времени, которое и покажет, какая точка зрения является подлинно научной, как оно показало уже однажды превосходство опытной науки над мертвой схоластикой.

Но становясь на такую откровенно-суб'ективную точку зрения, вполне признавая и даже подчеркивая ее суб'ективизм, риккертианцы понимают

[1] «Die Objektivität»... s. 175—176.

[2] Освещение взглядов Риккерта с марксистской точки зрения см. в статьях М. Н. Покровского в «Правде», 1904 г., №№ 2—3, Н. А. Рожкова в «Нижегородском сборнике», ПБ 1905; систематическое опровержение основных положений Риккерта дает также Виппер, Очерки теории исторического познания, ч. 1, глава 3.

этот суб'ективизм не в обычном, но в специально философском смысле. Суб'ективизм ценностной точки зрения это—не суб'ективизм лица, группы, класса, эпохи; это—суб'ективизм вневременного и внепространственного человека, суб'ективизм человека вообще, суб'ективизм, которому приписывается общая значимость. Вся непоследовательность и ложность такого толкования очевидна сама сабою. Поскольку та или иная точка зрения представляется суб'ективной, она тем самым не имеет и не может иметь всеобщего, всеми признанного значения. У исследователей, рассматривающих историческую действительность с церковной или антицерковной, с индивидуалистической или коллективистической, с индивидуализирующей или обобщающей, с различных классовых точек зрения,—как подход к фактам, так равно и самый подбор фактов не может не быть глубоко различным, зачастую диаметрально противоположным [1]. Вот почему, когда Риккерт и рик-

[1] Неизбежная суб'ективность всякого исторического исследования отмечается и в теоретических работах многих историков [см., например, E d. M e y e r, Geschichte des Altertums, I (1884) s.s. 18—19 (в 4-ом издании, 1921 г., I, кар. 3.)]; O. L o r e n z, Die geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben kritisch erörtert. 1886, s.s. 53—66; G. B e l o w, Die neue historische Methode. Historische Zeitschrift, B. XLV (1898), s. 229, 241; M e i n e c k e, Hist. Zeitschrift, B. LXXX, s. 227; A. Grotenfelt «Die Wertschätzung in der Geschichte», 1903, s. 174; Л а н г л у а и С е н ь о б о с, Введение в изучение истории, М. 1899, с. 174—175; в области права ср. R. I h e r i n g, Entwickelungsgeschichte des römischen Rechts. 1894, s. f.f. Этот неизбежный суб'ективизм так наз. «русская школа социологов» возвела в специальный суб'ективный метод. Н. К. М и х а й л о в с к и й, Собрание сочинений, т. III, с. 149, сл., 402—403; Л а в р о в (М и р т о в), Исторические письма, ПБ. 1905, гл. 2 (стр. 18—45); о н ж е (А р н о л ь д и), Задачи понимания истории, издание 2, ПБ. 1903, с. 82, след.; В. М. Ч е р н о в, Суб'ективный метод в социологии, в сборнике «Философско-исторические этюды», М. 1907; ср. К а р е е в, Основные вопросы... гл. 8—10; «О суб'ективизме в социологии» в «Историко-философских и социологических этюдах». «Теория исторического знания», гл. 16—20. (Кареев говорит лишь о суб'ективности, отрицательно относясь к «суб'ективному методу»). Во всех цитированных сочинениях, писанных, кстати, в большинстве до появления основных работ Риккерта, суб'ективизм понимается в обычном значении этого слова, в значении—частью отражения индивидуальных взглядов историка, частью господствующих взглядов эпохи и подчеркивается, таким образом, как-раз обратно риккертианской точке зрения не общая значимость, а именно, индивидуальный момент «оценки» исторических фактов. На конгрессе английских и американских историков в июле 1926 г. происходила специальная дискуссия о допустимости суб'ективизма в истории. По вопросу высказывались проф. Морисон (H. Morisson), Мейендорф (Meyendorf) и Мак Илвэн (Mac Ilvain), причем первые два высказались за невозможность избежать суб'ективизма: без суб'ективизма не может быть и энтузиазма, а следовательно, и интереса, как выразился проф. Морисон. Мак Илвэн, напротив, настаивал на строгом об'ективизме историка. Прения вращались, конечно, все время в кругу вопросов о допустимости выражения личных интересов и взглядов историка; о расхождении же классовых интересов и точек зрения и, следовательно, о классовом суб'ективизме не заходило и речи. Прения изложены в статье «Bias (английское слово, означающее—тенденциозность) in historical writing» («History», 1926, Oct.).

кертианцы утверждают, что их ценностная точка зрения имеет общую значимость, что тот метод исследования, который они «любят» и которого они «хотят», и есть именно собственно исторический метод, который «любит» и которого «хочет» сама историческая наука, они просто-на-просто совершают насилие над фактами, игнорируя все те течения исторической мысли, которые придерживаются иных взглядов на методы и значение исторического исследования.

На самом деле, ценностная точка зрения, которой ее сторонники пытаются приписать абсолютное общезначимое для всех времен и народов значение, есть учение одной философской школы в Германии, возникшее в последнем десятилетии прошлого столетия. Если это учение, возникшее в философской школе, казалось бы, никакого непосредственного отношения к исторической науке не имеющей, имело тем не менее успех и получило признание даже в среде историков-специалистов (прежде всего в Германии), на это имеются свои специальные причины, причины отнюдь не какого-либо вневременного и внепространственного характера, но именно, связанные с определенным историческим моментом и заключающиеся в общем индивидуалистическом уклоне всякой буржуазной идеологии вообще, с одной стороны, в росте реакционных настроений в среде буржуазии в настоящее время, с другой [1]. В то время как, таким образом, в среде буржуазных историков все более усиливается тяга в сторону ценностно-индивидуализирующей точки зрения [2], мысль историков-марксистов работает как-раз в обратном

[1] Характерный пример представляет Струве, который с переходом из лагеря легального марксизма в реакционный лагерь одновременно усвоил себе и риккертовскую точку зрения. См. его «Patriotica», ПБ. 1911, с. 55.

[2] Поворот этот, впрочем, совершается по преимуществу в области теории, тогда как, напротив, практика исторического исследования все более обнаруживает недостаточность односторонней индивидуализирующей точки зрения. Необходимость обобщений очень болезненно ощущается историками-профессионалами, отнюдь не-марксистами, как это показывает, например, статья Е. В. Тарле, Очередная задача (см. «Анналы» № 1, 1922). Указания выхода из создавшегося положения Тарле ждет однако от каких-то грядущих «жрецов». Марксизм для него, очевидно, не существует. Индивидуализирующий метод начинает приносить плоды. Лондонский международный конгресс историков 1913 г. обнаружил полнейшую растерянность перед лавиной фактов, накопившихся в течение десятилетий в результате господства индивидуализирующего направления. Яркими красками изображает «кризис исторической науки», захлестываемой наплывом фактов «свыше головы» Трельтч (Ernst Troeltsch, Der Historismus und seine probleme, Tübingen, 1922, s. 1 f.), однако, лишь для того, чтобы вновь выдвинуть жалкую полубогословскую концепцию (сам Трельтч считает свою точку зрения близкой к риккертовской). Французские историки, вообще более склонные к обобщениям (впрочем, исключительно на почве психологизма), уже много ранее сигнализировали эту опасность. Так, Ланглуа еще в 1902 г. писал, что историческая мысль грозит в конце-концов «погаснуть», как пламя плохо сложенного костра, под тяжестью предназначенных для его поддержания материалов». См. Langlois, Questions d'histoire et d'enseignement: «L'histoire en XIX siècle», p. 221. Здесь не лишним будет

направлении: в направлении все более широкого применения и более полного использования генерализирующего, обобщающего, метода.

Вместо утверждения единой общезначимой точки зрения мы наблюдаем, таким образом, в исторической науке все растущее размежевание историков на два лагеря не только с различными, но и с диаметрально противоположными взглядами. В основе этого размежевания лежит, однако, не личный суб'ективизм, не расхождение личных симпатий и взглядов, не «хотения» или «не хотения» применять тот или иной метод исследования, а прежде всего классовая точка зрения. Но расхождение классовых точек зрения, лежащее в основе различных взглядов на историческую науку, предполагает в свою очередь существование классовых различий, существование классов; с классами же мы попадаем в область об'ективной действительности.

Классовая точка зрения определяется не какими-либо суб'ективными предпосылками, но прежде всего общественным положением данного класса,

отметить, что вообще, когда за составление исторической методологии берутся не философы, но историки-практики, они приходят к выводам и положениям, совершенно обратным тем, на общезначимости которых настаивает Риккерт. Возьмем, например, известный учебник «Введение в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса (перевод с французского А. Серебряковой, ПБ. 1899). Риккерт уверяет нас, что история не хочет знать ничего общего и, напротив, питает специальное пристрастие ко всему индивидуальному, а историки-практики, видя в истории «помесь» индивидуального и общего элементов, отдают определенное предпочтение последнему и говорят нам, что история вынуждена соединять изучение общих фактов с изучением некоторых частных (см. с. 190). Самая значительная глава книги (книга 3, глава 4; глава эта написана Сеньобосом, который, как показала его позднейшая полемика с Симианом по вопросу об исторической причинности, отнюдь не является принципиальным сторонником обобщающего метода и, следовательно, рассуждает в данном случае прежде всего как историк-практик) посвящена «вопросам построения общих формул». Здесь говорится, между прочим, о применении сравнения с целью «познания общих причин различных привычек», «постоянных отношений» и пр. (с. 225—226). Еще решительнее высказывается Анри Берр («La synthèse en histoire» 1911), который исходит из того положения, что «существует наука только об общем». Риккерт и его школа знают только либо индивидуальные факты, либо общие вневременные и внепространственные законы (в обобщающих науках) и такую же общую систему вневременных и внепространственных ценностей в науках индивидуализирующих. Ланглуа и Сеньобос не только индивидуальные, но и общие факты вводят в определенные границы времени и места, требуя от историка точного определения «продолжительности и пространственности» «общих фактов» (с. 212 и сл.). Для Риккерта критерием выбора исторических фактов служит их трансцендентная ценность, и отнесение фактов к ценностям составляет главную задачу историка. Ланглуа и Сеньобос знают единственную «ценность»—это историческая достоверность. Для них «ценность нашего знания зависит от ценности наших документов» (с. 222). Значение отдельных фактов определяется не их трансцендентной ценностью, но прежде всего их ролью и значением в «эволюции человечества» (с. 215). При этом не только в отношении метафизических систем, но и всяких метафизических формул и даже терминов, скрывающих хоть какой-нибудь намек на метафизику, к которой так близки риккертианцы, по совету Ланглуа и Сеньобоса серьезные историки «должны проявлять крайнюю осторожность» (с. 226, след.).

т. е. об'ективным фактом,—обстоятельство, с которым намеренно или ненамеренно не хотят считаться буржуазные теоретики. Посмотрим, например, как разрешается вопрос о строении капитала в политической экономии. Для буржуа-капиталиста имеет прежде всего значение—«ценность»: деление капитала по характеру вложений и затрат и по быстроте оборота отдельных частей вложенного в предприятие капитала; и вот, соответственно с этим, буржуазная политическая экономия делит капитал на основной и оборотный. Рабочий класс прежде всего интересует вопрос о вознаграждении труда, и, следовательно, та часть капитала, которая возрастает в процессе производства и образует, таким образом, тот фонд, из которого черпается, с одной стороны, прибыль капиталиста, с другой—заработная плата, получаемая рабочими. Отсюда—устанавливаемое Марксом деление капитала на постоянный и переменный. Различие точек зрения в том и другом случае обусловливается различием интересов и, следовательно, оказывается суб'ективным; но это, однако, как уже сказано, ни мало не означает, что различие точек зрения не имело в данном случае и об'ективного значения, поскольку классовые интересы буржуазии и рабочего класса определяются общественным положением этих классов в определенном отношении их к производству.

Одна и та же точка зрения оказывается, таким образом, одновременно и классово-суб'ективной и имеющей определенное об'ективное значение. Это кажущееся противоречие представляется противоречием только с метафизической точки зрения. Диалектик же марксист не найдет здесь никакого противоречия. Стоит только вспомнить ту установленную еще Фейербахом и всецело воспринятую марксизмом истину, что человек не является ни только суб'ектом, ни только об'ектом, что он есть ни суб'ект, ни об'ект, но суб'ект—об'ект, суб'ект для себя и об'ект для других. Суб'ективные представления человека являются, с одной стороны, не более как отражением в его голове об'ективной действительности, с другой же стороны, сами по себе переживания лица, суб'ективные в отношении его самого, представляют об'ективный факт для других. Нет, поэтому, суб'ективных представлений и взглядов, которые не определялись бы в конечном счете об'ективными условиями [1].

[1] На этом положении основывается вся гносеология (теория познания) марксизма. Чисто теоретическую позицию Фейербаха Маркс, как известно, углубил и дополнил моментом практики, практической деятельности человека, являющейся вернейшим доказательством об'ективной действительности внешнего мира и лучшим путем к его познанию. Что человек является в одно и то же время и суб'ектом и об'ектом, что он не противостоит внешнему миру, но составляет часть его, что он не вышел из рук творца со всеми своими способностями и «категориями», но представляет такой же продукт развития, как и вся остальная природа, что познание им внешнего мира не есть результат чисто теоретического созерцания, но продукт его взаимодействия с внешним миром, его практики, на приложении к которой оно и находит себе поверку,—таковы основные

Возвращаясь к нашему примеру, мы видим далее, что суб'ективность точек зрения буржуазных экономистов, с одной стороны, Маркса, с другой, относительно строения капитала, не препятствует им иметь в то же время определенное об'ективное значение, отнюдь не означает их равноценности. Поскольку об'ективно рабочий класс является наиболее прогрессивным, наиболее передовым классом общества, вполне естественно и понятно, что именно точка зрения, развиваемая его идеологами, оказывается более прогрессивной и в об'ективно-научном смысле. Мы, действительно, видим, насколько анализ капиталистического общественного строя Маркса является

положения материалистической теории познания марксизма, которое и отличает ее как от теории познания неокантиантских схоластов, так и от идеализма и солипсизма разных толков. Мысль эта была положена еще в основу тезисов о Фейербахе и развивалась затем Энгельсом («Анти-Дюринг», отд. 1, гл. 1, «Л. Фейербах», гл. 2, ст. «Об историческом материализме»), ср. отдельные замечания в «Диалектике природы», «Архив Маркса и Энгельса», т. 2, с. 11, 13, 217. Основной тезис всех теоретико-познавательных сочинений И. Дицгена (не всегда, впрочем, выдержанных в последовательном материалистическом духе) составляет положение, что человеческое сознание и познание образует лишь «часть» «универсума». Вопросов гносеологии касается также Плеханов («Основные вопросы марксизма», главы 2 и 3, примечания к переводу «Фейербаха» Энгельса, примечание 7), в статьях против К. Шмидта («Критика наших критиков», в статье, посвященной Дицгену в «Современном Мире», 1907, в «Ответе А. Богданову», в сборнике «От обороны к нападению», М. 1910). Опровержению суб'ективно-идеалистических взглядов Маха посвящено, как известно, крупнейшее философское сочинение Н. Ленина, «Материализм и эмпириокритицизм», так же как и утраченный рукописный разбор «Эмпириомонизма» Богданова, см. также А. Деборин, «Введение в философию диалектического материализма», гл. 7; Луппол, «Ленин и философия», с. 40, сл. А. Деборин, «Ленин как мыслитель». Изд. 2., Гиз. 1925, ст. 1, § 2, 3, 9. Если сознание, а следовательно и познание, различных эпох и различных классов общества находятся под влиянием определенных идей, то поскольку эти идеи сами по себе представляются не случайными, а закономерно обусловленными, они в свою очередь образуют такой же об'ективный факт, как и познаваемая действительность. Если суб'ективная ограниченность нашего познания исторически обусловлена, то точно так же исторически обусловлен и об'ективный факт развития человеческого сознания и вместе с этим—приближение его к более точному и соответствующему реальной действительности познанию внешнего мира. «С точки зрения современного материализма, т. е. марксизма, говорит Ленин, исторически условны пределы приближения наших знаний к об'ективной и абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней... Исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии соответствует об'ективная истина, абсолютная природа. Вы скажете: это различение относительной и абсолютной истины неопределенно. Я вам отвечу: оно как-раз настолько «неопределенно», чтобы помешать превращению науки в догму, в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закостенелое; но оно в то же время как-раз настолько «определенно», чтобы отмежеваться самым решительным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта. Это—грань между диалектическим материализмом и релятивизмом» (Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», собрание сочинений, т. X, с. 109, по изд. «Звено», М. 1909 г., с. 150—151), ср. Энгельс, «Л. Фейербах», 1906, с. 60—61.

и более глубоким, и более плодотворным по своим последствиям, чем, например, «суб'ективная» теория предельной полезности. «Суб'ективизм» известных научных положений отнюдь, таким образом, не мешает тому, чтобы они имели и об'ективное научное значение [1].

Но раз мы пришли, таким образом, к заключению, что суб'ективность, под которой мы понимаем прежде всего суб'ективность классовой точки зрения, исторической и вообще общественных наук, не лишает еще их в то же время и об'ективно-научного значения; вместе с этим отпадает и всякое основание для противопоставления исторических наук, как наук, основанных на совершенно особой «гетерогенной», «диспаратной» точке зрения, другим наукам, отпадает и необходимость построения специальных, отличных от употребляемых в других науках методов.

3. ГЕНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОДЫ В ПРАКТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

После того, как мы показали, что индивидуализирующая точка зрения не имеет под собой ничего, кроме чисто суб'ективных предпосылок, что индивидуализирующий метод не только не подсказывается самим предметом исследования, но, напротив, одностороннее его применение выводит исследователя на ложный путь, остается теперь установить основной характер метода исторического исследования, исходя единственно из соображений целесообразности и из требований самой науки. Обратимся для этого прежде всего к рассмотрению тех действительных методов, которыми на практике пользуется историческое исследование. Поскольку Риккерт, выдвигая на первое место в исторической науке значение индивидуализирующего метода, исходит не только из философских предпосылок, но пытается опереться и на действительную практику исторической науки, он имеет в виду прежде всего, если не исключительно, работы Ранке, на которого у него встречаются постоянные ссылки. Это действительно историк, наиболее удовлетворяющий идеалу индивидуализирующей теории, историк, признающий только факты и притом индивидуальные факты и ограничивающий задачу исследователя восстановлением фактов, как они происходили в действительности. Но ведь Ранке представляет собою давно пройденную и превзойденную ступень даже для буржуазной науки. Ранке, как известно, интересовала исключительно политическая история, и, именно, прежде всего с ее индивидуальной стороны. В настоящее время политическая история уже давно отошла на второй план, первое же место заняла история экономическая и социальная. Вместе с этим самым решительным образом изменился и метод иссле-

[1] Совершенно непонятным в устах марксиста представляется то безразличие к об'ективному значению суб'ективно-классовых теоретических позиций буржуазии и пролетариата, какое проявляет Сарабьянов (О некоторых спорных проблемах диалектики, «Под знаменем марксизма», 1925, № 12, с. 118 и сл.)

дования. И в настоящее время утверждение, что историка интересуют только индивидуальные факты, просто-напросто неверно. Раз на место фактов политической (притом прежде всего внешне-политической) истории встало исследование длительных общественных процессов, применение обобщающего метода становится неизбежным. Отдельные факты, отдельные личности, их биографии, черты характера и быта интересуют уже историка не как индивидуальные факты, не как индивидуальные личности, но как типичные факты, как типичные черты быта, типичные биографии, т. е. именно как экземпляры, подводимые под один общий вид, а не сами по себе. Такие работы, как исследующие происхождение феодального и коммунального строя в средневековой Франции работы Люшера и Флака, как работы Лампрехта и Инама-Штернегга относительно хозяйственной жизни средневековой Германии, как исследования Виноградова по социальной истории средневековой Англии, как многочисленные работы русских историков по истории закрепощения крестьян в России, равно как бесконечное множество других аналогичных работ, ставят себе целью на основании исследования обширного архивного материала составить общую картину (общий средний тип развития) тех или иных общественных отношений, того или иного общественного учреждения. И в то же время все эти работы не только чисто исторические, но, можно смело сказать, имеющие в деле исторического исследования несравненно большее значение, чем обстоятельный рассказ о каких-либо хотя бы самых значительных индивидуальных исторических фактах [1].

Мы уже знаем, что не предметом исследования определяется выбор метода, что каждый факт одинаково допускает исследование как путем индивидуализирующего, так и генерализирующего метода. Этого факта не отрицают и сторонники индивидуализирующей точки зрения на историческую науку. Вспомним, например, что говорил Виндельбанд о возможности к одному и тому же явлению подходить одинаково и с обобщающей и с индивидуализирующей стороны; но если он приводил примеры только из области естественных наук, то, ведь, то же самое можно сказать и о любом факте истории. Историк может излагать, например, историю русских князей киевского периода и усобиц между ними как ряд индивидуальных фактов (правда,

[1] Факт этот не мог, конечно, пройти мимо внимания представителей индивидуализирующего направления, причем они тщетно пытались ограничить и подорвать его значение. Так, М. Вебер, изображая результаты исторических обобщений в виде «идеальных типов», стремится лишить их самостоятельного значения, приписывая этим последним лишь служебную подсобную роль и видя в них средство, а не самостоятельную цель исторического исследования («Die Objektivität», s.s. 190 ff.). Риккерт находит выход из положения в софистическом утверждении, что в случаях применения «коллективистического» метода подводятся под общее понятие лишь части целого, само же целое (например, французская революция) всегда рассматривается «во всей его единственности и индивидуальности» («Философия истории», с. 44—45).

сомнительной «ценности») в их хронологической последовательности. Но он может заинтересоваться порядком наследования между ними (вопрос, как известно, немало занимавший русских историков), причинами их усобиц, и тогда начинает рассматривать судьбу отдельных князей и события из их жизни как типичные, как характеризующие вообще взаимоотношения между князьями. История отдельных средневековых городов может интересовать историков как индивидуальный факт (мы имеем целый ряд таких специальных монографий), но рядом с специальными монографиями по истории отдельных городов, существует целый ряд работ, имеющих целью изобразить городское хозяйство, как особый тип, городскую жизнь средних веков в ее целом, городское (так. наз. коммунальное) движение и соответственно рассматривающих отдельные города лишь как типичные образцы, как экземпляры вида. Но точно так же, как история отдельных городов, с обобщающей точки зрения могут рассматриваться и исторические судьбы целых народов, и тогда применение обобщающего метода выходит за пределы истории отдельных стран. Можно сопоставлять при этом как отдельные общественные процессы (феодализм, развитие торговли, крепостного права, возникновение капитализма), так и историю различных народов в их целом. Такие обобщения приобретают уже не столько собственно исторический, сколько социологический характер, однако, это дела нисколько не меняет, поскольку никакого качественного различия между обобщениями того и другого рода не существует. Сравнительный метод одинаково находит себе применение как в социологии, так и в истории. Такие понятия, например, как феодализм, городское хозяйство, торговое государство, с равным правом употребляются и той и другой наукой [1].

4. СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛИЗИРУЮЩЕГО И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕГО МЕТОДОВ

Применение того или иного метода, таким образом, отнюдь не исключает одновременного применения другого метода. С одной стороны, индивидуализирующий метод, как это признают и сам Риккерт и его сторонники, находит себе применение не только в исторических, но и в естественных науках, с другой же стороны, обобщающий метод, как видим, широко применяется в науках исторических. Если отрешиться от риккертовской точки зрения, если отказаться от навязываемого им исторической науке суб'ективно-ценностного критерия, для противопоставления исторических наук наукам естественным совершенно не останется места. Поскольку и явления природы, и факты, и события общественной жизни представляют собой в реальной действительности индивидуальные факты, поскольку в то же время

[1] Различие, которое пытается проводить между социологическими и историческими «категориями» Петрушевский, в сущности, не на чем не основано, кроме как на ценностной точке зрения их автора.

и те и другие рядом с индивидуальными имеют и общие сходные черты, постольку, если мы хотим, чтобы наше знание отражало подлинную, а не однобокую действительность, естественно, и в исследовании явлений обоего рода должны находить себе применение оба метода, совершенно независимо от нашего преимущественного интереса в том или другом направлении.

Не «чистые» интересы науки, но удовлетворение различных практических надобностей двигает наше знание вперед. Целью всякого научного познания является прежде всего не удовлетворение праздного интереса, не описание того, что и как было или есть в действительности, но умение ориентироваться, найтись среди бесконечного богатства и разнообразия окружающей нас реальной действительности. А для этого одинаково необходимо применение обоих методов. Явление единичное, если оно вошло в круг нашей деятельности или почему-либо привлекло к себе наше внимание, мы и будем изучать как единичное; явления массовые, повторяющиеся мы будем и в том, и в другом случае изучать с помощью обобщающего, генерализирующего метода. Если историка интересует какое-либо бытовое явление, он, несомненно, обратится к генерализирующему и только к генерализирующему методу. Если естествоиспытатель заинтересуется, например, историей извержений Везувия или землетрясениями в Крыму или в Италии, он будет описывать их индивидуализирующим способом, подчеркивая и выделяя в каждом отдельном случае специальные черты данного извержения, данного землетрясения.

И в том, и в другом случае однако можно говорить о применении того или иного метода лишь относительно. Исследователь, пользующийся обобщающим методом, исходит из индивидуальных фактов и потому должен считаться и с их индивидуальными чертами, исследователь, задавшийся целью описать индивидуальное явление, должен уже иметь представление об общем характере явления, знать его видовые черты. Можно, таким образом, признать, что оба метода не только сосуществуют друг с другом во всех областях науки без исключения, но что они неразрывно связаны между собой и немыслимы один без другого и что никакой анализ действительности фактически невозможен без одновременного применения того и другого метода. Независимо от интереса исследователя к индивидуальной или общей стороне явлений, поскольку он имеет в виду выделить индивидуальные и общие черты с тем, чтобы в дальнейшем вынести за скобки те или другие, он должен прежде всего различать и обособлять их одни от других и, следовательно, одновременно применять оба метода [1].

[1] Первым требованием от историка, приступающего к синтетическому построению, в известном учебнике Ланглуа и Сеньобоса признается классификация фактов по степени их общности (Ланглуа и Сеньобос, Введение в изучение истории, с. 170, сл., 189, сл.). То же требование повторяет Сеньобос и в другой своей аналогичной работе «Исторический метод в применении к социальным наукам», перевод под редакцией П. Когана, М. 1902, с. 75—76, 81.

Как одностороннее применение обобщающего метода приводит к поспешным и часто ошибочным заключениям, так и индивидуализирующий метод без применения общих понятий равным образом не может дать нам ясного представления о данном явлении и его причинной обусловленности, в худшем же случае оказывается способным совершенно извратить историческую перспективу и дать совершенно неверное изображение исторической действительности. При всей своей индивидуальности каждый единичный факт представляется все же закономерным фактом, т. е. результатом действия общих причин, хотя бы и в очень сложной их комбинации, и мы не сможем его ни правильно понять, ни правильно оценить его значение, если не подведем его под известные общие понятия, если не установим не только его специальных, имеющих более или менее случайный характер причин, но и более общих, следовательно, основных и, собственно, действенных причин. Можно ли правильно понять и определить значение последней империалистической войны, династических войн XVIII столетия, так наз. религиозных войн XVI и XVII столетий, наконец, феодальных войн эпохи средневековья, не зная общественной экономики, тех общественных условий, в каких эти войны возникали, т. е. не связывая их с определенным типом общества. Любой, даже самый мелкий индивидуальный исторический факт может быть понят лишь на фоне общих условий времени, общеисторической обстановки и в то же время представляется совершенно невозможным в иных исторических условиях. Любое столкновение и ссора между феодальными землевладельцами средних веков разрешалось непосредственно силой оружия, политическое убийство служило одним из главных средств итальянской политики времени Возрождения; но разве возможно себе представить подобные факты хотя бы, например, в наше время. Индивидуальные факты, как видим, порождаются не только и даже не столько индивидуальными же фактами, сколько в конечном итоге общими условиями всякой данной исторической эпохи. Равным образом мы не сумеем правильно осветить ни мотивов, ни результатов деятельности даже отдельных политических и общественных деятелей, если не подведем их предварительно (как «экземпляр») под определенные общие понятия, если не отнесем их к определенной эпохе, к определенному классу, сословию, общественной группе.

Подводя итоги, мы можем констатировать, что понятия общего и индивидуального представляют собою понятия соотносительные, которые, следовательно, нельзя ни разделять, ни противопоставлять одно другому. Как индивидуальное обособляется только на фоне общего, так и обратно—обособление и исследование индивидуальных черт и отклонений резче оттеняет элементы сходства и общие черты сравниваемых явлений. Только самый тщательный анализ всех сторон исторических фактов и процессов может заменить в руках исследователя-историка недостающий экспериментальный метод. Сравнительно — исторический метод вовсе не заключается

в выделении одних общих черт и сторон сравниваемых явлений при полном игнорировании их индивидуальных особенностей. «Проводя какую-нибудь аналогию или параллель,—совершенно правильно замечает Фриман,—следует также внимательно останавливаться на чертах различия, как и на чертах сходства; внешние различия часто дают нам в самом деле лучшее доказательство внутреннего сходства. Если в своем сравнивании мы останавливаемся, замечая в подробностях то или иное несходство, это служит вернейшим подтверждением действительного сходства сравниваемых предметов. Если мы замечаем малейшие различия между лицами людей, то это потому, что мы признаем все человеческие лица сходными потому, что мы видим во всех них существенное сходство, которое только и дает нам возможность замечать черты несходства. То же самое должно сказать и относительно предмета нашего исследования (сравнительная политика—*А. Т.*). Мы отыскиваем черты существенного сходства учреждений, и случайные черты несходства не должны нам мешать в этом» [1]. Несомненно, такое применение сравнительно-исторического метода представляется и более полным, и более плодотворным, нежели то описание сравнительного метода, какое мы находим у М. Ковалевского, сводящего значение и роль этого метода к «выделению в особую группу сходных у разных народов на сходных ступенях их развития обычаев и учреждений» и думающего таким путем установить «общий» или «нормальный» ход общественного развития [2]. Неправильное определение роли сравнительно-исторического метода привело Ковалевского к неправильной постановке и самой преследуемой этим методом задачи, ибо об «общем» или «нормальном» ходе развития можно говорить лишь так же условно, как и о нормальном ходе развития всех животных видов или небесных тел. В действительности никакой «нормы» развития не существует. Самое большое, что мы можем установить с помощью сравнительно-исторического метода, это—существование сходных типов развития, которые в свою очередь варьируют от случая к случаю.

5. МАРКС И ЛЕНИН ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

Резко отрицательное отношение Маркса ко всяким общим схемам хорошо известно. В своем письме в редакцию «Отечественных записок» он протестует против создания формул, играющих роль отмычки всегда и повсюду; он требует специального исследования «исторической среды», могущей изменить все направление развития. Рекомендуя сравнительный метод, он предлагает сравнивать между собой различные эволюции лишь после того,

[1] Фриман, «Сравнительная политика», перевод Н. Коркунова, ПБ. 1880 г., стр. 14.

[2] М. Ковалевский, Сравнительно-исторический метод в юриспруденции и приемы изучения истории права, М. 1880, с. 19—20.

как каждая из них изучена в отдельности. Мысль о многообразии путей исторического развития и о необходимости специального исследования отдельных эволюций, отдельных вариаций одного и того же типа развития не менее определенно выражена Марксом и в другом месте. «Один и тот же экономический базис, — читаем мы в третьем томе «Капитала», — один и тот же со стороны главных условий, благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д., может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств» [1].

Этот рекомендуемый Марксом метод был широко использован Лениным. Ленинизм именно и представляет блестящий пример сочетания самых широких обобщений с самым крайним, если можно так выразиться, применением индивидуализирующего метода. Ленин признает одинаково неправильным и бесплодным одностороннее пользование как тем, так и другим методом. Он считает бессмысленной «попытку внести в общее понятие все частные признаки единичных понятий или, наоборот, избегнуть столкновения с крайним разнообразием явлений,—попытку, свидетельствующую просто об элементарном непонимании того, что такое наука» [2]. «Чтобы действительно знать предмет, говорит он в своих известных возражениях Бухарину по вопросу о профессиональных союзах, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования». «Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения» [3]. Он одинаково восстанет и против одностороннего применения абстрактно-обобщающего метода и против индивидуализирующего сужения и искажения действительности. Так, с одной стороны, он находит, что «Марксова диалектика требует конкретного анализа каждой особой исторической ситуации [4], что при разрешении политических и тактических вопросов необходим «конкретный учет конкретных условий, конкретной эпохи». И в то же время, с другой стороны, «диалектика Маркса, будучи последним словом научно-эволюционного метода, запрещает именно изолированное, т. е. однобокое и уродливо-искаженное, рассмотрение предмета» [5].

[1] «Капитал», перев. Базарова и Степанова, М. 1908, т. III, ч. 2, с. 319—320.

[2] Ленин, Собр. соч., т. IX, с. 87, «Прекрасная формула», très bien, замечает Ленин по поводу следующих слов Гегеля: «не только абстрактное всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного»(«Конспект науки логики Гегеля», «Под знаменем марксизма», 1925, №№ 1—2, с. 16).

[3] Ленин, Еще раз о профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина, Сочинения, т. XVIII, ч. 1, с. 60.

[4] Ленин, Сочинения, т. XIII, с. 446.

[5] Ленин, Сочинения, т. XIII, с. 160

И этого метода Ленин придерживался не только на словах. В своей политической деятельности он постоянно и неизменно ему следовал. Гибкая тактика ленинизма и основывается прежде всего на постоянном конкретном анализе меняющейся обстановки. Именно, игнорирование необходимости такого анализа, приверженность к раз навсегда выработанным нормам и схемам Ленин прежде всего и ставил в упрек своим противникам, называвшим себя марксистами. Полемизируя в 1905—6 гг. с Плехановым и меньшевиками по тактическим вопросам, он упрекал их в подмене конкретного анализа реальной действительности абстрактными рассуждениями об общем характере русской революции и о неизбежном будто бы параллелизме ее с западно-европейскими буржуазными революциями[1]. Такую же негибкость мысли, такой же схематизм выказывают с.-д.-меньшевики и в своем отношении к Октябрьской революции в России. «Они видели до сих пор определенный путь развития капитализма и буржуазной демократии в западной Европе. И вот они не могут себе предствить, что этот путь не может быть считаем образцовым иначе, как с некоторыми поправками (совершенно незначительными с точки зрения всемирной истории)... Им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Им не приходит даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских, что Россия поэтому могла и должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западно-европейских стран, и вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточным»[2].

6. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗИРУЮЩЕГО И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕГО МЕТОДОВ

Из всего изложенного мы можем видеть, что ни генерализирующий, ни индивидуализирующий методы каждый в отдельности сами по себе недостаточен. Для полного охвата исторической действительности, для правильной ориентировки в этой действительности, для ее надлежащего понимания и раз'яснения необходим самый точный и тщательный конкретный анализ, требующий одинаково применения обоих методов. Позволю себе привести здесь то, что я говорил по этому поводу в другом месте: «Мы не должны упускать из виду, что историческая наука, более чем какая-либо другая,

[1] См., например, Ленин, Сочинения, т. XIII, с. 81—82.
[2] Ленин, Сочинения, т. XVIII, ч. II, с. 118.

имеет дело прежде всего с конкретным индивидуальным материалом. Правда, это обстоятельство не может еще служить основанием для отказа от возможности выяснения общих основных движущих причин и моментов исторического развития, но еще менее имеем мы оснований отказываться от изучения частностей и индивидуальных сторон и явлений исторического процесса. Напротив, мы должны делать предметом своего изучения исторический процесс во всей его полноте и разнообразии, вплоть до биографии отдельных исторических деятелей и даже просто типичных личностей, вплоть до выяснения мотивов их действий и поступков. Только идя таким путем, только восходя от выяснения частных причин и следствий к причинам более общего характера, выделяя индивидуальные и более общие черты в жизни и развитии отдельных народов и находя об'яснение для тех и для других, сможем мы притти к открытию и научно-обоснованному определению основных движущих причин исторического процесса и проверить эмпирически, если не экспериментальным путем, те общие схемы и обобщения, к каким уже в настоящее время пришли социологическая и историческая наука, идя иным путем, путем дедуктивных выводов и построений.

Но если, таким образом, применение обоих методов одинаково уместно и необходимо, то значение их (как равно и в естественных науках) в то же время далеко не равноценно. Индивидуализирующий метод, как он изображается его сторонниками, сводится, в сущности, к обычным приемам всякого повествования и ничего специфически-научного еще в себе не заключает [1]. Это не более, как простое описание, составляющее необходимую предварительную ступень к научному обобщению и исследованию, но еще не науку в собственном смысле. Та ценностная точка зрения, та оценка, в которой риккертианцы видят конечную цель исторического исследования, также в сущности свойственна всякому повествованию. Всякий рассказчик выдвигает на первый план естественно то, что считает наиболее важным и интересным («относящимся к ценности», выражаясь высоким слогом Риккерта).

Не находя себе проверки в общих понятиях и законах развития, такой способ обработки исторического материала неизбежно должен оказаться сугубо суб'ективным [2]. Установление только ближайшей прагматической связи между событиями, вполне естественное для простого повествователя, для историка, который хочет и должен дать не простое повествование, но научно обработанный и научно освещенный материал, представляется далеко не до-

[1] Риккерт первенствующее значение приписывает, именно, изложению, видя в нем настоящую цель историка, см. «Границы»... с. 26.

[2] Та историческая критика, введение которой в историю и составляет в сущности заслугу Ранке, представляет собою не более как предварительную проверку материала, не давая ни анализа, ни толкования исторических фактов.

статочным, поскольку оно не ориентирует нас в исторической действительности, не анализирует, не разлагает ее на основные закономерности, не об'ясняет ее действием немногих общих абстрактных законов развития. Шопенгауэр, как известно, отказывал истории в значении науки на том основании, что она не делает никаких обобщений и ограничивается исключительно повествованием [1]. И он был совершенно прав в отношении современной ему исключительно прагматической, исключительно повествовательной истории. Поскольку в историке прежде всего ценилось искусство повествователя, историю сопоставляли не с наукой, но с поэзией тот же Шопенгауэр видел в истории род романа [2]. И взгляд Шопенгауэра на историю не был только его личной точкой зрения. Взгляд этот был общераспространенным в его время и вполне разделялся и самими историками. Многочисленные «историки» (курсы и руководства для начинающих историков, выходившие в Германии в первой половине прошедшего столетия), видевшие в истории не более, как прагматическое повестование об индивидуальных фактах, несмотря на такое применение индивидуализирующего метода, немало не претендовали на причисление истории к наукам и вполне последовательно рассматривали ее как произведение искусства» [3]. Так же смотрят на эту повествовательную, «индивидуализирующую» историю начала прошлого века и современные историки. «До 1850 г.,—читаем мы у Ланглуа и Сеньобоса,—история оставалась и для историков, и для публики одним из видов литературы. Блестящим доказательством служит то, что у историков было тогда в обычае переиздавать свои сочинения по истечении многих лет, ничего в них не изменяя, и публика терпела такой образ действий. Между тем всякое научное сочинение должно

---

[1] A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 3 Auflage. Leipzig 1859, B. II, § 38, S. 500.

[2] Ibid., S. 502.

[3] См., например, Rhus, Entwurf einer Propädeutik des historischen Studiums, Berlin 1811, где автор говорит об historische Kunst; Wachsmuth, Entwurf einer Theorie der Geschichte, Halle 1820; W. Humbold, Ueber die' Aufgabe des Geschichtsschreibers», 1822 (сопоставление труда историка с творчеством поэта); G. Gerwinus, Grundzüge der Historik, Leipzig 1837 (история произведения искусства—Kunstwerk). Древнейшей формой, в какую облекалось историческое повествование, поскольку оно не имело характера сухих анналистских записей, была, как известно, эпопея, и не только героический эпос в собственном смысле, но и эпические произведения (например, Chansons de gêstes во Франции, наше «Слово о полку Игореве»), возникшие в историческое время и об исторических личностях. «Эпопея,—говорит Готфрид Курт,—у всех наций представляет собою примитивную форму истории. Это—история до появления историков... Эпопея перестает фактически существовать с того момента, как она перестает почитаться историей» (Godefroid Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens, Paris 1893). Такие исторические поэмы имеются в литературе всех европейских и не только европейских народов. Ср., например, интересное сообщение Массон Урселя в секции исторического синтеза об исторической литературе у индусов [Bulletin du centre international de synthèse, Section de synthèse historique, № 3 (1927) p.p. 16—19].

постоянно исправляться, пересматриваться, приводиться в соответствие с успехами, сделанными наукой. Люди науки, в собственном смысле этого слова, не имеют притязания давать своим трудам неизменную форму и рассчитывать на то, что их будет читать потомство; они не претендуют на личное бессмертие, для них достаточно, если результаты их изысканий, исправленные или даже преобразованные позднейшими изысканиями, будут включены в совокупность знаний, составляющих научное достояние человечества.. Только произведения искусства останутся вечно юными. И публика прекрасно это понимает: никому не пришло бы на ум изучать естественную историю по Бюффону, каковы бы ни были достоинства этого стилиста, но та же публика охотно изучает историю по Огюстену Тьерри, Маколею, Карлейлю и Мишле, и книги крупных писателей, писавших на те или иные исторические темы, перепечатываются в своем первоначальном виде спустя пятьдесят лет со смерти авторов, хотя, очевидно, они не стоят уже более на уровне добытых наукою знаний. Ясно, что в истории для многих людей форма берет верх над содержанием и что историческое сочинение, если не исключительно, то главным образом является для них произведением искусства»[1].

Не возвышается над этой точкой зрения на историю и «великий» Ранке, работы которого послужили образцом для Риккерта и других индивидуализирующих историков. Требование от историка прежде всего способности воображения и художественности изложения занимает, как известно, и в его взглядах на историю не менее видное место, чем у его предшественников и старших современников[2]. Введенные им в изучение истории критические приемы сделали лишь его изложение более точным, не сообщили еще ему собственно научного характера и значения. Напротив, именно на примере Ранке особенно наглядно выступает вся недостаточность индивидуализирующей истории и индивидуализирующего «метода», как его понимают историки школы Ранке и Риккерта. Там, где Ранке от кропотливой работы над фактами, от «игрушечной возни с анекдотами», как писал когда-то о нем Маркс[3], «обращается к попыткам дать общую картину развития европейских государств, там этот великий на малые дела историк, в глазах современного, вооруженного действительно научным социологическим методом историка, оказывается беспомощным как малый ребенок».

[1] Ланглуа и Сеньобос, Введение в изучение истории, с. 259.

[2] То любование индивидуальным фактом, та боязнь нарушить очарование («ценность») индивидуального факта приложением к нему обезличивающего абстрактного метода исследования, которое прежде всего характеризует собою индивидуализирующую точку зрения, те чисто личные откровенно суб'ективные мотивы, какие приводятся в ее защиту ее сторонниками, лучше всего показывают, что и для этих последних история служит не столько для удовлетворения собственно научных, сколько эстетических интересов, что и в их глазах по существу она остается искусством, хотя и именуется ими наукой.

[3] Письма, с. 106.

Только с обращением к абстрактно-аналитической обработке исторического материала, только с применением обобщающего метода начинается собственно-научная работа историка. И не только потому, что только обобщение и установление закономерности явлений в истории, как и в естественных науках, имеет собственно научное значение, что только знание об общем дает нам возможность полного охвата действительности и ориентирует нас в ней, что, таким образом, только с обращением к обобщающему методу в истории выступает собственно научный исследователь на место простого повествователя, но и потому, что только с помощью обобщающего метода получаем мы правильное представление об историческом процессе, одинаково, как в его всеобщности, так и в его индивидуальности, что без знания общих причин и общих движущих сил развития мы не сумеем правильно понять и осветить и индивидуальные факты и явления.

Поскольку, таким образом, целью всякого научного познания является прежде всего открытие и установление закономерности явления, постольку основным методом научного исследования всегда остается обобщающий и абстрактно-дедуктивный метод исследования. Поскольку в то же время понятия общего и индивидуального и в природе, и в общественной жизни представляются, как мы видели, соотносительными, необходимым дополнением обобщающего, генерализирующего метода всегда является метод индивидуализирующий. Но хотя, таким образом, индивидуализирующий метод в процессе исследования представляется не менее необходимым, чем метод обобщающий, однако он играет лишь подчиненную, вспомогательную роль. Необходимо, однако, при этом иметь в виду, что этот служащий необходимым дополнением обобщающего метода и, следовательно, собственно научный индивидуализирующий метод имеет очень мало общего с тем индивидуализирующим суб'ективно-оценочным методом, в защиту которого ополчаются риккертианцы и которому они придают всецело самодовлеющее значение [1]. В противоположность синтетическому, индивидуализирующему методу этих последних [2], научный индивидуализирующий метод есть прежде всего метод анализа, разложения индивидуальных исторических фактов и процессов на их составные элементы, специального исследования как общих с другими параллель-

[1] Сторонники применения индивидуализирующего «метода» в истории также нередко говорят об индивидуализирующих исторических науках, как о дополняющих генерализирующее познание естественных наук. При этом упускается из виду только одно весьма немаловажное обстоятельство, именно, что те и другие науки имеют дело с совершенно различным и разнородным материалом. Каким образом индивидуальные данные, касающиеся истории человеческих обществ, могут служить дополнением знания общих законов физики или химии, это—секрет Риккерта и его последователей.

[2] Ранке, как известно, требует от историка восстановления прошлого, как оно было в действительности. Со своей стороны Риккерт также, в противоположность обобщающему методу, подводящему индивидуальное под общее, видит задачу историка во включении частей в единое целое.

ными случаями черт, так и индивидуальных особенностей и отклонений изучаемого явления или процесса. Одновременно и рядом с анализом индивидуальной историческй действительнсти индивидуализирующий метод предполагает, таким образом, и приложение к этой исторической действительности уже достигнутых обобщений и установленных уже общих абстрактных положений. Применение индивидуализирующего метода уточняет наше знание и служит в руках исследователя средством для проверки общих положений, полученных путем первоначальных обобщений и дедуктивных заключений. Индивидуализирующий метод в истории заменяет, таким образом, экспериментальные способы исследования естественных наук. Ведь, и эксперимент представляет собою не что иное, как индивидуальный опыт, индивидуальный факт, служащий для поверки общих дедуктивных положений и общих абстрактных законов. Если при этом в эксперименте индивидуальная сторона сходит на-нет, совершенно отступая перед исключительным интересом к поверяемому данным экспериментом общему положению, если в историческом исследовании индивидуальная сторона его может нас интересовать сама по себе, на что имеются не только чисто суб'ективные, отмечаемые риккертовской школой, но и известные об'ективные причины (см. относительно этого следующий параграф), все же об'ективно-научное значение и в истории индивидуализирующий метод имеет прежде всего как средство уточнения и поверки, как один из способов открытия и установления наиболее общих законов исторического развития.

7. ОБ'ЕКТИВНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕГО МЕТОДА В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Сторонники ценностно-индивидуалистической точки зрения не могут, как мы видели, привести в ее оправдание ничего, кроме чисто и откровенно суб'ективных мотивов. Эти чисто суб'ективные методы имеют, однако, как мы также видели, свои об'ективные причины, причины, связанные, вопреки мнимой общезначимости ценностной теории, с определенными условиями места и времени. Но мы только-что видели, что помимо суб'ективной ценностно-индивидуализирующей точки зрения буржуазных теоретиков, в исторической науке находит себе рядом с генерализирующим методом, как его необходимое дополнение, индивидуализирующий метод, имеющий и об'ективно-научное значение. Если в области научной теории он играет второстепенную подчиненную роль, то в области практической жизни, в практике общественной и политической борьбы индивидуализирующий метод, ориентирующий нас в условиях конкретной действительности, приобретает уже более самостоятельное значение и, например, в ленинизме, претворяющем теорию Маркса в непосредственную практику классовой борьбы и пролетарской революции, индивидуализирующий метод, метод конкретного анализа занимает, как мы видели, исключительное место. Именно то обстоятельство,

что научно-индивидуализирующий метод в обоих случаях удовлетворяет определенным практическим требованиям, свидетельствует об его об'ективно-научном характере и значении. Неприменение того суб'ективно-ценностного индивидуализирующего метода, о котором говорят риккертианцы, но то действительное научно-об'ективное значение, какое имеет индивидуализирующий метод в исторических и общественных науках, в известной мере, в действительности, отличает эти последние от естественных наук, в которых индивидуальный элемент стушевывается перед общим в гораздо большей степени. Правда, индивидуализирующий метод в истории, как мы говорили, заменяет экспериментальный метод естественных наук; однако, в то время, как индивидуальная сторона эксперимента сводится совершенно на-нет и намеренно устраняется из поля исследования, исследование индивидуальной стороны исторической действительности имеет самостоятельное и притом обусловленное не только суб'ективными мотивами, но и об'ективно-научными требованиями значение. Спрашивается, чем же, какими об'ективными причинами в свою очередь обусловливается этот интерес к индивидуальной стороне исторической действительности?

Историки обращаются к изучению и исследованию конкретного материала не столько потому, что они «любят» индивидуальное и знать «не желают» общего, сколько потому, что вынуждаются к этому самым характером изучаемого предмета. Естествоиспытатель имеет дело с непосредственными реальными данными, с данными, так сказать, осязаемыми, поддающимися непосредственному наблюдению, анализу, экспериментированию; историк, кроме письменных документов и вещественных памятников, не имеет перед собой ничего. Он должен проделать предварителную неблагодарную работу проверки и критики находящихся в его распоряжении источников. Но и после такой проверки он может восстанавливать факты лишь путем воображения, притом нередко на основании неполных и недостаточных данных[1]. С помощью такого же исключительно мыслительного процесса совершается, наконец, собственно научная работа расчленения и анализа установленного, таким образом, фактического материала.

Будучи лишен возможности применения экспериментального метода, историк может подойти к фактам только с их индивидуальной, а не с общей стороны; к установлению общих моментов и общих законов развития ему приходится пробиваться сквозь чащу индивидуальных фактов. С другой стороны, и поверять общие положения историк может, лишь прилагая их к данному фактическому, следовательно, индивидуальному материалу. Конечно, и эксперимент по существу есть не что иное, как проверка общего правила, общего закона на частном примере. Но поскольку сущность эксперимента заключается, именно, в изолировании изучаемой связи явлений, постольку мы и можем считать себя в праве рассматривать его не с его индивидуальной,

[1] Ср. Ланглуа и Сеньобос, с. 172 сл.

но с его общей стороны, не как индивидуальное явление, но как частный пример непосредственного действия общего закона. Этого в истории мы не имеем; историку приходится иметь дело не только с конкретным материалом, но и с конкретным материалом необычайной сложности; общие и индивидуальные стороны могут быть расчленены и отделены одни от других лишь мысленно, лишь в абстракции.

Уже самый характер материала и условия исследовательской работы заставляют историка в гораздо большей степени, чем естествоиспытателя, считаться с индивидуальной стороной действительности. Это условие однако не единственное и, пожалуй, даже и не главное. Ведь, и геолог, например, во всех указанных отношениях оказывается не в лучших условиях, чем историк; однако, это обстоятельство не препятствует самому широкому и гораздо более смелому, по сравнению с исторической наукой, применению обобщающего метода в геологии. От случайно открытых отдельных напластований геолог делает заключение о характере всей земной поверхности в определенную геологическую эпоху; от случайных, часто единичных, следов, оставленных отдельными вымершими экземплярами, он заключает о существовании целых пород и видов; по каким-нибудь отдельным костям реконструирует целое животное и даже целый вид. Дело, следовательно, не только в тех особых условиях, в какие поставлен историк по отношению к исследуемому материалу. Об'ективная необходимость специального исследования индивидуальной стороны исторической действительности, самостоятельный интерес к ней, вызываются не только условиями научной работы историка, но также, и при том в гораздо большей степени, и особым положением человека в отношении самих фактов общественной жизни.

Мы знаем уже, что общее и индивидуальное, необходимое и случайное, представляют собою лишь две стороны одной и той же действительности. Мы только что видели также, что в естественных науках исследователь, пользуясь экспериментальным методом, имеет возможность подходить к явлениям непосредственно с их общей и необходимой стороны, устраняя по произволу все частные и индивидуальные особенности исследуемого случая. Поскольку же знание фактов и явлений природы со стороны их общности и закономерной необходимости в свою очередь служит в руках человека орудием власти и над природой, поскольку это знание позволяет человеку не только предвидеть, но и направлять индивидуальную действительность согласно своим целям, постольку, естественно, индивидуальная сторона действительности перестает его интересовать. Совершенно в иных условиях оказываемся мы в отношении фактов и событий общественной жизни. В отношении этих последних мы не располагаем еще ни точным знанием общих законов, ни таким могущественным средством, каким является эксперимент в руках естествоиспытателя. Здесь нам приходится иметь дело с данной и, следовательно, с индивидуальной действительностью, сталкиваться с действительностью, по-

вернутой к нам своей индивидуальной стороной. А это обстоятельство ставит нас в невыгодное положение не только как познающих суб'ектов, на что мы только-что указывали, но также и во всей нашей общественной жизни в качестве об'ектов воздействия общественной среды. Вместо того, чтобы господствовать над этой средой, мы сами оказываемся игрушкой последней, сами постоянно становимся жертвой стечения обстоятельств, которые, как и вся реальная действительность, отличаются индивидуальным и случайным характером.

Общественный деятель, политик наблюдают только индивидуальные факты и их действие, причем более общие причины и действующие в общественной жизни силы остаются для него тайной. Только отдельные факты останавливают на себе его внимание, и только в отдельных же фактах он видит и единственные причины, порождающие другие такие же индивидуальные факты. Поэтому у него и создается впечатление, что только индивидуальные факты, события, личности являются единственными агентами, от действия которых зависит судьба данного общества, к которому он принадлежит и с которым непосредственно связаны все его интересы. Если над страной висит, например, военная гроза, если последнее слово зависит от решения правительств, естественно, что именно в этом решении их и видят не только непосредственную, но и единственную причину войны. Чрезвычайно характерным для такого взгляда представляется, например, страстное дебатирование в политической литературе всех стран, участвовавших в последней империалистической войне, вопроса о виновниках этой последней. Эмигранты, изгнанные революцией из страны, всю силу своей ненависти сосредоточивают на деятелях революции и, наоборот, все свои надежды связывают с определенными лицами или правительствами, признавая, таким образом, тех и других единственными виновниками революции и контрреволюции и не видя, а часто и не желая видеть скрытых за ними действительных сил и причин общественного развития. Взгляд этот распространяется и на прошлое, и вся история, обращенная к нам своей индивидуальной стороной, представляется в виде цепи связанных между собой каузально индивидуальных фактов и вместе с тем царством случайностей. Индивидуализирующая «наука» [1], всецело усваивающая этот взгляд и намеренно ограничивающая свою задачу описанием индивидуальной стороны действительности, естественно, неспособна ни возвыситься до настоящего научного ее понимания, ни тем более дать нам средства и способы для овладения ею. Подняться на действительную научную высоту общественные науки (в том числе и история) могут только лишь

[1] А сюда относится не только, собственно, индивидуализирующее, но и психологическое направление как в истории, так и в социологии, поскольку это последнее при об'яснении исторического процесса исходит не из более общих причин, обусловливающих, между прочим, и человеческую психику, но из психического взаимодействия людей и, в конечном счете, из индивидуальной психологии.

в результате самого широкого применения обобщающего метода (одностороннее противопоставление истории, как только индивидуализирующей, и социологии, как только обобщающей науки, одинаково пагубно отражается и на той, и на другой). Всякое подлинное научное знание порождается не простой любознательностью, но практикой, определенными общественными потребностями. Для общественных наук, в частности для истории, задача эта стала актуальной только в наше время, и в сущности только теория исторического материализма представляет первый шаг к ее разрешению.

8. ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Если близорукие политики и прагматики-историки не умеют и не хотят возвыситься над упрощенной индивидуализирующей точкой зрения на процесс исторического развития, то и людям, стоящим на научной точке зрения, людям, отдающим себе отчет. в действительных силах и факторах общественного развития в настоящее время, поскольку они поставлены в необходимость жить и действовать под давлением независящих еще от их воли сил и обстоятельств, приходится считаться с данным стечением обстоятельств, принимать во внимание рядом с общими тенденциями развития и возможное влияние индивидуальных обстоятельств и условий. Именно воздействуя на эти последние, используя одни, устраняя другие и расчищая, таким образом путь для выявившихся уже тенденций развития, люди в значительной мере могут ускорить действие этих тенденций. Вот почему и марксизм, и ленинизм, исходя из твердо установленных тенденций капиталистического развития, никоим образом не считают возможным игнорировать и индивидуальной стороны текущей общественной жизни. И ленинизм строит свою тактику, как мы видели, на самом тщательном анализе конкретной обстановки.

У А. А. Чупрова мы находим любопытную попытку обосновать индивидуализирующий метод исторических наук, в противоположность другим представителям того же направления, не на суб'ективных мотивах и предпосылках, но на об'ективных требованиях практики. Именно, поэтому его точка зрения, сама по себе неправильная, поскольку он идет далее доказательства сочетания обоих методов и на различии методов пытается обосновать различие и деление наук [1], представляет все же для нас интерес. В нау-

[1] В частности мало понятной является самая его мысль изобразить, представить в качестве индивидуализирующей науки именно статистику, одну из самых обобщающих общественных наук (об'единяющую отдельные общественные явления по определенным сходным признакам), науку, которую Кетле как-раз пытался изобразить, как «социальную физику», и которая навела Бокля на мысль об исторических законах. Курно точно так же именно в статистике видел науку, констатирующую элементы общего в общественной жизни. «Статистика,—говорит он,—есть наука, предмет которой составляет собирание и координирование многочисленных фактов одинакового рода с целью

ках идиографических (науках о частных фактах и явлениях) Чупров видит необходимое дополнение к наукам номографическим (наукам о законах). Он находит одно номографическое знание, идея которого заключается в том, чтобы «добраться путем постепенного расчленения тех сложных комплексов взаимно обусловленных явлений, которые улавливаются нашим непосредственным опытом, до установления «законов природы»—причинных соотношений между возможными простыми явлениями, между элементарными причинами и следствиями»[1], недостаточным. Недостаточность номографического знания и необходимость дополняющего его знания идиографического и вместе с этим и специальных идиографических наук, Чупров иллюстрирует «с большой наглядностью», как ему кажется, становясь на «грубо утилитарную точку зрения» сельского хозяина, которому для поднятия урожая мало одних общих агрономических сведений и который одинаково должен располагать и чисто практическими и в то же время идиографическими знаниями, например, знанием индивидуальных свойств своего поля, практическими сведениями о рынках, где он может выгоднее всего приобрести необходимые химические удобрения[2]. Для лица, руководящего фабричным предприятием, точно так же недостаточно знания техники и ее законов; не менее необходимы ему и практические сведения о количестве и распределении угля и железа на земном шаре[3]. Мореплаватель должен в свою очередь иметь знания о том, где находятся угольные станции[4]. Поскольку приведенными примерами Чупров хочет оправдать существование особых идиографических наук, его попытка не может считаться удавшейся. Все те необходимые для практика сведения, о которых в этих примерах идет речь, почерпаются либо из личного опыта, либо из справочных изданий. Но ни Бедекер, ни ежегодники-справочники, как бы ни были полезны сообщаемые ими сведения, никакой особой науки не образуют. Мы видели выше. что обобщающий и индивидуализирующий методы, и, следовательно, и обобщающее и индивидуализирующее знания неотделимы одно от другого и что всякая наука, таким образом, рядом с общими научными истинами совмещает в себе и дополняющее их идиографическое знание.

Но если, таким образом, с помощью приводимых Чупровым примеров нельзя доказать необходимости обособления идиографического знания в виде специальных идиографических наук, зато в качестве иллюстрации, наглядно

установить постоянные и независимые от случайных аномалий отношения, свидетельствующие о существовании, с одной стороны, направляющих и постоянно действующих причин и случайных причин—с другой стороны», см. Cournot, Exposition de la theorie des chances et des probabilitées», Paris. 1843; cp. F. Faure, Les idées de cournot sur la statistique, Revue de métaphysique et de morale, 1905, pp. 395—411.

[1] А. А. Чупров, Опыт теории статистики, ПБ. 1909, с. 14.

[2] Там же, с. 16 след.

[3] Там же, с. 19—20.

[4] Там же, с. 34.

противопоставляющей индивидуализирующее, идиографическое, другими словами, эмпирическое знание обобщающему, т. е. собственно научному исследованию, они как нельзя более удачны, и мы ими сможем воспользоваться. То идиографическое знание, примеры которого приводятся Чупровым, есть знание чисто эмпирическое, т. е. знание исключительно той индивидуальной действительности, той индивидуальной обстановки и условий, с которыми человеку непосредственно приходится вступать в соприкосновение в его жизни и в практической деятельности. Но как таковое, оно является исключительно знанием, основывающимся на жизненном опыте и, следовательно, ничего общего с методами собственно научного, т. е. обобщающего, знания не имеющим. Такое чисто эмпирическое познание относится к той ступени развития, когда человек не располагал еще обобщающими методами познания и знанием общих законов природы и когда его скудные знания позволяли ему лишь так или иначе приноравливаться к окружавшей его индивидуальной действительности. Крестьянин-земледелец не имеет еще никаких общих сведений о качествах и строении почвы, но судит лишь чисто эмпирически по получаемому урожаю о качествах своего индивидуального поля, которые он может сравнивать только с урожайностью таких же индивидуальных полей соседей. Также мало имеет он общих сведений и об атмосфере и об атмосферических явлениях. Его интересует лишь состояние погоды сегодняшнего и завтрашнего дня в данном определенном месте. Если он пытается строить какие-то обобщения, обобщения эти, образующие так называемые приметы, также строятся на чисто эмпирических и случайных признаках и потому в большинстве случаев оказываются гадательными и ошибочными. Если сельскому хозяину приходится приобретать скот или ту или иную хозяйственную принадлежность, он обращает внимание, прежде всего, на индивидуальные свойства данного животного, данного предмета, расценивая их со своей индивидуально-хозяйственной точки зрения. Мореплаватель такой чисто эмпирической эпохи точно так же не имеет никаких сведений ни о жизни моря вообще, ни о каких законах, управляющих атмосферическими явлениями, плавает без компаса, без карт, без малейшего представления о географических долготах и широтах, но зато он хорошо знает свой участок моря, в пределах которого совершаются его обычные рейсы, очертания берегов, сезоны ветров и затишья, приметы и признаки приближающейся бури. Внешним выражением такого чисто эмпирического, «индивидуализирующего» отношения к действительности служит то обстоятельство, что человек на этой ступени развития во всех явлениях природы видит проявления индивидуальной воли, совершенно аналогично индивидуализирующей точке зрения на историю, которая точно так же все исторические факты и события рассматривает как следствия и проявления индивидуальной воли людей.

Поскольку человек не приобрел еще знания общих законов, позволяю-

шего ему управлять силами природы, поскольку его техника не шла далее непосредственного использования силы ветра или воды, ему, естественно, приходилось, прежде всего, считаться с данными условиями места и времени и к этим условиям приноравливаться. В той мере, в какой и в настоящее время производительная деятельность остается в зависимости от определенных данных условий, например, от распределения руд и угля на земной поверхности, от размеров отдельных их месторождений, от качества находящихся в этих месторождениях средств производства, интерес, возбуждаемый всеми этими обстоятельствами, продолжает сохранять тот же чисто индивидуальный, связанный с определенным временем и местом характер. Экономическая география и дает, именно, такие не столько обобщающие, сколько индивидуализирующие, хотя и опирающиеся на обобщенные положения других наук, знания.

Поскольку, таким образом, человек не научился еще улучшать породу скота, влиять на качества почвы, пользоваться силой пара или электричества, действующей в любом месте и в любое время, ему приходилось применяться к эмпирическим и тем самым индивидуальным данным. Эмпирические знания представляются человеку полезными и необходимыми лишь в той мере, поскольку он не достиг еще знания обобщающего, пока вместе с этим сохраняется в большей или в меньшей степени зависимость его от индивидуальных условий места и времени. Поскольку, напротив, обобщающее знание закономерных связей природы освобождает человека от такой зависимости, постольку, естественно, и индивидуальные стороны действительности перестают его непосредственно интересовать, и если идиографическое знание и сохраняет еще известное значение, то вовсе не в качестве особой науки, как полагает Чупров, но исключительно в качестве об'ектов приложения общих данных науки. Чупров ссылается на то, что сельский хозяин, даже вооруженный всеми данными агрономии, должен считаться с индивидуальными качествами данного поля, но в этих индивидуальных данных он отыскивает те или иные общие ему знакомые из агрономической науки черты для того, чтобы иметь возможность с пользой приложить к данному индивидуальному об'екту свои общие сведения.

В таком, именно, положении, в положении людей, вынужденных довольствоваться эмпирическим опытом, находятся и общественные, и политические деятели. Поскольку общественные науки не проникли еще в тайну законов общественной жизни и общественного развития, постольку общественные деятели в значительной мере находятся еще в зависимости от индивидуального стечения обстоятельств. Как хозяина-эмпирика интересует прежде всего данное поле или данное животное, а не свойства почвы или животного вида вообще, так и внимание современного общественного деятеля, политика, историка, сосредоточивается прежде всего на тех индивидуальных фактах, на тех индивидуальных деятелях, с которыми им в каждый данный момент

приходится иметь дело. «Разыскивание причин в истории,—говорит Берр,— делалось ощупью эмпиристами, понималось упрощенно философами и не было определенно организовано логиками» [1].

Представим себе теперь (хотя бы чисто проблематически для того, чтобы уяснить нашу мысль) будущее общество, представим себе общество, в котором человечество познало наконец законы общественной жизни так же, как ему известны уже в настоящее время законы природы, и научилось так же управлять общественными силами, как оно использует силы природы, общество, избавившееся от всяких классовых и национальных перегородок и противоречий и заинтересованное лишь в планомерном руководстве хозяйственной жизнью. Государственная и политическая жизнь со всеми ее «индивидуальными» «случайностями» в таком обществе должна замереть. С устранением частной собственности и имущественного неравенства исчезнет большая часть правонарушений, и право в значительной мере также сделается излишним. Вся общественная жизнь и вместе все общественное развитие сведется почти исключительно к регистрации успехов техники. Естественно, что и социологов и историков этого будущего общества должны будут интересовать прежде всего не индивидуальные факты и события, но общие законы и моменты общественной жизни (прежде всего экономики), равно как и общее направление (тенденция) дальнейшего общественного развития. Для индивидуализирующей истории не останется более совершенно места, и индивидуализирующий метод будет находить себе применение только в отношении прошлых судеб человечества того времени, когда люди не управляли еще своей общественной жизнью, когда общественная жизнь, следовательно, немало зависела от индивидуальных «случайностей», а тенденции общественного развития едва нащупывались сквозь толщу индивидуальных фактов.

---

[1] Henri Berr, La synthèse en histoire. Попытка самого Берра разрешить

А. РЫНДИЧ. — КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

Мы присутствуем при весьма отрадном явлении. Спорные вопросы методики обществоведения начинают ставиться на широкое обсуждение. Заслуга Общества историков-марксистов состоит прежде всего в том, что оно заострило внимание на недостатках обществоведения, заставило наркомпросовские органы поставить в порядок дня пересмотр некоторых ошибочных позиций в области методики и наметило основные вехи марксистского разрешения проблемы о месте истории в школьном обществоведении, о характере и методах преподавания истории в советской школе и пр. Противники марксистской истории в школе правы, разумеется, когда они говорят, что Общество историков-марксистов не охватывает во всем об'еме вопросов школьного обществоведения. В этом недостаток методической секции Общества. Вопрос о месте марксистской теории в семилетке стоит не менее остро, чем о систематическом курсе истории. И не менее ошибочно разрешается этот вопрос в руководящих материалах.

Игнорирование элементарных основ марксистской теории тесно связано с борьбой против систематического курса истории. Оба эти явления вырастают на одном и том же корню, именно: на преклонении перед эмпирическими знаниями, на игнорировании проблемы развития у учащихся марксистского мировоззрения, на принижении воспитательного значения марксистской теории. И то и другое в одинаковой степени защищается так наз. «московской» школой. Представители этой «школы»: С. Сингалевич, Жаворонков, Дзюбинский и др. правы, когда говорят, что их взгляды разделяются и некоторыми руководящими работниками научно-педагогической секции ГУСа (А. Страшев, А. Станчинский, В. Шульгин и др.). Однако, отсюда вовсе не следует, что ГУС полностью солидаризируется с московской школой, что выступающие против последней «бьют по принципам ГУС'а» и т. д. Это—совершенно неверно: в ГУСе по спорным вопросам н е т е д и н с т в а в з г л я д о в. В программах для семилетки и в об'яснительной записке к ним, а равно и в рабочих книгах по обществоведению нет выдержанного, последовательного проведения какого-либо методического принципа. Программы носят в известном смысле эклектический характер, на них явные следы переходного периода [1]. О том же отсутствии единства взглядов в ГУСе свидетельствует

[1] Подробно об этом я говорил в статье «История, теория и современность в школе». Статья сдана в ред. сборника «Обществоведение в трудовой школе» еще летом прошлого года.

и тот факт, что в программах школ крестьянской молодежи введен систематический курс истории и в достаточной степени отражены элементы теории. Наконец, М. Н. Покровский, имеющий, как известно, ближайшее касательство к ГУСу, не раз выступал в защиту взглядов, противоположных «московской» школе.

Таким образом, утверждение, будто, «борясь с московской школой», методисты Общества историков-марксистов кидают свои стрелы в ГУС и Наркомпрос[1], это утверждение верно не больше, чем наполовину.

Но независимо от того, в какой степени ГУС солидаризируется с московской школой[2], нам необходимо по существу разобраться в спорном вопросе.

С первого взгляда самым сильным аргументом в защиту позиции московской школы является подчеркивание ею воспитательных задач. Жаворонков патетически восклицает на с'езде историков-марксистов: «Дело не в московском направлении... Дело в трудовой школе (?). За ее защиту нас и бьют (!?). Мы являемся представителями воспитательно-трудового (?) направления, потому что мы сторонники трудовой школы. Мы считаем, что основной задачей школы является трудовое воспитание в классовом духе. Мы считаем, что основной задачей школы является подготовка тех людей, которые нужны в период индустриализации, в период культурной революции. Это мы должны подчеркнуть» (цит. по стенограмме методич. секции Всесоюзной конференции историков-марксистов.— Разрядка моя.—*А. Р.*).

Итак, московская школа это — воспитательно-трудовое направление, эту мысль подчеркивает и Е. Осипова в цитируемой статье. А историки-марксисты, по словам Жаворонкова, Дзюбинского, Сингалевича и пр.—представители «догматического направления». Это очень серьезное обвинение: защитники систематического курса истории (а мы защищаем не только это), оказывается, игнорируют воспитательные задачи школы. Так ли это?

Думается, что нет: именно воспитательные задачи школы и требуют перестройки обществоведческого курса. Но прежде чем попытаться обосновать эту мысль, нам необходимо договориться по вопросу о понимании проблемы воспитания в советской школе: приведенная цитата из речи Жаворонкова дает основание подозревать, что мы и они по разному понимаем задачи, цели и характер воспитания в советской школе. Не в игнорировании воспитания зарыта собака, а в разном понимании оного.

В самом деле, достаточно вдуматься в подчеркнутые места из речи т. Жаворонкова, чтобы эта разница предстала перед нами, так сказать, воочию. Что значит «трудовое воспитание»? Разве этим термином определяются задачи советской школы? Разве под «трудовым» воспитанием нельзя понимать в равной степени и коммунистическое, и мелко-буржуазное и буржуазное воспитание? Разве вопрос становится яснее, если мы прибавим словечко «в классовом духе?». В «духе»—какого класса? Затем, разве перед теми людьми, которых готовит школа, стоят только задачи индустриализации и задачи культурной революции?

[1] См. «Обществоведение в трудовой школе», № 1, 1929 г., статья Осиповой.

[2] Официального мнения на сей счет мы еще не имеем, если не считать примечания редакции «Обществоведение в трудовой школе» к цитируемой статье, из которой явствует, что орган ГУСа солидарен с московской школой постольку, поскольку она подчеркивает воспитательное значение обществоведения.

Я не хочу сказать, что т. Жаворонков защищает идеалы мелко-буржуазного «трудового» воспитания. Но мне думается, что приведенные места говорят о том, что автор не понимает всей глубины проблемы коммунистического воспитания. Достаточным подтверждением этого предположения служит и его фраза о том, что школа должна готовить индустриализаторов, одной из задач революции (хотя и основной для данного отрезка времени, но все же частной) подменяются общие задачи коммунистической революции. «Школа» Жаворонкова собирается «воспитывать людей для разрешения непосредственных практических задач, а не широких проблем коммунистической революции. Именно это ограничение и упрощение задач коммунистического воспитания (у Жаворонкова нет даже этого термина!) неизбежно приводит к сужению и вульгаризации школьного преподавания. Для разрешения задач сегодняшнего дня (и только сегодняшнего) не требуется сколько-нибудь широкого кругозора, поэтому можно «воспитывать людей», лишенных исторической перспективы. «Школа» Жаворонкова воспитывает узких эмпириков-практиков, которые должны безукоризненно владеть фактическим материалом «современности», сегодняшнего дня. Но подобно тому, как автор остается беззаботным по части содержания термина «трудовое воспитание»; его мало занимает вопрос о развитии марксистского коммунистического мировоззрения. Об этом он тоже молчит при определении задач «трудового воспитания». А среди «московской школы» есть и такие педагоги, которые прямо заявляют, что развитие марксистского мировоззрения, хотя бы в его элементарных основах, не является задачей советской школы (см., например, «Обществоведение» С. Сингалевича). Разве можно говорить о коммунистическом воспитании без марксистского мировоззрения? Разве можно говорить о правильном понимании современности, об умении ориентироваться в сложных и быстро меняющихся фактах «текущей жизни», если не овладеть хотя бы основами марксистского метода?

Между тем именно к этому приводит московская школа. Программы и рабочие книги для семилетки блещут полнейшим отсутствием элементов марксистской теории, а комплексирование исторического и (там, где он есть) теоретического материала вокруг современности приводит к крайнему упрощению по обеим этим линиям. Ни марксистская теория, ни история не используются в воспитательных целях. Ни по одному из всех тех злободневных вопросов, которые выдвигаются жизнью, наши программы не подводят необходимого исторического и теоретического фундамента. Что это так,— приведу пару примеров.

Так, недавно мы получили письмо Наркомпроса об антирелигиозном воспитании. Здесь, между прочим, правильно говорится, что борьба с религиозными верованиями и взглядами требует «выяснения естественного происхождения религии в зависимости от определенных экономических и социальных условий жизни данного общества». «Констатирование эволюции религии в связи с развитием производительных сил» и т. д. Где же все это можно «выяснить», «констатировать» и т. д., если, согласно «принципов» московской школы, история должна изучаться попутно, «постольку-поскольку». А между тем при таких условиях действительно не понять, «чем религия виновата, если капитализм сделал ее своим орудием?» (См. в том же письме мнение одного ученика). Другой пример. В программах (и рабочих книгах) по обществоведению подробно излагается (описательно) экономиче-

ская политика советской власти. Но как можно понять такие, скажем, вопросы, как социальная природа наших госпредприятий или необходимость коллективизации, машинизации крестьянского хозяйства, если учащимся не дано понятия о капитализме и тенденциях его развития? Без систематического курса истории учащиеся лишены возможности выработать историческую перспективу и понять коммунистическую революцию, как этап в историческом развитии человеческого общества. Без основных элементов марксистской теории они не могут самостоятельно подойти к оценке явлений современности. Они могут только заучить голые выводы, готовые оценки тех или иных конкретных фактов, но они не получают того оружия, с помощью которого они могли бы по окончании школы ориентироваться в меняющейся обстановке социально-экономической жизни. Вооруженные фактическим материалом текущей политики, они оказываются беспомощными перед новыми фактами, перед новыми явлениями. Такие «деятели» индустриализации и культурной революции могут быть пассивными исполнителями готовых распоряжений, но не самостоятельными инициативными работниками.

Итак, метод концентрации исторического и теоретического материала вокруг вопросов современности приводит к лоскутности и бессистемности знаний. Это исключает возможность выработки у учащихся марксистского мировоззрения. Таким образом, утверждение, будто метод концентрации отвечает задачам «трудового воспитания» в советской школе, это утверждение верно лишь при том условии, если иметь в виду такое «воспитание», которое не воспитывает марксистского коммунистического мировоззрения. Что касается педологического «обоснования» этого метода, то на нем мы остановимся в следующий раз.

Здесь ограничусь следующими замечаниями. Во-первых, ни теоретически, ни путем опытных наблюдений не доказано, будто защищаемое здесь положение противоречит педологическим требованиям и особенностям того возраста, какой мы имеем в первом концентре. Во-вторых, опыт ШКМ, в которых с текущего учебного года введен систематический курс истории и включены в достаточном об'еме элементы теоретической экономии, этот опыт доказывает как-раз противоположное тому, что утверждают защитники комплексирования истории вокруг современности и недопущения элементов политической экономии на первом концентре. Наконец, в-третьих, если бы их апелляция к педологии была верна, надо было бы отказаться от основной задачи школы—развития у учащихся марксистского мировоззрения, как основы коммунистического воспитания.

ДИСКУССИЯ О МАРКСИСТСКОМ ПОНИМАНИИ СОЦИОЛОГИИ[1]

Председатель П. И. Кушнер. Заседание социологической секции открыто. У нас в порядке дня дискуссия по вопросу о марксистском понимании социологии. Доклада специального нет. Есть только небольшое вступительное слово т. Максимовского, который сделает введение в дискуссию. Я думаю, что присутствующие примут живое участие в этой дискуссии, поскольку вопрос спорный и не вполне разрешенный, и от более или менее точного выяснения этого вопроса зависит работа в области как историков, так и этнологов, и вообще всех тех, кто занимается социологией. Слово т. Максимовскому.

В. Н. Максимовский. Некоторым поводом к началу нашей дискуссии послужила неопределенность в работе социологической секции. Иногда получалось такое впечатление, что работа социологической секции определяется по «методу остатков»: все, что не входит в задачи других секций Общества историков-марксистов, относится к социологической секции. Если кто вспомнит сейчас, какие у нас были доклады, что здесь ставилось, что обсуждалось, тот может получить некоторую нить для оценки положения. Вот это замечание нужно сделать для того, чтобы приступить сейчас прямо к сути дела. Если мы сопоставим то, чем занималась социологическая секция до сих пор, мы увидим, что все дальнейшие положения, которые я выдвигаю здесь в качестве введения в дискуссию, соответствуют, между прочим, этой нашей практике социологической секции.

В тезисах я отмечаю, что в понимании социологии имеется несколько различных этапов, несколько различных, может быть, даже постановок вопросов в широком смысле этого слова.

Возьмем старое контовское определение (я привожу его, как это указано в первом тезисе, именно потому, что дальше его не пошли многие «социологи» вплоть до наших дней): социология, это—абстрактная наука об обществе, имеющая целью открытие законов развития общества в целом. Ей соответствуют конкретные общественные науки, изучающие отдельные стороны общественной жизни: экономику, государственный строй и т. д. Было замечено в свое время, что в этом определении понятие абстрактного соответствует понятию общего. Такое представление о социологии связывалось с некоторыми установленными еще ранее буржуазной социологией основными идеями. Первая идея, что в конце-концов можно установить такие общие законы, которые действительны целиком на всем протяжении истории челове-

[1] Открытое заседание социологической секции О-ва от 22 февраля 1929 г.

ческого общества,—это во-первых. Во-вторых, что можно установить такие законы, которые охватили бы в одной формуле различные стороны общественной жизни. Вот в этом двойном смысле и предполагалось, что социология должна охватить изучение всего общества в целом. В такой первоначальной контовской формулировке это определение социологии имеет формальный и механический характер.

Затем, критикуя Конта, Спенсер указал, что социология не абстрактная наука, а конкретная. Для нас сейчас это, пожалуй, имеет меньшее значение, чем контовское определение, потому что Спенсер употреблял в особом смысле термин «конкретный». Социологию он не считает абстрактной наукой, так как она не изучает общих форм и элементов явлений (что он включал в содержание абстрактных наук), а изучает сами явления в целом. Во-вторых, он указывал на то, что социология изучает сложные отдельные явления, свойственные только человеческому обществу; она—конкретная наука в том смысле, что имеет дело только с человеческим обществом, конкретно существующим в определенном месте вселенной, на определенном протяжении времени. В соответствии с этим также он ставил вопрос об «описательной социологии».

Если мы теперь обратимся к тому пониманию социологоии, которое обычно распространено, то мы увидим, что оно представляет собой какое-то механическое соединение социологии в контовском смысле с социологией в другом смысле или в смысле «генетической социологии», или «теории общественных форм», одним словом, с какой-то еще социологией, определение которой представляет собой, повидимому, дальнейшую ступень спенсеровского определения, т. е. исходит из некоторых конкретных элементов.

С другой стороны, мы должны сопоставить с социологией философию истории. Часто употребляют без особого различения тот и другой термин. Конечно, если говорить про старую философию истории, она ставила своей задачей тоже формулировать общие законы развития человеческого общества. Я отмечаю в тезисах, что она представляла собой мистифицированную форму той же социологии в контовском смысле: она исходила из религиозного представления о мистической связи людей, как это можно встретить у многих, в том числе у Гердера, или о мировом духе (Гегель), и характерным признаком ее было то, что она была связана со всемирно-исторической точкой зрения. Она именно на эту сторону упирала главным образом и приходила, в конце-концов, тоже к общим абстрактным законам развития человеческого общества в целом. Таким образом, полагать, что по существу, была какая-нибудь разница между философией истории и социологией, по-моему, нет основания.

Если мы обратимся к марксизму, то Маркс отвергал «философию истории», указывая на ее абстрактность и метафизичность. Против «философии истории» и против «социологии» Конта Маркс выдвигает конкретное изучение своеобразных процессов развития человеческого общества, изучение их исторического движения. В дополнение к этому тезису я хотел бы немного анализировать то, что Маркс говорил в письме редакции «Отечественных записок», в известном письме, касающемся философии истории. Я хотел бы об этом сказать, потому что термин «философия истории» до сих пор у нас часто употребляется. Несмотря на то, что теперь было бы странно говорить о философии физики, о философии химии и других подобных философиях, таких философий может быть бесконечное

множество,—термин «философия истории» пользуется какой-то симпатией у некоторых наших писателей. Маркс говорил так: «Моему критику непременно нужно превратить мой очерк генезиса капитализма (причем Маркс имеет в виду капитализм в Западной Европе, как это там подчеркнуто) в историко-философскую теорию общего хода экономического развития, в теорию, которой фатально должны подчиняться все народы (каковы бы ни были исторические условия, в которых они находятся)». Маркс приводит пример плебеев в древнем мире, которые были экспроприированы и обратились в римских пролетариев. Появился не капиталистический способ производства, а рабский. «Таким образом,—говорит Маркс,—события, поразительно аналогичные между собою, но происходившие в исторически различной среде, приводят к совершенно различным между собою результатам».

Отсюда Маркс выводит, что «изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сравнивая их между собою, легко найти ключ к уразумению этих явлений, но никогда нельзя притти к их пониманию, пуская в ход повсюду и всегда одну и ту же отмычку какой-либо историко-философской теории, самое высшее достоинство которой заключается в ее надисторичности». Вот эта известная формулировка, по-моему, мало останавливала на себе внимание. Суть дела заключается в том, что нужно отбросить именно представление о фатализме в историческом развитии, нужно, следовательно, понятию необходимости придать тот характер, который придает ему диалектика. С другой стороны, это рассуждение о философии истории бьет, несомненно, и по всякой философско-исторической постановке, потому что здесь подчеркивается как раз необходимость конкретного изучения своеобразных процессов исторического движения.

Затем Ленин, оценивая работу Маркса в области изучения общества, пришел к известным выводам, которые он формулировал еще в работе «Что такое друзья народа?». Опять-таки я обращаю внимание на это место, потому что здесь имеется очень определенная формулировка, снабженная и соответствующей терминологией, которая может очень пригодиться для нашей дискуссии. Ленин говорит там, что Маркс «возвел социологию на степень науки», введя в нее «общенаучный критерий повторяемости», в данном случае—повторяемости в разных культурах, у разных народов одних и тех же общественных формаций, базирующихся на определенном способе производства.

«Анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность подметить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие «общественной формации»».

Это изложено совершенно ясно. Подход к научной социологии Ленин представляет себе таким образом, что тот «хаос и произвол», который происходил из различных суб'ективных постановок в области социологической науки, уничтожается с того момента, когда мы вводим определенное основание для установления «повторяемости». Я думаю, что и здесь Ленин эту повторяемость понимал в диалектическом смысле, т. е. он не думал об абсолютной, полной «повторяемости» старых социологов.

Затем я обращаю внимание в тезисах на то, что Маркс и Ленин в большинстве случаев не пользовались терминами «социология» и «философия истории», но они не отрицали наличия законов развития или, точнее, изменения общества, имеющих различную степень общности, понимаемых конкретно в соответствии с общими положениями материалистической диалектики, т. е.

они считали, что общее есть «не только абстрактно всеобщее, но всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного» (Гегель).

Интересно, что термин «социология», который Ленин охотно употребляет в этой работе «Что такое друзья народа» и вообще употребляет в начале своей деятельности несколько раз, повидимому, употреблялся им главным образом, как ходячий термин, в то время особенно распространенный в связи с народническими занятиями по социологии. Однако, позднее этот термин как-будто теряет значение для Ленина.

Приведу анекдот: проф. Олар заявил (в своей статье в сб. «Голос минувшего на чужой стороне»), что он искал во всех сочинениях Маркса,— это интересно, что он искал,—и не нашел термина «исторический материализм». Повидимому, говорит Олар, Энгельс пустил в ход этот термин, но мы заметим, что и у Энгельса все-таки тоже встречаются чаще термины «материалистическое об'яснение», «материалистическое понимание истории» и т. п. Возможно, что это только терминологические детали, на которых не стоило бы останавливаться. Сущность дела заключается в том, что когда мы говорим о социологии. как науке, мы имеем в виду ту или иную совокупность каких-то научных законов, и когда Ленин говорил о «возведении социологии на степень науки», он говорил именно об этом, говорил о возможности установить определенные научные законы. Мне кажется, что если есть налицо законы, тем самым есть научная теория. Так что вопрос о том, что какая-то научная теория общества должна существовать, мне кажется, должен быть решен положительно. Поэтому для дальнейшей дискуссии я и выделяю здесь такое основное положение: «Необходимо признать, что существует некоторая теория человеческого общества, формулирующая и «развивающая» (Гегель) законы изменения человеческого общества. К числу этих законов относятся: 1) законы, свойственные одной какой-нибудь общественной формации, 2) законы, общие для нескольких, но не для всех общественных формаций, например, законы классовой борьбы, влияния борьбы классов на общественное развитие, 3) законы, общие для всех известных нам общественных формаций, например, закон влияния производственных сил на производственные отношения, производственных отношений на надстройки, так наз. теория базиса и надстройки».

Когда мы говорим о теории базиса и надстройки, надо иметь в виду, что это общий закон. Это закон, повидимому, наиболее общий из тех, с которыми нам приходится оперировать в области изучения общества.

Общественная теория формулирует все свои законы на основании данных частных общественных наук, как законы, охватывающие все составные части данного общественного процесса, т. е. весь этот процесс в его внутренних связях. Конечно, было бы неправильно, следуя теории факторов, представлять себе, что мы имеем в общественном процессе известные комбинации самостоятельных отдельных факторов. Дело идет о едином общественном процессе, об изменениях единого общественного процесса, о соотношении частей в этом процессе, о развитии внутренних противоречий его и т. д.

Теория общества не может быть оторвана от других общественных наук, так как предмет их по существу один. В этом смысле мне кажется, что теория общества и должна составить наиболее общую из всех общественных наук. Марксистская теория общества есть исторический материализм. Известно определение Бухарина, что исторический материализм есть марк-

систская социология. Когда Бухарин устанавливал это определение, мне кажется, он не пользовался диалектическими построениями, он дал определение в значительной степени формальное, но за этим формальным определением мы должны все-таки рассмотреть и суть дела. Что же в конце-концов, эта постановка, которая была им противопоставлена другой точке зрения, что исторический материализм не представляет собой теории, а представляет собой метод,—правильно ли что эта постановка вопроса, независимо от терминологии, может быть формальной, может быть механической. Да, она была правильна. Теория общества, мне кажется, и должна заменить в практическом пользовании терминами эту «социологию» и «философию истории», главным образом потому, что и та, и другая оперировали абстрактными понятиями и пользовались формальными методами. Устанавливая свои абстрактные или общие законы изменения общества, они имели в виду только законы, приложимые ко всему обществу, независимо от формаций, законы, оторванные от конкретной исторической действительности.

Мне кажется, что нужно прибавить к этому, что «генетическая», «описательная социология», «теория общественных форм» должны быть отнесены к частным общественным наукам.

Обычно принято ссылаться и на немарксистский материал, на те взгляды, к которым приходит в настоящий момент общественная наука на Западе. Там процесс развития социологии, как науки, продолжается. Правда, что если сопоставить его с процессом развития марксистской, как выражался Бухарин, социологии, т. е. исторического материализма, он идет обратным порядком. Тут происходит такая вещь: у современных писателей вы читаете о Конте и Спенсере замечательные отзывы; говорится, что Конт и Спенсер были величайшими буржуазными мыслителями, но ведь в свое время Чернышевский, воспитанный на старых философах, ругал Конта последними словами, считал его тупицей и т. п. А Конт, действительно, принадлежал к числу людей, которые не выдумывают пороха, и весь его основной теоретический багаж был заимствован у Сен-Симона. Чернышевский в своем отзыве о Конте говорит, что единственный закон, который он выдвинул сам, это закон о трех состояниях; однако, и это не так, потому что закон трех состояний тоже принадлежал Сен-Симону, а не Конту. Чернышевский по адресу Спенсера и др. говорит о «знаменитой мелюзге», занимающейся деталями.

Если мы обратимся к позднейшим после Конта и Спенсера буржуазным социологам, то увидим, что и дальше мы имеем дело с людьми, которые занимаются, как узнал Чернышевский, мелочами. С точки зрения развития общих построений, общих методов, обоснования их, идет процесс систематического упадка, и рядом с ним идет известный под'ем, известный расцвет в области разработки техники, отдельных фактов деталей и т. д. Только в самое последнее время, очевидно, в связи с влиянием революционных событий, которые переживает Европа, в связи с тем, что вышли наружу некоторые принципиальные вопросы, началось некоторое оживление на социологическом фронте.

Чтобы не останавливаться долго на различных социологах, которые писали на обсуждаемую тему, очень интересно привести один свежий пример. Это статья Евг. Риньяно, которая только-что появилась в журнале Социологического института в Брюсселе в последних номерах, вышедших за 1928 год. Он подводит некоторые итоги работы в области социологии. Сначала он исследует вопрос о методах, на котором я сейчас не буду останавливаться. Затем переходит к вопросу о законах. Он перебирает там все законы, какие

только имеются в области социологии. Здесь мы имеем, с одной стороны, закон развития, эволюционную точку зрения, будь она спенсеровская или какая угодно другая, она дает только одно правильное положение—переход, как выражался тот же Спенсер, гомогенного к гетерогенному, т. е. понятие осложнения процесса. Это все, что мы можем принять, как истинное, из закона эволюции. Но это слишком мало содержательно. С другой стороны, мы имеем закон, который Риньяно называет законом единства происхождения, т. е., например, то, что мы называем теорией базиса и надстройки, закон о том, что все общественные явления имеют, в конце-концов, один корень. Этого закона на самом деле не существует, так как ни материалистическая точка зрения, ни идеалистическая не могут быть доказаны. Если возьмем религию, изучая причины ее, мы всегда придем к одному выводу: здесь могут быть различные факторы, различные влияния и причины.

Затем, какие еще есть законы в области социологии? Есть закон абсолютного единства развития всех обществ. Это старая, всемирно-историческая точка зрения. Она, конечно, сейчас отвергнута, принять ее мы не можем. Затем еще понятие, как он выражается, о необходимом продолжении тех или иных процессов, т. е. предположение, что если какой-нибудь процесс начался, он обязательно и неизбежно придет к определенным формам. Это представление возвращает нас к старым философским учениям, ибо оно допускает известный фатализм,—так, повидимому, он хочет сказать,—и поэтому оно не может быть принято.

Единственно правильный закон, пригодный для всякого общества,—это закон борьбы классов, так пишет Риньяно, который давно уже принимал участие в Международном институте социологии и взгляды которого представляют какое-то соединение либерализма с христианским социализмом. Если дополнить этот закон борьбы классов в том смысле, чтобы ввести в него определение степени веса, степени влияния каждого класса и затем направления его действий, тогда мы получим очень хороший закон, который может вполне пригодиться для научной работы. Нужно только, говорит Риньяно, отбросить материалистическое обоснование этого закона, так как оно противоречиво. Марксизм утверждает, что классы создаются под влиянием развития производительных сил и экономики и не могут влиять на них обратно? Получается очень странное явление: с одной стороны, классы влияют на развитие общества, с другой стороны, они не могут влиять на него в наиболее важной области—в области техники и экономики. Эту мысль Риньяно затем последовательно проводит и приходит к заключению, что закон борьбы классов, действительно, есть общий социологический закон. Некоторые его рассуждения очень похожи на обыкновенные наши марксистские рассуждения; этот закон может в обществе осложняться различными процессами, его должно рассматривать в той или иной конкретной обстановке, он может быть детализирован, конкретизирован и т. д. Но во всяком случае это закон, который дает возможность что-то сделать. Характерно, что когда Риньяно пытается дать критерий для всех своих законов и построений, он берется за практику, т. е. рассматривает действительность этих законов с точки зерния научного предвидения. Для него все построения, которые он перечисляет как негодные, являются таковыми потому, что не дают возможности предвидения. Он считает, что с этой стороны точка зрения классовой борьбы выдерживает экзамен, потому что может дать возможность предвидения и т. д. Это довольно разумные, в общем и целом, рассуждения. Мне представляется, что, конечно, с мар-

ксистской точки зрения надо признать, что закон классовой борьбы является общим законом в области общественной теории для всех классовых формаций, но не нужно гнаться за тем, чтобы каждый закон имел обязательно такое значение. С другой стороны, по-моему, неправильно останавливаться исключительно на такой стадии, что мы в области общественной теории формулируем только законы, характерные для одной общественной формации. Наконец, самое понятие общественных формаций связано с общим законом влияния базиса на надстройку. Таким образом, это понятие общественных формаций представляет собой тоже общее положение, свойственное всем ступеням общественного развития.

Затем последний вопрос, на котором я останавливаюсь в тезисах, — это вопрос об отношении между методом изучения общества и общественной теорией. На нем я не буду останавливаться подробно, потому что среди выступающих найдутся, несомненно, товарищи, которые этот вопрос осветят лучше меня. Я хотел бы только сказать, что когда мы говорим о методе изучения общества у нас возникают такие вопросы. Во-первых, можно ли сказать так, что нука и метод это одно и то же. Можно ли сказать так, что если исторический материализм есть метод изучения общества, он в то же время и наука, изучающая общество, или мы этого не можем сказать. Или мы говорим, может быть, еще таким образом, что социологии, теории общества как науки нет, но есть метод. Формулирует ли метод законы или не формулирует. Мне казалось бы, что если мы говорим о *науке*, то наука, собственно, и формулирует эти самые законы,—в этом ее сущность. Когда мы говорим о методе, мы имеем дело с приложением этих законов или с оперированием так или иначе этими законами для того, чтобы приобрести дальше известные конкретные знания или так или иначе разрешить вопросы, связанные с практическими задачами. Мне кажется, что метод изучения общества есть способ приложения тех законов, которые установлены теорией общества, к отдельным общественным процессам или к отдельным общественным формациям, — способ исследования новых фактов на основании этих законов. Можно также сказать, что метод и теория едины, потому что основное содержание их одно и то же. Но говорить об их тождественности было бы неправильно, потому что мы имеем в данном случае различное направление. Если мы идем от конкретных фактов, от их изучения к некоторым общим положениям, выводим из этих фактов известные общие законы, тогда мы идем путем установления науки или научной теории. Когда мы идем обратным путем, тогда мы пользуемся методом. Метод должен иметь здесь ту или иную предпосылку в виде законов, устанавливаемых общественной теорией. Поэтому мне кажется, что нельзя было бы исторический материализм определить только, как метод. Мне кажется, что он является марксистской теорией общества и в то же время, конечно, может служить основой для материалистической методологии общественных наук.

Мне кажется, что когда мы, например, излагаем исторический материализм, мы должны изложить там же законы развития общества, которые мы можем установить—возможно более общие законы. А затем мы должны были бы обратиться к исторической методологии и сказать, каким образом следует применять положения, к которым мы пришли в теории. В наших учебниках, учебных пособиях и т. д. по историческому материализму в этом отношении существует очень большая пестрота. Нечего говорить о том, что некоторые стремятся просто итти какими-то путями ста-

рой социологии в той или другой степени. Говорят о марксистской социологии, материалистической социологии и пр., но в конце-концов провозят кстати под марксистским флагом кое-какой и немарксистский товар. А, с другой стороны, бывает так, что вопрос о самой методологии совершенно не рассматривается. Говорится о том, что существуют такие-то законы,— и все.

Мне кажется, что мы должны были бы обратить внимание на разработку именно материалистической методологии, но эта задача может быть выполнена успешно в том случае, если мы проведем здесь некоторое разграничение и если мы здесь совершенно ясно сформулируем, какими путями мы должны итти.

Вот те общие замечания, которые, мне кажется, могут служить введением в дискуссию, так как различные точки зрения по этому вопросу в пределах нашей общемарксистской теории уже намечались.

П. И. Кушнер. Мне кажется, что т. Максимовский, как и многие другие марксисты, употребляет социологические понятия, но боится эти понятия выразить в стойких терминах. Вообще у историков это замечается часто. О «социологических» понятиях, о «социологических» взглядах и т. д. говорят часто, но когда дело доходит до определения, что такое «социология», то все идут на попятную.

О какой социологии можно говорить? По-моему, два вида наук можно назвать социологией. С одной стороны, безусловно, социологией является обобщенная теория о законах общественного развития, для нас—марксистов—эта наука совпадает с учением исторического материализма. Но исторический материализм может быть понимаем не только как теория общественного развития, но и как особый метод; я сейчас об этом не спорю, а хочу сказать о другом. Теория общественного развития (исторический материализм) есть общая социология. Но есть и другое учение, более конкретное, тоже социологическое, дающее материал для обобщенной теории. Об этой второй «социологии» говорил К. Маркс, писал о ней и Ленин, и только т. Максимовский не желает ее замечать. Это теория общественных формаций.

Учение о формациях у Маркса формулировано во многих местах. Он неоднократно говорит об этом учении в статье «К критике политической экономии», в первом, втором и третьем томах «Капитала». в письмах своим друзьям и противникам. Таким образом, учение о формациях — не случайная обмолвка, а стройная теория. Ленин отметил, что для понимания «Капитала» это учение о формациях существенно необходимо, оно является основным. В своей работе (правда. ранней работе) «Что такое друзья народа» Ленин писал: ...Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический аггрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс» (с. 62—63, т. I сочинений Ленина, юбилейное издание). Значение этой теории, по Ленину, громадно, потому что оно дает возможность «перейти от описания (и оценки с точки зрения идеала) общественных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем для примера, то, «что» отличает одну капиталистическую страну

от другой, и исследующему то, «что» обще всем им» (с. 61, т. I того же издания).

«...Эта гипотеза впервые создала возможность «научной» социологии»... «только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом. А понятно само собой, что без такого воззрения не может быть и общественной науки» (с. 61).

Как видите, Ленин вполне определенно говорит здесь об особой науке, задачей которой он считает выяснение развития общественных формаций. Не только описывать факты, не только излагать события в отдельных странах, но отмечать повторяемость и правильность в общественных явлениях, обобщать порядки разных стран — вот чем должна заниматься эта наука.

Я так понял т. Максимовского, что он «оправдывает» Ленина в том, что тот такое большое значение придает социологии. Тов. Максимовский указывает, что для Ленина есть извиняющие обстоятельства в том, что брошюра «Что такое друзья народа» написана была им в молодые годы, но что в последующих, более зрелых, работах Ленин нигде не упоминает о «социологии»... Если я правильно понял это место из речи т. Максимовского, то я напомню тот же анекдот, который приводил т. Максимовский об Оларе, но применю его по отношению к самому т. Максимовскому. Олар не нашел у Маркса нигде термина «материалистическое понимание истории», но понять теорию Маркса без «материалистического понимания истории», конечно, нельзя. Так же и у Ленина т. Максимовский нигде не нашел термина «социология» (за исключением упомянутой ранее брошюры «Что такое друзья народа»). А между тем Ленин неоднократно возвращается к мысли, высказанной им в этой ранней брошюре, в его статьях о Китае (1922 г.), в брошюре «О продовольственном налоге» (пять укладов), в речи на втором конгрессе Коминтерна (в докладе по национальному вопросу) и пр. Что такое «общественные уклады» по Ленину? Да, ведь, это те же старые .формации, сохранившиеся в виде пережитков в современном быту. На этом учении о формациях Ленин строит свое учение о возможности некапиталистического развития отсталых народов. И, вообще, не пользуясь методом формаций, никак нельзя говорить о новых путях развития человечества. Таким образом, высказывания Ленина о «социологии»—в связи с учением об общественных формациях — явление вовсе не случайное, это не обмолвка.

Нужна ли, вообще, такая «социология», о которой писал Ленин? Я думаю, что необходима, и мы этой «социологией» постоянно пользуемся, хотя и боимся ее называть настоящим термином. Возьмем, к примеру, такие понятия, как «капитализм», «феодализм»,—что было бы с этими понятиями, если бы в них мы не вкладывали социологического содержания. Ведь, упоминая о капитализме или феодализме, мы имеем в виду не чисто эмпирические факты, а что-то обобщенное. И тем самым, что мы упоминаем о феодализме в древней Греции (предположим, в гомеровскую эпоху), о феодализме в Западной Европе, о капитализме в Германии, в Соединенных Штатах Северной Америки, во Франции и пр. — мы признаем что-то общее во всех этих странах, т. е. оперируем понятием общественной формации, социологическим, а вовсе не историческим понятием.

Ряд формаций до сих пор не описан, не изучен. Вот почему получаются часто ляпсусы, когда мы пытаемся применить понятие определенной форма-

ции к какому-либо отрезку исторического периода. За исключением капитализма, как формации, которую изучил сам Маркс, мы не имеем законченного изучения ни одной формации. Дискуссия о книге Д. М. Петрушевского выяснила, что мы до сих пор не знаем точно, что такое феодализм, как формация. Еще меньше определенности в более ранних, чем феодализм (а иногда и в более поздних), формациях. Что такое «родовой строй», существовал ли родовой строй вообще, формация ли это или местное историческое явление, наблюдавшееся у некоторых народов? Что такое «эпоха торгового капитала»: эпоха, свойственная лишь Западной Европе, или этап развития, общий для множества народов? Все это не изучено. Страннее всего, что историки, которые, казалось бы, должны особенно внимательно изучить эти эпохи, чтобы на основании изучения истории отдельных народов сделать выводы социологические, больше всего избегают такого обобщенного изучения, и социологическими обобещниями, как это показывает история последних десятилетий, занимаются особенно охотно не историки, а экономисты. Экономисты же чаще всего упоминают и слово «формация», в исторических же исследованиях вы не найдете этого термина, как-будто он настолько одиозен, что его нельзя употреблять при конкретном историческом изучении отдельных стран.

В частности, я упомяну о том, что такое невнимание к социологическому изучению истории человечества приводит к большим затруднениям при анализе современной экономической и политической действительности зарубежных стран, в особенности стран Востока. Если бы мы имели более отчетливое представление о докапиталистических формациях, мы легче разобрались бы в современном положении Афганистана, Китая. А без этого наши анализы сводятся к каким-то весьма спорным аналогиям, в которых гораздо больше политического искусства, чем научных оснований.

Область социологии, понимая под социологией, в данном случае, учение о формациях,—еще плохо изучена нами. У нас нет социологических работ, принадлежащих перу историков. Нужны ли такие работы, которые бы описывали отдельные формации, и которые из конкретных явлений, из конкретных данных определенной исторической эпохи создавали бы стройное здание социологической эпохи? Безусловно, нужны. Нужны и для чисто научных целей и для целей текущей политики, которая базируется на науке.

В особенности нужна разработка социологии для научного обоснования возможности некапиталистического развития отсталых народов. Учение это не разработано, оно строится на нескольких незаконченных, отрывочных работах (письма Маркса и Энгельса, доклад Ленина на втором конгрессе Коминтерна и пр.),—но ведь это учение вошло в программу Коминтерна! Разве не наша задача — общества историков-марксистов — научно обосновать это учение, исследовать исторический ход развития отсталых обществ.

Вы видите, что вопросы социологии стоят перед нами во всей остроте, и нельзя отмахиваться от них, под предлогом, что слово «социология» изобретено буржуазией и поэтому не должно применяться марксистами. Пусть «социологию» изобрел Конт, но, ведь, этим словом пользовался и Энгельс. Или это тоже «буржуазный» исследователь.

Не важно, как будет названа наука, изучающая общественные формации,—назовите, как хотите. Дело не в названии. Дело в сущности. И на вопрос, нужна ли такая наука, о которой я говорю, придется, вероятно, ответить — нужна.

В. Б. Аптекарь. Мне кажется, что то положение, в котором находится данное собрание, является прямым следствием того пренебрежения, в котором у нас, к величайшему сожалению, находятся проблемы исторического материализма. Если бы этими вопросами занимались, по крайней мере, так, как занимаются вопросами общей методологии, то надо полагать, и перерыва не было бы, и приостановки не было бы, и гораздо больше времени было бы использовано на обсуждение вопроса, а не на обсуждение организационной, впрочем, и не только организационной, неувязки. Эта неразработанность проблемы влечет за собой не только ненормальное течение данного заседания, но, что гораздо хуже, ряд пробелов, ряд невыясненностей, а отсюда и путаницу при конкретном преподавании. Мы часто стоим перед таким положением, что по основным вопросам марксизма мы принуждены отмечать наличие различных точек зрения, высказываемых даже не всегда в достаточной степени авторитетными товарищами, и предлагать выбрать любую. В частности, вопрос о том, возможна или нет марксистская социология, является первым вопросом, который возникает при преподавании исторического материализма. Здесь, конечно, нужно иметь в виду (в тезисах и в особенности, во вступительном слове т. Максимовского это не особенно четко звучит) различие между историческим материализмом, как учебным предметом, и историческим материализмом, как научной дисциплиной. Ничего, конечно, нет удивительного в том, что исторический материализм, как предмет преподавания, включает в себя ряд вопросов и даже отделов, которые являются предметом исследования других наук. Так, например, является совершенно нормальным, что в большинстве наших учебных курсов большое место отведено изложению основ материалистической диалектики.

Здесь у нас речь идет об историческом материализме, как науке, а не как об учебном предмете. Мне кажется, что исторический материализм и есть марксистская социология и только в таком качестве и должен пониматься. И когда В. Н. Максимовский ставит ударение на том, что это не социология, а теория общества, то, ведь, совершенно очевидно, что здесь речь идет по существу об одном и том же. Тут не приходится, конечно, противопоставлять какие-то описательные науки, какое-то описание общества или отдельных общественных явлений теории общества. Мне кажется, что вопрос об описательной науке в достаточной степени разрешен и разрешен отрицательно. Наука постольку является наукой, поскольку устанавливает закономерные связи в той области, которая ею изучается. Конечно, с этой точки зрения марксистская социология представляет собой нечто качественно отличное от того, что преподносилось раньше под этим самым именем—«социологии». Но бояться употребления термина не приходится. Возьмите ту проблему, которая являлась одной из первых у нас в начале наступления воинствующего материализма. Это—проблема философии: возможна ли марксистская философия и если возможна, то какая? Сейчас, мне кажется, вопрос о социологии находится в аналогичном положении. Точно так же, как марксистская философия очень мало имеет общего со старыми философиями, снимая эти предыдущие формы, так же и марксистская социология является качественно отличной от других, существовавших ранее, форм социологии. Отличием исторического материализма — марксистской социологии — от всевозможных построений мелкобуржуазных, буржуазных и даже феодальных служит то, что она оперирует понятием социально-экономических формаций, она рассуждает не об обществе

вообще, а говорит о конкретных общественных формациях, одновременно вырабатывая общие законы, которые позволяют нам установить переходы от одной общественной формации к другой.

Таким образом, хотя отличие марксистской социологии от других социологических учений существует, оно все-таки не делает необходимым отказ от термина «социология». Я должен отметить, что мы в классической марксистской литературе по этому вопросу имеем материал и у Ленина и у Плеханова. В частности, в работе последнего «Основные вопросы марксизма» мы читаем:

«Социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей удается понять возникновение целей у общественного человека (общественную «телеологию»), как необходимое следствие общественного процесса, обусловливаемого в последнем счете ходом эконом. развития». Собр. соч., т. XVIII, с. 245.

И дальше на той же странице:

«... Очень характерно то обстоятельство, что последовательные противники материалистического об'яснения истории видят себя вынужденными доказывать невозможность социологии, как науки» (разрядка Плеханова).

Несколькими страницами раньше Плеханов говорит: «...Это обстоятельство социология, в лице Маркса, об'ясняет состоянием их производительных сил» (с. 243, разрядка Плеханова).

В связи с этим мне хотелось бы остановиться на одном вопросе, который сейчас приобретает большую актуальность, но который лежит несколько в стороне от центрального вопроса нынешней дискуссии,—это вопрос в соотношении социологии и так наз. этнологии. Этот вопрос однажды уже служил предметом обсуждения в нашей секции,—правда, это не было специальной дискуссией, но, тем не менее, вылилось в дискуссию. Самый факт наличия большого количества товарищей, которые пожелали высказаться по этому вопросу, показал, что вопрос является в достаточной мере злободневным. В настоящее же время он приобретает, кроме того, еще и некоторую политическую остроту. Под флагом «этнологии» мы сейчас видим со стороны различных слоев, буржуазных и по своему происхождению и по направлению мысли, со стороны различных групп ученых попытки перейти в наступление против марксизма. В наиболее скрытой форме это делается в области «этнологии». В некоторых случаях защитники этнологии прикрываются еще формой этнографии, хотя речь идет здесь, по существу, об одном и том же. Мы считаем, что марксистская социология не может опираться на описательную науку, в качестве каковой подвизается этнография. Некоторые этнологи полагают, что отношение между этнологией и социологией есть отношение науки исторической к науке теоретической. Этнология, мол, наука историческая, и она будет опираться во всем на истмат. Конечно, для марксиста все нуки, по существу, являются науками историческими и никакого противопоставления истории теории не может быть. История постольку является даже для нас наукой, поскольку она позволяет проводить принцип повторяемости, о котором здесь В. Н. Максимовский говорил. Поэтому решать так вопрос о социологии и этнологии неправильно.

Гораздо более откровенно выступают те этнологи, которые, оставляя совершенно в стороне социологию, прямо заявляют, что предметом этой новой молодой науки должно явиться исследование законов развития человеческой культуры. Для них об'ектом изучения становится буквально всё, все

общественные явления, последние, правда, претерпев трансформацию уже в явления культуры, потому что для этнологов установлен примат культуры над обществом, а не обратно. Движущие силы у них лежат в этой области, а не в области реальной системы. Сторонники последней точки зрения выставляют тезис, в частности защищаемый публично профессором П. Ф. Преображенским, что вся история составляет часть этнологии.

Мне кажется, что в этой постановке вопроса о значении двух дисциплин—марксистской социологии и этнологии, мы имеем дело с совершенно незакономерной, с точки зрения диалектической логики, попыткой создать какую-то новую науку. Интересно отметить, что критику этих незакономерных попыток заменить социологию этнологией мы находим еще в буржуазной науке, в работе Пауля Барта, который посвящает этому специальную главу. Если сейчас мы имеем дело с попытками противопоставить социологическое исследование этнологическому, то это вызвано ничем иным, как тем, что получилось разочарование в попытке построить такую буржуазную теорию общества, которая обеспечивала бы ей теоретически право на существование, потому что все буржуазные социологические теории в конце-концов имеют настолько слабые пункты в отношение теории классов, в отношении теории исторической роли пролетариата и исторической роли буржуазии, что они не могли политически удовлетворить буржуазию. Этим и было вызвано противопоставление социологическим теориям голой эмпирики. Чтобы не иметь дела с какими-то законами общественного развития, науке об общественных связях была противопоставлена чистая эмпирика. Подобным образом выступали отцы современной этнологии, которые, чувствуя невозможность в рамках буржуазной науки разрешить вопросы общественного развития, противопоставили теории общества голые факты, которые должны были быть систематизированы по различным линиям, при чем систематизация их была такая же, как в работе Карла Линнея в области естественных наук, т. е. чисто внешнего порядка.

В настоящее время, когда буржуазная наука в области общественной снова в достаточной мере провалилась и дисквалифицировала себя даже в глазах многих буржуазных ученых, мы опять сталкиваемся лицом к лицу с фактом борьбы с социологией, при чем эта борьба направлена не только против марксистской социологии, а вообще против социологии, как таковой. На этот раз этнология берет уже на себя претензию выступать в качестве науки теоретической. Приняв это все во внимание, мы должны считать невозможным не только построение марксистской этнологии,—на чем кое-кто уже желает подзаработать капиталец, потому что эта этнология, если будет последовательна, должна перестать быть этнологией и превратиться в социологию, — но и вообще существование такой науки, которая является ничем иным, как суррогатом буржуазного обществоведения.

Этот вопрос,—я снова должен подчеркнуть,—должен найти то или иное разрешение, должен стать предметом дискуссии и именно в связи с вопросом о сущности социологии. Потому что надо решить в конце-концов вопрос: может ли быть марксист и социологом и этнологом? Мне кажется, что такое бытие в двух ипостасях совершенно невозможно, потому что здесь мы имеем дело действительно с исключающими друг друга научными постановками: или мы подходим к явлениям с точки зрения первичности культуры и разумеем культуру, как определяющую все дальнейшее, тогда мы должны говорить об общественной культуре,—как выражается один из

крупнейших представителей этой этнологической теории о проф. Тан-Богораз, у которого в то же время идет речь и о культуре общественно-социальной, духовной культуре, материальной культуре, экономической культуре и ряде других,—или же мы должны попрежнему стоять на позиции материалистического понимания истории, положить в качестве основного камня производительные силы, на них строить ту или иную общественную формацию и, уже исходя от этих производственных отношений, об'яснять явления культуры. Третье здесь не дано, а первый и второй моменты друг друга пожирают. Выбор, кажется, ясен.

И. П. Разумовский. Насколько я понял смысл дискуссии, которая здесь имеет место, и самую тему дискуссии,—очевидно, речь идет о двух вещах: о том, чтобы определить, что понимает марксизм под социологией, под буржуазной социологией, как общественным явлением, и с другой стороны,—какое содержание в отличие от этого вкладывается марксизмом в исторический материализм, и в каком отношении об историческом материализме можно говорить, как о социологии.

Если с этой точки зрения подойти к тезисам т. Максимовского, то сразу же возбуждает сомнение п. 4: «Старая философия истории, тоже ставившая своей задачей формулировать общие законы развития человеческого общества, представляла собой мистифицированную форму социологии в контовском смысле». Я думаю, что к таким понятиям, как философия истории и социология, нужно подходить исторически, нужно считаться с тем, какое историческое место занимали эти понятия в общем развитии социально-исторических категорий. Между старой философией истории и новейшей буржуазной социологией в этом отношении существует большая грань. Под старой философией истории мы разумеем ту философию истории, которая существовала до марксизма, и наряду с целым рядом идеалистических понятий, содержала в себе много моментов, прогрессивных для развития общественного понимания. Она была идеологией тогдашней прогрессивной, революционной буржуазии. А позднейшая социология—контовская—представляет уже следующий этап развития, представляет идеологию буржуазии, ставшей консервативной, реакционной силой, и только с этой точки зрения должна рассматриваться современная буржуазная социология. Поэтому мне кажется неправильным говорить, что старая философия истории представляла собой мистифицированную форму социологии в контовском смысле. Каждый из этих терминов имел определенное значение на определенном историческом этапе развития. Почему важно это различие? Да потому, что марксизм, материалистическое понимание истории, в известном смысле «снимает» старую философию истории, преодолевает ее, и, разумеется, в этом отрицании, как во всяком марксистском диалектическом отрицании, имеется и некоторое «сохранение», о котором я буду говорить дальше. Что касается современной буржуазной социологии, то, разумеется, с такой социологией марксизм ведет самую ожесточенную борьбу. Поэтому если можно в том или ином смысле говорить о социологии марксизма, то при этом, разумеется, в это понятие, в этот термин мы вкладываем совершенно другое содержание, глубоко отличающееся от того содержания, которое вкладывает в него буржуазная наука. Чтобы подойти правильно к тому содержанию, которое марксизм только и может вкладывать в понятие «социология», нужно предварительно остановиться на том тезисе, где т. Максимовский говорит о взаимоотношении метода и теории. Должен сказать, что для меня осталось

не совсем ясным, как он различает эти вещи. Он говорит: «метод и теория едины, так как основное содержание их одинаково, но они не тождественны: теория есть путь от жизни, от индивидуальных и частных процессов к общим законам, а метод есть обратный путь от общих законов к индивидуальным и частным процессам, к человеческой практике. Поэтому исторический материализм может быть определен, как метод». Я не совсем понимаю эту точку зрения. Чтобы правильно судить о взаимоотношении метода и теорий, нужно предварительно ответить на следующий вопрос: а что мы понимаем, собственно, под теорией, под любой научной теорией? Понимаем ли только те общие закономерности, которые вскрываются физической теорией и т. д.? Или самый смысл научной теории таков, что каждая определенная теория представляет собой одновременно определенную методологию? Я полагаю последнее. Каждая закономерность, вскрываемая нами в области физики, химии и т. д., немедленно служит методологическим принципом для дальнейшего изучения. С этой точки зрения каждая научная теория,—в особенности, если это подлинно-научная теория в марксистском смысле,—представляет собой не только некоторые общие законы, но одновременно также и определенную методологию, определенное учение о методе, определенную систему этого метода. Если мы говорим о социальной теории марксизма, то этим самым мы говорим и о социальной методологии марксизма. Различие между теорией и методом только в том, что теория есть система метода, а метод есть применение теории. Проводить здесь какое-либо иное различие мне представляется нецелесообразным. Если с этой точки зрения подойти к историческому материализму, то можно ли сказать, что исторический материализм есть теория только в том смысле, который указывает т. Максимовский,—что исторический материализм лишь вскрывает законы общества на различных ступенях исторического развития? Я думаю, что если исторический материализм представляет собой научную теорию и вскрывает определенные законы той или иной общности,—я оставляю пока этот вопрос в стороне,—то этим самым исторический материализм устанавливает каждый раз и определенные принципы методологического исследования и об'яснения истории. Другими словами, все законы, все общности, все абстракции, устанавливаемые историческим материализмом, имеют методологическое значение и в этом смысле являются методологическими категориями. Поэтому если можно говорить об историческом материализме как о теории, то тем самым мы говорим о нем как об определенной соц. методологии.

В каком же смысле мы можем говорить о социологии марксизма? Я думаю, когда этот термин употребляют Ленин, Плеханов и др., то, разумеется, они употребляют его именно в этом последнем смысле,—в смысле, единства теории и метода. Если взять все категории исторического материализма,—такой, например, закон, отмеченный т. Максимовским, как соотношение между производительными силами и производственными отношениями,—то все эти законы являются методологическими категориями. Затем здесь необходимо отметить еще один момент: именно то, что все методологические категории, которыми используется исторический материализм, имеют определенные исторические корни, носят исторический характер. Абстракции, которыми оперирует исторический материализм, являются историческими абстракциями. Я напомню вам, что в «Диалектике природы» Энгельс называет даже законы природы историческими законами. В большей еще степени это относится к законам общественной жизни.

Возьмем, в самом деле, такую категорию, как общество. Является ли эта категория общей для всех общественных формаций в том смысле, что имеет логическое значение и не имеет никаких исторических корней? Нет, не является. Мы знаем, что категория общества исторически развивается очень медленно и получает свое полное развитие только тогда, когда появляется государство, противоположное обществу. Только когда появляется противоположение обществу государства, в общественном сознании может постепенно созреть представление об обществе, как совокупности производственных отношений в отличие от государства. Так обстоит дело и с другими общими категориями, свойственными всем общественным формациям, например, с категорией производительных сил. Категория производительных сил имеет также определенные исторические корни, приобретает определенный исторический смысл. В самом деле, когда мы начинаем говорить о производительных силах, как социальной категории, когда начинаем изучать, выражаясь словами Гегеля «игру этих сил»? Тогда, когда исторически происходит разделение, расщепление производительных сил на их отдельные друг другу противостоящие элементы. Когда в общественной производительной силе труда вместе с развитием товарно-капиталистического производства происходит отделение орудий труда от противостоящей им рабочей силы, и производительные силы труда представляются производительными силами капитала. Значит, при определенных исторических условиях появляется возможность абстрактной категории производительных сил. В этом, именно, смысле все категории исторического материализма, в том числе и самые общие, являются категориями историческими. И вот, товарищи, нас от социологии в буржуазном смысле и отличает это понимание самих общественных категорий, абстрактных категорий. Сами абстрактные категории, во-первых, имеют методологическое значение, во-вторых, они являются категориями историческими, имеют корни в определенных исторических условиях.

С этой точки зрения нужно сказать, что исторический материализм представляет собой не только полную противоположность буржуазной социологии, но что в нем одновременно происходит и преодоление старой «философии истории». Старая «философия истории» снимается, значит, сохраняется, но в новом смысле. В каком же смысле сохраняется в марксизме философия истории. То место, которое приводил т. Максимовский из известного письма в редакцию «Отечественных записок», в достаточной степени известно, но не менее известны и другие места. И у Энгельса и у Плеханова можно очень часто встретить термин «философия истории», однако, содержание этого термина уже иное. Когда мы говорим о философии истории в марксистском смысле, мы имеем в виду совершенно определенную теорию исторического процесса, мы имеем в виду не что иное, как теорию научного социализма, или, как все чаще говорят сейчас, теорию научного коммунизма. Стало-быть, что же представляет собой исторический материализм, рассматриваемый в различных своих аспектах? Он представляет собою единство этих двух сторон—единство учения о социальном методе и теории научного социализма, теории научного коммунизма. И если социальная методология, эта сторона исторического материализма, позволяет нам возвыситься над абстрактной буржуазной социологией, то другая его «сторона»—марксистская теория исторического процесса, теория научного коммунизма—позволяет нам «преодолеть» старую философию истории.

Всякое единство есть, конечно, единство противоположностей, и здесь любопытно отметить, как эти две стороны исторического материализма—социальная методология, и теория научного социализма—тесно переплетаются между собой. Вопрос о производительных силах. о базисе и надстройке. о влиянии базиса на надстройку и т. д., — не только все эти вопросы включаются в социальную методологию марксизма. Наша социальная методология включает в себя одновременно и всю теорию научного коммунизма. Одна сторона, одна противоположность проникает в другую и обе стороны находятся в тесном взаимном проникновении. Совершенно понятна эта связь между ними. Если все категории нашей социальной методологии являются категориями историческими, если, с другой стороны, исторический материализм представляет собою теорию исторического процесса, то совершенно понятно, что каждая наша методологическая категория имеет и определенное историческое значение. На каждой нашей категории исторического материализма можно проследить это двуединство, эти две стороны. Каждая категория имеет значение методологическое и в то же время имеет значение историческое, получает свое развитие на определенной исторической почве.

Вот, собственно говоря, что мне представляется, нужно понимать под историческим материализмом. Что касается спора о том, в какой мере нужно применять и можно применять в марксизме термин «социология», то по этому поводу нужно сказать следующее: термин «социология», несомненно, представляет собой много технических удобств и во многих случаях не применять его было бы довольно трудно. Вы будете говорить о «социологических предпосылках», будете говорить об «области социологии» и т. д. Термин «исторический материализм», к несчастью, более неудобен в этом смысле, так что неудивительно, что и в марксизме получил «права гражданства» термин «социология».

Однако, нужно иметь в виду, что в последнее время особенно сильное развитие получило определенное течение в буржуазной науке, которое выдвигает социологический метод в противовес марксистскому методу. Если такое явление имеет место, естественно, что для нас было бы неудобно пользоваться тем защитным цветом, к которому прибегает современная буржуазная наука. Другими словами, нам приходится быть сейчас очень осторожными в употреблении термина «социология», всячески подчеркивать его классовый смысл и по возможности обходиться без термина «социология», поскольку мы противопоставляем наш исторический материализм буржуазному социологическому методу. Но доходить до такого пуризма, чтобы бояться употреблять слово «социология» во избежание смешения с социологическим методом, конечно, было бы смешно.

Вот то немногое, что я имел в виду сказать по этому поводу. Что касается того взгляда, который развивал здесь т. Максимовский насчет «законов различной общности» и т. д., то я думаю, что т. Максимовский поднял очень большой вопрос, который должен быть предметом особого рассмотрения,—это вопрос о соотношении между историческим материализмом и политической экономией. К сожалению т. Максимовский не поднял и другого вопроса — вопроса о соотношении социологии марксизма (исторического материализма) с философией. Этот момент нужно было бы подчеркнуть и показать, что весь исторический материализм представляет собою дальнейшее развитие и конкретизацию диалектического материализма и

что именно такая тесная зависимость от философии характеризует марксистскую социологию в отличие от социологии буржуазной, которая если и связывает себя с теми или иными новыми философскими школами, то связывает далеко не так сознательно и не так последовательно, как это делает марксизм.

А. Д. Удальцов. Мне кажется, что точка зрения Разумовского не вполне отчетлива. Я, по правде сказать, когда предполагал выступить после т. Разумовского, то сначала думал, что мне придется ему возражать. Но конец его выступления заставляет меня к нему присоединиться. Так что, как мне кажется, его соображения были не совсем выдержаны. В самом деле, начал он как-будто бы против т. Максимовского, указывая ему, что с его определением исторического материализма нельзя согласиться, что можно говорить об историческом материализме, как о социологии, а затем сказал, что, в сущности говоря, социология в настоящее время принимает такой оттенок, что, пожалуй, лучше воздерживаться от употребления этого термина. Так что, мне кажется, тут есть некоторая невыдержанность (Разумовский:—Я возражал совсем не против этого определения, а против понимания того места, которое т. Максимовский отвел философии истории). С другой стороны, я не согласен с т. Максимовским и согласен с т. Разумовским по большинству вопросов, которые он затронул.

Прежде всего, что такое исторический материализм? Здесь, по-моему, возможны два определения. С одной стороны, можно считать, что исторический материализм, как его определяет т. Максимовский, есть теория общества (девятый тезис). С другой стороны, можно полагать, что исторический материализм есть методология общественных наук. Такая точка зрения высказывалась уже однажды здесь в докладе т. Карева по вопросу о том, что такое социология. Но я думаю, что обе точки зрения неправильны. В этом отношении я согласен с т. Разумовским. В самом деле, по-моему, марксизм не проводит такой резкой грани между теорией и методом. Теория и метод в нем слиты. Если мы говорим о философии, что это—мировоззрение или метод? Это и определенное мировоззрение, и определенный метод. Когда мы говорим о диалектике, мы различаем две стороны этого вопроса: с одной стороны, об'ективную диалектику, с другой стороны—суб'ективную диалектику; с одной стороны, говорим, что это есть теория самого процесса развития природы и общества, а с другой стороны, это есть метод изучения и того, и другого. Таким образом, когда мы переходим к понятию исторический материализм, то мы должны также сказать, что это, с одной стороны, конечно, теория общества, или, лучше сказать, теория общественного развития, потому что определение «теория общества» немного статично, немного, действительно, напоминает контовское определение. С другой стороны, несомненно, что исторический материализм является методологией. С этой точки зрения мне и кажется, что, пожалуй, не следует употреблять термин «социология» по отношению к историческому материализму, потому что исторический материализм шире, чем социология, он шире, чем теория общественного развития. Если вы скажете, что это социология, вы подчеркиваете только одну об'ективную сторону, но оставляете за бортом методологическое значение исторического материализма. А если вы скажете, что это есть и то и другое, тогда термин «социология» не подходит. Под социологией все-таки мы понимаем всегда только теорию общественного развития, когда она употребляется

в правильном смысле этого слова. Поэтому если употреблять термин социология, можно было бы его оставить только по отношению к известной части исторического материализма, именно к историческому материализму, как теории общественного процесса. Но это не будет покрывать все понятие «исторический материализм».

Товарищами здесь не затронут другой вопрос—это вопрос об истории и социологии. Тов. Разумовский здесь говорил о социологии и политэкономии. Но и этот вопрос об истории и социологии весьма актуален, и его, конечно, следует поставить. Его, отчасти, поставил т. Кушнер, когда он говорил о том, что поскольку социология должна существовать, она должна решать такой важный ряд вопросов, как, например, дать теорию отдельных конкретных общественных формаций, и упрекнул историков в том, что они будто бы этим не занимаются, например, что они не дают теории феодализма. Но тут возникает вопрос: хочет ли т. Кушнер этим сказать, что теорией феодализма и др. общественных формаций занимается отдельная самостоятельная наука, именуемая социологией, а история этим не занимается? (Кушнер: — Никто не занимается). Тов. Кушнер говорит, что в настоящее время никто этим вопросом не занимается. Вопрос не в этом, а вопрос стоит в теоретической плоскости: какая научная дисциплина должна этим заниматься—социология или история. Я думаю, что вопросами теории отдельных экономических формаций может заниматься не какая-то самостоятельная, противополагающая себя истории в предмете и методе наука, а именно история и должна этим заниматься. Если будет такой разрыв между социологией и историей, если мы будем проводить какую-то грань между историей и социологией, как двумя самостоятельными науками, имеющими каждая свой отдельный предмет и отдельный метод, то, по-моему, мы станем на точку зрения Риккерта, который разделяет науки на индивидуализирующие и генерализирующие, и единственным отличием науки социологии от истории будет то, что одна наука индивидуализирующая, а другая генерализирующая. Я думаю, что мы не можем стать на этот опасный путь, а на этот путь многие становятся—и не только не-марксисты, но отчасти и марксисты,—и, становясь на этот путь, они часто попадают в об'ятия модной теории социологии Макса Вебера. Влияние Макса Вебера как-раз сказывается в этом стремлении противополагать социологию истории и в понимании социологии, как особой, отличной от нее науки. В настоящее время это направление особенно ярко выражено у нас именно в лице акад. Петрушевского. Поэтому, мне кажется, что сама история должна заниматься этими вопросами, но только история, конечно, как и всякая другая наука, имеет и свою общую часть, и свои специальные части,—специальные части, поскольку мы можем изучать только историю отдельных стран, их общественное развитие, историю их экономического быта и т. д., и т. д., поскольку мы изучаем отдельные конкретные общества, например историю Франции и т. д. Но, кроме того, возможно изучение истории в более общей постановке, т. е. изучение, например, истории феодализма: феодализм как общественная формация, теория этого феодализма, его история, т. е. изучение этого феодализма в его генезисе, в его существовании, в его дальнейшем разложении и переходе в новую общественную формацию. Это, по-моему, дело исторической дисциплины. Но только это будет общая часть этой науки истории. Если употреблять старый

термин «социология», пожалуй, можно сказать, что это есть социологическая часть истории. Но, ведь, когда мы говорим, что это и есть социология, этим мы признаем нечто большее, т. е. признаем, что это — наука, отличная, и противополагаемая истории. Но этого мы не имеем права сказать — и метод и предмет у них одни и те же, разница только количественная: одна рассматривает несколько более обще, другая — менее, но не принципиальная. Другими словами, это одна и та же дисциплина.

Обратимся к вопросу об этнологии, который был поднят здесь т. Аптекарем. Мне представляется, что этнология есть также по существу историческая наука. Она изучает историю первобытных обществ, историю первых ступеней общественного развития и отличается от истории только, может быть, некоторыми особенностями того материала, на основании которого она строит свои заключения. Здесь непосредственное наблюдение, может быть, играет большую роль, чем в истории, здесь большую роль играет анализ материальных памятников и т. д., но по существу это есть, конечно, только известный род истории.

А. В. Ефимов. Я хотел бы прежде всего остановиться на одном замечании А. Д. Удальцова относительно того, что нужно разграничить исторический материализм и социологию, потому что исторический материализм шире, чем социология, марксистская социология, конечно. Действительно, в исторический материализм входит ряд вопросов философского порядка. Но, ведь, мы обычно говорим, что эти вопросы относятся к области диалектического материализма. Если же взять вопросы, которые входят в круг собственно исторического материализма, то мы имеем здесь, во-первых, основную группу вопросов—теорию общественно-экономических формаций и классовой борьбы; затем общие вопросы, например, проблема случайности и закономерности в истории, роль личности в истории и т. п. Насколько я понял, здесь речь может итти о том, что эти самые общие вопросы общественной науки, например, проблема воздействия базиса на надстройку, входят в круг вопросов ист. материализма, но не входят в круг вопросов марксистской социологии. С этим трудно согласиться. К этому я еще вернусь. Разрешите несколько развить это положение.

Что касается того, что центральной наукой должна быть история, это совершенно бесспорное положение. У Маркса есть по этому поводу определенное замечание. Маркс говорит: «Мы знаем только одну единственную науку—науку истории»[1]. Я думаю, что это совершенно справедливое замечание. Теперь мне хотелось бы отметить одно общеизвестное положение,— я выражаю его в старых терминах: «история должна быть социологичной, социология—историчной». Это положение означает, что в процессе изучения истории происходит известная поляризация. У нас на одном полюсе получается изучение, понимание, об'яснение индивидуальных фактов, взятых в их диалектической связи, в их многозначимости, и затем на другом полюсе мы можем приходить к самым общим обобщениям, мы можем приходить к таким обобщениям, как, например, натуральное хозяйство, простое товарное хозяйство, чистый капитализм и т. п., можно доходить до высоких ступеней абстракции. Заметим, что если мы называем эти обобщения абстрактными, мы их называем реально абстрактными, потому что они являются теоретическим выражением реальных явлений, только таким выраже-

[1] «Немецкая идеология». Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. I, с. 214. *А. Е.*

нием, которое берет явление в его тенденции, в его завершенной, полной форме. Я не хочу сейчас ставить вопроса о том, какие обобщения из числа тех, которые были упомянуты, представляют собою формацию. Тут есть ряд вопросов, которые еще не вполне разрешены, и обсуждение их потребовало бы специальной дискуссии[1]. Но мы имеем такую конкретно-историческую фазу, исторический период, как феодализм, в котором мы замечаем целый комплекс элементов различных формаций. В историческом исследовании мы встречаемся с эпохой торгового капитализма, который не является формацией. Но если хотите, в историческом смысле, условно, по аналогии, его можно назвать исторической «формацией». Или возьмите социализм, в котором имеется пять укладов. Я сейчас совершенно не ставлю задачей разбирать каждый из этих периодов с той точки зрения, является ли он формацией или нет, но говорю, что мы в конкретном историческом исследовании получаем группу таких обобщений, которые относятся только к некоторым периодам. И вот я назвал некоторые из таких периодов, с которыми мы практически в изучении истории постоянно оперируем. Дальше мы имеем такие обобщения, которые носят еще более узкий характер. Например, если мы говорим о капитализме, то мы говорим о прусского типа капитализме, о капитализме американского типа. Ликвидация феодальных отношений может итти революционным путем, как во Франции, в САСШ, но может итти путем «революции сверху» и иной раз «бонапартистским» путем, если взять ход и тенденции экономического развития Пруссии, России, Японии. Значит, мы приходим к такому обобщению, которое носит еще более узкий характер.

Далее, в процессе исторического изучения мы получаем ряд обобщений, которые носят еще более частный характер. Я бы назвал их историческими законами отдельных отрезов истории. Мы с ними постоянно оперируем, только не можем в этом официально сознаться. Возьмите, например, такую простую вещь: у Маркса есть замечание, как бы специально по поводу происходившей недавно дискуссии о Чернышевском на тему: был ли он коммунистом или нет.

«Социалисты и коммунисты являются теоретиками класса пролетариата. Но пока сам пролетариат еще недостаточно развит, чтобы конституироваться в класс, следовательно, пока борьба пролетариата с буржуазией еще не носит политического характера, до тех пор и эти теоретики будут только утопистами»[2].

Поскольку Чернышевский складывался как революционер в условиях российской действительности, понятно, почему можно найти элементы утопизма в системе Чернышевского, и заранее можно было этого ожидать.

Затем, в качестве конкретно исторических законов можно привести еще, например, такое, чисто эмпирическим путем констатированное еще буржуазными историками положение: «развитие капитализма, как общее правило, к востоку от Эльбы ведет к усилению крепостнических отношений, развитие капитализма к западу от Эльбы ведет к ослаблению личной зависимости, лично обязанных отношений».

[1] Вопросы об основных прогрессивных общественно-экономических формациях, вопрос о соотношении азиатской, античной и феодальной формаций, о соотношении «архаической общественной формации»—первобытного (общинного) коммунизма и «Эпохи азиатской формации» и ряд других проблем. *А. Е.*

[2] «Нищета философии», изд. Петр. совета, 1918, с. 132.

Можно привести еще целый ряд исторических обобщений, которыми мы практически пользуемся в своей работе как методологическими установками, так что в процессе исторического исследования у нас все время используется ряд обобщений все более и более узкого порядка. Таким образом, у нас имеется ряд обобщений, начиная от самых широких и кончая наиболее узкими, и вот можно в конце-концов сказать, что конечно было бы схоластикой искать, где кончается история и где начинается теория общества, марксистская методология истории, марксистская социология, исторический материализм. Найти точную границу между различными видами исторических обобщений конечно трудно, потому что вся история состоит из ряда обобщений, и каждый конкретный факт мы берем в его многозначимости, в его соотношении с другими фактами, в его закономерности. В отношении признания неудачности такого названия, как «марксистская социология», я с А. Д. Удальцовым не согласен. Мне кажется, можно сказать, что поскольку мы имеем дело с теорией формаций и другими общими вопросами методологии истории, мы можем — и это практически просто делается — выделить особо эту группу вопросов, конечно не в виде дисциплины с особым методом. Можно назвать это особой общей частью истории, это выражение А. Д. Удальцова удачно, и против этого возражать нельзя, однако можно также назвать эту группу вопросов марксистской методологией истории, марксистской социологией; по-моему, само это слово в себе особых опасностей не заключает. Однако, у нас установился термин «исторический материализм», который является наиболее правильным[1].

Далее, я хочу отметить еще одно обстоятельство, которое является чрезвычайно важным. Мы в историческом исследовании постоянно пользуемся методом теоретическим, а не описательным, и я думаю, что основным методом исторического исследования является метод теоретический, такой же метод в известной мере как и метод политической экономии. Если политическая экономия не описательная наука,—она берет наиболее характерный момент общественных отношений капиталистического общества и вскрывает его закономерности изнутри него, абстрагирует, анализи-

[1] Примечание к стенограмме. Недостатком современных общих работ по историческому материализму является почти исключительный упор на выяснение общих принципиальных положений марксизма в области истории и малое внимание более конкретной исторической методологии. Наиболее подробно разработаны в этом направлении только некоторые вопросы, как теория революций и стратегия и тактика классовой борьбы пролетариата. Ряд вопросов—о типах капиталистического развития, о типах промышленных переворотов в частности, о типах феодализма, проблеме торможения и ускорения развития стран, захваченных капиталистическим развитием, в то время как рядом имеются более развитые капиталистические и даже социалистические страны и т. п. вопросы—в работах по истмату находят слабое отражение, хотя у Маркса и Ленина по вопросам такого типа имеется богатейший материал. Равным образом совершенно опускаются вопросы методологии и методики конкретного марксистского исторического исследования. Исторический материализм в большей мере должен стать действительно марксистской методологией истории. Что касается существующего разделения исторического материализма и ленинизма, то это разделение носит чисто исторический характер. Метод марксизма-ленинизма является единым диалектическим методом для истории, использование работ Маркса, Энгельса и Ленина необходимо для разработки любой исторической общей и частной проблемы. *А. Е.*

рует основное общественное отношение товарного общества — ценность и приходит к выводу, об основных тенденциях всего капиталистического развития,—то нечто аналогичное постоянно делается и в историческом исследовании: берется какая-нибудь наиболее характерная клеточка данного общества, будет ли это идеология какого-нибудь характерного представителя той или иной классовой группы или, скажем, такой комплекс событий, в котором резко обнажаются основные классовые и более общие экономические тенденции, вскрываются определяющие закономерности данного момента—революционный переворот и т. п.

Вы берете отдельный момент и, анализируя, исходя из неслучайных моментов, абстрагируясь от всех затемняющих обстоятельств, вскрываете и показываете основные определяющие закономерности данного периода. В этом отношении конечно нельзя проводить резкую грань между марксистской наукой об обществе, теорией общества и «конкретной» историей.

Теперь последнее замечание. Мне кажется, что совершенно отчетливое представление о том, что история в высокой мере является теоретической наукой, что момент теоретического установления и правильного использования не только общих, но и более частных, конкретно-исторических законов данной эпохи применительно к данной стране, вообще играет огромную роль, могло бы быть подтверждено весьма убедительными примерами. Вспомним первое «Письмо издалека» Ленина. Ленин в Швейцарии получает отрывочные сведения о начавшейся революции в России и так как совершенно определенно представляет себе основные закономерности развития России в данный момент, то на основании первых отрывочных отдельных известий Ленин дает совершенно отчетливую, правильно установленную тенденцию данного момента, тенденцию дальнейшего развития борьбы и указывает на неизбежность следующего этапа пролетарской революции. Если взять работы Маркса, Ленина, Покровского, лучшие марксистские работы, то там вы найдете широкое пользование историческими законами не только самого общего порядка, но и довольно узкого значения.

Я на этом заканчиваю. Должен еще раз оговориться по вопросу о том, какие этапы общественного развития являются формациями, дабы меня неправильно не поняли. Я говорил не об общественно-экономических формациях, а о более узких исторических периодах, фазах, которые имеют свои собственные, более частные закономерности. В этом смысле, например, империализм не является ни в коем случае формацией, но свои закономерности у империалистической стадии капитализма есть, особую группу закономерностей, специфических для империализма, мы имеем перед собой и пользуемся ими при изучении эпохи империализма.

В. Н. Максимовский. Я хотел только два слова сказать тем, кто возражал по существу на некоторые выдвинутые мною положения, потому что основные вопросы дискуссии остались недостаточно освещенными.

Прежде всего т. Кушнер изобразил дело так, будто я оставляю в стороне вопрос о формациях. Я не оставляю его в стороне, это есть в тезисах, и я об этом говорил. Я считал, что вопрос о формациях достаточно ясен, вообще говоря, и достаточно развивался в нашей литературе. Здесь выступал сейчас т. Ефимов, и у меня получилось впечатление, что как-будто бы действительно нужно было об этом говорить подробнее, но т. Ефимов сам внес поправку, что он говорит не про формации, а про эпохи. Тогда этот вопрос можно оставить в стороне. Когда говорится об эпохе западно-

европейского феодализма, в нее все что угодно можно сложить, но когда говорят о феодальной формации, тогда мы имеем дело с понятием, которое было твердо установлено Марксом, Лениным и развито достаточно ясно. Непонятно тогда, зачем т. Ефимов про это здесь говорил.

Остановлюсь на замечании т. Кушнера о том, что я вопрос свел к терминологии, затем на замечании т. Разумовского, который в основном (с поправкой, сделанной т. Удальцовым) идет тем же самым путем, как и я. По вопросу о соотношении между теорией и методом т. Разумовский сказал часть того, что говорил я (правда, он в это время отсутствовал). Но только он пришел к несколько иным выводам. Я говорил о понимании социологии прежде всего конечно в смысле о ч и щ е н и я т е р м и н а. Нужно очищать наши термины. Это тоже задача, которая стоит перед нами в числе прочих задач. Она сама по себе не очень большая, но когда здесь дополнительно были приведены такие, например, соображения, что социология—метод (т. Разумовский об этом говорил), то я думаю, что и это тоже должно быть учтено, так как у нас в понятие социологии, и не только сейчас, это давно началось, включается много различных вещей. Я говорил, что лучше бы этого термина не употреблять, исходя прежде всего из соображения точности терминологии. В частности, против моего указания, что его нельзя признать термином, вполне принятым Марксом и Лениным, ничего существенного не было сказано, а что касается Плеханова с его термином «философия истории», я не думаю, чтобы у него тоже была какая-нибудь установившаяся терминология для этого предмета. То утверждение по существу, которое я выдвигаю против пользования термином «социология», заключается в том, что это понятие связывается обыкновенно с представлением о законах, общих для всех исторических формаций, причем обыкновенно это понимается именно так, как т. Разумовский думал, что я это понимаю, т. е., что эти законы, свойственны всем формациям. Не знаю, почему закон, свойственный всем формациям, не исторический закон. Может быть, в буржуазной социологии встречаются такие формулировки, но, я конечно так этого не понимал. Если какой-нибудь закон является общим для всех исторических формаций, это вовсе не значит, что он не исторический закон.

Тов. Удальцов внес такую поправку, что лучше называть социологию теорией общественного развития, а не теорией общества. Я избегал термина «развитие» по той простой причине, что он не охватывает всех процессов. Если говорить точно, то надо говорить об общественных и з м е н е н и я х. Но этот термин в свою очередь является слишком пустым. Понятие «развитие»—это перевод французского слова évolution—оно связано с определенным представлением о прогрессивном развитии. Поэтому мне кажется, можно обойтись без употребления этого выражения.

Но я думаю, что нельзя весь этот вопрос сводить к терминологии. Вполне естественно, почему у нас выпятилась на первый план терминологическая сторона: не выступили товарищи, которые против понимания социологии как научной теории или как науки, а стоят за то, что исторический материализм нужно понимать только как метод, так как эта точка зрения здесь не была противопоставлена той, которую я высказал вначале, естественно. разговор у нас свелся на различные частности. В окончательном счете получается, что, по мнению т. Удальцова, наша теория общества есть в то же самое время и метод; он говорит, что у Маркса есть грань между тем и другим, но грань в конце-концов очень маленькая, так как она заклю-

чается в том, что в самую теорию не следует в интересах точного ее построения вносить непосредственно различные методологические моменты. Тов. Разумовский находит, что самые законы, которые формулирует теория, суть методологические категории.

Для меня не совсем ясно, что это значит «методологические категории». Мне кажется, что если вы установите какой-нибудь закон, то он может затем использоваться, как известное положение метода. Поэтому мне кажется, что здесь некоторая формальная грань должна существовать в интересах исключительно только точности изложения, точности различных наших формулировок.

Затем относительно того, что говорил т. Разумовский, я должен сказать, что конечно, говоря про социологию вначале, я вовсе не имел в виду исключительно буржуазную социологию. Я говорил про термин «социология», поскольку он применяется и в нашей литературе, а когда в нашей литературе говорят про «социологию», то имеют в виду именно марксистскую социологию. Я старался выбрать то существенное, что имеется в понятиях «философии истории» и «социологии», и пришел к выводу, что мы можем кое-что взять и из философии истории, потому что там есть идея общих законов, которые затем фигурируют и в буржуазной социологии. Здесь, мне кажется, мы имеем дело действительно с некоторыми ступенями развития. В XVIII столетии фигурирует главным образом философия истории, а в XIX столетии—преимущественно социология. Философия истории была буржуазной, и социология была буржуазной. Известные революционные элементы были в философии истории, в социологии революционных элементов не было. С другой стороны, в социологии мы имеем некоторую попытку ставить вопрос исключительно в научной плоскости, произвести некоторое очищение понятий от метафизических элементов, что довольно существенно; про это, между прочим, говорил и Маркс. Мне кажется, что здесь нельзя проводить такой резкой грани между философией истории и буржуазной социологией XIX столетия. И то и другое теперь конечно пережито. и равно столько же целесообразно употреблять термин «философия истории», сколько термин «социология». Относительно общей постановки вопроса т. Разумовским, мне кажется, т. Удальцов сказал достаточно.

Мы дискуссию устраивали, чтобы выяснить вопрос, чем должна заниматься секция в ближайший период: должна ли она заниматься общими вопросами исторического материализма или должна заниматься изучением отдельных общественных формаций. Этот вопрос здесь не разрешен. Безусловно, перед нами стоят большие задачи, главным образом, по научному изучению общественных формаций. Мы этих задач не выполняем совершенно. Давайте еще раз поднимем вопрос о том, чем должна заниматься секция, и уже конкретно будем говорить о тех задачах, которые стояли перед секцией как частью Общества историков-марксистов.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ: А. Ерусалимский. ОБЗОРЫ: В. Сергеев. ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ: А. Шестаков, И. Минц. РЕЦЕНЗИИ: И. Д. Кельда, В. А. Васютинский, А. С. Моносов, А. В. Николаев, Т. Скубицкий, М. Нечкина, И. Троцкий, С. Валк, А. Шестаков, Г. Сокольников.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БИСМАРКА В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Почти при каждом значительном повороте в отношениях Германии к странам Антанты мы узнаем, что спор, который ведется со времени подписания Версальского трактата,—спор о виновниках войны,—снова приобретает большую политическую актуальность и возвращается к своему первоисточнику—дипломатическим канцеляриям главнейших кабинетов Западной Европы.

Статья 231-я Версальского договора, чтобы дать некоторое моральное оправдание требуемым от Германии репарационным платежам, связывает, как известно, проблему возмещения убытков победителей с проблемой о виновниках войны. Виновный платит, виновный должен возместить все потери и все убытки,—такова была постановка вопроса на Парижской конференции[1]. Америка, сначала противившаяся этому тезису, в конце-концов вынуждена была уступить, и в результате--ареопаг победителей разрешил вопрос довольно просто: Германия была побеждена и потому она была об'явлена единственной виновницей войны. Экономический и политический смысл репарационной проблемы, зафиксированный в Версальском договоре, оказался достаточно мощным основанием для того, чтобы в странах победителей—особенно во Франции—такое «разрешение» вопроса о «виновниках войны» утвердилось, как символ веры. Именно с утверждением тезиса о виновности Германии связаны такие постановления Версальского трактата, как статьи, касающиеся разоружения Германии, оккупации Рейнской области, запрещения воссоединения с Австрией и т. д. И если правящие классы Германии, их правительство, их пресса, упорно не соглашаются верить тому, что версальским решением о виновниках войны руководила сама Клио, если германская пресса настаивает на необходимости различать Kriegsschuldfrage от Kriegsschuldlüge и обращается ко всем европейским кабинетам с требованием опубликовать свои дипломатические архивы, то это конечно не следует об'яснять исключительно одной лишь особой любовью к исторической истине.

Французский язык еще недавно считался единственным языком дипломатического общения, но уже и тогда дипломатически можно было говорить и на всех других языках. И на многих языках ведется теперь та борьба, которая порождена определенными реальными условиями Версальского мира и которая кристаллизуется

---

[1] «Один из союзников, — передает американский участник Парижской конференции,—этим не ограничился и потребовал возмещения даже таких потерь и убытков, которые были вызваны столь неожиданным перемирием, благодаря чему прекращение военных действий повлекло за собой финансовые потери». Bernard M. Baruch, «The Making of the Reparation and Economic Sections of the Treaty». New-York and London, 1920, p. 20.

и имеет свое внешнее политическое оформление в переписке и в непосредственных переговорах между ответственными руководителями иностранной политики. Борьба эта ведется и на языке науки в той большой литературе, посвященной истории международных отношений, которая появилась после войны в странах Западной Европы, главным образом в Германии.

«Пусть враги чувствуют себя победителями, —они не являются судьями»— эти слова бывшего канцлера Бетмана-Гольвега[1] можно поставить эпиграфом ко всей германской послевоенной научной литературе, посвященной истории международных отношений новейшего времени. Получается явление довольно своеобразное: взнос репарационных платежей и одновременно—апелляция к истории. Тем самым эта научная литература становится интересной не только по своим исследовательским результатам, внутренним конструкциям и позитивным выводам, но и по тем тенденциям и основным идеям, которые обычно кажутся завершающими общий процесс исследования, а на самом деле являются предпосылками, определяющими самый ход и схему исследовательской работы. И нельзя сказать, чтобы эти общие идеи и политические тенденции врывались в научные построения неожиданно и, с точки зрения самих германских историков, бессознательно. Скорее наоборот, и, например, А. Вегерер, руководитель специального института, занимающегося проблемой «виновников войны», в своей последней работе прямо формулирует политическую цель и идейную направленность борьбы с версальским тезисом, как «создание необходимых моральных оснований для ревизии версальского договора»[2].

Именно этим и определялось решение германского министерства иностранных дел предпринять грандиозную работу по публикации документов своего архива[3], причем поставленная издателем политическая задача сказалась в двух основных моментах: в хронологическом охвате документального материала и в системе расположения этого последнего. Дело в том, что в принципе германского издания документов о происхождении мировой войны лежит тематический, а не хронологический распорядок. К тому же документ часто публикуется сокращенным (условный знак «рр») или публикуется тематически разорванными по частям в разных отделах одного тома или даже в разных томах. Все это не могло не вызвать серьезных критических замечаний не только вне Германии[4], но и со стороны отдельных немецких ученых[5]. В том, что тематический распорядок издания был принят издателями вполне сознательно, сомневаться не приходится, но гораздо важнее обоснование этого решения: Ф. Тимме, вынесший на своих плечах всю гигантскую работу издания, оправдывает преимущества тематического распорядка теми удобствами, которые, таким образом, представляются общественности

---

[1] Г. Бетман-Гольвег, Мысли о войне. Перевод с немецкого В. Н. Дьякова, М.—Л. 1925, с. 110.

[2] Alfred von Wegerer, Die Widerlegung der Versailler Kriegschuldthese, Berlin. 1928, S. 10.

[3] Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871—1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Herausgegeben von Iohannes, Lepsius, Albrecht Mendelsohn-Bartholdy, Friedrch Thimme, Berlin. 1922.

[4] Во французском издании германских документов материал расположен хронологически. К сожалению, с этим изданием нам ознакомиться не удалось и потому от оценки этой, нужно полагать, весьма полезной переработки приходится пока воздержаться.

[5] Например, Erich Brandenburg, Von Bismarck zum Weltkriege, Berlin 1925, S. VIII.

и, в частности прессе, при практическо-политическом пользовании публикацией[1]. Этими же задачами определялся и хронологический охват опубликованного материала. Французская публицистика, продолжая обосновывать зафиксированный в Версальском договоре тезис, пытается доказать извечное погружение Германии в грехе «виновности» и указывает на роковую в этом смысле фигуру Бисмарка, политика которого обычно характеризуется ею как тяготение к абсолютной европейской гегемонии и даже к мировому владычеству. Именно это послужило одним из оснований, как утверждают сами издатели[2], к публикации первой серии документов[3], относящихся к эпохе Бисмарка, начиная с образования Германской империи.

Но официальное издание документов, состоящее из многих десятков томов, не может дойти по своей громоздкости до среднего и массового читателя,—и нужно отдать справедливость, в Германии делается многое для популяризации опубликованных документов[4]. Предпринят и уже закончен ряд изданий, различным образом преподносящих опубликованный материал, предварительно под разным углом зрения обработанный. Характерной и об'единяющей чертой всех этих изданий, поскольку они рассчитаны на немецкого читателя, является изображение внешней политики Германии как политики, направленной со времен Бисмарка, к ограждению, к охране немецких интересов. Однако, задача опровержения «Kriegsschuldlüge»—версальского тезиса о виновности Германии—неизбежно осложняется новыми тенденциями, выдвигаемыми жизнью и практикой политической борьбы,—и было бы интересной задачей проследить влияние политических тенденций, того или иного этапа послевоенной политики Германии на обработку документального материала, освещающего проблемы довоенной политики. Компановка материала не только опровергает относительно прошлого, но и дает предметный урок относительно настоящего и связанного с ним будущего. В этом смысле весьма примечательно сокращенное издание большой германской публикации[5], которое особое внимание уделяет освещению англо-германских отношений в связи с проблемой более широкого значения—образования политических группировок в Европе. В этих последних и усматривается корень мировой войны, — и нельзя не признать, что именно такая постановка вопроса для послелокарнской Германии, балансирующей между Востоком и Западом, является достаточно актуальной. Но каковы бы ни были индивидуальные оттенки подобных изданий, об'единяющая их идея, по своему, прямо и достаточно верно выражена самим заглавием недавно появившейся новой работы Швертфегера — «Мировая война

---

[1] Friedrich Thimme, Die Aktenpublikation des Auswärtigen Amtes. Beiträge zu ihrer Entstehungsgeschichte, Berlin 1924, S. 13. Впрочем, другой издатель публикаций проф. Мендельсон-Бартольди в разговоре с нами вынужден был признать основным недостатком публикации—тематическое расположение материала.

[2] Die Grosse Politik, Bd. I, S. VIII.

[3] Bd. I—VI.

[4] Bernhard Schwerfeger, Die Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 1871—1914. Berlin, 1927—1928. Всего вышло восемь томов. Эпохе Бисмарка посвящен первый том. Его же, Dokumentarium zur Vorgeschichte des Weltkrieges 1871—1914, Berlin 1928.

[5] Die Auswärtige Politik des Deutschen Reiches 1871—1914. Unter Zeitung von Albrecht Mendelssohn Bartholdy und Friedrich Thimme herausgegeben vom Institut für Auswärtige Politik in Hamburg, Bd. I—IV, Berlin 1928. Здесь напечатан ряд документов, главным образом касающихся англо-германских отношений предвоенной эпохи, не вошедших в «Die Grosse Politik».

документов»[1]. Действительно, обзор литературы, главным же образом французской и немецкой, касающейся проблемы мировой схватки, дает основание сказать, что война продолжается, но продолжается другими средствами... «Мы, немцы,—пишет Швертфегер,—еще теперь вынуждены вести настоящую мировую войну против неслыханной бесчестности версальского договора,—войну, которую мы можем вести только духовным оружием». Подчеркивая неизменно мирный оборонительный характер политики Бисмарка, он об'ясняет и оправдывает вступление Германии в войну верностью и необходимостью честно выполнить свои союзнические обязательства. Война документов, действительно, продолжается. Германские дипломатические документы эпохи Бисмарка отнюдь не удовлетворили официальную Францию, и в частности Пуанкаре, который об'явил, что издание французских дипломатических документов захватит период аналогичный тому, который освещен «Die Grosse Politik»[2]. Французское издание вызовет конечно появление новых работ о внешней политике Бисмарка но уже и без того на основании германской публикации и богатого мемуарного материала (Эккардштейна, Вальдерзее, Швейница, Радовица, Бисмарка—третий том) появилась большая исследовательская литература: один из самых толстых томов прусской библиотеки в Берлине, являющийся каталогом литературы, посвященной Бисмарку, его жизни и деятельности, весьма заметно продолжает расти. Над этим каталогом послевоенной литературы можно поставить заглавие: «Бисмарк как миротворец». Если это определение не совсем отвечает истинному характеру его политики, зато оно вполне соответствует тому идеальному образу, который рисует яркими красками, взятыми с палитры вновь опубликованных документов, новейшая немецкая историография. Это конечно не только результат переоценки ценностей, это и любопытная примета времени. Новые исследования, уже хотя бы только потому, что они исследования новые, часто не совпадают со старыми литературно разработанными схемами в своих результатах, но обычно совпадают в оценке этих результатов: внешняя политика Бисмарка восславляется как ценность абсолютная, а теперь и «идеальная». Бисмаркианство стало общей и наиболее характерной чертой в германской буржузной историографии послевоенного периода. Ключ секрета такого положения вещей следует искать в современном политическом положении Германии: если передовые отряды рабочего класса смотрят в историческое будущее, то господствующие классы имеют основание, даже не идеализируя положение Германии бисмарковской эпохи, с завистью смотреть на свое историческое прошлое. К тому же, сюда весьма часто присоединяется реакция недовольства неудачливой политикой Вильгельма II. Поэтому можно понять тех историков, которые находят в своих исследованиях соответствующий контекст для следующих заявлений: если бы Бисмарк все еще продолжал стоять у политического руля Германии или если бы Германия не вышла из предуказанного ей Бисмарком фарватера,—настоящее положение было бы совершенно иное[3]. Тут история слишком явно переходит в оценку, а исследование—в

---

[1] Bernhard Schwertfeger, Der Weltkrieg der Dokumente, Berlin 1929.

[2] Documents français relatifs aux origines de la guerre 1914 (1871—1914). Publiés par le Ministère des Affaires Etrangères. Всего предполагается издать 50—60 томов. По полученным нами из редакции «Europäische Gespräche» сведениям, в этом журнале в ближайшем будущем должна появиться статья, освещающая цели, задачи и методы французского издания.

[3] Ср., например, H. Friedjung, Das Zeitalter des Imperialismus 1884—1914, Bd. I, Berlin 1919, S. 32.

исторический симптом. Симптоматическая окраска сменяется, но литературно-историческая традиция неизменно продолжает действовать. Эта традиция, установленные привычные схемы, порой заимствованные из документального материала, из мемуаров (главным образом мемуаров Бисмарка), дипломатической переписки или речи политического деятеля, просачиваются и в новую историографию.

Нет сомнения, что та масса нового материала, архивного и мемуарного, относительно внешней политики Германии эпохи Бисмарка, которая появилась в послевоенной Германии, не могла не отразиться и в исследовательской литературе. Новый материал[1] открыл новые горизонты, выдвинул новые проблемы, уточнил многие данные фактического порядка, дал возможность осветить новые стороны вопроса. С точки зрения наличия фактических данных, послевоенная германская литература, действительно, несравненно богаче даже первоклассных работ, написанных до появления новых источников[2]. Это дало основание немецкому историку говорить о перевороте в новой немецкой историографии[3]. Однако этот переворот просходит не только в результате появления и обработки новых источников, но и под влиянием условий совершенно иного порядка. Самая публикация такого большого количества новых материалов касательно внешней политики Бисмарка, самое заострение интереса вокруг проблем этого типа,—все это вызвано вышеуказанными конкретными общественно-политическими условиями, а эти условия неизбежным образом отражались в исторических построениях как в смысле выдвижения той или иной научной проблемы, так и в смысле ее освещения, трактовки и разрешения. Основная линия развития немецкой историографии, посвященной внешней политике Бисмарка, сопутствует, а иногда прямо сливается с линией политической практики данного, т. е. послевоенного периода, и весьма возможно, что на основании изучения одной лишь соответствующей научной литературы будущий историк сможет восстановить основные политические контуры того периода, в котором эта литература появилась.

Социально-политическую обусловленность этой области немецкой историографии следует понимать не только в отношении методологических принципов (или беспринципности), положенных в основу исторического исследования. Найти марксистские построения в буржуазной историографии—дело конечно довольно трудное, но в данном случае вопрос идет не о методологии, а о тематике, об исторической конструкции, о проблемной и оценочной линии, об общей тенденции, а в некоторых случаях о явном и осознанном политическом выступлении. Новые условия работы определяют новые ее задачи,—это достаточно ясно выступает, если сравнить послевоенную германскую историографию внешней политики Бисмарка с литературой, появившейся в годы войны. В 1915 г. исполнилось столетие со дня рождения Бисмарка, и, естественно, это сильно способствовало количественному обогащению так наз. Bismarckliteratur. В качественном отношении эта литература не очень высока, в большей мере просто недостаточна, а ее специфический характер довольно хорошо оттеняют две небольшие, но яркие работы Дельбрюка и Маркса. Каждый из этих немецких историков пытается истолковать «завещание Бисмарка»

---

[1] Кроме «Die Grosse Politik» и богатой мемуарной литературы очень полезно многотомное издание (начало выходить в 1923 г.) Bismarck, Die Gesammelten Werke.

[2] Ср., например, Hans Plehn, Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung, München und Berlin 1920.

[3] Felix Rachfahl, Die Umwälzung der neuesten Geschichtschreibung durch die letzten Quellen der Biomarckzeit, Berlin 1923.

по своему: первый[1] выставляет успешную политику Бисмарка как политику соглашения, второй[2] — как политику аннексии. А как далеко в годы войны, в год германских побед могла привести такая актуализация проблемы политического завещания железного канцлера, можно заключить на примере работы видного публициста П. Рорбаха, который, ссылаясь на Бисмарка, умудрился развивать планы германского похода на Египет, как необходимого условия для победоносного окончания войны[3]. Анализ внешней политики Бисмарка привлекался для разрешения актуальнейших задач военного времени, за интерпретацией исторических источников стояла, по существу, политическая дискуссия и мобилизация общественного сознания вокруг определенных задач. Тень Бисмарка стала политической реальностью. Это относится не только к обширной публицистике и так наз. Kriegzielliteratur (литература о целях войны), но и к довольно серьезным исследовательским построениям. Правда, для этого времени довольно трудно провести обычно установленную грань между публицистикой и научной литературой, ибо в последней заранее и сознательно поставленная цель поучения определяет и тему, и общую устремленность работы. «Прошлое учит нас, но учит в том смысле, как об этом говорит Яков Буркгард: не для того, чтобы при другом случае быть умнее, но для того, чтобы всегда быть мудрым». пишет, например, тюбингенский профессор Галлер, который считает, что «возможно также и на примере Бисмарка познание мудрости, имеющей значение не только для того или иного отдельного случая, но и вообще. Также имеются общезначимые истины, которые возможно познать из того, как он (Бисмарк.— *А. Е.*) заключил мир». Галлер довольно подробно анализирует условия и политические методы заключения Бисмарком мирных договоров (1864, 1866 и 1871 гг.), имея в виду, таким образом, на исторических образцах дать предметный и поучительный урок своим современникам: «если примеры прошлого вообще имеют какое-нибудь значение, если слова об уроках истории являются чем-то большим, нежели привнесенным оборотом речи, то из того, как Бисмарк заключал мир, можно будет кое-что узнать и о том, как победитель должен заключить мир правильным образом»[5]. Тут имеется в виду конечно не механическое перенесение воспроизведенных конкретных особенностей или приемов известного мастерства, а скорее выяснение некой теоретической догмы, установление общего принципа, широкой политической формулы, имеющей актуально-практическое значение. «Никогда не следует,—сказал однажды Бисмарк,—брать все то, что можно, но всегда только то, что нужно»[6], такова поучительная сентенция Галлера, программный итог его работы, еще более многозначительно звучащий в другом месте: «В чем лежит для победителя трудность при заключении мира,—сказать легко: дело сводится к тому, чтобы в наиболее подходящий момент сложить оружие и,—что обычно с этим связано, но не всегда совпадает — правильно определить размер требований»[7]. Германия переживала крайнее военное напряжение, на общем фоне которого в работах Дельбрюка, Рорбаха и Галлера отражается борьба различных военно-политических программ того времени, борьба, по своему довольно правильно, переданная исходным заме-

[1] H. Delbrück, Bismarks Erbe, Berlin 1915.
[2] E. Marcks, Vom Erbe Bismarck, Leipzig 1916.
[3] P. Rohrbach, Bismarck und wir, München 1915.
[4] Johannes Haller, Bismarcks Friedenschlüsse, München 1916, S. 99.
[5] Ibid., S. 11.
[6] Ibid., S. 101.
[7] Ibid., S. 8.

чанием того же Галлера: «заключать мир труднее, нежели вести войну»[1]. В такой общей форме это звучит преувеличением или парадоксом, но для своего времени это довольно верно передавало положение вещей: идея соглашения с Антантой или даже идея «ограниченной аннексии», в противовес лозунгу войны до победного (но неопределенного) конца, освящалась бисмаркианской санкцией. Впрочем, как мы видели, апелляция к Бисмарку обычно сопутствовала самым различным, иногда даже противоположным, тенденциям в политике правящих классов. Все это примечательно не только с точки зрения различных возможностей в интерпретации внешней политики Бисмарка, не только как проявление обусловливающих моментов в исторической концепции того или иного немецкого исследователя, но и как самый факт обращения к Бисмарку и оценки отношения последнего к современности. Те изменения, которые произошли на театре военных действий и тем самым на общей арене международной политики в соотношении сил между Германией и ее противниками, тотчас же однако сказались и здесь. Германия потерпела военное крушение, пережила ноябрьскую революцию. Парадокс немецкого историка— «заключать мир труднее, нежели вести войну»—обратился неожиданной стороной в зловещую реальность, началась пора относительной переоценки ценностей, суда и осуждения, защиты и оправдания, попыток построения новых схем. Появилась довольно большая литература, совсем не ценная с точки зрения исследовательской, но очевидно достаточно влиятельная в смысле общественном, которая пыталась порвать с идеализацией первого германского канцлера, и смысл которой можно было бы определить формулой: «прочь от Бисмарка»[2]. В поисках истоков будущего крушения Германской империи эта литература, не занимавшаяся специально вопросами внешней политики, приходила к рассмотрению общей системы политики Бисмарка и давала ей довольно резкую критическую оценку. Проблема Бисмарка ставилась снова, но ставилась на этот раз в отрицательных терминах: вопрос шел о разрушении культа Бисмарка, о необходимости развенчать железного канцлера. По своим социальным мотивам литературу эту под одну рубрику подгонять не приходится: она имеет самые различные корни; тут, в свете военной катастрофы и революции, возможны и отрицательные оценки всей истории Германской империи, со дня ее образования, и попытка снять ответственность с руководителей «нового курса» и, наконец, тенденция противопоставления послереволюционной буржуазной демократии консервативной политике Бисмарка. Проблема виновников войны так, как она была поставлена в Версальском договоре, осложнилась для Германии новой проблемой, имеющей значительное внутренне-политическое значение, проблемой виновников и с х о д а войны. Навстречу различным течениям, пытавшимся по тем или иным мотивам рвать с традицией Германской империи, на основе консолидации политических сил германских правящих классов, стало оформляться мощное движение реакционной идеализации Бисмарка: спасти престиж вильгельмовской эпохи казалось для этого времени делом совершенно безнадежным. Снова устанавливалась и закреплялась традиция политической оценки политики Бисмарка, тем более, что это подкреплялось условиями внешнеполитического порядка. Необходимо было нечто противопоставить тенденциям французской публицистики, пытавшейся, как указывалось, задним числом расквитаться с Бисмарком и доказать, что еще в его политике заложены были элементы германской ответственности за войну. Не удивительно, что появившаяся в таких условиях пер-

---

[1] Johannes Haller, Op. cit., S. 7.

[2] K. S c h e f f l e r, Bismarck, Leipzig 1919; H. K a n t o r o w i c z, Bismarcks Schatten, Freiburg, B. 1921.

вая значительная работа, работа Отто Гаммана, уже в самом своем заглавии заключает явный политический оттенок: «Непонятый Бисмарк»[1]. Тут впервые наиболее отчетливым образом тезис Антанты об ответственности за возникновение войны разрабатывался в своеобразном сочетании с германским тезисом об ответственности за исход войны, тут впервые намечены были специфические элементы разросшейся позже бисмаркианской литературы, впервые проблема изучения и оценки внешней политики Бисмарка непосредственным образом связывалась с актуальными политическими проблемами, вставшими перед побежденной Германией. Тут впервые в послевоенной историографии разрабатывалась концепция мирного, неагрессивного характера всей истории германской внешней политики, в частности, политики Бисмарка,—тезис, направленный не только против Антанты, но, отчасти, и против немецкой историографии и публицистики военного периода. «Агрессивные войны, войны из честолюбия, захватнические войны мы никогда не будем вести. Захватничество совершенно чуждо немецкому характеру», — сочувственно цитирует Гамман Бисмарка[2], политика которого рисуется как «борьба за идею», равную «гуманной идее отмены рабства, а, именно, идею принести нацию к единству после многосотлетней разобщенности и растерзанности»[3].

Вся положительная сторона концепции Гаммана выражена в самом заглавии его работы: внешняя политика Бисмарка была понята неправильно, а «то, что, политика императора пошла по новому пути без умной осмотрительности и умеренности Бисмарка, было несчастием для его дела».

Заключительная часть работы Гаммана и посвящена выяснению этих «главных ошибок» в мировой политике последнего германского канцлера. Основным и отправным критерием здесь снова служит, таким образом, интерпретация «правильно понятой» внешней политики Бисмарка. В этой последней выделяются не ее общие черты и постоянные принципы,—«миролюбие», «отсутствие агрессивности»,— ибо, по концепции Гаммана, и в политике «нового курса» эти черты сохранены во всей своей полноте. Воинственность Вильгельма и персональная его ответственность автором решительно отвергается: «Der Weltkriegein namenloses Schicksal». Гамман выделяет основную и конкретную ошибку руководителей внешней политики эпохи «нового курса», недооценивших всего значения и благоприятных особенностей бисмарковской европейской политики и выступавших на широкую и опасную дорогу политики мировой. Однако, центр тяжести гаммановской концепции лежит не столько в вопросе о расширении политического влияния, сколько в вопросе о методах поддержания равновесия, в вопросе об общей ориентации германской внешней политики. И тут-то и лежит, по его мнению, непонимание политического наследства Бисмарка, недооценка и неправильная линия поведения по отношению к «западному флангу Европы». Изоляция Германии среди мировых держав, которая и привела к об'единению всех великих держав против Германии, была бы невозможной, считает Гамман, если бы внук Вильгельма I и его советники столь же долго и столь же серьезно заботились о сближении с Англией, как о сближении с Россией»[4].

С такой оценкой логически связана и характеристика всей линии внешней политики Бисмарка как ориентации на сближение с Англией в целях ее привлечения к системе Тройственного союза. Вильгельмские планы континентального

---

[1] Otto Hammann, Der missvertsandene Bismarck, Berlin 1921.
[2] Ibid., S. 185.
[3] Ibid., S. 23.
[4] Ibid., S. 173.

союза против Англии, по мысли Гаммана, тем и неудачливы, что отступают от бисмарковской политики отрыва Англии от франко-русской комбинации. Борьбу нужно было вести не против Англии, а за нее, и вместе с ней не за Россию, а против восточного соседа (то, что сосед с запада находится во враждебной группировке при всяких условиях,—не требует даже прямого упоминания). Вся эта концепция Гаммана об уроках бисмарковской политики, оценивавшей столкновение с Англией как «вопрос немецкой судьбы»[1], вся эта интерпретация бисмарковской системы союзов как комбинации, искавшей опоры в привлечении Англии и тем самым в исключении России, все это в такой форме—голая схема, лишенная конкретно-исторического содержания, но вполне понятная в условиях того времени, когда она была разработана. Это были годы, когда Америка, от которой Германия после крушения ожидала помощи, вернулась к политике самоизоляции, когда Европа стала ареной англо-французского соперничества, когда, наконец, на развалинах старой России укреплялась Советская Республика. В таких условиях для побежденной Германии, превратившейся в об'ект политики Антанты, проблема внешне-политической ориентации действительно получила актуальное значение. Вокруг этой проблемы разыгралась борьба, исторические оценки были привлечены для поддержания и санкции политической позиции, и характерным проявлением всего этого явилась схема Гаммана о внешне-политической ориентации «непонятого Бисмарка». Следует подчеркнуть, что и сам Гамман свою историческую концепцию вставляет в общий контекст международно-политических отношений, как они сложились тотчас же после заключения Версальского мира. «Америка,—говорит он,—задыхающаяся в богатстве, хладнокровно и без внимания к невыполненным обещаниям Вильсона поворачивается спиной к разрушенной Европе... Япония спокойно рассчитывает и выжидает... говорит ли из Советской Республики голос настоящей России—весьма сомнительно, и во всяком случае настоящий друг притти оттуда не может». И если не считать Италии, где начинает проявляться «несколько более дружественное настроение», то только в Англии, указывает Гамман, у «смертельного врага» «начинает оживать положительное понимание и отвращение к продолжающемуся терзанию бывшего соперника»[2]. В дальнейшем, германской политике, действительно, иногда удавалось получить некоторую поддержку от Англии, которая в длинной серии драматических переговоров по репарационному вопросу временами вынуждена была активно противодействовать реализации французских планов безграничной гегемонии на континенте. Предложенная Гамманом основная характеристика и оценка внешней политики Бисмарка, таким образом, логически сливалась с некой основной тенденцией его внешне-политической программы. Бисмарк остался непонятым, но это не вина Вильгельма, это—его беда, которую послевоенная Германия, дорого расплачиваясь за тяжелую ошибку, должна очевидно исправить,—таков жизненный нерв, связывающий историческую и практическую концепцию Гаммана. Восстановленная традиция «понятого Бисмарка» оказывается оборотной и нераздельной стороной политической схемы. Так исследование сливается с жизнью, так история отвечает на пред'явленные ей запросы, обусловливающие тематическое выдвижение исследовательских проблем.

Надежды Гаммана на Англию в ближайшем будущем не оправдались. Франция получила возможность насильственного захвата Рурской области, и проблема оккупации германской территории получила крайнее политическое заострение. По-

[1] Otto Hammann, Op. cit., S. 182.
[2] Ibid., S. 198.

добно тому, как тезис о виновности Германии за войну привлечен был в качестве морального основания версальского трактата, Раймонд Пуанкаре счел необходимым и теперь создать видимость морального оправдания французского захвата Рурской области: в своих политических выступлениях он обращался к истории, и обличал «бесстыдные маневры» Бисмарка, в свое время оккупировавшего французские департаменты[1]. На политический экскурс Пуанкаре в область истории Германия ответила не только выступлением руководителя ее внешней политики[2], но и разработкой новых материалов в целях освещения вопроса и реабилитации Бисмарка.

Любопытно, что если история франко-прусской войны была разработана в научной литературе как французской, так и немецкой, довольно подробно, то история франко-германских отношений в первые годы после войны 1870 г., особенно в части, касающейся вопросов выполнения Франкфуртского мира (в частности, оккупации французских департаментов), осталась у исследователей в некотором пренебрежении. В свое время, в первой половине семидесятых годов, эти вопросы, по вполне понятным причинам, еще интересовали побежденных французов[3], но и они по настоящему с тех пор к этим темам почти не возвращались[4]. Тем более этот вопрос оставался неосвещенным в немецкой историографии; Германия заинтересовалась историей выполнения Франкфуртского договора тогда, когда ей пришлось выполнять условия Версальского договора, и проблема оккупации во франко-германских отношениях оказалась актуальной исторически потому, что стала актуальной политически. Этого не скрывают и сами немецкие исследователи, задача которых определяется соотношением сил и положением вещей как задача исторически реабилитировать политику Бисмарка по отношению к побежденной Франции и тем самым политически противодействовать мероприятиям Пуанкаре в отношении побежденной Германии. «Очень часто, особенно с французской стороны, делается попытка поставить на одну линию германскую оккупацию Франции в 1871—1873 гг. и оккупацию немецкой Рейнской области с 1918 г.», отмечает Линнебах, автор работы «Германия как победитель в оккупированной Франции». «Одинаковыми были бы эти оккупации только в том случае, если бы державы, занимающие чужую территорию, связывали с этой оккупацией одинаковые политические намерения, если бы договоры, заключенные относительно оккупации, носили бы тождественный характер и если бы сама оккупация проводилась бы в одинаковом духе. Политическое намерение является решающим моментом для всего остального. Оно определяет характер заключаемых договоров, оно определят тот дух, в котором оккупация проводится, а также до мелочей—поведение оккупационных властей и оккупационных отрядов. Во всех этих пунктах оккупация германскими войсками французской территории в 1871—73 гг. отличается от французской оккупации Рейнской области, как светлый день от темной ночи. Иначе вообще быть не может. Два столь различных дерева, как политика Бисмарка и Франкфуртский мир, с одной стороны, и политика Клемансо и Пуанкаре и Версальский договор, с другой стороны, могут приносить не иначе, как только самые различные плоды»[5]. Эта за-

[1] Речь 22 апреля 1923 г. в общине Void и 26 августа 1923 г. в Chancey.

[2] Речь Г. Штреземанна 19 сентября 1923 г.

[3] J. Valfrey, Histoire du traité de Francfort et de la liberation du territoire Français, Paris 1874—1875; A. Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, T. II, Paris 1875.

[4] В 1909 г. появилась работа Gaston May, Le traité de Francfort.

[5] Karl Linnebach, Deutschland als Sieger im besetzten Francreich 1871—1873, Berlin—Leipzig 1924, SS. 24—25.

ключительная тирада обширного введения направляет и тему, и расположение материала, и исторические выводы, и общие оценки, и своеобразный тон работы Линнебаха.

Нет сомнения, что по значению своему и результатам французская политика оккупации Рейнской области и вторжения в Рур несоизмерима с оккупационной политикой Бисмарка. Но тут важна не столько политическая оценка линии Пуанкаре, сколько историческая оценка политики Бисмарка, и если эти два вопроса поставлены рядом, то только в таком противопоставлении, в котором первый момент обратным образом влияет на второй.

И следуя за общим стилем послевоенной немецкой историографии, с ее полемическим оттенком относительно французских точек зрения, Линнебах определяет внешнюю политику Бисмарка как политику, направленную исключительно на поддержание мира, условия Франкфуртского договора как средство установления гарантии для молодой Германской империи от возможного нападения ее западного соседа и исторического соперника, а присоединение Эльзас-Лотарингии, как простое возвращение издревле немецкой территории.

В исследовании всех ближайших результатов Франкфуртского договора Линнебах исходит из аргумента, в свое время официально формулированного даже английским правительством: захват Рура французами является нарушением условий Версальского договора. Отсюда и весь план исследовательской работы, все расположение исторического материала. Линнебах исходит из анализа договорных условий оккупации 1871—73 гг., рассматривает отдельные этапы этой оккупации и заканчивает специальным разделом, посвященным вопросу о размерах материальных тягостей и политического давления, которое Франции в свое время пришлось перенести. Понятно, что по каждому пункту работы в нее врываются и аналогии, и общие политические оценки. Так, чтобы подчеркнуть строго-правовой характер германской оккупации, Линнебах пишет относительно послеверсальской оккупации германской территории: «Произвол, нарушение прав и насилие являются тем знаком, под которым стоит оккупация Рейнской области. Эта оккупация не гарантирует, нет, она устраняет возможность выполнения Германией Версальского договора. Она является действительным продолжением той политики, которая была создана неслыханным нарушением слова и статей версальского договора»[1].

Историческая аналогия служит тут целям политического противопоставления, и это идет так далеко, что Линнебах, доказывая корректность, политическую допустимость и мирный характер оккупационной политики Бисмарка, в противоположность послеверсальской политике Франции, просто механически сравнивает цифры преступлений, совершенных в свое время немцами во французских оккупированных департаментах и войсками Антанты—в Рейнской области. «Эти цифры,—подводит итог Линнебах,—не говорят, нет, они кричат на весь мир, что теперешняя оккупация Рейнской области является возвращением к варварству давно прошедших столетий и что для Франции, на белых и черных солдат которой падает наибольшая часть совершенных преступлений, это является несмываемым позором. Недосягаемо высоко стоит германская оккупационная армия 1871—73 гг. над насильнической французско-бельгийской солдатчиной, которая с конца 1918 г. мучает и терзает рейнское население, а в Рурской области, до которой ей не может быть никакого дела, бессмысленно и преступно выступает против безоружных»[2]. Не только оккупационная политика, но и общая политическая линия Бисмарка по отно-

---

[1] Karl Linnebach, Op. cit. S. 24.

[2] Ibid., S. 196 f.

шению к Франции представляется тут направленной исключительно в мирных целях поддержания Франкфуртского договора, предотвращения французского реванша и возможности европейской войны,—и под этим углом зрения рассматривается и бисмарковская политика дипломатической изоляции Франции. Во всем этом знаменательна не только черта исторического оправдания политики Бисмарка в отношении Франции, не только интерпретация этой политики, как исключительно лойяльной в смысле выполнения Франкфуртского договора и абсолютно мирной в смысле ее конечных целей, но и выдвижение и оценка проблемы образования политических группировок и союзов как бисмарковского метода изолирования Франции и поддержки мирного равновесия европейских сил. В этом отношении весьма характерно, что появившееся вслед за работой Линнебаха и выдержанное в более спокойных тонах исследование Герцфельда по вопросу о франко-германских отношениях в первые годы после заключения Франкфуртского мира[1], также исходит из исторической реабилитации политики Бисмарка, подвергшейся нападкам французской публицистики и, в частности, Пуанкаре, а заканчивает проблемой отношения Бисмарка к превентивной войне.

Следует отметить, что история вопроса о превентивной войне,—так называемой военной тревоге 1875 г.—имеет своеобразную судьбу: не только общие оценки и характеристики, различно акцентированные, но и самый документальный материал, выдвигаются на свет не отвлеченной пытливостью научного познания, а рычагом конкретных и реальных задач, так или иначе связанных с политической злобой дня. Уже политические дела в 1879 г. напомнили о том, что было так скоро широкой публикой забыто—о кризисе франко-германских отношений 1875 г., смягчившемся после англо-русской дипломатической интервенции в Берлине. Во время заключения австро-германского союза оффициальная германская пресса, подчеркивая изоляцию России, неоднократно указывала на то, что неудача русской политики об'ясняется нежеланием воспользоваться поддержкой Германии, и что «ошибки русской политики начались еще с событий 1875 г.». Нет ничего удивительного если Катков[2] сопоставил тогда эти заявления с только что помещенной (в октябре 1879 г.) в «Figaro» статьей Эрнеста Додэ—«Германия и Франция в 1875 г.», которая рассчитана была на сенсацию, а вызывалась целями политической апологии того, кто фактически эту статью инспирировал: вынужденного уйти в отставку французского министра иностранных дел герцога Деказа. Содержание этой статьи и легло в основу схемы позднейшей негерманской литературы вопроса. Тут впервые миссия немецкого дипломата Радовица в Петербурге (февраль 1875 г.) трактовалась как прелюд агрессивных относительно Франции планов германской политики,—планов, неудачно для Германии разрешившихся летом 1875 г. Миссия Радовица впервые определялась, как попытка германской политики купить право нападения на Францию ценой предоставления России свободы действий на Востоке. Подчеркивая, что не военные круги, а сам Бисмарк был инициатором этих планов и руководителем ими определявшейся политической линии, Э. Додэ старался доказать, что только своевременно предпринятые Деказом меры (известная инспирированная статья в «Times», разоблачающая германские планы нападения на Францию, занятия Бельфора и получения 100 миллиардов контрибуции) вместе с соответствующими дипломатическими представлениями в Петербурге и в Лондоне, предупредили надви-

[1] Hans Herzfeld, Deutschland und das geschlagene Frankreich 1871—1873, Berlin 1924.

[2] М. Н. Катков, Собрание передовых статей «Московских ведомостей» 1879 г. № 2 48а, Москва 1898.

нувшуюся на Францию опасность[1]. И нужно было разразиться в конце 1886 г. франко-германскому «кризису Буланже», чтобы осветить свой собственный прообраз—франко-германский кризис 1875 г.— новыми политически сенсационными документами, опубликованными бывшим французским послом в Петербурге—генералом Лефло[2]. Сделанные им сообщения фактически обосновали и детализировали общие замечания Э. Додэ и оказались не только политической сенсацией дня, но и установкой той традиции в группировке фактов и в общей оценке, которая, так или иначе модифицируясь, была в дальнейшем усвоена французской соответствующей мемуарной и исследовательской литературой. И не случайно дальнейшая литературная разработка этой установленной во Франции традиции совпала с установкой, а затем и реализацией другой традиции: финансовой зависимости России от Франции, политически скрепленной франко-русским союзом. Именно в это время, в поисках исторических прецедентов, устанавливающихся франко-русских политических отношений, французская историография приняла—и усиленно стала разрабатывать схему, факты и оценки, приведенные Лефло, а франко-германский кризис 1875 г. стала рассматривать как один из этапов на пути к франко-русскому союзу[3]. Достойна особого внимания та своеобразная логика в смене оценок и в развитии историографии франко-германского кризиса 1875 г., которая вскрывается в двух основных моментах: реализация русских займов во Франции, сопутствуемая разработкой утвержденной генералом Лефло исторической традиции, и германские платежи репараций, сопуствуемые исследовательской апелляцией к истории. Именно эти два комплекса явлений оказываются стержневыми не только с точки зрения исторической связи политических событий, но с точки зрения противоположности своих историографических оценок и выводов. Ведь, единственное существующее в немецкой литературе освещение кризиса 1875 г., сделанное в стиле французской исторической традиции, об'ясняется только тем, что автор[4] принадлежал к лагерю политических и личных врагов Бисмарка[5]. Вообще же позиция немецкой историографии в данном вопросе оформлялась в полемическом плане, в борьбе против французского материала политических разоблачений.

Конфигурация держав в мировой схватке снова вызвала свой прообраз из тени прошлого и заставила историка оживить эту тень, дать ей соответствующее освещение. Забытый кризис франко-германских отношений 1875 г. снова стал предметом изучения и всестороннего освещения: вернее, впрочем, сказать—двустороннего, ибо как-раз в этом и сказывается дань времени. Каково это освещение, можно понять, если предварительно вспомнить, что Бисмарк в своих мемуарах придавал этому кризису чисто-личный характер: несколько страниц, пропитанных зло-

[1] Ernest Daudet, Souvenirs de la Présidence du Marechal de Mac Mahon, 1880.

[2] Gènèral Le Flô, L'Empereur Alexandre II et la France en 1875, «Figaro» 21 Mai 1887. Перепечатано в «Das Staatsarchiv», B. 48, № 9480.

[3] Статья Kératry, «Figaro» 1892. Florens, Alexandre III. Sa vie et son l'oeuvre. Paris 1894, p. 298—305. Ernest Daudet, Histoire diplomatique de l'alliance franco-russe 1873—1893, Paris 1894, Chap. III. Benedetti, Essais diplomatique 1895. De-Broglie, «La Mission de M-r de Gauntout-Biron, Berlin», Paris 1896. V. Gorloff, Les origines et les bases de l'alliance franco-russe, p. 289.

[4] Henrich Geffcken, Frankreich, Russland und der Dreibund, Berlin 1893. S. 86—96.

[5] Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria von Radowitz. Herausg. von Hajo Holborn. Bd. I, Leipzig und Berlin 1925, S. 324.

бой и досадой, рисуют «тщеславного, суетного и лживого» руководителя русской политики кн. Горчакова, желавшего прослыть «ангелом мира», вместе с французским послом в Берлине Гонтф-Бироном, как основных авторов всех тех дипломатических интриг, которые привели к ненужному и раздутому инциденту 1875 г.[1]. Как инцидент, дальнее дипломатическое эхо давно утихших франко-германских сражений,—эхо, имеющее некоторый исторический интерес, но не имевшее значительных политических последствий, так оценивал «военную тревогу 1875 г.» и Плен, интересная работа которого появилась в 1920 г., но фактически была написана раньше, еще в условиях доверсальских настроений[2]. Но американский историк Кулидж, приступив к изучению истории Тройственного союза, уделил много внимания тому, что раньше считалось лишь очередным дипломатическим инцидентом, и признал за ним бо́льшую историческую значительность, и так характеризовал соответствующие страницы «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка: «Это звучит, быть может, смело, но все-таки не будет преувеличением сказать, что едва ли хотя бы одно положение этого приковывающего внимание и убеждающего рассказа может считаться неопровергнутым или неложным». Ученик Кулиджа, помимо воли своей, несколько смягчил оценку своего учителя ссылкой на вынужденность, об'ективную необходимость для Германии в 1875 г. предотвратить напор Франции[3]. Третий американский исследователь Сеймур, не кидая прямо утверждения о виновности Германии за войну, характеризует однако германскую политику как фактор, в условиях пассивности других держав, активный, а роль Германии в 1875 г., как первую по замыслу, характерную по выполнению, но не совсем удачную по непосредственным результатам попытку в дальнейшем нарастающе-наступательного движения. Такой характеристики и оценки оказалось совершенно достаточно, чтобы во Франции работу Сеймура поспешили сочувственно перевести[4]. Характерно, что глава, касающаяся кризиса 1875 г. в старой работе Анното[5], своими осторожными формулировками политики и личной позиции Бисмарка заслужила положительную оценку даже немецких историков. Хотя и передавал обычную, «французскую» точку зрения, но все же был достаточно сдержан и Маттер[6]. Для австрийского биографа графа Андраши кризис 1875 г. это—первая трещина в союзе трех императоров на пути к абсолютной политической ценности — австро-германскому союзу[7].

Но война заострила не только перья, хочется сказать—копья, исследователей, но и память. Снова встал вопрос о военной тревоге 1875 г., но уже в другой связи. Национальный акцент стал более резок, а оценки менее гибки.

Новейшая германская историография вопроса, неизбежно подчеркивая миролюбие Вильгельма I, характеризует политику Бисмарка как мощную политику мира и рассматривает кризис 1875 г. как одно из звеньев в общей цепи окру-

---

[1] Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Stuttgart und Berlin 1922, Bd. II. SS. 198—205, 266—268.

[2] Hans Plehn, Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung, München und Berlin 1920, S. 55.

[3] Fuller, The war Scar of 1875. «American Historical Review» 1919.

[4] Charles Seymour, Les antececdents de la guerre. Trad. de l'anglais par Eugene Roiga, Paris 1919, pp. 37—41.

[5] G. Hanotaux, Histoire de la France contemporaine, T. III, Ch. IV.

[6] Paul Matter, Bismarck et son temps, Paris 1906, T. III, p. 391.

[7] E. Wertheimer, Graf Julius Andrassy, Bd. II, 1913, S. 247.

жения Германии[1]. В англо-русской дипломатической интервенции в защиту Франции (лето 1875 г.) усматривается зародыш будущей мировой схватки или, во всяком случае, завязки франко-англо-русских отношений, которые, изолировав державы Центральной Европы, потрясли мир[2]. Франко-германский кризис 1875 г., вызвавший временное смягчение англо-русских противоречий, имеет для немецкого исследователя уже то большое значение, что, являясь прообразом впоследствии реализованного «кошмара коалиций», оправдывает внешнюю политику Бисмарка и обнаруживает ее исключительную дальновидность. Любопытно, что и английский исследователь начал изложение вопроса о происхождении мировой войны именно с рассмотрения кризиса 1875 г., категорически утверждая при этом, что поведение Германии уже в то время было воистину угрожающим делу европейского мира[3]. Это заявление, сделанное вскоре после начала войны, было конечно аналогией не только исторической, но и политической. О позиции американских исследователей говорилось выше. Но, быть-может, никто так хорошо не вскрывает роль преобладающей аналогии, внутренне—конструирующей зависимости между определенными политические интересам текущего дня, схемами научных построений и общими историческими оценками, как Раймонд Пуанкаре. «Действительно,—пишет он,—уже в то время обозначились первые штрихи той политики, в результате которой создалось тройственное соглашение, и когда мы слышим сетования Германии на то, что Англия, Россия и Франция заранее согласились, чтобы создать окружение Германии, мы должны вспомнить, что причиной этого были угрозы со стороны Бисмарка, которые в первый раз в 1875 году побудили эти три державы об'единиться, в целях поддержания мира»[4]. Так. в исторической оценке кризиса 1875 г. сталкиваются политические мотивы победителей и побежденных.

Может показаться странным, что в германской историографии шла ожесточенная дискуссия по такому сравнительно детальному вопросу, всплывшему в связи с изучением пресловутой военной тревоги, как миссия Лотара Бухера в Лондон. В старой научной литературе и даже у Плена об этом эпизоде ничего не упоминается, и только мемуары Эккардштейна, бывшего советника германского посольства в Лондоне, заключали в себе документ, относящийся к 14 апреля 1898 г., на основании которого была выдвинута версия о том, что еще в самом конце 1875 г. Бисмарк отправил Лотара Бухера в Лондон со специальной секретной миссией искать путей к заключению англо-германского союза[5]. В своем месте, анализируя политическую и дипломатическую ситуацию половины семидесятых годов, мы, считая самый факт лондонской миссии Бухера возможным, выражали однако сильное сомнение относительно того, чтобы миссия эта имела своей задачей заключение союза между Англией и Германией в целях интенсивной колониальной политики обеих стран. «Скорее, писали мы, тут могло быть очередное дипломатическое зондирование возможности некоторого сближения с Англией,—политика, необходимость которой Бисмарк программно формулировал еще накануне Лондон-

[1] O. Becker, Bismarck und die Einkreisung Deutschlands. Erster Teil, Bismarkes Bündnisspolitik, Berlin 1923, S. 10.

[2] Hans Herzfeld, Die deutsch-französische Kriegsgefahr von 1875, Forschungen und Dortsellungen aus dem Reichsarchiv, Berlin 1922, S. 2.

[3] J. Holland Rose, The Origines of the War. Lecturs, Cambrigde, 1915.

[4] Р. Пуанкаре, Происхождение мировой войны. Перевод А. Ф. Сперанского с предисловием И. Н. Бородина, Москва 24, стр. 59.

[5] H. F. v. Eckardstein, Lebenserinnerungen und politische Denkwürdigkeiten, Leipzig 1919—1921, Bd. I, S. 296 ff. Bd. II. S. 120 f.

ской конференции и которая пока не удавалась отнюдь не по его вине»[1]. Весь этот эпизод, вообще говоря, довольно вероятный, приходится рассматривать в общем контексте сложившихся в тот момент международно-политических отношений, в частности, англо-русских отношений, как очередной маневр «сближением с одной из сторон приобретать сближение с другой стороной». И если оценка лондонской миссии Бухера, фактическая реальность, которой, к тому же, подвергается сомнениям, все же оказалась предметом сравнительно большой и весьма ожесточенной дискуссии в германской историографии, то это потому, что с этим вопросом обычно связываются проблемы более значительного масштаба и имеющие для бисмаркианства принципиальное значение. Эти проблемы очень хорошо обозначил швейцарский исследователь Нэф в самом тематическом дроблении своей работы[2]: 1) Бисмарк и Франция (сюда включен и вопрос о военной тревоге 1875 г.); 2) построение бисмарковской системы союзов; 3) колониальная политика и отношение к Англии; 4) кризис и крушение бисмарковской системы союзов. В самом деле, поскольку, с точки зрения германской историографии, весной 1875 г. вскрылась брешь в бисмарковской политике изоляции Франции, поскольку англо-русская дипломатическая интервенция в Берлине может рассматриваться как угрожающий прообраз будущей международно-политической расстановки сил,—рассмотрение и оценка миссии Бухера приобретает особое значение, упираясь в вопрос о бисмарковской системе политических союзов. По существу, в своей самой общей форме, это—вопрос об ориентации внешней политике Бисмарка. Любопытно, что самое слово «ориентация», столь ходкое в германской политике после заключения Рапальского договора, во всем своем специфическом значении, приобрело в германской исторической литературе полную гражданственность. Но еще любопытнее другое—дискуссия вокруг вопроса о внешне-политической ориентации Бисмарка: была ли эта ориентация односторонне—«английская» или «восточная» или какая-либо иная? Неудивительно, что сообщение Эккардштейна о столь ранней попытке Бисмарка заключить союз с Англией сделалось в соответствующем контексте полем для значительной борьбы различных исторических концепций. Голая схема Гаммана относительно английской ориентации политики Бисмарка стала подкрепляться привлечением документального материала. Наиболее подробное и исторически разработанное обоснование тезиса об английской ориентации Бисмарка дал Феликс Рахфаль, считающий, что уже в 1875 г. германский канцлер «был готов... выбросить за борт старую дружбу с Россией и заключить союз с Англией,—союз, направленный, естественно, против России и возможной франко-русской комбинации»[3]. И это не простое констатирование мелкого эпизодического факта, а одно из многозначительных указаний в обрисовке общего направления внешней политики Бисмарка. Решительный поворот Бисмарка в сторону Англии Рахфаль наделяет эпитетом «гениальности» и «непревзойдимости в величьи», и этим определяется все содержание столь же громоздкой, столь и скучной книги немецкого историка. Преобладающее место Англии в построяемой Бисмарком системе союзов—эта проблема представляется Рахфалю столь значительной и актуальной, что он счел нужным посвятить этому вопросу специальную работу, в которой следующим образом формулирует свои основные выводы: «С тех пор, как он (Бисмарк—*А. Е.*)

[1] А. Ерусалимский, Военная тревога 1875 года, «Ученые записки Института истории», Т. I, М. 1928, с. 183.

[2] W. Näf, Bismarcks Aussenpolitik 1871—1890, St. Gallen, 1924.

[3] Felix Rachfahl, Deutschland und die Weltpolitik 1871—1914, Bd. I, Die Bismarcksche Aera, Stuttgart, 1923, S. 84.

в случае новой франко-германской войны не мог определенно рассчитывать на большее, нежели благожелательный нейтралитет России, с тех пор, как он увидел возрастающую для русско-германских отношений опасность восточного кризиса, начиная с первого его проявления и обратного действия на австро-русские отношения на Балканах, и понял увеличивающуюся необходимость выбора между обоими восточными соседями, ему представился англо-германский оборонительный союз, направленный против России и прежде всего против Франции, как идеальнейшее и наиболее радикальное средство, гарантирующее безопасность Германии, а также результаты побед 1870—71 гг.»[1].

Но Рахфаль не скрывает и того, что историческая проблема англо-германского союза выдвигается потому, что является актуальной в политическом смысле: «современность черпает отсюда указания для будущего»[2]. Эта современность к тому времени, когда сложилась работа Рахфаля, сводилась к попытке германской политики выйти из Версальского тупика, созданного англо-французской супрематией. В поисках этого выхода официальная политика Германии не без сильного колебания сделала решительный шаг—заключила в 1922 г. Раппальский договор. Германия вынуждена была встать на путь так называемый «восточной ориентации», и в этой связи стоит упомянуть, что заключенный впоследствии в противовес локарнским соглашениям советско-германский договор о нейтралитете—с трибуны рейхстага назывался возрождением бисмарковского договора о перестраховке. Но Рахфаль, очевидно, стоял в оппозиции к этим новым, обращенным на Восток, тенденциям германской политики. Его политические надежды были, очевидно, направлены в сторону Англии и подкреплялись, по его выражению, «историческим опытом». Правда, этот опыт страдал большой дозой своеобразного волюнтаризма: желаемое тут представлялось как должное,—и в этом проявляется генетическая связь между политической и исторической концепцией Рахфаля: восстановление «спокойствия и мира в истерзанной Европе» возможно, по его мнению, «только на основе свободы и права для всех ее наций», т. е., по существу, в первую очередь на основе восстановления политического значения Германии. «И как бы ни было печально и ужасно то, что принесли с собой последние годы — заключает Рахфаль,—теперь разрешена проблема, составлявшая главную заботу Бисмарка и конечный источник всех тех затруднений, которые стесняли его и принуждали к непрерывной, лихорадочной деятельности, — а именно: восточный вопрос в его старой форме, заставлявший Бисмарка заступаться за аморфное и расшатанное в своих основах государственное образование, пред'являющее, однако, претензии великой державы,—против колосса, который, подобно Молоху, протягивал свои руки и на Юг, и на Восток, и даже на Запад»[3]. Но подобно тому, как эта англофильская в историческом смысле концепция Рахфаля противоречила фактам, односторонность его англофильской политической ориентации стояла в противоречии с политикой балансирования между Востоком и Западом, столь характерной для Германии последних лет. Неудивительно, в таких условиях, что концепция Рахфаля подвергалась резкой критике. Особенно настойчив в этой критике был Отто Беккер, который направил острие своих незаурядных полемических способностей именно против утверждений Рахфаля о том, что Бисмарк уже с семидесятых годов считал свою игру с Россией проигранной и искал возможности реализовать свое одно-

[1] Felix Rachfahl, Bismarks Englische Bündnispolitik, Freiburg B. 1922, S. 22 f.

[2] Ibid., S. 26.

[3] Ibid., SS. 26—27.

стороннее, направленное против России, сближение с Англией. Беккер вообще считает невозможным говорить о какой-либо односторонней ориентации бисмарковской политики, будь-то ориентация на Восток или на Запад[1], и изображает эту политику как закономерно развивающуюся цепь виртуозных маневров, мастерского балансирования между Россией и Англией. «Такой союз, какого хотела Англия,—пишет Беккер,—должен был сделать Германию зависимой от Англии так же, как союз, какого хотела Россия, поставил бы Германию в зависимость от России. Подобную зависимость Бисмарк хотел предотвращать до тех пор, пока это было возможно. Для этой цели служило ему сочетание союза с Австрией и Италией, договора о перестраховке с Россией и дружбы с Англией. На тот случай, если бы Россия, ее народ, так же, как и правительство, превратились бы в смертельных врагов Германии и союзников французской мести, он предпочитал лучше связать себя союзом с Англией и, если бы это оказалось неизбежным, предпринять войну на стороне Англии, нежели допустить полное окружение Германии». «Ибо, заключает Беккер, войну не предотвращают только тем, что ее не хотят, и даже пацифисту должно быть более приемлемо (lieber seien) вести войну в союзе вчетвером против троих, чем в союзе вдвоем против троих или четверых»[2].

В свете этих соображений делается понятным и то, что Беккер дает отрицательный ответ на вопрос о лондонской миссии Бухера, и то, что он весьма сдержанно, а по сравнению с Рахфалем и весьма критические оценивает лондонское зондирование Бисмарка во второй половине восьмидесятых годов. Но гораздо важнее иное — основная тенденция построений Беккера, и в этом отношении характерно то ограничительное содержание, которое вкладывается им, при анализе бисмарковской политики балансирования, в понятия «Восток» и «Запад»: под первым понимается Россия, под вторым—Англия,—Австро-Венгрия как величина положительная, и Франция как величина отрицательная в бисмарковской системе союзов заранее выводятся за соответствующие скобки. И с этим логически связано то значение, которое устанавливается Беккером для Австрии и Франции в общей системе бисмарковской политики союзов. Союз Германии с Австро-Венгрией рассматривается как явление органически-неизбежное, однако, не направленное против России. Беккер склонен даже видеть роль Германии эпохи Бисмарка в поддержании равновесия австро-русских отношений,—явный след влияния мемуаров первого германского канцлера. Основное внимание Беккера перемещается от австро-русско-германского треугольника к англо-русско-германским отношениям, в фокусе которых ставится Франция. И если заострить основную точку зрения Беккера, абстрагируясь от многообразия приведенного в работах конкретного материала, ее можно будет выразить следующим образом: Бисмарку была чужда политика односторонней ориентации, и если он все же в самых крайних случаях готов был итти на союз с Англией, то только на такой союз, который был бы направлен не против России, но исключительно против Франции. Таким образом, та принципиальная грань в основных точках зрения, которую пытается установить Беккер, полемизируя с Рахфалем, в конечном счете не так уже непроходима. Оба немецких исследователя пытаются конструировать некую руководящую идею всей внешнеполитической практики Бисмарка. Рахфаль этой основной идеей считает англофильство канцлера, Беккер видит ее в политике балансирования. И вся разница в том,

---

[1] Otto Becker, Bismark und die Einkreisung Deutschlands, Zweiter Teil, Das Französisch-russische Bündniss, Berlin 1925, S. 264.

[2] Otto Becker. Bismarks únd die Einkreisung Deutschlands, Erster Teil. Bismarcks Bündnisspolitik, Berlin 1923, S. 149.

что первый в бисмарковских попытках установить союзные отношения с Лондоном усматривает реализацию этой идеи, а второй—навязанное об'ективным ходом вещей отклонение от нее. Однако, как это ни странно, в этом производном и смягченном различии между основными точками зрения немецких исследователей заложена более глубокая пропасть, нежели та, которая вырыта полемикой этих исследователей, старавшихся четко обозначить свои позиции.

Дело в том, что контроверза об односторонней ориентации и политике балансирования осложнилась другой, не менее актуальной, но более примечательной проблемой: являлись ли попытки сближения с Англией направленными против России или против Франции? Нужды нет, что употребляемые понятия «Восток» и «Запад» в таких условиях вовсе не покрывают предполагаемого реального содержания,—все это не более, как влияние той терминологии, которая укоренилась в прессе и политической публицистике последних лет. Гораздо важнее иное—исходная и конечная оценка политической системы Бисмарка, а в связи с этим—определенное понимание актуальности данной исторической проблемы. Беккер, у которого все это выступает не менее явно, нежели у Рахфаля, исходит из представления о том, что история Бисмарка находит свой конец только в крушении политической системы ее создателя. Система эта возводится Беккером на известный пьедестал, падением с которого изображается вся политика «нового курса», политика «теоретизирующего» Гольштейна. В виртуозной политике союзов, в маневрах на сближение,—вот в чем видит Беккер основной элемент бисмарковских успехов,—элемент, отсутствующий у деятелей вильгельмовской эры. В частности, и это весьма характерно, Беккер особенно обвиняет руководителей «нового курса» в недооценке значения русско-германских отношений,—значения, еще более возросшего после заключения франко-русского союза. Все это стоит в полном соответствии с его общим пониманием основных задач германской политики: острие должно быть направлено исключительно против Франции. Следует оставить в стороне вопрос о том, насколько разработка этих проблем, в «форме психологически развивающегося повествования»[1], выдерживает критику с точки зрения методологической; в данном случае интересна другая сторона дела, более отчетливо выступающая в свете той общей исторической концепции Рахфаля, политическая актуальность которой выяснена была самим автором. Центр тяжести в концепции полемизирующего Беккера лежит не в том или, вернее, не только в том абсолютном значении, которое придается германской политике балансирования между Востоком и Западом, т. е. между Россией и Англией, но и в том, что подчеркивается антифранцузское заострение политической системы, построенной на этом балансировании. Вся актуальность подобной постановки вопроса становится ясной, если принять во внимание, что изменение экономических отношений после Бисмарка для Беккера отступает на задний план по сравнению с той ролью, которую играет международно-политическая система. Политика по возможности одновременного сближения с «Востоком» и «Западом», а в крайнем случае политика сближения только с Англией, но направленного не против «Востока», а против Франции,—эта характеристика бисмарковской системы, взятая в плане абсолютной, над'исторической оценки, превращается в практический рецепт.

Система «двойной перестраховки»—заключение русско-германского «договора с двойным дном» и построение средиземноморской Антанты в условиях Трой-

---

[1] O t t o B e c k e r, Bismarck und die Einkreisung Deutschlands, Zweiter Teil, Das französisch-rüssische Bündniss, S. XII.

ственного союза—в германской историографии обычно признается вершиной политического творчества железного канцлера. В соответствии со своей общей тенденцией—представить политику Бисмарка изначально направленной на союз с Англией против России—Рахфаль, ссылаясь на бисмарковскую сдержанность в болгарском вопросе 1887 г. и на роль германской политики в образовании средиземноморской Антанты, указывает на внутреннюю бессодержательность русско-германского договора «с двойным дном»[1], а в последнем бисмарковском предложении - англо-германском союзе (11 января 1889 г.)—усматривает вполне закономерную, в логическом и политическом смысле, попытку самого Бисмарка порвать этот русско-германский перестраховочный договор[2]. К этой же оценке основной линии внешней политики Бисмарка примыкает и Борнгак, считающий несовместимым договор о перестраховке с бисмарковской акцией в Лондоне относительно заключения англо-германского союза, «ибо,—аргументирует он,—ценность этого договора именно и заключалась для Германии в невозможности франко-русского союза, а для России в невозможности англо-германского союза»[3]. Фактически к этому же строю взглядов примыкает и работа Таубе[4] и, в несколько более осторожной форме, работа Рааба. «Если рассматривать его с точки зрения длительности,—пишет Рааб,—перестраховочный договор является лишь вспомогательным построением, но ни в коем случае, не союзом или чем-либо подобным, имеющим в каком-нибудь смысле значение для будущего»[5]. Но уже у этого исследователя есть некоторые положения, и при том большого значения, которые отрывают его от концепции Рахфаля и более сближают с противоположными точками зрения Беккера: мы имеем в виду его оценку предложения англо-германского союза (письмо Бисмарка лорду Сольсбери от 22 ноября 1887 г.) как направленного против Франции. Россия в этой связи не упоминается, и вопрос об «анти-восточной» тенденции в политике Бисмарка берется, следовательно, под некоторое сомнение, и тем самым подтверждается версия о балансировании внешней политики Бисмарка между Востоком и Западом. И если бисмарковская система «двойной перестраховки»—заключением русско-германского договора и образованием средиземноморской Антанты—рассматривается, как метод изоляции Франции для смягчения назревшего военного кризиса[6], то с другой стороны, эта система рассматривается как метод смягчения англо-русских противоречий в вопросе о проливах[7]. Насколько все это, особенно последнее, соответствует действительности- вопрос другой, и, если это несоответствие все же имеет место, то оно только резче подчеркивает основной смысл данной исторической концепции: представить бисмарковскую по-

---

[1] Felix Rachfahl, Der Rückversichrungsvertrag, der «Balkandreibund» und das englische Bündnisangebot Bismarks an England vom Jahre 1887, «Weltwirtschaftliches Archiv», Bd. 16, H. 1, S. 63.

[2] Felix Rachfahl, Deutschland und die Weltpolitik, Bd. 1, S. 796.

[3] Conrad Bornhak, Im neuen Reiche, Berlin 1924, S. 185.

[4] Alexander von Taube, Fürst Bismark zwischen England und Russland, Stuttgart 1923.

[5] Raab, Der Deutsch-russische Rückversicherungsvertrag in dem System der Bismarkschen Politik vornehmlich des Jahres 1887, Wetzlar 1923, S. 92.

[6] Trützschler v. Folkenstein, Bismark und die Kriegsgefahr des Jahres 1887, Berlin 1924.

[7] Richard Frankenberg, Die Nichterverneruug des deutsch-russischen Rückversicherungsvertrages, Berlin 1927.

литику балансирования между Востоком и Западом, т. е. между Россией и Англией, как некую генеральную линию, гарантирующую мощь Германской империи и укрепляющую дело европейского мира.

Вся эта дискуссия имеет интерес гораздо более широкий, нежели специально историографический. Исторические и политические концепции Рахфаля и Беккера являются теми полярными точками, к которым примыкают остальные построения богатой германской литературы вопроса. Но как бы ни были различны эти построения в смысле изображения и интерпретации бисмарковской системы союзов, все они об'единены одной общей идеей—представить бисмарковскую политику абсолютно ценной и тем самым общезначимой. Недаром одни обвиняют политику «нового курса» в том, что она невозобновлением русско-германского договора отказалась от одновременной ориентации на Восток и на Запад, а другие упрекают в том, что она не продолжала бисмарковской линии на заключение англо-германского союза. Вопрос идет не только об исторической реабилитации, но и о политическом утверждении так или иначе понимаемой внешней политики Бисмарка. Этой цели и служат обычно попытки интерпретировать позднейшие построения бисмарковской политики, и в этой связи становится понятной и настойчивость Рахфаля в поисках наиболее ранних выступлений Бисмарка в пользу союза с Англией, и противоположная тенденция Гольборна, предпринявшего специальное исследование для доказательства следующего тезиса: «Мысль о «двойной перестраховке», которую Бисмарк реализовал в 1887 г. в очень изменившихся обстоятельствах и в совершенно иной форме, была у него в зародыше уже в начале семидесятых годов. Из этого не следует делать вывода, что он уже в те годы сомневался в России, он хотел этим лишь увеличить для Германии свободу движения»[1]. Политика «свободы движения» провозглашается, таким образом, общим принципом всей бисмарковской эпохи и тем самым превращается как бы в основное положение того политического завещания, историческая оценка которого связана с политическими устремлениями, а исследовательский анализ отражает в себе определенную практическую программу. Все это, достаточно явно выступающее с самого начала, формулирует в другом месте тот же Гольборн. Сравнивая современное положение Германии и Европы с тем, какое было во время Берлинского конгресса, гайдельбергский исследователь настаивает на том, что бисмарковская политика еще многое может сказать и практическому деятелю сегодняшнего дня: «Мы ни в коей мере не должны сомневаться в том,—пишет Гольборн, что так же, как в бисмарковскую эпоху, еще долгое время западная проблема будет стоять для Германии на переднем плане. Но именно напор западных держав заставляет нас... не допускать, того, чтобы мы были использованы против России. С другой стороны, мы научены опытом, что Советское государство, так же, как и царизм стоит под опасностью компрометации внешнего разума внутренне-политическими соображениями маневрами. Не только наша западная, но и восточная политика еще недостаточно сильна, чтобы защитить наше промежуточное положение от всякого нажима и обеспечить нам осуществление той европейской миссии, к которой мы призваны самой природой и историей. Это только тогда случится, когда нам удастся использовать для европейского равновесия в новой федерации юго-восток и средний восток Европы. Политика, которая признает эту задачу и примет ее во внимание, могла бы поставить себе в заслугу, то, что она является много-

---

[1] Hajo Holborn, Bismarcks europäische Politik zu Beginn der siebziger Jahre und die Mission Radowik, Berlin 1925, S. 31.

обещающим продолжением и развитием традиции политического искусства Бисмарка»[1].

Если принять во внимание, что, говоря о компрометации внешней политики Советского Союза внутренне-политическими маневрами, Гольборн, как он нам это прямо заявил, имел в виду не что иное, как шахтинский процесс, то можно будет со всей определенностью сказать, что связь между историческим построением и политическим выступлением тут достигла формы, непревзойденной по своей выразительности. Обращение к бисмарковской традиции сам исследователь трактует как политическую проблему. Но в данном случае мы имеем перед собой и нечто новое: Гольборн говорит не только о бисмарковской политике балансирования между Востоком и Западом, но и о необходимости искать опору на «юге-востоке и в среднем востоке Европы». Тут имеется в виду, конечно, Польша, играющая значительную роль в том, что Германии приходится стоять и лицом к Востоку, т. е. к Советскому Союзу. Но кроме того тут имеются в виду Балканы, где за последние годы Германия, действительно, усилила свои позиции. В этом отношении любопытна тенденция усмотреть мудрость бисмарковской политики в том, что, проводя, свое влияние, например, в Турции, эта политика действовала самостоятельно, не оглядываясь на степень экономической заинтересованности[2]. Такая тенденция еще более отчетливо и симптоматично выступает в той дискуссии, которая протекает в германской научной литературе по вопросу о времени первоначального вступления бисмарковской политики на путь преследования колониальных интересов. По существу, дело сводится к вопросу о том, следует ли отнести интерес Бисмарка к колониальной политике к половине семидесятых годов (пресловутая лондонская миссия Бухера) или к половине восьмидесятых, но за этой академической дискуссией о хронологии нетрудно рассмотреть основные политические линии, намечающиеся в современной Германии в связи с оживившимся колониальным движением. Вопрос теперь ставится так: следует ли приступить к колониальной политике лишь тогда, когда появятся для этого реальные экономические предпосылки, или следует признать эту политику имеющей самостоятельное значение, вне зависимости от экономической заинтересованности, но принимая во внимание общую систему мировых отношений. Эта расстановка точек зрения самым непосредственным образом отразилась и в вопросе о хронологической дате появления у Бисмарка практического интереса к колониальной политике: в семидесятые годы Германия конечно не имела никаких экономических предпосылок к активной колониальной деятельности. А какое значение имеет вопрос о том, вступил ли Бисмарк на путь колониальной политики тогда, когда Германия была в этом экономически заинтересована, или тогда, когда никаких интересов этого порядка у нее не было, легко можно понять, если вспомнить, какую роль в обосновании политических устремлений сегодняшнего дня играет апелляция к исторической традиции Бисмарка. И еще одна любопытная черта, не случайно совпадающая в исторической характеристике колониальной деятельности Бисмарка и в публицистике современной Германии: в обоих случаях выставляется тезис о неимпериалистическом характере германской колониальной политики[3].

---

[1] Hajo Holborn, Deutschland und Europa heute wie vor 50 Jahren. Zur Erinnerung an den Berliner Kongress vom 1878, «Vossische Zeitung», № 140, 13 Juni 1928. (Разрядка автора.)

[2] H. Holborn, Deutschland und die Turkei 1878—1890.

[3] Maximilian von Hagen, Bismarcks Kolonialpolitik, Stuttgart—Gotha, 1923. Hans Zache, Imperialismus und Kolonialpolitik, 1928.

А это поднимает вопрос на более высокую ступень, связывая его с вопросом, имеющим глубокое принципиальное значение, о том, была ли бисмарковская политика «мировой» (Weltpolitik) или центр ее тяжести лежал в континентальной системе союзов. Но в оценке этой проблемы хронологическая грань стирается, бисмарковская эпоха рассматривается в связи с политикой «нового курса»,—и все это приводит к некоему приговору по вопросу о виновниках и с х о д а войны. Историческая проблема внешней политики приобретает первостепенное значение с точки зрения внутренней политики, тем самым отражая в себе влияние этой последней. Влияние это идет иногда непосредственно, но обычно извилистыми путями, и при рассмотрении сложного рисунка исторических построений по вопросам внешней политики Бисмарка не следует упускать из виду роль той или иной схемы, появление которой конечно в свою очередь, имеет свои реальные корни. В частности, большую роль в развитии послевоенной германской историографии сыграло появление такого материала, как мемуары Тирпитца, Эккардштейна, Лихновского. Оценка вильгельмовской политики неизменно и неизбежно сказывалась и на оценке политики Бисмарка. Не входя в специальный анализ этих оценок, можно сказать, что все они, несмотря на их внутреннее различие, сводятся к одному—к поискам виновников исхода германской катастрофы. В этом смысле и подобный материал, влияние которого определяет и усложняет исследовательские схемы, укладывается в контекст германской историографии, отражающей в себе общие процессы германской политической жизни.

Перед лицом выставленного Антантой тезиса, имеющего актуальное внешнеполитическое значение, о виновности Германии за возникновние войны, вся германская буржуазная историография выступает единой, сплоченной линией, доказывая обратное и, в частности, абсолютно мирный характер бисмарковской политической системы. Но вместе с тем ставится вопрос об ответственности за и с х о д войны, разрешение которого имеет большое внутренне-политическое значение. Сопоставление исторической литературы, посвященной эпохе Бисмарка и эпохе Вильгельма, могло бы показать, что и тут исторические оценки определяются политическими суждениями. Но какова бы ни была оценка вильгельмовской эпохи, характеристика бисмарковской политики как абсолютно-положительной, является для всей буржуазной германской историографии моментом исходным и основным. Поскольку это так,—бисмарковская традиция имеет значение, выходящее за пределы данного хронологического отрезка,—так изучение истории оказывается оборотной стороной политической апелляции. Именно тут и заложены предпосылки не только актуализации той или иной исторической проблемы, касающейся внешней политики Бисмарка, но и ее постановки и разрешения. Внешне-политически перед версальским тезисом о виновности германская историография выступает сплоченным фронтом, но в анализе системы бисмарковской политики единая цепь разрывается, и появляются различные группировки. Неудивительно, что в группировках этих решающую роль играет проблема внешне-политической ориентации, проблема, значение которой для послевоенной Германии все более возрастает. Борьба отдельных социально-политических группировок по вопросу об общей ориентации германской политики не прекращается. Известно, что некоторая часть банковского капитала в союзе с некоторыми наиболее реакционными военными кругами и политическими представителями отдельных отраслей индустрии требует проведения безоговорочной ориентации на Англию, но встречает мощное противодействие со стороны монополистического капитала, считающего более выгодным проводить политику балансирования между Востоком и Западом. В таких условиях проблемы, поставленные германской историографией,

занимают соответствующее политическое место, и дискуссия по поводу этих исторических проблем является выражением борьбы социально-экономических сил за ту или иную внешне-политическую линию Германии. Это влияние расстановки внутренне-политических сил на историческую оценку вопросов внешней политики очень отчетливо выступает и в той пертурбации взглядов на Бисмарка, которая происходила в кругах германской социал-демократии: автор исключительного закона против социалистов изображается в области внешней политики, «как революционер»[1]. Такая переоценка ценностей оказывается еще более симптоматичной для внутренне-политической линии германской социал-демократии, если сопоставить ее с тенденцией, идущей из другого социально-политического лагеря: один из официальных представителей внешней политики послевоенной Германии, он же официальный историк внешней политики довоенной Германии, глубокой трагедией первого германского канцлера считает то, что последний не понял «молодой силы»—«идеи социал-демократии»[2]. Сопоставление тем о «непонятом Бисмарке» и о «непонятой социал-демократии» имеет, таким образом, под собой реальную основу. И если один из вождей современной германской буржуазной науки говорит: «будемте честны и признаем, что история переходит тут в политику, и тем больше должна переходить, чем ближе затрагивает нас исследуемый об'ект», то, пожалуй, прибавить к этому ничего не приходится[3].

А. Ерусалимский

---

[1] Hermann Wendel, Bismarck und Serbien im Jahre 1866, Berlin 1927.

[2] Friedrich Stieve, Deutschland und Europa 1890—1914, Berlin 1928 S. 14.

[3] Friedrich Meinecke, Geschichte des deutschenglischen Bündnisproblem, 1890—1901, München und Berlin 1927, S. 8.

ОБЗОРЫ

ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ПЕРИОД «ВЫСОКОГО» И «ОРГАНИЗОВАННОГО» КАПИТАЛИЗМА

Кризис капитализма и проблема «социального компромисса»

В одной из своих работ «Борьба классов и русская историческая наука»[1] М. Н. Покровский с большим мастерством показал, до какой степени всякая историческая концепция, всякая научная постановка вопроса и все методологические особенности историков, социологов и философов неразрывно связаны с их эпохой, с их социальной средой, с их классовыми симпатиями или антипатиями; иногда, казалось бы, даже самые невинные, «сверхоб'ективные» точки зрения и те при ближайшем рассмотрении оказываются насквозь пропитанными классовыми симпатиями.

М. Н. Покровский осмелился нарушить заветное «табу» буржуазной общественной науки, показав, до какой степени все ее методы и выводы окрашены в классовый цвет и далеки от какой-либо действительной об'ективности.

В самом деле, просматривая старые курсы лекций, даже по таким, казалось бы, совсем невинным дисциплинам, как историческая география, курс древней русской истории, сравнительное языковедение, западная литература и т. п., только теперь, на некотором хронологическом расстоянии, ясно представляешь, до какой степени все эти «курсы» преследовали политико-воспитательную цель. Но тогда все это считалось высшей, «об'ективной» истиной, добытой на основании «сырых материалов» или первоисточников. Длинные цитаты, сложный ученый аппарат, постоянные ссылки на авторитеты и т. п.—все это вместе взятое производило столь импозантное впечатление, что даже в голову не могло притти, что все это имеет прямое или косвенное отношение к политике. Так дело обстояло в России, но точно так же дело обстояло и по сей день обстоит за границей—в Западной Европе и Америке. И с появлением каждой новой книги становится все яснее, что до тех пор, пока в корне не изменятся все общественные отношения, общественные дисциплины не могут освободиться от политической и классовой окраски.

В одном из последних номеров «Archiv für Politik und Geschichte», Lewin, автор статьи «Роковой час России»[2], политический оттенок и классовую точку зрения считает специфической особенностью специально русской историографии. Но это утверждение неправильно. Западно-европейская, и в частности немецкая, историография, история философии и социология не в меньшей мере носят на себе отпечаток политической классовой идеологии, да иначе и быть не может. Разница состоит лишь в том, что классовый стержень в западно-европейской исторической литературе сплошь и рядом очень искусно затушеван, так что непривычному глазу не

[1] М. Н. Покровский, Борьба классов и русская историческая наука, 1925.
[2] Левин, Роковой час России, 1928.

всегда бывает легко за десятками побочных мыслей, множеством фактов и рассуждений прощупать политический стержень и уловить классовую сущность.

Центральным вопросом, около которого вращается новейшая западная социология, является проблема капитализма и классовой борьбы и, уже как ее частная проблема, проблема реформизма или, по другой терминологии, проблема компромисса. Компромисс, как будет ясно из последующего изложения, представляет своеобразную попытку теоретического и практического примирения двух противоположных социально-экономических систем: капитализма и социализма. Поэтому более или менее отчетливое понимание этой проблемы во всей широте не может быть получено помимо рассмотрения проблемы капитализма вообще. В настоящем контексте компромисс рассматривается как социология некоторых социальных групп, ставящих себе целью теоретическое преодоление и об'единение буржуазной и социалистической точек зрения. Самая идея компромисса, как одного из видов классовой идеологии капиталистического общества, наиболее острый и животрепещущий характер получила лишь в период кризиса капитализма, начавшегося приблизительно с 90-х годов прошлого века. Содержание настоящего очерка составляет последняя фаза капитализма, «период его загнивания». Предшествующая же фаза капиталистического развития—период зарождения и расцвета капитализма—привлекается лишь в интересах полноты и большей выпуклости основной тезы.

По установившемуся в науке обычаю историю западно-европейского капитализма принято начинать с XII—XIII веков, со времени Крестовых походов. В эти же столетия зарождается и буржуазная социология, первым представителем которой была католическая церковь. Католическая церковь выступила с теоретическим оправданием взимания процентов и впервые поставила проблему компромисса как неизбежного примирения старого с новым — феодализма с капитализмом. Вследствие слабости капитализма позиция церкви в этом вопросе была чрезвычайно трудной и неловкой. При наличии сильной оппозиции со стороны феодального общества церковникам приходилось изыскивать такие компромиссные точки зрения, которые позволяли бы новое содержание скрыть за старыми, привычными формами речи. И надо признать, что богословская мысль оказалась достаточно гибкой, чтобы оправдать и согласовать со старыми канонами диаметрально-противоположную точку зрения на процент. Но в общем, в виду только что отмеченной слабости капитализма, в XII—XIII ст. голоса защитников нового порядка звучали еще робко и неуверенно.

Совсем уже иначе звучат голоса апологетов капитализма в период развитого менового хозяйства, в период торгового и особенно индустриального капитализма. В эпоху торгового и раннего индустриального капитализма капитал, отожествляемый с деньгами, представлялся мощной, несокрушимой силой, источником всех благ и добродетелей, в то время как бедность рассматривалась как источник всевозможных несчастий, пороков и унижений. В таких тонах изображается дело, напр., в одной оде «Хвала деньгам», принадлежащей перу голландского поэта XVII ст. Голландия в XVI—XVII ст.—наиболее развитая торгово-капиталистическая страна, насквозь пропитанная духом спекуляции, наживы, биржевой игры и ажиотажа. «Я должна освободиться,—говорит «Страсть к деньгам», выводимая в оде,—от гнева поносителей».

Я вовсе не источник всякого плутовства,
Я не источник горя и злодейства,—
Наоборот, я—корень вашего счастья и т. д.

Уверенный тон и поэтический пафос певцов раннего капитализма не являлись простой случайностью, на это имелись свои социально-экономические причины. Идиллический пафос апологетов капитала и лаудаторов буржуазии принадлежит тому периоду западно-европейской истории, когда капитализм был революционной силой и имел большое будущее. В то время капитализм имел так много шансов на успех, а удельный вес буржуазии возрастал с каждым десятилетием настолько, что любая аргументация могла казаться несокрушимой. Так было в далеком прошлом, на заре европейской культуры.

В последующие же столетия, по мере роста внутренних противоречий и выступления пролетариата, гармония капиталистической апологетики стала перебиваться новыми, дисгармоническими тонами. В девяностых и девятисотых годах прошлого столетия капиталистическая симфония превратилась уже в настоящую какофонию. Процесс «загнивания капитализма» в эти десятилетия ощущался уже во всей полноте, выражаясь в частых кризисах, вздорожании жизни, росте безработицы, обострении классовых противоречий и т. п. В идеологической сфере период «загнивания капитализма» отмечен развитием скепсиса как по отношению к капитализму, так и ко всей построенной на капиталистическом способе производства, культуре. В той или иной степени кризис девяностых годов захватил все западно-европейские страны, но сильнее всего он ощущался в Германии, где перерождение капитализма совпало с еще незакончившимся процессом разложения феодализма. Процесс «загнивания» капитализма в Германии происходил значительно сложнее, выливаясь в более бурные формы и порождая более сложные идеологические отношения. По этой причине идеологию перерождающегося капитализма целесообразнее всего проследить именно на истории Германии.

Идеологический кризис девятисотых и девяностых годов в Германии отмечен появлением целого ряда скептиков—философов, социологов, поэтов и художников, известных в истории общественной мысли Германии под именем «декадентов» и «формалистов»; из них наибольшего внимания заслуживают три мыслителя довоенной Германии: Фридрих Ницше, Георг Зиммель и Макс Вебер. На этих трех мыслителях, бывших одновременно философами, социологами и историками, следует остановиться потому, что в их произведениях в самых разнообразных сочетаниях отразилась вся западно-европейская культура последней фазы капитализма, со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Для истории западно-европейского кризиса конца XIX и начала XX ст. сочинения Ницше, Зиммеля и Макса Вебера имеют не меньшую ценность, чем, напр., произведения Марка Аврелия, Сенеки и Эпикура — для кризиса античного мира. Как в тех, так и в других с большой рельефностью переданы все движения, настроения, скорби, муки, негодование и бессилие сходивших с исторической сцены недавних «владык мира».

При всем индивидуальном различии названных писателей их об'единяет одна общая черта: недоверие к существующему строю и глубокая внутренняя тревога за будущее западно-европейской культуры. Потеряв прошлое, выбитые из настоящего и не имея будущего, философы-социологи конца XIX и начала XX ст. попадали в трагическое положение людей, для которых на земле не было места. Великое, полное героизма прошлое ушло в историю, безвозвратно, навсегда; настоящее—жутко, а будущее покрыто туманом и полно еще более страшных призраков. Из социально-классового пессимизма вышли все особенности ницшеанства, с одной стороны, и все характерные черты социологической школы Георга Зиммеля и Макса Вебера, с другой: психологизм, формализм, тончайший и сложнейший анализ и в то же самое время отсутствие координирующей оси. Во всех только что названных социологических системах, собственно говоря, даже и нет системы, есть

материал для возведения здания, но нет самого здания, а нет его потому, что не было социально-экономической почвы для его возведения. Возникшие в период «загнивания капитализма» и в период крупных социальных перегруппировок, названные социологические школы носят на себе ярко выраженный отпечаток переходного периода, со всеми его колебаниями и противоречиями, но в этом-то и заключается их историко-культурная ценность.

Строго говоря, ни одного из названных трех мыслителей нельзя связать с какой-либо одной буржуазной группой; в их произведениях имеется достаточно точек соприкосновения со всеми группами, чем и об'ясняются противоречивые суждения об этих системах, высказываемые различными комментаторами, специально занимавшимися их анализом. Бесспорно лишь одно—их принадлежность в целом к старому буржуазному миру. Прежде всего заслуживает внимания самая форма изложения. Ничше, Зиммель и Макс Вебер излагают свои мысли совсем не так, как это делает школьная академическая наука; у них совсем иной строй мыслей, иная фраза, иная словесная палитра и, наконец, у них нет ученого аппарата. Самое же главное, что бросается в глаза даже при беглом знакомстве с сочинениями Ничше, Зиммеля и Макса Вебера, это нервозность их стиля и какая-то постоянная раздраженность мысли, временами переходящая даже в настоящую истерию. Это характерные явления не столько индивидуальной, сколько социальной психологии западно-европейской интеллигенции, выросшей в условиях буржуазного строя конца XIX ст. Больше всего их раздражает суета большого города, механичность жизни, приниженность людей, ограниченность кругозора и разорванность человеческих сил.

Повседневщина (Alltag) раскрошила, изломала, истерзала, разорвала на части и задушила в человеке все высокое, творческое, истинно человеческое. Место возвышенного, истинно человеческого теперь заняло уже «слишком человеческое», раздраженно негодует Ничше. С каждым днем, жалуется Макс Вебер, исчезают люди, носящие в своей груди Прометеев огонь сверхобычного, возвышенного и творчески героического, что он выражает греческим словом х а р и з м а (харизма — дар, одаренность, творчество). Причину опошления жизни и исчезновения талантов Вебер усматривает в чрезмерном развитии индустриального капитализма или, как он выражается, во избежание совпадения с марксистской терминологией, в высоком развитии «денежного хозяйства западно-европейского типа».

«Высоко-развитое денежное хозяйство, —говорит Вебер[1], породило повседневность, а следствием повседневности было исчезновение людей, наделенных харизма, обезличение жизни, беспросветное измельчание и общее осерение жизни».

«Чем развитее междухозяйственная зависимость денежного хозяйства, тем сильнее становится давление будничных потребностей его приверженцев и тенденция к опошлению, которая работала везде и в общем быстро побеждала. Харизма—типичное первоначальное явление религиозного (пророческого) или политического (завоевательного) господства, но она уступает власти пошлости, коль скоро господство ее обеспечено и, прежде всего, коль скоро оно приняло массовый характер».

Выход из создавшегося положения, казалось бы, был ясен: замена капиталистического способа производства социалистическим, смена буржуазной диктатуры пролетарской и затем переход к бесклассовому обществу. Однако, для Вебера, многочисленными нитями связанного с буржуазно-юнкерской Германией, пе-

[1] Основные сочинения М. В е б е р а: Wirtschaft und Gesellschaft, 1922, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1922, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1920.

реход к социализму не решает поставленной историей задачи - оздоровления культуры. Чуждый рабочему классу, М. Вебер не верил в его творческие силы, не принимал социализма, и потому попадал в безвыходное, прямо трагическое положение. Получалась своеобразная историко-философская концепция: капиталистическое общество пошлеет и гниет, но нет никакого выхода из создавшегося положения. Из сознания надвигающегося, неминуемого общественного кризиса и, с другой стороны, из бессилия и страха перед будущим, собственно, и вышли беспросветный, всепроникающий пессимизм и глубокая грусть, составляющие отличительную черту социальной философии Вебера, Зиммеля и Ничше.

«Самое ужасное в нашем положении,—пишет Макс Вебер,—то, что буржуазные классы как носители интересов нации, кажется, уже увядают, но еще нет признаков также и зрелости рабочих, претендующих занять их места. Над нашей колыбелью висело тягчайшее проклятие, каким только история могла наделить поколение: жестокая судьба политического эпигонства».

В результате дальнейших рассуждений сам Вебер попадает в число политических эпигонов, желающих в великом культурном кризисе старой Европы спасти хотя бы «остаток человечества». Несмотря на всю глубину и тонкость многих из своих социологических конструкций, в вопросе социализма М. Вебер до конца своей жизни остался типичным классовым противником социализма. Социализм для него ни больше, ни меньше, как «египетская бюрократия». Оставаясь на поверхности, Вебер даже усматривал аналогию между будущим социалистическим строем жизни и ново-египетским царством фараонов.

«До сих пор,—писал он,—никогда не существовало бюрократии, которая так приблизилась бы к бюрократии Египта. Это ясно для всякого, знающего историю египетского управления, а также ясно, что мы в настоящее время стремительно мчимся к развитию, которое точно следует этому образцу, только на иной основе, на технически усовершенствованной, рационализированной, а стало-быть, еще более механизированной основе».

«В этом развитии мы уже находимся, и центральным вопросом, стало-быть, является не то, как бы нам еще способствовать и ускорить это развитие, но что́ бы мы могли противопоставить ему, чтобы остаток человечества освободить от этой разорванной души, от этого самодержавия бюрократического идеала жизни».

В настоящей концепции нет надобности входить в анализ взглядов Вебера на социализм, тем более, что неправильность этих взглядов сама собой очевидна. Для нас важна другая сторона дела: тревога, часто переходящая в полное отчаяние, по поводу распада буржуазного общества одного из выдающихся социологов и мыслителей эпохи «высокого капитализма». Уже на основании одних произведений Макса Вебера можно сделать вывод, что в буржуазном лагере, начиная приблизительно с девяностых годов XIX в., далеко не все обстояло благополучно. Тревога на идеологическом фронте свидетельствовала о глубоком внутреннем, социально-экономическом кризисе.

Сознание кризиса, неудовлетворенность буржуазной культурой и, как их прямое следствие, отчаяние и пессимизм еще резче, чем у Макса Вебера, отражены в произведениях другого германского социолога Георга Зиммеля, родоначальника популярной в настоящее время на Западе (в Европе и в Америке) «философской социологии», наиболее известными представителями которой в Германии являются Фирканд и Леопольд Визе[1].

[1] Leopold von Wiese, Allgemeine Soziologie als Lehre der Beziehungen, 1924.

Для понимания зиммелевской идеологии особенно характерны два его произведения: «Философия денег»[1] и «Понятие и трагедия культуры». В этих произведениях зиммелевский скептицизм и пессимизм выявлены с поразительной силой и яркостью. Превосходный аналитик Зиммель, как и Вебер, не мог отрешиться от «вечных категорий» буржуазной культуры. В своей «Социологии» Георг Зиммель пытается выйти за пределы буржуазной мысли построением формальной социологии по типу геометрии, но зиммелевская социология, несмотря на ряд очень глубоких отдельных мыслей и замечаний, в целом осталась незаконченным произведением. Социологический формализм не заглушил зиммелевского пессимизма, красной нитью проходящего через все его произведения. Зиммель в еще большей степени, чем даже Вебер и Ницше, как-то застрял на полдороге между пролетариатом и буржуазией, попав в положение типичного деклассированного мыслителя, во всем сомневающегося и не видящего выхода из своих сомнений. Зиммель как бы застыл на грани двух эпох, полностью не примыкая ни к той, ни к другой. Оторвавшись от буржуазии и не примкнув к пролетариату, Зиммель действительно, выражаясь его же собственным стилем, попадал в «проблематическое положение».

«Типичное проблематическое положение современного человека,—писал он в «Понятии и трагедии культуры»,— таково: кругом бесконечное число культурных элементов, хотя и не лишенных значения, но в сущности все же мало значительных. Своей массой они давят, ибо суб'ект не в силах ассимилировать каждый из них в отдельности, но также не может отвергнуть и всю совокупность их, так как потенциально они все же принадлежат к сфере его культурного развития... Теперь люди среди необычайно богатой, превышающей спрос культуры—omnia habentes, nihil possidentes... Вся тягость связанности и перегруженности нашей жизни тысячами ненужностей, от которых мы все-таки никак не освободимся, вся постоянная «возбужденность» культурного человека, не возбуждающая его, однако, к самостоятельному творчеству, все бесплодные знания и наслаждения тысячью вещей, не могущих однако быть вовлеченными в наше развитие, но как баласт его обременяющих,—все это многократно уже формулированные специфически культурные бедствия»...

Прямо не связанные ни с одной буржуазной группой, но никогда не порывавшие связей с буржуазией в целом, идеологи распадающегося капитализма все свое внимание перенесли на отдельного человека, создав идеал с в е р х ч е л о в е к а, наделенного сверх'естественной творческой силой — харизма, при этом совершенно не придавая значения тому, в чем проявлялась эта харизма — в религиозном ли пафосе пророка, в творчестве полководца, организационной работе государственного деятеля, искусстве демагога, ученого или художника и пр. Харизма хороша всегда и везде потому, что она убивает повседневщину, скучное и серое течение обывательской жизни. Социальная и индивидуальная психология была той областью, в которой пышнее всего развернулись дарования Ницше, Зиммеля и Вебера.

К р а й н и й и н д и в и д у а л и з м, überspannte Subjectivität, по выражению В. Дильтея, всех названных писателей свидетельствовал о глубоком кризисе, переживавшемся западно-европейским (буржуазным) обществом в период «высокого капитализма». Старое общество расстраивалось, а вместе с ним у людей, подобных Ницше, Зиммелю и Максу Веберу, ускользала из-под ног почва. В психической жизни это выражалось в виде прилива пессимизма, враждебного отношения к настоящему и страха за будущее. В дальнейшем из этих социально-психологических

[1] S i m m e l, Philosophie des Goldes, 1907, «Soziologie», 1900.

корней вполне закономерно рождались: замкнутость, глубокий, почти что болезненный самоанализ и увлечение всеми видами психологии.

Однако, доходя до поразительной глубины в анализе отдельных сторон душевной и социальной жизни, названная группа мыслителей оказалась совершенно беспомощной в синтезе социальных явлений и в понимании общей линии движения. Получалась масса отдельных, иногда поразительно тонких мыслей и глубоких настроений, но эти мысли не были об'единены единой общей идеей, не были спаяны единым огнем. В названных системах анализ доведен ad extremum, в них одно явление вплетается в другое, и все явления входят и выходят друг из друга, но в них нет ни начала, ни конца, получается какое-то логическое perpetuum mobile.

Для иллюстрации зиммеле-веберовских приемов мышления достаточно привести, напр., рассуждение Макса Вебера об исторической причинности и в связи с этим несколько попутно брошенных им критических замечаний по поводу исторического материализма.

«Если,— говорит Макс Вебер,— рассмотреть историческую причинность, то она всегда протекает то от технических к экономическим и политическим, то от политических к религиозным и затем экономическим и т. д. предметам. Нигде нельзя найти точку покоя. И то нередкое толкование материалистического понимания истории, будто экономическое в каком-либо смысле есть нечто «последнее» в причинном ряде, этот взгляд научно во всяком случае решен в отрицательном смысле».

Это типичный социологический плюрализм, весьма характерный для западной науки последних десятилетий, отмеченной сильным влиянием идеологов промежуточных классов и деклассированных общественных элементов, многих точек соприкосновения с которыми в социологических концепциях Зиммеля отрицать не приходится.

Плюрализм является последним аккордом, генеральным выводом из всей философии и социологии Зиммеля и Вебера, логически последовательно возвращающим их в лоно буржуазной мысли.

«Мы,—не без раздражения заявляет Макс Вебер,—не знаем никаких научно доказуемых идеалов. Конечно тем труднее задача извлечь их из своей собственной груди во время без того уже суб'ективистической культуры. Однако мы вообще не обещаем ни утопий, ни мощеных путей, как по сю, так и по ту сторону, ни в мышлении, ни в деятельности. И это клеймо нашего человеческого достоинства, что мир нашей души не может быть столь велик, как покой того, кто мечтает об утопии».

Только что приведенная сентенция, между прочим, еще раз подтверждает, с какой большой осторожностью следует сближать Макса Вебера с марксизмом, как это пытались и продолжают пытаться делать некоторые немецкие и русские историки и социологи. Споры об отношении Вебера и Зиммеля к марксизму не улеглись еще до сих пор. Конечно в том обилии идей, которое выделяет разбираемые системы из ряда других, не трудно найти несколько мыслей и слов, в том или ином отношении близких марксизму, но тем не менее ни Зиммель, ни Вебер никак не могут быть названы марксистами. В марксистской и зиммеле-веберовской социологии совершенно различны исходные пункты: экономика и производственные отношения в одной, психология и биология—в другой.

О Ницше, Зиммеле и Вебере с полным основанием можно сказать, что они стоят на грани если не двух миров, то уже во всяком случае на грани двух эпох. Корни их социальной философии безусловно лежат еще в довоенной Европе, хотя отдельные стороны зиммеле-веберовской социологии развернулись уже значи-

тельно позже, в послевоенную эпоху. Война и революция, до основания потрясшие старую Европу, знаменовали целый переворот также и в сфере идеологии. «Загнивание капитализма» и кризис буржуазного общества, несомненно, ощущались уже и до войны, но все же во всю ширь они развернулись лишь в послевоенное время, в тот период, когда Европа вошла в полосу социалистических революций [1].

До войны проблема капитализма и классовой борьбы в значительной степени оставалась еще теоретической проблемой, не выходившей за пределы университетских аудиторий. После же войны дело резко изменилось. Кризис капиталистического хозяйства и построенной на нем капиталистической культуры был настолько глубок и обширен, что о сохранении капиталистического строя в целом не думали даже самые от'явленные враги социализма. По этой причине во всех без исключения странах буржуазии так или иначе пришлось изыскивать средства приспособления капитализма к новым условиям послевоенного времени и с этим приходилось спешить, тем более, что на востоке Европы начал складываться новый тип общества, построенный на началах, враждебных капитализму. Вследствие этого проблема капитализма значительно расширилась, став одновременно и теоретической и практической проблемой, что нашло свое отражение и в послевоенной социологии.

В послевоенной социологии и истории отражен не только кризис капитализма, но также многочисленные и разнообразные попытки различных классов и групп выйти из этого кризиса, так или иначе приспособившись к новым условиям. К современной социологии, более, чем к какой-либо иной эпохе, приложим термин «классовая идеология». Борьба социологических школ и направлений с полным правом может быть рассмотрена как один из видов борьбы на идеологическом фронте. После того как умолкли пушки и остановились танки, началась война пером, развернувшаяся в ожесточенную военную кампанию, проводимую по всем правилам стратегического искусства. Без преувеличения можно сказать, что в послевоенной Европе идеологический фронт сделался одним из самых серьезных и богатых событиями фронтов. Осведомление о состоянии этого фронта составляет содержание предлагаемого очерка.

По количеству вышедших книг, статей и рефератов, по разнообразию тем, обилию точек зрения и по методологическим особенностям послевоенная литература представляет на первый взгляд необозримое волнующееся море, в котором нет ни начала, ни конца. И вследствие этого всякая попытка разобраться в этом хаосе мыслей, чувств и идей с самого начала кажется безнадежной, хотя конечно и очень заманчивой, тратой сил. Литература столь обширна, количество затронутых тем столь значительно, число представителей борющихся школ так велико, что всякая синтетическая попытка в этом направлении представляется заранее обреченной на неудачу. И тем не менее, несмотря на все трудности подобного рода, синтетическая попытка не лишена смысла, и при правильной методологической установке может дать весьма интересные и поучительные результаты не только для теоретика, но также и для политика-практика.

При некоторой научно неизбежной схематичности, все течения современной западной социологии могут быть разбиты на три больших группы, в зависимости от того, взгляды и интересы какого из трех основных классов современной Европы в них по преимуществу отражаются: пролетариата, буржуазии или мелкой буржуазии. Согласно плану всей работы в настоящей главе рассматриваются только

---

[1] Johannes Plenge, «Die Jahre Weltrevolution» in Schmollers Jahrbuch, 42.

социологические системы буржуазного и мелко-буржуазного направления, марксистская же социология будет рассмотрена в особой связи.

Вся послевоенная социология без различия направлений сходится в одной точке — признании неизбежности социального компромисса (реформизма) и классового сотрудничества, хотя и не одинаково понимаемых. Для одних (крупной буржуазии) компромисс является неизбежной, вынужденной обстоятельствами уступкой широким массам, для других (социал-демократии) компромисс означает перенесение внимания с пролетариата на демократию и отказ от классовой позиции, третьим компромисс представляется некоторой уступкой старому миру, сделанной по тактическим соображениям, без нарушения принципов своей программы и т. д. Одним словом, компромисс является понятием не с абсолютным, а с историческим содержанием, зависящим от времени и места. Общим служит лишь формальный признак: стремление примирить настоящее с будущим. Компромисс—отличительная черта всей послевоенной социологии и философии, резко отличающая ее от предшествующего, довоенного периода. При этом компромисс выражается в самых различных формах: в примирении таких, казалось бы, непримиримых систем, как Гегель—Фома Аквинат[1], Гегель—Огюст Конт, Кант—Маркс и др., в представлении истории в виде ритмического процесса, в сочетании дуализма с единством и мн. др. в этом же роде.

С формальной стороны идея компромисса может быть прослежена еще и в довоенной философии и социологии вплоть до Канта, а при желании даже до Аристотеля и Платона. Разница между традиционным гносеологическим дуализмом и послевоенной компромиссностью состоит в практическом смысле последней, в ее открытом приближении к самым злободневным вопросам, к вопросам политики и классовой борьбы. Как увидим из последующего изложения, в период жестокой классовой борьбы, каковой отмечена история Западной Европы последнего времени, когда все было пущено в ход, гносеологический дуализм, редко когда сходивший с философских небес, был использован в качестве орудия в совершенно определенных практических целях. По своим размерам и по числу представителей компромиссная социология настолько обширна и разнообразна, что для ее более или менее полного обзора потребовалась бы специальная монография. Наша же цель значительно скромнее: на несколько в том или ином отношении типичных примерах показать самый характер компромиссной социологии и привлечь внимание к этому интересному с самых разных точек зрения вопросу современной общественной мысли Запада.

Обзор послевоенной компромиссной социологии удобнее всего начать с Курта Брейзига[2] берлинского социолога, философа истории и истории культуры. Это следует сделать потому, что Курт Брейзиг по своему строю мыслей, по отвлеченности стиля, недоговоренности и широте концепций более, чем кто-либо, приближается к довоенной социологии зиммеле-веберовского типа. С формальной стороны Брейзиг почти целиком стоит еще на почве довоенной Германии, но по

[1] См. напр. «Thomas oder Hegel?», zum Sinn der «Wende zum Objekt» Erich Pazwara в «Logos», XV, 1926; Th. Buddeberg, Zur Soziologie des europäishen Denkens; Philippo Carli, Die Kollektivvorstellungen; Georg Mehlis, Die Geschichtsphilosophie Hegels und Cantes и др.—в Jahrbuch für Soziologie, 1927.

[2] Важнейшие социалистическия сочинения К. Брейзига: Aufgaben и Masstäbe einer allgemeinen geschichtsschreibung, 1900; Das geflecht der Triebe, 1921; Jch und Welt in der Geschichte Schmollers Jahrbuch Qesetzgebung, XXVI, 1912; Die Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte, 1904.

содержанию своих работ, пропитанных идеей компромисса, он уже близок новому времени. Это обстоятельство, наряду с большой популярностью философской социологии Курта Брейзига в Германии и даже за ее пределами, заставляет нас начать обзор послевоенной социологии именно с социологии Брейзига.

Компромисс, классовое сотрудничество и социальная гармония в произведениях Курта Брейзига развернуты в целую философско-социологическую систему. Курт Брейзиг старается обосновать свою точку зрения ссылками не только на историю, которая, по его мнению, не оставляет никакого сомнения в необходимости классового сотрудничества и в большом вреде классовой борьбы, но также и на законы природы как на естественные законы жизни. Классовое сотрудничество, или—на языке естествознания—«органическое единство», лежит в основе всякого живого организма. Без единства, или, что то же самое, без гармонии, всякий живой организм слабеет, распадается и умирает. Если же единство организма по каким-либо причинам нарушается, то живой организм стремится восстановить нарушенное равновесие и об'единиться. Отсюда уже само собою напрашивается первостепенной важности социологический вывод: неизбежность компромисса и классового сотрудничества. История как бы ставит перед современным обществом альтернативу: entweder—ober, т. е. компромисс и классовое сотрудничество или же, в противном случае, распад и гибель общества.

«Всякое деление,—говорит Брейзиг, в одной из своих статей, носящих характерное название «Единство как явление» (Einheit als Geschehen),—безразлично, производится ли оно нами в мыслях, т. е. над мыслимым материалом, или над предметами, существами или даже людьми,—стремится обратно в свою противоположность, желает снова восстановить единство, которое намеревается разрушить,—восстановить хотя бы наполовину, создавая цельность его членов, что является наполовину единством и наполовину частью».

Далее Брейзиг развивает мысль о том, что стремлением к единству проникнута не только вся наша душа, где в едином бессознательном сходятся все наши чувства, но также и вся природа.

«Все новейшее естествоиспытание стремится к обобщению мировой картины и все более доказывает единство господствующих сил, управляющих законов явлений в целом и в отдельных областях как неорганического, так и органического мира. Эта власть единства с самого начала, вероятно, имела силу и в человечестве».

«Это стремление к единству,—читаем в другом сочинении того же философа-социолога,—столь тихо и постоянно, как тончайшая и высочайшая душевная связь, только еще более глубоко и более мощно». «И эта форма теснейшего жизненного союза, конечно, явление наиболее возвышенного и многообразно переплетающегося единения из двойственности и в то же время последнее и сильнейшее доказательство того, что именно наиболее резко и извилисто образованная форма двойственности может хранить в себе мощные силы этого стремления к новому единству».

Социология Курта Брейзига—яркий пример того, до какой степени даже на первый взгляд самая отвлеченная и надземная мысль своими корнями глубоко уходит в землю. Причина огромной популярности брейзиговской социологической школы в современной Германии и далеко за ее пределами, если так можно выразиться, не имманентная, а трансцендентная. Книги Брейзига читаются и изучаются не потому, что они очень хороши и глубокомысленны, но они хороши именно потому, что они поют в унисон с теми социальными группами, которые по каким-либо, прежде всего, конечно, материальным, соображениям, вынуждены итти на социальный компромисс. В частности, идеи Брейзига должны находить сочув-

ствие в кругах «деловой интеллигенции» (инженеров, архитекторов, профессоров, —словом «спецов»), торопящихся как можно скорее ликвидировать революцию, отвлечь общественное внимание в другую сторону и занять в обществе руководящее положение, какого они не занимали даже и в довоенный период. Социология и философия истории Курта Брейзига—лишь один из многих путей ликвидации революции и установления «социальной гармонии», не единственный и даже не самый остроумный.

К той же самой идее компромисса, классового сотрудничества и социальной гармонии, но уже совсем другим путем приходит и так называемая ритмическая социология. Все характерные черты ритмического направления в социологии изложены в произведениях базельского профессора Альфреда Мейзеля[1], автора целого ряда статей по философии истории и социологии, появлявшихся в различных периодических изданиях под самыми различными заглавиями, как-то: «Компромисс», «Радикализм», «Смысл социальных движений» и др. Сторонники ритмической социологии, как показывает уже самое название, являются сторонниками ровного, поступательного (ритмического) движения истории, без сильных потрясений и революций. Крутые революции и сильные потрясения, нарушая ритм общественной динамики, в конечном итоге не ускоряют, а замедляют социальный прогресс: желая добра, крайности в силу своей аритмичности всегда приносят зло.

«Под компромиссом,—пишет Мейзель в «Компромиссе»,—мы понимаем соглашение, при котором одна часть желаний и целей договаривающихся противников остается неисполненной. Компромисс означает такое социальное поведение людей по отношению друг к другу, при котором направленные друг против друга воли не могут достичь своей конечной цели, будучи принуждены сдерживаться, отказываться и уступать». История культуры приводит Мейзеля к выводу, что наивысшего культурного расцвета, прочности и благополучия достигали именно те общества, где полнее всего был проведен принцип социального, т. е. классового компромисса. Не будь компромисса, не было бы и всей величественной культуры современной Европы. Компромисс, полагает Мейзель, является conditio sine qua non возможности самого существования всякого более или менее благоустроенного человеческого общества. В том или ином сочетании компромисс лежит в основе всех без различия общественных формаций, но особенно ярко идея компромиссности выступает в последней общественной формации, буржуазном обществе. Компромисс составляет самую сущность буржуазного общества, красной нитью проходящую через всю современную культуру.

«Более внимательное рассмотрение,—говорит Мейзель,—убеждает нас, что компромисс, как всесторонний регулятор общественных отношений, выше всего торжествует в современном буржуазном обществе».

Первое же место в этом отношении принадлежит, конечно, парламентской Англии, с ее системой двух палат и двух партий.

«В парламентском законодательстве прежде всего значительны две формы компромиссов: система двух партий и образование правительства посредством коалиции нескольких партий».

К той же самой идее компромисса, или постепенного перехода от старых форм к новым, приходит, но уже совсем иными путями, также и Вернер Зомбарт, автор «Современного капитализма» и целого ряда социологических моно-

[1] A. Meusel, Das Kompromiss, Jahrbuch für Soziologie, I, 1926; Der Radikalismus, Kölner Vierteljarshefte für Soziologie, 2—3.

графий. Кривая социальных симпатий и антипатий берлинского экономиста совершенно совпадает с настроением и поведением промежуточных классов германского общества. До войны, когда критика капитализма в значительной степени еще носила формальный, академический характер, а ликвидация капитализма казалась чем-то весьма отдаленным и имела слабые шансы на успех, Зомбарт довольно смело критиковал капиталистический строй и с симпатией относился к рабочему классу, хотя, впрочем, в последние годы перед войной революционный пыл Зомбарта уже заметно ослабел. Война же и последовавшая за ней революция, и особенно, Октябрьская революция, совершенно переродили Зомбарта; из «старого» Зомбарта вышел «новый» Зомбарт. Потребовалось немного лет для того, чтобы Зомбарт из катедер-революционера и социалиста превратился в настоящего катедер-оппортуниста, теоретического лидера буржуазии и сторонника социальной гармонии. В течение многих лет скрытая за тысячами фактов, цитат и рассуждений буржуазность зомбартовской социологии, наконец, прорвалась наружу в его исторически замечательной, как литературная манифестация перепугавшегося «красного призрака» буржуа, двухтомной монографии «Пролетарский социализм»[1].

Для «нового» Зомбарта, как и для самых настоящих реакционеров, «пролетарский социализм» является не чем иным, как только химерой беднейших слоев и с психологической точки зрения представляет собой нечто вроде мечтаний древних христиан о рае. Социализм, поясняет Зомбарт,—вера в идеальный строй, противоположный современному, но это—вера и не более. При первой же попытке осуществления этого идеала все распадается, общественная жизнь замирает и наступает анархия. Марксистский (или пролетарский) социализм—это опасные для общественной свободы деспотизм и анархия. После того, как социализм превратился в анархию и в несбыточную мечту беднейших и малокультурных слоев, Карл Маркс в глазах Зомбарта превратился в агитатора, мстившего всем, кто в каком-либо отношении его превосходил.

«Пролетарский социализм», написанный в самый острый момент германской и мировой революции, является литературным памятником психического состояния перепугавшегося буржуа, в порыве испуга начавшего сокрушать то, чему он раньше, хотя и не без робости, поклонялся. Однако, «Пролетарский социализм» слишком уже злободневен и до очевидности пронизан реакционным настроением определенного момента, и вследствие этого не удивительно, что он очень скоро утратил свою остроту и перестал удовлетворять даже самых завзятых врагов социализма и коммунизма. Новая эпоха требовала новой, более гибкой, солидной и, главное, компромиссной социологии. По этой причине «Пролетарский социализм» должен был уступить место трехтомному, переработанному «Севременному капитализму», с начала до конца пронизанному идеей классового сотрудничества и компромисса.

Классовые бои, особенно остро развернувшиеся в Германии в период Ноябрьской революции, не оставляли никакого сомнения в возраставшей мощи пролетариата и относительной слабости буржуазных верхов. Ноябрьская революция показала, что крупная буржуазия сама по себе уже не может победить пролетариат, без союзников на победу не имелось никаких шансов. Отсюда совершенно закономерно рождались две очередные проблемы: закрепление за собой старых союзников из лагеря мелкой буржуазии и теоретическое преодоление марксизма как идеологии революционного пролетариата. Борьба с революционной идеологией стано-

---

[1] W. Sombart, Der proletarische Socialismus (Marxismus), 2 B., 1924, Beiheft z. Archif für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung.

вилась важнейшей задачей буржуазной социологии и постепенно, в ходе политической жизни, слилась с проблемой марксизма. Сама же проблема марксизма совпадала с проблемой классовой борьбы и социальной революции.

Таким образом, компромисс, классовая борьба, марксизм, а в некоторых случаях и материализм, в послевоенной социологии слелись в одну обширную проблему капитализма.

Около марксизма выросла обширная критическая литература, среди которой не последнее место занимает «Современный капитализм»[1] Зомбарта. Выступление Зомбарта в качестве критика марксизма в высшей степени знаменательно; оно показывает, с одной стороны, насколько немецкая буржуазия так или иначе вынуждена считаться с пролетариатом, а с другой—как велико в буржуазном и мелкобуржуазном лагере желание теоретического преодоления марксизма, раз за это дело серьзно берется первоклассный экономист, пользующийся широким авторитетом даже за пределами Германии. Весь «Современный капитализм» почти исключительно вращается около вопросов, поставленных в «Капитале» Маркса, стараясь их или преодолеть или же, по крайней мере, ослабить и заменить другими. При этом самая техника преодоления, в противоположность «Пролетарскому социализму», ведется по всем академическим правилам, без истерических выпадов и брани по адресу своих противников. Преодолевая марксизм, Зомбарт в то же самое время старается нарисовать величественную картину развертывающегося капитализма, особенно грандиозную в последний его период, в период так наз. «высокого капитализма» (Hochkapitalismús), т. е. приблизительно с конца XVIII ст.

Общее впечатление, выносимое из чтения «Современного капитализма», может быть выражено как тоска об утраченном великом прошлом «высокого капитализма», ушедшего в историю и, повидимому, уже ушедшего безвозвратно, навсегда. Зомбарт с болью в сердце констатирует кризис «высокого капитализма», но, в противоположность Зиммелю и Веберу, он не теряется среди противоречий новой жизни. Напротив, он усиленно ищет выхода из создавшегося критического положения. Якорем спасения для него, как и для всех вышеразобранных социологов, является социальный компромисс. Обращаясь к своему главному ядру читателей, буржуазной интеллигенции, автор «Современного капитализма» рекомендует им вглядеться в создавшееся положение, взвесить силы собственного класса, помириться с потерей прошлого и, во избежание худшего, пойти на своевременные уступки демократии. С другой стороны, Зомбарт неослабно стремится внедрить в сознание другого круга читателей из мелкой буржуазии и «рабочей аристократии» мысль и представление о величии капиталистического строя, его высокой организации, широте, глубине и всесторонности буржуазной культуры.

Скрытая цель Зомбарта—показать буржуазии, что социализм в конце концов совсем уже не так страшен и оригинален, как это представляется многим, мало знакомым с теорией и практикой социализма. Социализм, учит Зомбарт, тот же самый капитализм, но только находящийся на другой стадии своего развития, никаких оригинальных положений и идей, незнакомых буржуазии, социализм не создает, да и не может создать.

«Форма этих новых хозяйственных систем,—читаем в заключительной главе третьего тома «Современного капитализма»,—сохраняет ряд черт капитализма,

[1] W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, Historisch - sistematische Darstellung des gesammteuropäischen Wirtschaftsleben von seinen Anfängen bis zum Gegenwart. I—III, 1927.

прежде всего характер крупного производства и идейное руководство (Vergeistung), составляющие сущность современного производства. Это сходство является общим для всех плановых хозяйств, между тем как в остальном будут параллельно образовываться различные хозяйственные формы. Все те формы, которые мы видели уже развивающимися в век высокого капитализма, будут также существовать в будущем хозяйстве и получат еще большее значение».

«Мы должны постепенно привыкнуть к той мысли, что разница между стабилизированным и регламентированным капитализмом и между технизированным и рационализированным социализмом не так уж велика и что поэтому для судьбы людей и их культуры довольно безразлично, примет ли хозяйство капиталистические или социалистические формы. В чем же дело? Способ производства в обоих случаях один и тот же; в обоих случаях все хозяйство покоится на основе духовного руководства. Спросите себя, чем отличается большой кооперативный магазин от такого же капиталистического магазина, коммунистическая доменная печь от капиталистической, коммунальный трамвай от капиталистического и т. д. И вы не найдете никакой существенной разницы. Может быть, сознание рабочего меняется? Но форма условий труда в том и другом случае совершенно одинакова. Рабочее время зависит не от доброй воли, но от потребностей народного хозяйства. Высота оплаты труда также почти исключительно зависит от хозяйственной конструкции, так как теперь уже известно, что доход с капитала, разделенный между рабочими, не дает существенного повышения заработной платы»...

Самое же главное то, что «капиталистический человек», предприниматель (Unternehmer) в собственном смысле, изучению психологии которого Зомбарт посвятил так много любви, сил и таланта, останется господином положения и при социализме. Если же, наконец, когда-либо и будет суждено ему исчезнуть, так это произойдет очень и очень нескоро, во всяком случае в настоящее время думать об этом преждевременно, надо брать жизнь такой, какой она представляется в данный момент, сохраняя всегда seelische Ruhe. Это один путь мысли Зомбарта, рассчитанный на гг. Тиссена, Фоглера, Клокнера и им подобных «хозяйственных вождей» современной Германии.

Совсем другим стилем Зомбарт говорит с левым крылом своих читателей из лагеря мелкой буржуазии и рабочей аристократии, еще не совсем порвавших с революцией и кое-что принимающих от марксизма. Если буржуазным верхам Зомбарт советует не бояться социализма, то средним классам он рекомендует не пугаться капитализма, потому что социализм составляет непосредственное продолжение капитализма и многое из капиталистического строя, по крайней мере на первых порах, удержится и при социализме. Весь «Современный капитализм» с начала до конца проникнут единым настроением: всемерным уважением и удивлением перед капиталистической системой организации, дающей широкий простор личной инициативе, таланту и дарованиям. Зомбарт совершенно отвергает «вульгарную» мысль об анархии, присущей капиталистическому способу производства. Он даже полагает, что термин «гармоническое хозяйство» более всего подходит именно к капиталистическому способу производства, замечательная структура которого приводила в восторг и вызывала удивление даже такого принципиального недруга капитализма, как Карл Маркс, где-то в тайниках своей души, согласно психологическим наблюдениям Зомбарта, восторгавшегося стройностью капиталистического механизма. Сколь ни странно это утверждение само по себе, но в зомбартовской концепции оно занимает весьма почтенное место. Уничтожение революционного, ортодоксального, подлинно-пролетарского Маркса, блестящего теоретика классовой борьбы и непримиримого врага каких бы то ни

было социальных компромиссов—чрезвычайно заманчивая идея для всякого буржуазного политика и идеолога.

На «Современный капитализм» Зомбарта, собственно, и надо смотреть, как на своего рода «опыт» теоретического преодоления «Капитала» Маркса. При этом самая техника преодоления в высшей степени хитра, прямо даже коварна. С одной стороны, постоянно подчеркивается гениальность Маркса, как ученого, но с другой, в то же самое время, постоянно высказывается сожаление, что Маркс—ученый — сплошь и рядом затемняется и отодвигается на второй план Марксом—революционным фанатиком и пророком, да притом еще пророком «доброго старого времени», 30—40-х годов прошлого столетия, когда капитализм был еще только в зародыше и когда абсолютно невозможно было нащупать ход его дальнейшего развития.

Таким образом, Зомбарт и его школа принимают на себя весьма трудную и мало благодарную задачу освобождения Маркса от самого же Маркса и очищения марксизма как определенной социологической системы от всевозможных «религиозно-метафизических» примесей и наслоений. Но с каким бы негодованием профессор Зомбарт ни отстранял от себя роль политического и классового идеолога, все же факт остается фактом. «Современный капитализм» остается прежде всего политической монографией, самым непосредственным образом связанной с определенным историческим моментом и с интересами определенных социальных групп и, в первую очередь, с крупной буржуазией.

Последняя цель всех зомбартовских изысканий (безразлично сознательная или подсознательная) направлена: 1) на убеждение буржуазии в необходимости известного компромисса, 2) на установление дружбы (хотя бы и временной) между верхами буржуазии и «средними классами» и наконец 3) на внесение теоретического расстройства в ряды революционного пролетариата.

После этих замечаний обратимся уже непосредственно к самому Зомбарту. Прежде всего автор «Современного капитализма» старается исправить промахи «Пролетарского социализма», принизившего Маркса до степени «талмудически настроенного» публициста.

«Под конец, замечу,—пишет Зомбарт в предисловии к третьему тому переработанного «Современного капитализма,—еще несколько слов о моем отношении к Карлу Марксу и его трудам; это тем необходимее, что после опубликования моего «Пролетарского социализма» может показаться, будто я сплошь во всем и в самом основном являюсь противником этого гения. Об этом настолько не может быть и речи, что я скорее могу заверить, что это произведение не имеет иной цели, как только стать в известном смысле продолжением и довершением работ Маркса»...

Вслед за этим идет уже самое преодоление марксизма. Прежде всего Зомбарт указывает на разницу между эпохами, в которые создались «Капитал» Маркса и его «Современный капитализм». Маркс стоял еще на пороге западноевропейского высокого капитализма, он же—Зомбарт стоит уже на другом пороге, на грани между «высоким» и «организованным» капитализмом, что дает ему возможность охватить предшествующую фазу капитализма с большей широтой и об'ективностью.

«Различие самой основы наших систем и выводов,—продолжает Зомбарт,—к которым мы приходим с известной внутренней необходимостью, вытекает из различия времен, в которые мы писали наши книги»...

«Тогда капитализм был еще хаосом, беспорядочной путаницей, о которой нельзя было с уверенностью сказать, что из нее выйдет». Короткая история капи-

тализма еще не позволяла Марксу предвидеть, по какой линии пойдет дальнейшее развитие капитализма, предоставляя широкий простор для игры фантазии и для широкого привлечения в историю этических моментов...

«Тот, кто подходил к нему (капитализму), руководствуясь идеей развития, — а эта идея именно и была тем светом, который внес Маркс, — тот, можно сказать, мог определять ход его развития по своему личному усмотрению»...

«Еще неопределившаяся сущность капитализма делала его способным к осуществлению желаний, которые Маркс носил в своем сердце. Но т. к. Маркс ставил перед капитализмом столь высокую задачу, породить то, к чему Маркс стремился, то, след., в глубине своей души он любил капитализм».

Из якобы необ'ективного подхода к капитализму Маркса Зомбарт делает соответствующие заключения об ошибочности всех главнейших выводов марксистской социологии.

«Карл Маркс, — пишет Зомбарт, — предсказывал: 1) прогрессирующее бедственное положение рабочих, 2) всеобщую концентрацию, наряду с исчезновением ремесла и крестьянства, 3) катастрофическую гибель капитализма... Ничего из этого не случилось».

Маркс в этом отношении, прибавляет Зомбарт, вполне разделяет судьбу всех других социальных реформаторов (Токвилль, Шмоллер), прогнозы и идеалы которых остались такими же несбыточными мечтами, как прогнозы и идеалы Карла Маркса, и в этом, по мнению автора «Современного капитализма», больше всего виновна именно их гениальность...

«Но, может быть, эти великие люди потому так позорно и ошибались, что они были так велики и так влюблены в свое мнение. Но, может быть, также и потому, что они были столь страстными политиками, что не умели различать то, что бы они желали видеть осуществленным, от того, на осуществление чего можно только надеяться».

Конечный вывод Зомбарта, совершенно совпадающий с выводом Э. Трэльча, автора «Историзма», сводится к «очищению» учения Маркса от «пророческих», а тем самым, следовательно, и от всех революционных элементов. Маркс как ученый, очищенный от всех метафизических и религиозных примесей, т. е., другими словами, очищенный от всех революционных элементов, вполне заслуживает звания настоящего ученого и первоклассного мыслителя, в противном же случае он падает до звания фанатического вождя сектантских кружков.

Хотя Маркса, как ученого, Зомбарт расценивает и очень высоко, тем не менее, это не мешает ему расходиться с ним почти по всем главнейшим вопросам и, в частности, по очень важному вопросу «первоначального накопления капитала». Чем дальше, тем все больше Зомбарт в этом вопросе начинает отходить от Маркса, впитывая в себя идеи Макса Вебера о решающем влиянии рационалистических, т. е., по марксистской терминологии, надстроечных моментов, и в первую очередь религии. Для Вебера сущность проблемы «первоначального накопления» заключается прежде всего, в разрешении вопроса: почему капитализм создался исключительно на почве Западной Европы, и затем, каким путем средневековое, замкнутое, коллективистическое общество переродилось в общество свободной капиталистической конкуренции. Каким образом возникла сама идея накопления, идея наживы, расчета и т. п. Как сложился капиталистический человек, с его насквозь рационализированной психологией, с необузданной страстью наживы. Из какого корня вышли нажива для наживы и производство для производства.

Своей постановкой проблемы «первоначального накопления» Вебер все перевернул вверх дном; то, что было причиной, оказалось следствием, а то, что было следствием, стало причиной. Самое же главное то, что такие вопросы, как вопросы о колониальных грабежах, истреблении туземцев и т. п., как-то незаметно, так сказать, в процессе обсуждения новых проблем отодвинулись назад и потеряли свою остроту. Поэтому вполне последовательно, что современные экономисты: Зомбарт А. Вебер, Пленджс и др., находящиеся под гипнозом веберовской социологии, влияние, например, колоний на развитие западно-европейского капитализма сводят почти на нет, между тем как в системе Маркса этот вопрос занимает центральное место.

В настоящей связи вопрос о «первоначальном накоплении» не может нас интересовать сам по себе. С точки зрения социальной психологии и борьбы классов важно лишь констатировать тот факт, что одна из самых ярко-революционных проблем «Капитала» Маркса решается в чисто оппортунистическом духе. Да и вообще совсем не случайно, что все революционные теории и все радикальные постановки вопросов, по тем или иным мотивам, или совсем отвергаются Зомбартом или же принимаются с такими оговорками, что они утрачивают всю свою остроту, а иногда даже из революционных теорий превращаются в контрреволюционные[1]. В последнем томе «красный» Зомбарт приходит к тем самым выводам, к которым приходит и большинство академических теоретиков: все течет и меняется, но жизнь сложна и потому нельзя предугадать, что будет завтра и послезавтра, всякий же прогноз ошибочен, ибо давно известно, что in omnibus generalibus est error. Какие бы то ни было социальные прогнозы Зомбарт об'являет пережитками прошлого, «религиозно-метафизическими пророчествами».

«Предсказание будущего,—всегда дело рискованное. А в области экономической и социальной истории оно кажется особенно опасным. Именно самые умные хуже всего ошибались»...

«О целом ряде взглядов на будущие формы хозяйственной жизни можно с полной уверенностью сказать, что они неправильны».

Научно-об'ективное же изучение прошлых судеб человечества свидетельствует лишь об одном, а именно—о том, что новое всегда рождалось из старого не сразу, а путем медленного, часто для человеческого глаза незаметного эволюционного процесса. Так было раньше, так, по аналогии, должно быть и теперь, а отсюда следует социально-политическая мораль: не надо стремиться головой прошибать стену буржуазного строя, ибо стена крепче головы, а на политическом языке это означает, что оппортунизм предпочтительнее коммунизма, ибо он без прошибания головой стены ведет по «правильному историческому руслу».

Резкое осуждение каких бы то ни было «религиозно-метафизических пророчеств», тем не менее, не помешало самому Зомбарту выступить в качестве «религиозно-метафизического» пророка оппортунистического толка, чтобы в этом убедиться. Достаточно прочесть, напр., следующие строки из третьего тома «Современного капитализма».

«Все, кто предсказывают в будущем господство единой экономической системы, ошибаются. Это противоречило бы всему предшествовавшему опыту, а также и сущности экономического развития. Мы наблюдаем, что в ходе истории число хозяйственных форм в каждом данном периоде все увеличивается. Экономи-

[1] В этом отношении весьма симптоматично отрицание экономического значения за Французской революцией, по мнению Зомбарта, на много лет задержавшей экономический прогресс Франции.

ческая жизнь принимает все более богатые формы. Как в музыкальной фуге новые голоса присоединяются к уже поющим голосам, которые однако не перестают звучать, так в европейском Средневековье существовали одновременно крестьянское хозяйство, барщинное хозяйство и ремесло. К этим видам хозяйства присоединялись различные иные формы, описанные мною в двух предшествующих главах. И, несомненно, все эти виды хозяйства будут продолжать сосуществовать также и в хозяйстве будущего: 1) капитализм, 2) артельное хозяйство, 3) общественное хозяйство, 4) самодовлеющее хозяйство, 5) ремесло, 6) крестьянское хозяйство.

После этого уже незачем вскрывать идейную связь «Современного капитализма» с политикой и указывать, под влиянием каких социальных сил сложилась социология Зомбарта и его школы.

В некоторых отношениях соглашательская тенденция еще резче выражена в творениях социал-демократических социологов. Социал-демократы, как известно, в настоящее время являются принципиальными сторонниками социального компромисса, но все же это компромисс совсем другого сорта, чем компромисс Зомбарта, Брейзига, Вебера, Мейзеля и др. крупнобуржуазных и интеллигентских идеологов. Социал-демократическая партия в главным своем ядре является мелкобуржуазной партией, отсюда происходят все ее политические, тактические и идеологические особенности. По существу дела, ни Зомбарт, ни Брейзиг, ни кто-либо иной, им подобный социолог, ни в какой социализм не верят, а на компромисс смотрят лишь как на историческую необходимость, как на некоторую вынужденную уступку демократии и, с другой стороны, как на некоторое обуздание «оргий автократического капитала». Социальная фантазия этих мыслителей не переходит границ «ползучей эмпирии», покоящейся на «твердых фактах и строго конкретных выводах». Все они являются принципиальными защитниками капитализма, но только в исключительно трудных (для капитализма) исторических условиях. Там, где речь заходит о будущем строе, все это, по их мнению, оказывается чистейшей метафизикой, идущей за пределы реального знания.

Исходный пункт у социал-демократов[1], к какому бы толку они ни принадлежали, принципиально другой. Социализм для них является не метафизической фантазией, а высоким общественным идеалом, к которому с исторической неизбежностью ведет все развитие капиталистического Запада. Их ошибка в другом. Неправильно оценивая и переоценивая самостоятельность и революционную роль демократии, с.-д. полагают, что только через нее можно притти к социализму. Следуя по этому пути, они об'ективно и нередко суб'ективно выступают защитниками капитализма. Соглашаясь с тем, что в настоящий момент широкие массы демократии, выросшие в условиях капитализма и пропитанные капиталистической психологией наживы и эгоизма, не способны создать социалистического общества, социал-демократы «временно» отказываются от социализма. Прежде чем перейти к социализму, демократия должна пройти хорошую школу социалистического воспитания. Но эту школу демократия может получить только в условиях парламентско-демократического режима с широко развитой общественной жизнью и свободой мысли. С экономической точки зрения, период парламентской демократии будет периодом «организованного», «демократического» или «коллективного» капитализма, в течение которого буржуазия сохранит большую часть своих прав и

[1] Th. Buddeberg, Das soziologische Problem der Sozialdemokratie, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 49.

привилегий. И уже затем станет возможным переход от «коллективного» капитализма к социалистическому способу производства и социализму.

Теоретическое оправдание необходимых уступок демократии, а тем самым, следовательно, необходимости ослабления классовой борьбы и временного сотрудничества с буржуазными классами составляет содержание социал-демократической социологии. Все, что так или иначе можно использовать в защиту этой точки зрения, т. е. в оправдание отказа от социализма и неизбежности парламентарско-демократического строя как переходной ступени капитализма к социализму, собрано в огромном труде Карла Каутского «Материалистическое понимание истории» [1], являющемся своего рода большой энциклопедией социал-демократической социологии.

Содержание труда К. Каутского слишком обширно, чтобы его можно было передать в кратких словах, да это для нашей цели и не нужно. Для нас интересна только его аргументация в пользу демократии как компромиссной общественной формы.

Демократия в глазах Каутского представляет ultimum asilum современного политического радикализма. Без демократии, не один раз повторяет Каутский, абсолютно невозможно перейти к организации общественного хозяйства на социалистических основах.

«Политический, организаторский процесс созревания пролетариата может развернуться лишь внутри демократии. Функции же демократии состоят в том, чтобы способствовать развитию партий, прессы, политического интереса и политического влияния...»

«Только в демократии может подняться численное, организаторское превосходство пролетариата над всеми другими классами, которое гарантирует ему окончательную победу...»

«Самое большее, к чему при настоящих условиях может стремиться пролетариат и партия, — это к завоеванию возможно большего влияния в правительственных органах и к полной демократизации страны...» и т. д.

Ошибка К. Каутского в оценке демократии, как уже на это не один раз указывалось его критиками, проистекает из того, что он не дооценивает зависимости демократии от крупного капитала и буржуазной идеологии. В «Материалистическом понимании истории» речь идет больше о демократии, конструируемой творческой фантазией публициста, нежели о демократии когда-либо и где-либо действительно существовавшей.

К чему социал-демократический компромисс приводит на практике, видно будет из дальнейшего изложения.

В отношении практического знания демократии несравненно большую эрудицию обнаруживают социал-демократы-практики, как, например, бельгийский социалист Де-Манн [2] и основатель австро-марксизма Карл Реннер. На взглядах Де-Манна и К. Реннера следует остановиться несколько дольше, потому что они показывают, куда на практике с логической неизбежностью должна привести компромиссная теория, развиваемая К. Каутским.

Мотивы постепенного поправения социал-демократии, ее компромиссности и отхода от революционного марксизма наиболее отчетливо изложены в сильно нашумевшей монографии Де-Манна «Психология социализма».

---

[1] K. Kautsky, Die materialistische Geschichtsauffassung, I—II, 1927.
[2] De Man, Zur Psichologie des Sozialismus, 1925.

Социализм и социал-демократия[1], заявляет Де-Манн, в настоящее время переживают глубокий кризис. Средние классы и интеллигенция начинают отходить к правым партиям, поэтому необходимо более внимательно считаться с психологией этих классов и во-время пойти на компромисс. Дела социал-демократической партии, по мнению Де-Манна, несомненно, поправятся, если только социалисты начисто порвут с марксизмом и откажутся от проповеди классовой борьбы, перестанут навязывать всему обществу взгляды индустриального пролетариата, признают свободу совести, откажутся от так называемых железных законов истории, всеобщего пауперизма, социальной революции и т. п. Сделать это они должны, потому что «мировоззрение и научное убеждение также как религия являются делом частным. Беспрепятственные теоретические рассуждения об этом даже необходимы для того, чтобы духовная жизнь партии не окостенела и теоретические воззрения оставались на высоте современного познания об опыте...».

«При настоящем положении вещей, — заканчивает свои рассуждения Де-Манн,—социализм может быть спасен, как великая нравственная идея, призывом не zurück auf Marx, а призывом heraus aus Marx, т. е. не к Марксу, а от Маркса...»

Не менее круто расправляется с марксизмом также и основатель австромарксизма К. Реннер, за свой разрыв с марксизмом и революцией прозванный «великим реалистом». Мысли Реннера в конденсированном виде изложены им в статье «Является ли марксизм идеологией или наукой», помещенной в органе австрийской социал-демократии «Der Kampf»[2], развиваются по двум направлениям: с одной стороны, Реннер критикует тех марксистских идеологов, которые якобы искусственно разжигают классовую борьбу и проповедуют «марксистское сектантство», а с другой, он выдвигает идею «индуктивного социализма», воспитывающего марксистов без Маркса, Marxisten ohne Marx,—по выражению немецкого подлинника.

«Индуктивный социализм» Карла Реннера рекомендует отказаться от единой марксистской идеологии, а тем самым, следовательно, отказаться и от идеи интернационального рабочего движения, исторического лозунга «Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» и всецело уйти в мелкую национальную работу, предоставляя каждой фракции свободу действия.

«И мы тотчас же поймем,—поясняет свою мысль К. Реннер,—почему теперь, когда мы уже не имеем мирооб'емлющего гения Маркса,—мы должны иметь полдюжины противоборствующих марксизмов: рабочее движение каждой страны определяется и диференцируется экономическими условиями данной страны, каждое из них склонно приводить в систему необходимости своего поведения и конструировать для своих домашних надобностей науку. Большевизм, меньшевизм, австро-марксизм, лаборпартизм—не что иное, как систематизация частичной практики вчерашнего и позавчерашнего дня, но не такой практики, которую можно было бы полностью перевести с одной страны на другую или со вчерашнего дня на завтра или послезавтра».

Конкретным воплощением «индуктивного социализма» в глазах К. Реннера является английская Labour Party, долженствующая, по его мнению, стать идеалом

---

[1] Не менее резко оппортунизм Де-Манна выражен в его более поздней работе в «Der Kampf und die Arbeitsfreude», 1927 г., в которой, по выражению одного «социалистического» комментатора, открывается нам «настоящее лицо немецкого рабочего».

[2] Идея компромисса нашла свое отражение также и в основной работе Карла Реннера «Die Wirtschaft als Gesamtprozess und Sozialisirung», 1924 г.

всех рабочих партий континента. Labour Party достойна подражания потому, что она мирным путем и помимо каких бы то ни было идеологий совершила огромную практическую работу, подняв рабочий класс Великобритании на такую высоту, о которой рабочие континента не мечтают даже и во сне.

Однако К. Реннер не считает нужным ознакомить своих читателей с условиями, в каких протекали деятельность и рост английской рабочей партии и континентальных рабочих партий, не указывает далее, какие именно группы рабочих входят в Labour Party, а самое главное—он даже не ставит вопроса, каким большим тормазом являлась Labour Party в известные моменты для интернационального рабочего движения.

«В Англии факт—быть рабочим»,—говорит К. Реннер,—«всегда расценивался выше, чем всякая идеология жизни рабочих; еще более: Макдональд несколько раз и весьма выразительно принципиально отверг классовый характер политики рабочей партии и самую классовую борьбу, и это тот человек, который, по нашим континентальным понятиям, совершил великое дело политической организации британского рабочего класса. Именно тот реальный факт, что общность интересов вбирает в себя все, что принадлежит классу, реальный классовый характер партии был для него выше классовой идеологии. С нашей континентальной точки зрения он удовлетворился эмпирическим руководством классовой борьбы и не придавал значения скорее, наоборот, теоретическому об'явлению классовой борьбы. «Рабочая партия» есть марксизм без его учения, т. е. марксизм без Маркса».

Не входя в подробный анализ социал-демократической социологии, всех интересующихся этим вопросом отсылаем к протоколам двух последних с'ездов, имеющих важное, не только практическое, но также и теоретическое (социологическое) значение: социал-демократическому в Брюсселе и коммунистическому в Москве (VI конгресс Коминтерна). Брюссельский с'езд теоретически оправдал всю соглашательскую политику послевоенного времени и провозгласил новую эру «организованного капитализма», Коминтерн же вскрыл классовую сущность брюссельских политиков, заклеймив их печатью «политической измены и предательства рабочего класса».

Предшествующее изложение ставило целью показать, сколь различными путями современная (буржуазная и мелкобуржуазная) социология приходит к идее политического компромисса: демократии, ревизионизму или, в крайних случаях, даже к полной эксцерпации марксизма, а тем самым, следовательно, и к прямой поддержке капитализма. **Ни в одной области связь теории с политикой, а политики с экономикой столь отчетливо не выступает, как именно в социологии компромисса.**

Наше изложение, однако, не было бы достаточно полно, если бы мы не остановились еще на одной цепи мыслей, чрезвычайно революционных по форме, но насквозь компромиссных и мелко-буржуазных по существу. Речь идет об **анархо-синдикалистской социологии.**

Наибольшее сочувствие анархо-синдикализм, как известно, издавна находит среди рабочих тех стран, в производстве которых больше всего сохранилось ремесленно-цеховых традиций и где крупная фабрика еще не совсем вытеснила ремесло. В эту категорию следует отнести Италию, Швейцарию, Францию, Юго-западную Германию и некоторые другие европейские страны. Помимо рабочих-ремесленников, к анархо-синдикализму примыкает много интеллигенции, придающей этой партии совершенно своеобразный, интеллигентский отпечаток. Испытывая жестокий гнет со стороны крупного капитала, но в то же самое время крепко сросшись с жизненными формами эпохи мелкого производства, анархо-синдика-

листы являются принципиальными врагами всякого рода крупных организаций и монистических (социологических и историко-философских) систем. Идеология же и социология самих анархо-синдикалистов крайне неустойчива и плюралистична [1].

Неустойчивой идеологии анархо-синдикалистов соответствует столь же неустойчивая и чудовищно-противоречивая их политическая тактика. Как в сфере идеологической, так и в области политической практики, анархо-синдикализм представляет такую же систему координат без центральной оси, как и зиммеле-веберовская социология. Однако в настоящей связи нас может интересовать только одна сторона анархо-синдикалистской социологии—ее отношение к марксизму.

Отношение анархо-синдикалистской социологии к марксизму можно выразить в двух словах: синдикалистская социология весьма далека от марксизма. Достаточно указать лишь на то, что в основе марксистской социологии лежит материалистическая философия Маркса—Энгельса, координирующей же осью анархо-синдикализма служит интуитивная философия Бергсона. Марксизм же и бергсонианство—контрадикторные учения. Анархо-синдикализм и марксизм соприкасаются только в одной точке—в критике капитализма, в остальном же они стоят на разных полюсах.

Враги какой бы то ни было крепкой организации, анархо-синдикалисты являются принципиальными врагами классовой диктатуры пролетариата. Мало того, они отрицают даже существование классов. Отрицание классов в анархо-синдикалистской литературе наметилось еще до войны; инициатива в этом отношении принадлежит главному идейному вождю старого анархо-синдикализма Жоржу Сорелю, автору известной, на многие языки переведенной книги «Рассуждение о насилии». Однако до войны и Октябрьской революции анархо-синдикалистское отрицание классов не привлекало к себе достаточного внимания, что, вернее всего, об'ясняется тем, что тогда борьба между буржуазией и пролетариатом не имела еще такого острого и решительного значения, какое она приняла в послевоенное время.

Один из теоретиков анархо-синдикализма швейцарец Габриэль Дюпра года 2—3 тому назад дал краткое резюме основных положений современного, так называемого молодого, анархо-синдикализма в статье, озаглавленной «Классы и типы социальной жизни», представляющей краткое содержание монографии того же самого автора. Появление книги Дюпра, весьма сочувственно встреченной читающей публикой, как нельзя более симптоматично для периода реакции послевоенного периода.

В кратких словах социальная философия Дюпра сводится к следующему: современная жизнь настолько сложна и противоречива, что говорить о каких-либо друг от друга отгороженных каменной стеной классах или группах значит очень мало считаться с реальными фактами. В каждый отдельный момент создаются все новые и новые социальные комбинации: одни группы сменяют другие, одни рождаются, другие умирают.

«Действительно,—говорит Дюпра,—какая часто ожесточенная борьба, которая прежде всего вредит продолжительной и сильной солидарности, возникает между квалифицированными и неквалифицированными рабочими, между хорошо оплачиваемыми специалистами различных разрядов и техническими специалистами, между крестьянами и городскими рабочими, между купцами и служащими,

---

[1] Eduardo Cimbali, Tra l'antipatriatismo di Herve ed il patriotismo degli antinerveisti. Roma. 1928. Книга Cimbali представляет яркий пример оправдания национализма и империализма крайне сложными философскими соображениями.

между чиновниками, между конкурирующими или работающими на товарищеских началах ремесленниками, между консорциями, филиалами, картелями, трестами и т. д., не говоря уже о соперничестве сект и партий, не говоря о религиозной и политической ненависти, недоверии единообразных групп, о вражде городских кварталов и т. д. Опустившиеся, прежде привилегированные, имущие и господствующие «классы» также делятся на тысячу мелких клик, кружков, родственных групп и т. д. и т. д.; расщепление их все возрастает и увеличивается».

С некоторой натяжкой Дюпра, пожалуй, еще согласен признать существование буржуазных классов, но зато он уже никак не может помириться с признанием класса пролетариата.

«Этот пролетариат, который мы даже не имеем права ни смешивать с рабочей массой, ни об'единять с рабочей массой, есть в своей основе «люмпенпролетариат», к которому испытывал такое презрение Маркс. Он (пролетариат) готов на все, и ему следует уделять много снисхождения и сочувствия, чувства человечности, но этот «класс» не может вызвать доверия к себе, он может оставаться массой, которая в опьянении или преступности может служить революционным или реакционным целям, но ни в коем случае он не есть специальный «класс».

Вместо социальных классов Дюпра вводит довольно неопределенное понятие «социальных типов» (ремесленники, служащие, низшие, средние и высшие чиновники, мелкие и крупные предприниматели, офицеры, врачи, адвокаты и т. п.), классифицируемые по «уровню жизни». Введение в социологию «социальных типов», по Дюпра, будет совершенно достаточно для удовлетворения потребности в разделении понятий и научной классификации.

Отрицание классов и классовой борьбы составляет самый важный пункт анархо-синдикалистской социологии, в настоящее время имеющий исключительно большое практическое значение. Отрицание классов лишает анархо-синдикалистов возможности выработать единую тактику и поддержать единый пролетарский фронт, неизбежным следствием чего является распыленность социальной борьбы, своего рода политический феодализм, с логической необходимостью ведущий к компромиссу. Послевоенная линия поведения анархо-синдикалистов во всех странах и во всех сферах жизни в этом отношении не оставляет никакого сомнения.

В отношении противоречивости формы и содержания много общего с анархо-синдикализмом имеют также католицизм и фашизм, идеалом которых являются, казалось бы, уже отжившие учреждения Средневековья—церковь и цезарство. Факт церковного и цезарского ренессанса очень странный, но тем не менее—это факт и потому с ним так или иначе необходимо считаться[1]. В современной западной и, в частности, в немецкой ученой литературе и публицистике католическая и фашистская социология занимают достаточно видное место, чтобы не обойти ее полным молчанием. Для нашей цели это тем более важно, что католическая и фашистская социология, несмотря на все своеобразные приемы ее аргументации и специфические конечные цели, при ближайшем анализе оказывается такой же компромиссной социологией, как и все предшествующие. За католицизмом, и в особенности за фашизмом, скрывается не только мелкая и средняя, но также и крупная буржуазия, рассматривающая церковь как понтонный мост, переброшенный через пучину революции. До поры до времени volens-nolens приходится пользоваться понтонным мостом, но в дальнейшем, когда стихия ус-

[1] В частности, весьма показательна статья Георга Бейера в «Sozialistische Monatshefte», IV — 1929 г., как теоретическая попытка примирить католицизм и социализм.

покоится, понтонный мост может быть без труда разобран и сдан в архив, из которого он и был извлечен в виду крайних обстоятельств послевоенного времени.

Из социологов, примыкающих к католическому лагерю, следует отметить доктора Пипера, автора книги «Капитализм и социализм как духовная проблема», затем Шульте, Краля, Шрейбера и, самое главное, Макса Шелера, ученика и продолжателя философа Эдмунда Гуссерля, автора целого ряда самых разнообразных сочинений, самым значительным из которых является «Опыт социологии знания»[1].

В основных чертах ход мысли католической социологии развивается по такому плану: Военная катастрофа показала все бессилие западноевропейского общества, построенного на капиталистических и рационалистических основах. Буржуазный дух (Bürgergeist) за войну и после войны потерпел полное фиаско. Капитализм, а вместе с ним рационализм и вся буржуазная (рационалистическая) культура, говорит Маркс Шелер, задыхается в своих собственных творениях, в западноевропейском обществе начался процесс психического оскудения, подобный процессу рассеяния энергии.

Единственным выходом из создавшегося катастрофического положения, по мнению католиков, является социализм, но не революционный социализм (марксизм), а этический, христианский социализм. Необходимость христианского социализма доказывается такого рода соображениями. Человеческое общество может быть построено только на солидарности или на социальной гармонии интересов всех его членов, на разделении труда и справедливой иерархии по способностям, силам и склонностям (талантам). Классового деления, предполагающего имущественное неравенство, быть не должно, классовое деление должно быть заменено профессиональным делением, вытекающим из совместной работы и разделения труда.

Главное зло капиталистического строя, по мнению христианских социалистов, заключается в его неэтичности, в грубом материализме, между тем как материализм ни в какой форме не может быть положен в основу человеческого общежития. Материализм — один из важнейших тормозов морального, а тем самым, следовательно, и какого бы то ни было иного общественного оздоровления. Материализм—величайшее зло и проклятие современной культуры, «гангрена современного общества», но на нем покоится вся политика капиталистического общества, заслуживающего большого осуждения.

Современные политики, говорит Шелер, слишком много значения придают политическому строю и в этом заключается их большая «профессиональная» ошибка. На самом же деле политическая форма имеет весьма второстепенное значение,—ибо «счастье людей зависит не от учреждений, а от лиц, которым вверено управление общими делами».

Не имеет того всеопределяющего значения, которое ей так часто приписывают, и частная собственность. Сама по себе собственность, если угодно, учреждение высоко нравственного порядка, безнравственной же она становится лишь в классовом обществе, когда богатство одного причиняет зло другому.

Последний вывод из всех рассуждений католических социалистов: необходимость признания высшего руководства церкви, как единственного в христиан-

---

[1] Max Scheler, Versuche zu einer Soziologie des Wissens», 1924. Из других книг Шелера следует отметить: «Zur Phänomenologie und Theologie der Sympathiegefühle», «Der Formalismus der Ethik und materiale Wertethik», 1916. Специально для нашей цели, помимо мелких статей, важна монография «Der Genien des Kreges», перв. изд. 1917 г.

ском мире оздоровляющего этического начала. Единственный путь к спасению погибающего человечества, запутавшегося в тенетах собственной культуры, лежит через католическую церковь. Это последний путь спасения и возвращения к богу. Критика современного общества и идеализация церкви совершенно последовательно приводят Шелера и католических социалистов к идеализации Средних веков, когда церковь руководила всей общественной жизнью Западной Европы. Средневековый строй в глазах Шелера представляет идеальное сочетание разума, религиозности и авторитета—церковного, германского и античного духа. В Средние века[1] мирно уживались друг с другом священник, монах, царь, крестьянин, ремесленник и свободная богема. Разлитая теперь повсюду зависить (Resentiment) почти совсем не была известна Средневековью. Зависть, пришедшая в мир вместе с ренессансом и реформацией, породила: либерализм, рационализм, космополитизм и суб'ективизм всех культурных ценностей.

Хотя христианские социалисты и учат, что без разрушения капиталистического строя возрождение погрязшего во грехах и в мирской суете человеческого рода невозможно, но они тотчас же спешат прибавить, что возвращение человечества в лоно католической церкви будет совершаться лишь постепенно и продолжаться довольно долго, во всяком случае капитализм переживет современное поколение.

Социализм, полагает напр. доктор Пипер, только тогда сделается жизненным принципом «волей к жизни, стремящейся к богу», если он, как и капитализм, освободится от «рационалистических шлаков» и «холодной рассудочности», еще до сих пор тяготеющих над ним[1]. Достичь же такого рода одновременного перерождения как социализма, так и капитализма, по мнению католического социолога, можно исключительно путем «морального возрождения» и соответствующего воспитания в духе ослабления «голых приобретательских инстинктов» (blosse gewinnbringende Erwärbstätigkeit) и повышения товарищеских и профессиональных качеств, направленных на общенародное благо (Gemeinschaftsaufgaben). Профессиональное сословие (Berufsstände),—как раз и есть те «духовные, целостные части» (Teilgare), из которых будет состоять будущая «органическая народная община» (organisme Volksgemeinschaft). Достичь же этого можно исключительно путем «духовного взаимовлияния» через памятники искусства, поэзию, песню, науку и т. п.—словом, через воспитание и проповедь, при этом проводимых в строго германско-римско-католическом духе. «Aus dem deutschen Genossenchaftsgeiste und aus dem jenen verklärenden Geist der Bruderliebe der Religion Christi». В последней тираде выражена вся социология и социальная философия доктора А. Пипера, составленная в духе доподлинной средневековой схоластики и всеми ее логическими и литературными особенностями. «Социалистический» идеал А. Пипера слишком смахивает на модернизованный цеховой строй, искусно прикрытый «рационалистическим шлаком» и «льдяной рассудочностью», по временам переходящей в пустой набор слов...

Итак, согласно католической социологии, где-то, в туманной дали выступает силуэт высоко-этического общества, руководимого католическими патерами, но это все дело отдаленного будущего, а пока что остается земная проза: мир и дружба с капитализмом, компромисс с существующим буржуазным обществом и его «рационалистической» культурой.

---

[1] Dr. August Pieper, Kapitalismus und Sozialismus als seelische Probleme, 2 Aufl., 1925.

К той же самой идее классового сотрудничества, хотя и другими логическими ходами, ведут также и социологи фашизма, среди которых не последнее место занимает профессор Роберт Михельс[1], автор «Социологии партийной сущности» и двухтомной монографии «Фашизм и социализм».

Три главные причины, по мнению Михельса, вызвали появление фашизма в Италии, Испании и других европейских странах: 1) реакция на «большевистскую анархию», грозившую погубить Италию, 2) самозащита интеллигенции против наплыва пролетарских элементов и, наконец, 3) защита интересов капитала (Die Interessenvertretung des Kapitals). Противники фашистов, социалисты и коммунисты, жалуется Михельс, в своей «пристрастной однобокой» критике фашизма обыкновено упирают именно на третий пункт, т. е. на Interessenvertretung des Kapitals, а сами фашисты нередко скромно это отрицают; те и другие поступают неправильно. При настоящем положении вещей и при состоянии современной культуры фашизм, как и всякий другой общественный строй, не может обойтись без привлечения на свою сторону капитала, да с другой стороны, и сам капитализм сейчас не может обойтись без фашизма.

«Крупный капитал как индустрии, так и сельского хозяйства был бы безумен, если бы он не сумел использовать фашизма в своих интересах. Впрочем, сельское хозяйство, кажется, быстрее решилось на безусловную моральную и финансовую поддержку, чем индустрия».

Фашизм, указывает далее Михельс, оказал и продолжает оказывать индустриальному капитализму не малую услугу, избавляя индустриалов от очень большой неприятности — от классовой борьбы. Бенитто Муссолини — действительный коллаборационист, сознательно проводящий идею классового сотрудничества и социального мира. Высказываясь против паразитарной буржуазии (borghesia parasitaria), Муссолини никогда не забывает также и интересы народа, но, будучи великим социальным психологом и социологом, вождь фашизма дает народу столько прав, сколько он может, так сказать, переварить, т. е. использовать для общего, всенародного блага. Сами массы, думает Михельс, ценят и понимают, что в настоящее время речь может идти только о сочувствии (Zustimmung), а не о прямом участии (Mitwirkung) масс в управлении. Одно из важных доказательств правильности этого Михельс усматривает в массовом приливе в фашистские синдикаты рабочих, служащих и интеллигенции, покидающих социалистические ряды. В классовом содружестве и об'единении труда и капитала, заключает Михельс, лежит залог блестящего будущего фашизма, того circulatione del sanguine, о котором с древне-римским пафосом в энтузиазмом неустанно говорит duce Benito Mussolini, глава современной итальянской l'aristokratia della mineranza, некорованный шеф итальянской молодежи (giovenezza). Такова картина фашистской державы, вышедшая из художественного ателье профессора Михельса. К сожалению, величественное панно, набросанное рукою первоклассного литератора, сильно ослабляется его отдельными, мимоходом брошенными, замечаниями вроде того, что фашистская «полная национального достоинства» политика в то же самое время полна и «твердой осторожности» и совершается tempo sekundo (умеренным темпом).

Общее впечатление, выносимое из изучения фашистской социологии, не оставляет никакого сомнения в принципиальной компромиссности этого направления. Фашизм—такая же соглашательская социология, как и все предшествующие, только

[1] R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, 1921; «Problemi di sociologia applicata», 1919. 1921. «Psychologie der antikapitalistischen Massenbewegungen», 1925 и, самое главное «Corsodi Sociologia politica», 1927 г.

отличающаяся от них своей чудовищной крикливостью и хвастливостью, часто граничащей с полной потерей элементарного эстетического вкуса и совести. Однако, никакой авантюризм и даже самая искусная фразеология не может скрыть истинной основы фашизма. При более близком знакомстве с практикой фашизма не остается никакого сомнения в его компромиссности по всем линиям: одинаково как по линии внешней, так и по линии внутренней политики. Идеологи фашизма (Россони, Стефани, Фадерцонни, Рокко и др.) неустанно твердят об анархизме и индивидуализме предпринимателей, проповедуют «корпоративизм», выдвигают идею «социалистического синдикализма», вводят carta di lavore и пр. и в то же самое время морально реабилитируют капитал, об'являя его целью как личных, так и государственных стремлений, и в качестве пайщиков, консультантов и директоров и т. п., принимают ближайшее участие в капиталистических предприятиях, освобождают имущие классы от налога и пр. Уже само понятие «интегрального государства», как идеального общественного строя, по своей логической природе—дуалистично и содержит в себе элемент компромисса. Бывают моменты, когда фашисты сами, не отдавая себе ясного отчета в идеологическом содержании своей политики, откровенно заявляют, что они правят для того, чтобы править.

«Нас спрашивают,—заявил однажды duce,—какова наша программа. Наша программа очень проста: мы хотим управлять!».

На фашизме мы и прекращаем наш обзор течений в современной социологии Запада, упомянув только в интересах полноты еще о двух, оставшихся вне рассмотрения, хотя и очень популярных, течениях: конкретно-историческом и формально-социологическом. Представителем первого направления можно считать Альфонса Допша, вторым—Альфреда Фиркандта и всю кельнскую социологическую школу[1]. Конкретно-историческая школа совершенно отрицает какую бы то ни было социологию, целиком растворяя ее в описательной конкретной истории. Последовательно проведенная точка зрения исторической школы должна привести к отрицанию хозяйственного политического и культурного, в широком смысле, прогресса, подставляя на место смены хозяйственных форм смену поколений. Все социальные элементы, по теории исторической школы, даны раз и навсегда, с самого начала: меняются не элементы, а их комбинации и количественные соотношения. Последний вывод из философии исторической школы: беспочвенность всех надежд на радикальное изменение социального строя. В своих глубочайших основах человеческое общество всегда, поскольку ему вообще суждено существовать, остается неизменным, а потому и коммунизм, желающий в корне перестроить современное, так называемое, буржуазное общество, не состоятелен в самой основе. Самое большее, на что может рассчитывать социальный реформатор, это на более или менее искусное сочетание социальных атомов, в числе которых, между прочим, значится также и капитал, как неизменная социальная категория. Не трудно показать, что «историзм» в конечном итоге приводит все

---

[1] Alfons Dopsch, Wirtschaftliche und sociale Grundlagen der europäschen Kulturentwicklung, Wien, 1924; Alfred Vierkand, Gesellschaftslehre, Hauptprobleme der philosophischen Sociologie, 1923. Чрезвычайно интересная с точки зрения проблемы социального компромисса книга Theodor'a Litt, Individuum und Gemeinschaft (Grundlegung der Kulturphilosophie), 2, 1924, рассматривается в другой части настоящего очерка в иной связи. Там же дается и анализ «Gesellschaftslehre» К. Бринкмана, показательной для возрождающейся в условиях стабилизирующегося капитализма неокантианской социологии и философии культуры.

к тому же самому социальному компромиссу. К социальному же компромиссу и классовому сотрудничеству, но только с другой стороны, приходит и формально-социологическая школа, родоначальником которой считают Георга Зиммеля, а наиболее последовательным продолжателем—только что упомянутого А. Фиркандта.

Как был указано выше, компромисс является столько же теоретической, сколько и практической проблемой. Все без исключения (буржуазные) социологи, признающие компромисс в теории, оказываются сторонниками соглашательской политики и врагами классовой диктатуры пролетариата. При всех своих теоретических разногласиях они в конечном итоге приходят к одному и тому же результату: к признанию необходимости врастания капитализма в социализм. Послевоенная Европа, особенно Германия, чрезвычайно богата всевозможными проектами, направленными на «экономическое и моральное возрождение» человечества, идущими из оппортунистического лагеря. В конце концов, мелкая буржуазия ничего не имеет против социализма, но осуществление этой «великой идеи» она отодвигает в бесконечную даль времен и с негодованием отрицает мысль о диктатуре какого-либо одного класса, прежде всего, разумеется, пролетариата. Все мелкобуржуазные теоретики согласны в одном, именно в том, что наступлению социализма должна предшествовать целая подготовительная эпоха «высокого», «организованного» или «коллективного» капитализма. Наступление же социалистического строя, согласно, например, исчислению авторитетного политико-эконома Робертуса-Ягецова, следует ожидать не ранее, чем через 500 лет. Срок времени, совершенно достаточный для того, чтобы не пугаться социализма и безмятежно продолжать пользоваться всеми благами частной собственности и наслаждаться всеми прелестями домашнего уюта.

«Социалистическое движение,—пишет по этому поводу в «Kapitalismus und Konsumenten»[1] Роберт Вильбрандт, один из авторитетных социалистов-реформистов, автор[2] целого ряда больших книг и статей,—победит только в том случае и тогда, когда достаточное количество индивидуумов будет проникнуто и воодушевлено духом общественности и корпоративности. Стало быть необходимо продолжительное воспитание»...

Из этого делается вывод о необходимости длительного воспитания индивидуумов в социалистическом направлении, но воспитания мирного, спокойного и антиреволюционного.

«Пройдут тысячелетия, пока движение это само сможет осуществить все свое значение. Тысячелетия должны пронестись, пока оно образует интернационально настроенный коллектив. Затем ему нужны еще столетия, пока оно достигнет хотя бы некоторых размеров, как базис улучшения судьбы беднейших классов».

В качестве непосредственных, практических мероприятий все сторонники компромисса (социал-демократы, радикалы зомбартовского типа, католики, фашисты и пр.) прежде всего рекомендуют «широкую демократизацию производства»: устройство потребительских коопераций, рабочих союзов, товариществ, артелей, производственных советов и т. п. учреждений. При этом, что в высшей степени характерно для мелкого собственника, «широкая демократизация производства

[1] «Grunds. d. Sozialökonomik», IX, 1927.

[2] Главнейшие из них: «Die Grundzuge der Volkswirtschaftslehre», «Die Bedeutung der Konsumgenossenschaften»,«Die Entwicklungslinie des Socialismus». Богатый материал компромиссного решения проблем капитализма содержат работы Fr. Oppenheimer'a, System der Sociologie, 1924, Das Grundgesetz der marxischen Gesellschaftslehre, и др.

сплошь и рядом неразрывно связывается с заменой крупного производства мелким «ремесленно»-синдикальным.

«Все зло современной культуры,—заявляет, например, один из христианских социалистов Гелльпах,—как раз и заключается в преобладании крупного производства, разрывающего «душевные связи между человеком и его работой».

Ослабление крупного производства и переход к мелкому, полагает Гелльпах, создаст «духовное слияние человека с его работой», утраченное при фабричном способе производства.

Первые шаги к такого рода «духовному слиянию человека с его работой», по теории Гелльпаха [1], должны сводиться к раздроблению крупных предприятий на мелкие предприятия—мастерские, пользующиеся широкой автономией и организованные по типу средневековых цехов с наследственными должностями и с особо почетным положением старших мастеров. Таким путем должно произойти освежение производства, должен повыситься пафос работы и механический труд фабричного рабочего должен постепенно превратиться в искусство ремесленника и крестьянина, т. е. мелкого собственника; на языке католиков это, собственно, и называется социализмом.

«Единственное средство усилить продукцию производства—это превратить человека из средства производства в его господина и хозяина. Естественный человек развивает свое существо только в своей собственной работе и при наличии личной заинтересованности... Освободите рабочего в его работе от давления опеки и чисто военного обращения с ним, и тогда все остальное, чего теперь ищут как необходимого пути, станет лишним», заявляет один из мирных социалистов Розеншток, автор «Жизненная работа в индустрии».

Практические результаты компромиссной политики не заставили себя долго ждать. Буржуазия с большим успехом использовала «идею врастания», оправилась от нанесенного ей Ноябрьской революцией удара и приступила к ликвидации всех революционных завоеваний пролетариата.

«Даже элементарные требования,—жалуется в юбилейном номере «Der Kampf» автор статьи (Штрэбель) «Десять лет немецкой революции»,—остались неисполненными, капитал победил также и в налоговом деле. Революция получила в наследство от войны огромные долги, расстроенные финансы и расшатанную валюту. Уже в августе 1917 года 1,9 бумажных марок имела покупательную силу только одной марки мирного времени. Уже 31 марта 1919 года долги возросли до 156 миллионов. Обеспечение денег возрастало все в большей прогрессии, так что в августе 1919 года 4,25 бумажн. марки, а годом позднее 11,37 бумажных марок соответствовали одной золотой марке.

В 1922 г. Германия оказалась вполне в том русском положении, которое ей еще за несколько месяцев казалось сказочным».

Победа капиталистических сил (Kapitalgewalten) оказалась полной. Буржуазия победила, и победив, по старому обычаю, всю тяжесть государственных расходов и обложений перевалила на низшие классы.

«Сколь крепко еще и теперь капиталистически сильные магнаты в Германии держат в своих руках бразды политики, доказывает тот факт, что распределение налогового бремени между имущими и неимущими и после стабилизации не улучшилось. Еще до сего времени $^2/_3$ всех налогов состоят из массовых налогов. Из общей суммы налогов государства 1927/28 г., равной 8 490 миллионам марок, только 2 797 миллионов состоят из налогов с имущих, 177 миллионов из социально неоп-

---

[1] W. Hellpach, Gruppenfabrication, 1922.

ределимых налогов и 5 515 массовых налогов. Из них 1 348 миллионов идет с зарплаты, 349 миллионов с жалованья, 873 миллиона с оборотного капитала и 2 940 миллионов с пошлин и с налога на предметы потребления. Это соотношение массовых налогов к налогам с имущих как 2 : 1 не меняется и взиманием всех земельных и коммунальных сборов» [1].

В окончательном же итоге, по истечении десяти лет, оказывается, что Ноябрьская революция не только не уничтожила классового неравенства и силу богатства, но, наоборот, еще более подняла значение богатства и увеличила пропасть, отделяющую один класс от другого.

«На то, что теперь снова собственность вполне была бы способна принимать гораздо большее участие в налоговом обложении, показывают не несообразные балансы, вызывающие улыбку, но повсюду распространяющаяся роскошь, и тот единственный в своем роде факт, что с 1 июля 1921 года число легковых автомобилей с 60 000 возросло до 351 000 в июле 1928 года, не говоря уже о более чем 120 000 грузовых автомобилях и более 400 000 мотоциклетов» [2].

С особой свирепостью «организованный капитал» дал себя почувствовать в железной и стальной индустрии Западной Германии, выбросив на улицу 213 тысяч рабочих, требовавших соблюдения коллективного договора и прибавки трех-четырех процентов заработной платы. Несмотря ни на что, ни на хозяйственную демократию, ни на хозяйственный парламент, ни на третейские суды, ни на производственные советы, ни на социалистическое большинство Рейхстага и пр., победа осталась на стороне дюжины «хозяйственных вождей» (Wirtschaftsführer), господ Гиссена, Клökнера, Фöглера и др. Победу «организованного капитала» вынуждены признать даже официальные органы немецкой социал-демократии.

«Несмотря на все попытки,—пишет, напр., Отто Лейхнер в статье «Хозяйственная демократия» [3],—предпринятые всеми немецкими рабочими и прежде всего немецкими профессиональными союзами для обуздания разнузданной власти гигантских предприятий, несмотря на все попытки смягчить автократию Тиссенов, Клöкнеров и Фöглеров посредством развития элементов демократического хозяйства и навязать демократический элемент неизбежному развитию во все большие и аристократически управляемые капиталистические формации, несмотря на все старания установить хозяйственную демократию, которая если и имеет какой-либо смысл и цель, то ее смысл и цель должны состоять в том, чтобы сделать невозможными подобные оргии капиталистических автократий или же, по крайней мере, ослабить их опасное влияние. И тем не менее, несмотря на все это, мы имеем подобного рода взрывы производственной диктатуры».

Сказанное в отношении к Германии в большей или меньшей степени может быть распространено также и на другие страны, в которых восторжествовала компромиссная политика.

В высшей степени знаменательно: «оргии автократического капитала» нашли свое отражение также и в социологии последних лет. Социология компромисса, характерная для первых лет послевоенного времени, мало-по-малу начинает утрачивать свой интерес и остроту, уступая буржуазному «радикализму». О глубоких переменах, совершающихся в экономических корнях, как нельзя более определенно свидетельствует возрождение либеральной школы политической экономии. Долгое время остававшаяся почти неизвестной австрийская школа Мизеса в последнее

---

[1] Rosenstock, Lebensarbeit in der Industrie, 1926.

[2] G. Frenz, Kritik des Taylorsystems, 1920 г.

[3] «Der Kampf», XII, 1928.

время стала приобретать большое число сторонников, в частности среди русской эмиграции[1]. Усиленно изучая и комментируя Макса Вебера, особенно его главы, относящиеся к капитализму, либералы подвергают резкой критике всю систему советской экономической политики (плановость, теорию рынка, денежного обращения и т. д.). Смысл этой критики достаточно ясен: скомпрометировать социализм не только на практике, но также показать его несостоятельность и в теории и тем самым постепенно расчистить путь «оргиями автократического капитализма».

В. Сергеев.

[1] B. Brutzkus, Die Lehren des Marxismus im Lichte der russischen Revolution, 1928, V. Totomians, Geschichte der National-Oekonomie und des Socialismus. Не менее показательны также и статьи Франка, Карсавина, Ильина в «Der Staat das Recht und die Wirtschaft des Bolschewismus».

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ СССР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Пролетарская революция», №№ 1 (84), 2—3 (85—86) и 4 (87).
«Красная летопись», № 1—28.
«Каторга и ссылка» («Историко-революционный вестник»), №№ 1 (50)—5 (54).

«Пролетарская революция», №№ 1 (84)—3 (87). С тех пор, как «Пролетарская революция» стала органом Института Ленина при ЦК ВКП(б), центр тяжести внимания редакции журнала все более и более переносится на материалы, связанные с деятельностью и именем В. И. Ленина. Это придает выдающийся интерес почти каждой книжке журнала. В № 1 (84) «Пролетарской революции» впервые опубликован конспект реферата В. И. Ленина—«Первое мая и война», в котором В. И. впервые подводит итоги революционизирующему фактору мировой войны. В конспекте реферата очень часто намечены основные задачи того момента: раз'яснение массам империалистического характера войны и измены оппортунистов, организация нового Интернационала и развертывание гражданской войны, с попутным выяснением перед массами вредности пацифистских иллюзий.

В связи с этим же вопросом стоит работа С. Бантке «В. И. Ленин и большевизм на международной арене в довоенный период». Как раз эта сторона деятельности В. И. Ленина в печати до сих пор очень мало освещена. Так, напр., в недавно вышедшей книжке В. Волосевича «Большевизм в годы мировой войны» так и отмечается, что большевизм вышел на мировую арену только в годы империалистической войны. С. Бантке указывает, что дату появления большевизма на международной арене, как самостоятельного революционного течения, можно вести с 1904—1905 гг., с переписки между А. Бебелем и В. И. Лениным, касавшейся раскола РСДРП. Немецкие с.-д. тогда были настроены против большевиков и выступали в защиту меньшевиков. Далее, когда началась революция 1905 г., т. Бантке сообщает о письме В. И. Ленина в Международное социалистическое бюро с просьбой выпустить особое обращение к рабочим всех стран о русской революции. С. Бантке указывает, что это письмо осталось без всякого ответа, и «это было новым практическим уроком, который был дан Ленину со стороны МСБ». Интересно также отметить, что немецкие с.-д. не пропускали статей В. И. Ленина в «Neue Zeit». После революции 1905 г. В. И. Ленин тщательно изучает международное рабочее движение и находит, что здесь «глубокие шатания и брожения; две болезни, две крайности, два фронта, против которых нужно бороться». Он подчеркивает необходимость вытравить из рабочего движения как немецкий парламентский идиотизм и мещанско-интеллигентский оппортунизм, так и узкий закорузлый сектантский дух, присущий англо-американским партийным организациям. В связи со Штутгардтским конгрессом (1907 г.), где впервые большевики имели представительство, С. Бантке останавливается на двух вопросах: колониальном и об антимилитаризме, как центральных вопросах конгресса. Ленин точку зрения большинства комиссии конгресса по колониальному вопросу назвал колониальным шовинизмом. С. Бантке приводит интересную таблицу голосования по колониальному вопросу, причем за предложение социал-шовинистов на конгрессе было 108 голосов, а за революционную с.-д. 127, причем Россия единственная из крупных наций отдала все свои 20 голосов в пользу революционных с.-д.

Бросается в глаза диаметрально-противоположное голосование немецкой и русской с.-д., оно указывает, что правильное понимание и отстаивание интернационализма уже тогда выпадало из рук немецких с.-д. и переходило к большевикам.

Интересно отметить, что тогда же в Штутгардте было проведено нелегальное совещание (по отношению к вождям II Интернационала) марксистов, разделявших точку зрения В. И. Ленина и Р. Люксембург, что означало попытку образования левого крыла во II Интернационале. Эта работа внутри II Интернационала велась все время, вплоть до войны 1914 г., чтобы потом вылиться в открытую войну во время империалистической войны. После Штутгардта Ленин вошел в МСБ как представитель РСДРП с решающим голосом. В заседаниях МСБ Ленин не раз выступает против его оппортунистической тактики. На Копенгагенском конгрессе Ленин идет на решительную «разверстку» с оппортунистами. Резолюция РСДРП(б), внесенная В. Лениным на Копенгагенском конгрессе, и его статья о кооперативах интересны для характеристики взглядов Ленина на кооперацию в капиталистическом обществе и на роль кооперации после захвата власти пролетариатом. Дальнейшее участие большевиков в МСБ и на конгрессах II Интернационала идет по той же линии борьбы революционной с.-д. с оппортунистами. С. Бантке дает подробное описание выступлений большевиков на конгрессах II Интернационала вплоть до Лондонской конференции в феврале 1915 г., где т. Литвинов (Максимович) заявил об измене вождей II Интернационала делу международного пролетариата.

В апрельской № 4 (87) книжке «Пролетарской революции» большую ценность представляет комментарий В. Адоратского «Ленин о гегелевской логике и диалектике». Комментарий написан к недавно найденным и намеченным к опубликованию «философским тетрадям» В. И. Ленина.

Следует еще остановить внимание на ст. Д. Кардашева в № 2—3 (85—86) «Пролетарской революции» «Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую в свете ленинской теории «американского» и «прусского» пути развития».

Статья написана исключительно по статьям и материалам, связанным с именем В. И. Ленина, и является также своего рода сводным комментарием к высказываниям В. И. по данному вопросу. Автор приходит к выводу, что «ленинская теория революционно-демократической диктатуры» есть как бы «общая формула определенного классового соотношения сил в эпоху н е з а в е р ш е н н о й буржуазно-демократической к р е с т ь я н с к о й революции». Эта же теория, по словам Д. Кардашева, «лежала в основе с т р а т е г и ч е с к о г о содержания партийной платформы революционной социал-демократии... Вместе с этим, продолжает Д. Кардашев, эта теория является вместе с тем и формулировкой наиболее общих о б ' е к т и в н ы х и с у б ' е к т и в н ы х условий возможного перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую». Д. Кардашев обещает дальнейший анализ поставленной проблемы.

Из материалов и воспоминаний о В. И. Ленине нужно отметить работы в «Пролетарской революции», далее следуют статьи Д. Баевского «Как ленинский «империализм» увидел свет», И. Лалаянца «О моих встречах с В. И. Лениным за время 1893—1900 гг.», А. Шаповалова «Воспоминания о встречах с В. И. Лениным», С. Арканова «Воспоминания о пребывании Владимира Ильича в селе Шушенском», В. Крутовского «В одном вагоне с Ильичем» (№ 1—84).

С № 2—3 (85—86) «Пролетарской революции» начали печататься «Письма В. И. Ленина из ссылки за 1897 г.», в № 4 (87) его же письма за 1898 г. Для биографа В. И. Ленина эти письма представляют огромную ценность. Кстати, когда же мы будем иметь эту биографию? Попыткой к разрешению этого вопроса является заметка А. Эйхенгольца в № 1 (84) «Пролетарской революции» «Обзор основных материалов к биографии В. И. Ленина (Ульянова)». Можно присоединиться к пожеланию автора заметки о том, что Институту Ленина необходимо поскорее развернуть широкую работу по собиранию, систематизации и разработке материалов научной биографии В. И. Ленина.

«К р а с н а я л е т о п и с ь», № 1 (28). «Красная летопись» также отвела значительное место материалам о В. И. Ленине. В журнале приведена фотография черновика-факсимиле «безусловного приказа» В. И. от 2 марта 1918 г., когда происходили переговоры с немцами о мире, когда еще можно было ожидать, что неприятель вместо заключения мира пойдет в наступление. В. И. приказывал: «Мы полагаем, что завтра, 3/III, будет подписан мир, но донесения наших агентов, в связи со всеми обстоятельствами, заставляют ожидать, что у немцев возьмет верх партия войны с Россией в ближайшие дни. Поэтому безусловный приказ: демобилизацию красноармейцев затягивать; подготовку подрыва железных дорог, мостов и шоссе усилить; отряды собирать и вооружать: эвакуацию продолжать ускоренно,

оружие вывозить вглубь страны»... Из этих кратких директив можно видеть, какую роль играл В. И. Ленин не только как политик, но и как военный стратег и руководитель всей нашей борьбы с империалистическими насильниками.

В той же книжке «Красная летопись» Э. Гюллинг знакомит нас с ролью В. И. Ленина в деле заключения первого договора между социалистической республикой Финляндией и РСФСР. Это также одна из мало освещенных страниц нашей внешней политики и биографии В. И. Ленина. А. Ильин-Женевский опубликовал с своими примечаниями письмо В. И. Ленина к известному революционеру-большевику рабочему И. В. Бабушкину, датированное 6 I 1903 г. Из письма видно, как В. И. тщательно следил за работой партийных организаций в России вообще и питерской организации в частности.

Из остального материала в № 1 (28) «Красной летописи» следует отметить статью Н. Корнатовского «Второе наступление белогвардейцев на Петроград» (гражданская война на северо-западе России в 1919 г.) и третий очерк К. Шелавина «Из истории петербургского комитета большевиков в 1918 г.».

В рецензируемой книжке мы найдем много интересного материала из истории революционного движения в области в разделах, посвященных движению в войсках и флоте и на отдельных фабриках и заводах Ленинграда, а также в очерках деятельности отдельных партийных организаций в уездах.

В рецензии на книжку О. Чаадаевой—«Помещики и их организации в 1917 г.» А. П. Чулошников дает ценный материал из архивов бывшего министерства земледелия об организации Северным сельскохозяйственным обществом союза мелких земельных собственников.

«Каторга и ссылка» («Историко-революционный вестник»), № 1 (50)—5 (54). В пяти рецензируемых книжках «Каторги и ссылки» выделяется статья Г. Чулкова «Достоевский и утопический социализм» (в № 2/51—3/52). Работа Г. Чулкова гораздо шире, чем это можно думать, судя по заглавию. Он уделяет очень большое внимание общей характеристике политического положения в эпоху Достоевского не только России, но и Западной Европы. Г. Чулков очень детально знакомит читателя с важнейшими фактами эпохи и старается вскрыть их внутреннюю сущность и дать этим фактам определенную оценку. Поставив себе задачу обрисовать Достоевского как активного революционера в период его сношений с «петрашевцами», автор определяет его общественно-политические взгляды и, в частности, его взгляды на революцию в Западной Европе и в России. С поставленной задачей Г. Чулков справился лишь наполовину, и на ряд вопросов мы у него ответа не находим. Так, например, остается неясным—имело ли какое-либо основание царское правительство приговаривать автора «Бесов» и «Дневника писателя» к смертной казни и ссылать на каторгу. Не ясен также ответ на вопрос о противоречивости в отношениях Достоевского к таким из его современников, как Белинский. Г. Чулков об'ясняет этот факт «низким внутренним опытом, предопределившим дальнейший путь его духовного развития». В своих заключениях по поводу этой статьи редакция указывает, что «эта голая ссылка на «некий внутренний опыт» ничуть не убедительна и не проливает ни малейшего света на внутренние переживания и умонастроения Достоевского, уже в то время сильно зараженного мистико-религиозными настроениями и даже духом официального православия и церковности». Мы вполне присоединяемся к отзыву редакции о том, что автор «слишком резко» обособил Достоевского 40-х годов от Достоевского предшествующего периода и от позднейших этапов его жизненной эволюции.

Таким образом, Достоевский, эта крупнейшая фигура в мировой литературе, и не менее крупная в истории русской общественности, все еще не нашла своего серьезного исследователя. Статья Г. Чулкова может дать лишь толчек к дальнейшему изучению поставленной им темы.

Из истории революционного движения в рецензируемых книжках большое внимание уделено якутским событиям 1889—1904 гг. в книгах № 3 (52) и № 4 (53). Воспоминания И. Н. Мошинского «Ф. Э. Дзержинский и варшавское подполье 1906» в № 1 (50), С. Лившиц «Подпольные типографии 60, 70 и 80-х годов» в №№ 1 (50), 2 (51) (незакончены), Л. С. Федорченко (Н. Чаров) «В тюрьме и ссылке» (из воспоминаний 1895—1900 гг.) в №№ 1 (50) и 2 (51), и др.

В отделе «Лики отошедших» помещен ряд литературных характеристик и портретов «отошедших» революционеров: Е. Рогозинниковой, В. Н. Катин-Ярцева, З. П. Соловьева, А. К. Кузнецова, М. К. Логовского, В. И. Хлебцевича, Н. Н. Розанова, Т. Я. Мирошниченко, М. Ф. Фроленко, В. И. Болтиева, Я. А. Зильберштейна,

Г. В. Горсткевича, П. Д. Баллода, А. С. Гуревича, П. Ф. Теплова, Ф. А. Борисова, Ф. А. Кошелевой, В. А. Потапенко, Л. П. Буланова, И. Д. Лукашевича, Е. С. Гуревича, А. С. Форминского и др.

Из библиографических работ «Каторги и ссылки» следует отметить опыт указателя литературы по истории партии «Народной воли» М. Дрея, начатый печатанием в № 1 (50) и оконченный в № 4 (53) «Каторги и ссылки». С № 5 (54) начал печататься систематический указатель литературы, вышедшей в 1927—28 г., по революционному движению в России XVII—XX веков, составленный Р. С. Мандельштамом, под ред. Б. П. Козьмина.

А. Шестаков.

КРАСНЫЙ АРХИВ

Исторический журнал. Центрархив, т. XXXI, 1928, с. 226; т. XXXII, с. 238.

Вышедшие недавно номера не обманули надежд, привычно связанных с появлением новых книжек «Красного архива»: достаточно сказать, что в обоих номерах—«Дневник министерства иностранных дел» за время с 22 (9) апреля 1915 г. по 10 октября (27 сентября) 1916 г. Не говоря уже о том, какой вклад в изучение дипломатической истории самой войны составляет «Дневник», но он представляет огромный практический интерес и для политической борьбы и с вновь нарастающей империалистической войной.

Это—не документы, вернее, тут почти нет новых неизвестных документов[1], но это и не мемуары, сквозь призму личного восприятия передающие исторические факты. Это, если можно так выразиться, омемуаренные документы, снабженные деталями такого рода, о которых говорят, что они составляют самую картину; материалы красочно вскрывают весь фон дипломатической кухни этого периода. Чего стоит инцедент с Люксембургским герцогством? Обещав его Бельгии, Франция не отказывается от мысли самой прибрать его к рукам, подготовляя меры за спиной Бельгии, а обиженная сторона вынуждена у России искать поддержки против вероломства союзника. Причем вся эта возня носит настолько интимный характер, что никаких официальных или полуофициальных материалов не сохранилось. Если бы не записи начальника канцелярии министерства иностранных дел бар. М. Ф. Шиллинга, то вообще никаких следов не осталось бы.

Центром «Дневника» является вопрос о выступлении Румынии, интересный и как образец чрезвычайно сложной дипломатической игры и,особенно, как свидетельство все усиливавшейся за время войны зависимости русской политики от союзной.

Выступление Румынии на стороне союзников, как это ни странно на первый взгляд, было невыгодно России: оно требовало удлинение русского фронта километров на 200, выделение 250-тысячной армии, что ослабляло противогерманский удар и, самое главное, не давая ничего положительного в военно-стратегическом отношении, требовало больших политических жертв: Румыния выростала чуть ли не на 20—30%, притом за счет земель, которым Россия предполагала дать совсем другие назначения. Русская дипломатия, поэтому, в переговорах с Румынией ставила условия, мало приемлемые для последней; но для союзников румынское выступление имело прямо противоположный характер: оно закрывало доступ в Германию всяких продуктов с юга, оттягивало части немецких войск с западного фронта, а особенно с салоникского фронта, что в свою очередь открывало возможность большого давления на Грецию и, в известной мере, дорогу на Константинополь. Отсюда неуклонное и постоянное требование к России уступить Румынии, а со стороны последней все возрастающие домогательства, в числе которых фигурировала, правда, не называемая по имени, Бессарабия. Выступление Румынии на самом деле обошлось гораздо дороже самой пессимистической оценки: оно удлинило русский фронт на 450 километров и оттянуло 420 тысяч русских солдат[2].

Однако и помимо румынского вопроса в «Дневнике» рассыпан целый ряд вопросов, характеризующих внешнюю политику периода войны. Тут и вопрос о

---

[1] Напрасно редактор, ссылаясь на книги, в которых перепечатаны документы, не указывает первой публикации тайных документов в 1917 г.: там и договор с Японией и приезд Поля Думэра и т. п.

[2] См. А. Базаревского, «Выступление Румынии», сборник «Кто должник?».

будущей Югославии, против образования которой тщетно протестует Италия, и подготовка сепаратного мира со стороны России, и неприкрытое хозяйничанье в Персии, и яркие образцы колониальной политики в Китае: «Дневник» вскрывает подробности об'явления Китаем войны Германии, весь план которой был тщательно разработан и продиктован в российском посольстве.

Для характеристики приемов дипломатии можно было бы сослаться на инцидент с Аландскими островами. В целях борьбы с германским флотом Россия укрепила берега островов, считавшихся нейтральными, что вызвало протест Швеции, опасавшейся полного присоединения островов к России. Союзники порекомендовали России для успокоения Швеции об'явить, что укрепления будут срыты немедленно по окончании войны, но русская дипломатия, выдав тем самым свое намерение действительно захватить острова, под всяким предлогом оттягивала публикацию. На доводы начальника канцелярии, английский посол «с улыбкой заметил, что в настоящую минуту главное—избежать войны со Швецией, а в посольстве, несомненно, можно будет найти не один предлог для оправдания новых укреплений на Аландских островах, если в этом окажется потребность» (№ 32, с. 37). Многим ли это лучше нарушения Германией нейтралитета Бельгии, судить тем, кто искренно считал из ряда вон выходящим цинизмом заявление Вильгельма, что договор с Бельгией—лишь клочек бумаги.

Из других материалов журнала имеют большое значение документы из истории революции 1905 г.: «Борьба С. Ю. Витте с аграрной революцией» в № 31 и «Мобилизация реакции в 1906 г.» в № 32.

Первая показывает, насколько революция 1905 г. явилась генеральной репетицией 1917 г.: попытка Витте изменить всю дислокацию русской армии применительно к губерниям, охваченным аграрными движениями, вызывает в памяти такую же попытку Временного правительства после июльских дней 1917 г. Можно думать, что последнее просто списало проект у Витте.

Вторая группа материалов—о подготовке Столыпина к разгрому революции после разгона I думы—в свою очередь имеет двойной интерес: во-первых; полностью подтверждает тактику Ленина, предлагавшего перенести восстание на осень 1906 г., а во-вторых, проливает свет на вопрос, почему Столыпин шел напролом в своей аграрной политике. «Общеизвестною почвою для успеха пропаганды,—писал Столыпин (№ 32, с. 613),—является стремление сельского населения к увеличению земельного надела.... поэтому местной власти необходимо прежде всего принять меры к возможно быстрому устранению тех экономических причин, на которые опирается агитация...». Отсюда та прямолинейность и решительность, с которой Столыпин ломает общину, ускоряет землеустроительные работы и т. п.

Дальше идут материалы из эпохи гражданской войны: «Развал колчаковщины» (№ 31) и «Из истории внешней политики правительства Врангеля» (№ 32).

«Развал» представлен дневником премьер-министра колчаковского правительства В. Н. Пепеляева за время с 1 июля по 31 октября. Несмотря на сжатость, дневник имеет огромный интерес, ибо вскрывает одну из наиболее ярких причин неудачи интервенции. В этот период Деникин стремительно двигался вперед к Орлу, под Питером снова поднялся Юденич, а Колчак задержался у казацких станиц и снова перешел в наступление. Как раз в этот критический момент финны предложили поддержать общий натиск ударом с севера на Питер, требуя лишь признания политической независимости, самоопределения Карелии и т. п. «Предложение отклонить и ответить в духе нашей ноты» (№ 31, с. 55),—написал в ответ Пепеляев. Решение национального вопроса в духе «единой неделимой России»—таков один из крупнейших мотивов неудачи контрреволюции. Если к этому прибавить, что колчаковщина открыто шла под лозунгом возврата дофевральских отношений, то станет понятным, почему последняя попытка Колчака провалилась: под угрозой реставрации колебалось не только крестьянство, но и городская мелкая буржуазия и даже известная часть буржуазии. «В левых кругах смакуют неудачи»,—характеризует настроение Пепеляев (№ 31, с. 60),—даже «государственномыслящие» на время поплелись за теми, у кого всегда на уме священный тезис: «если правительство терпит неудачи, надо пред'явить к нему требования». Кто поправее—ругает за неиспользование японцев, полевее—слышать не хотят о японцах и ругают за нежелание воевать чехов, проистекающее, по их мнению, от недостаточной демократичности правительства...». «Идиоты слушают и уверены, что

правительство пропускает готовую помощь»,—раздраженно подвел итог развалу колчаковщины один из крупнейших ее деятелей.

«Внешняя политика Врангеля» представлена донесениями В. И. Савицкого, парижского агента управления торговли и промышленности правительства при главнокомандующем вооруженными силами юга России. Давая материал соответственно по экономической политике Врангеля, донесение попутно позволяет судить, с какой жадностью ищут новых рынков страны-победительницы после войны, а тем самым вскрывает одну из причин успеха революции: противоречия между интересами отдельных стран, в щель которых проскальзывает руководимая Лениным революция.

Героическая эпоха 70-х годов представлена в журнале материалами: «П. А. Антонов в Петропавловской крепости» (№ 31) из жизни народовольца-рабочего, попавшего в руки самодержавия. Материалы отразили, с одной стороны, поразительную стойкость и преданность революционера, а с другой стороны, всю гнусность департамента полиции и тех приемов, с помощью которых вылавливались нужные ему сведения. Воспользовавшись тем, что записка Антонова, адресованная кому-нибудь из революционеров, попала в руки полиции, Дурново П. Н., помощника управляющего департаментом полиции, под именем революционера Белоусова вступает в переписку с Антоновым. Мнимый революционер шаг за шагом подбирается к Антонову, осторожно выпытывая сведения и толкая его на предательство. «Я потерял всякую логику,—пишет Дурново от имени «революционера»,—и в субботу дал чистосердечные показания и оговорил даже некоего Гончарова»; мнимый революционер предлагал и Антонову сдаться. Однако Антонов, так и не разглядев шантажа, чрезвычайно ловко подстроенного, не поколебался и, хоть не порвал с Белоусовым, но резко подчеркнул, что из его поступка «еще не следует, что я должен предать людей, доверявших мне». Даже и для нашей полной драматизма эпохи эти материалы могут войти в хрестоматии, в качестве образца революционной выдержанности.

«Конституционное движение 80-х годов» обогатилось новыми данными: найдены 2 проекта Шувалова («Конституционные проекты начала 80-х годов XIX века», № 31), написанные один до 1 марта и второй в мае 1881 г. Они позволяют проследить эволюцию взглядов крупнейших представителей самодержавного режима за этот краткий промежуток времени от либеральных колебаний правительства до твердо взятого курса на незыблемость самодержавия.

Особняком стоит опубликованная в обоих номерах поэма Пушкина «Монах». Поэма представляет огромный интерес как материал для изучения роста Пушкина («по когтям можно узнать льва»,—так много будущего Пушкина в этом раннем произведении) и тех литературных влияний, под которыми развивался поэт, так и для представления о том, какие еще богатства хранят до сих пор мало изученные личные архивы.

Наконец, нельзя обойти вниманием и раздел «Из записной книжки архивиста» и следует всячески приветствовать новый принцип его заполнения—не только отдельные документы, но и сжато конструированные группы документов. Несомненно, есть много такого материала, который не заслуживает полного помещения, но каким бы то ни было образом должен быть доведен до сведения исследователей. Лучшим методом и является тот, который приняла редакция в отношении таких публикаций, как скажем, «В церковных кругах перед революцией» или «Из истории борьбы с революцией 1905 г.». Кто заинтересуется, обратится непосредственно в архив за деталями, а остальные исследователи поставлены в известность о существовании и характере ряда материалов.

В заключение, поскольку последние номера носят юбилейный характер,—журнал вступил в 6-й год издания и переваливает в четвертый десяток,—нам хотелось бы высказать несколько пожеланий, как к редакции, так и к читателям:

1) В последних книжках журнала за год надо бы помещать перечень статей и материалов, напечатанных в «Красном архиве».

2) Приступить к публикации документов из эпохи до 70—80 годов прошлого столетия.

3) Начать обследование личных архивов, в первую голову таких деятелей, как Столыпин, Витте, Победоносцев и др., хранящих, несомненно, ряд ценнейших вещей

И. Минц

РЕЦЕНЗИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПО ФИННОУГРОВЕДЕНИЮ. 1. Сборник Ленинградского общества исследователей культуры финноугорских народностей (ЛОИКФУН). Под редакцией председателя общества В. А. Егорова. Изд. ЛОИКФУН. Ленинград 1929, с. 181.

Это—первое крупное по об'ему и разнообразное по содержанию издание ЛОИКФУН. Неуклонный рост общества постепенно выдвигает его на первое место в финноугроведческой работе в СССР. В силу этого представляет интерес, хотя бы по данным настоящего «Сборника», ознакомиться с работой и установкой общества. «Предисловие» к «Сборнику» дает представление об его целях и задачах.

Нужно отметить, что сосредоточение значительного количества финноугроведческих сил в Ленинграде создало благоприятные условия для образования и роста общества. Напротив, московские национальные общества и даже местные краеведческие организации имеют немного шансов на аналогичный темп развития. Впрочем, необходимо оговориться: «Сборник» не является отражением планомерной и организованной работы членов общества за недолгие годы его существования (общество организовано в 1925 г.). Здесь мы находим отражение состояния финноугроведческой работы в Ленинграде вне общества и его руководства. Наиболее веским показателем правильности такого мнения можно считать отсутствие в сборнике единой идеологической и методологической установки.

Так, статья В. А. Егорова—«Движение новогородских финнов на юг», пытающаяся дать социально-экономическое обоснование предположениям о роли финнов в образовании и развитии Киевской Руси, имеет диаметрально противоположную установку статье Д. К. Зеленина, обнаруживающей столь непривычные для нашего времени великославянские националистические тенденции. Подобным же образом вводная заметка А. А. Спицына об «Олонецких петроглифах» делает, несомненно, тщетную попытку поставить под сомнение материалистическое истолкование, данное этим памятникам древней Карелии А. М. Линевским.

Наконец, статья лингвиста Д. В. Бубриха поражает исключительно формалистической разработкой затрагиваемых автором важнейших языковедных проблем.

Не останавливаясь на рассмотрении статей, не представляющих непосредственного интереса для историка[1], перейдем к характеристике других статей.

Д. К. Зеленин решил высказать свое мнение по весьма важному для истории России вопросу: «Принимали ли финны участие в образовании великорусской(?!) народности?» (96—104). Получилось, как

---

[1] Н. Ф. Финдейзен, О финской народной музыке (5—19). Автор ищет в современной лопарской песне следы древнейшей финской песни и музыки. Освещая вопрос о финском музыкальном инструменте «кантеле», мимоходом высказывается и о славянских «гуслях».

К. П. Герд, Вотяцкая художественная литература (19—31). Дается краткий обзор литературных произведений вотяков (удмуртов).

В. А. Егоров, Эврэмейсы Лесколовского сельсовета (31—49). Описание современного состояния небольшой финской народности, живущей недалеко от Ленинграда.

И. Я. Депман, К истории финноугроведения в России (130—147). Об учреждении кафедры финских наречий и этнографии в казанском университете и назначении М. П. Веске.

Б. Н. Вишневский, Из антропологической литературы по финноуграм (147—161). К «Обзору» Д. А. Золотарева, в финноугорском сборнике КИПС Академии наук, 1928 (с. 1—26), содержащему 81 название, автор вносит дополнение (в 87 названий!).

П. К. Симони, Профессор Н. Ф. Финдейзен. Некролог (178—181).

оказывается, печальное недоразумение. Автор доказывает необычайную трудность руссификации финнов и высказывает сомнение, чтобы нашлась сила, могущая испортить 50-миллионный (?) русский народ. Вся шумиха поднята исключительно потому, что... какие-то «имена (подчеркнуто автором, с. 103, 100) быстро и внезапно исчезли со страниц древних летописей». Особенности же великорусской народности, т. е. «северно-великорусской культуры, являются простым развитием общевосточнославянской (!?) культуры, применительно к северной природе (?!)» (с. 107).

«Любителей» заниматься «старыми баснями (107) автор направляет к П. Н. Милюкову (96) и (?)... М. Н. Покровскому (97), хранящим «полное молчание». Если добавить к этому неожиданное для контекста утверждение автора о чрезвычайной легкости татаризации финнов, станет необычайно ясна великославянская националистическ. подоплека.

В. А. Егоров, прослеживая «Движение новгородских финнов на юг» (109—124), дает надежно обоснованный ответ на вопрос об участии финнов в создании и развитии Киевского государства. Здесь нет места особенностям ни северной, ни южной природы. Развитие торгового капитала—рычаг движения и варягов и новгородцев (с участием финнов) и основа роста Киевской Руси.

Автор прекрасно использовал скудные летописные данные IX и X веков. Им произведен убедительный анализ подписей на славяно-греческих (Олег, Игорь и др.) договорах, вскрывающий участие финнов, и на дипломатической службе Киевского государства. В связи с рассмотрением процесса внедрения торговли в гущу населения (в том числе и финского), автор ссылается и на М. Н. Покровского, но в целях, прямо противоположных целям Д. К. Зеленина.

Исключительный для историка древности интерес представляет работа А. М. Линевского «К вопросу о петроглифах Карелии» (53—95). Первая часть этой статьи представляет собой хорошо иллюстрированное описание и учет материалов «Пери Носа» и «Бесова Носа», открытых еще в 1848 г. и «Бесовых следков», открытых самим автором. Остальные четыре части статьи являются попыткой материалистической интерпретации этих материалов. Автор считает их результатом магических актов, производимых в целях способствования тогдашнему производству—рыболовству. Эта основная мысль автора проходит не только через последние четыре части, но ею была определена и система классификации самого материала в первой части работы. И это окупает все имеющиеся недостатки работы: недостаточность и неуверенность в использовании теоретической литературы (так, автор не учел достижений яфетидологии, не использовал богатейшего языкового материала: заметно увеличение новейшей этнологией и т. п.), излишнее доверие заключениям по аналогии, нечеткая терминология и т. п.

Несомненно, что стороннику формалистического направления в истории древнего человечества будет не «по душе именно это материалистическое зерно в работе Линевского. В этом мы убеждаемся по заметке А. А. Спицына «Олонецкие петроглифы» (49—52).

Автор на 4 страницах ухитрился уместить столько разнообразных «соображений», что приходится только удивляться. Достаточно указать на то, что Спицын не может «отказаться от соблазна» об'яснить петроглифы как следствие влечений древнего художника; по мнению автора, «более простое об'яснение (петроглифов) лишь как изображений сцен охоты и вообще моментов удачи в жизни» (51). В этом контексте не представится странным и утверждение, «что олонецкие петроглифы есть какое-то отражение скандинавских, как эти—египетских (?!)». Построение же Линевского не что иное, как «увлекательная попытка об'яснения олонецких петроглифов из верований (?)».

Принципиальное значение имеет статья Д. В. Бубриха—«Сравнительное изучение мордовского языка в СССР» (161—178). Здесь затрагиваются два кардинальных вопроса лингвистики: родство языков (финского и мордовского) и происхождение системы спряжения. При выявлении моментов родства, вокализм финского и мордовского языков сопоставляется вне времени и пространства, без учета социальных моментов. Здесь целиком выявилась преданность автора формалистическому компаративизму индоевропейского языкознания. Впрочем, от ученого, об'являющего в качестве своего credo: «Ныне в правильности основных линий сравнительного метода никто уже не в праве сомневаться [1], ничего иного, конеч-

[1] Финноугорский сборник, КИПС Академия наук. «Финноугорское языкознание в СССР», с. 79. Подчеркнуто мной. Для Бубриха достижения яфетидологии или неизвестны, или «неправомочны».

но, ожидать нельзя. Вторая часть статьи является демонстрацией того, к чему может привести логическое завершение «правомочного» компаративного метода в лингвистике. Автор разрешает проблему происхождения и развития мордовского спряжения, имеющего целых семь рядов: один, соответствующий русскому, т. наз. безоб'ектный и шесть—об'ектных. Дело представляется в следующем виде. Первоначально был один (двухвариантный) ряд. Первый вариант: настоящее время с дополнением в именительном (винительном) падеже, второй—прошедшее время с дополнением в родительном падеже. Случилось так, что дополнения перепутались. В результате получилось два настоящих времени и два прошлых времени, четыре варианта вместо прежних двух вариантов, т.-е. два ряда вместо одного. Остальные пять рядов образовались аналогичным образом. Рядом с этими положениями утверждения яфетидологии о тысячелетнем процессе формирования всякой языковой системы (склонен., спряжен. и т. п.) кажутся необычайно странными. Говорить же об увязке языковых явлений с социальными пред лицом этих положений становится уж совсем не удобно.

Приходится только сожалеть, что молодое финноугорское языкознание не находит лучших путей, чем блуждание в лабиринте мудрых построений индоевропейского языкознания.

И. Д. Кельда

T. H. MARSHALL. James Watt, 1736—1819 (Roadmaker Series), London, Leonard Parsons, 1925. pp. 192.

До последнего времени литература, посвященная великому изобретателю паровой машины, была очень и очень скудной; мало того, две наиболее известных и почти единственных работы на эту тему[1] — Muirhead'a и Smiles'a — отличаются рядом недостатков: первая, несмотря на свою монументальность, представляет в значительной степени сырой мало обработанный материал, вторая отталкивает своим ханжески-дидактическим тоном и написана скорее как произведение морально-психологическое, а не историческое исследование; общий минус обеих работ — их устарелость: они написаны несколько десятков лет тому назад.

По этим причинам появление новой работы Маршалла следовало, казалось бы, весьма приветствовать. К сожалению, автор не сумел успешно разрешить поставленной задачи. Правда, книга его, при всей своей популярности, основана на архивных документах (переписка Боультона и Уатта, Tangye MSS) и широкой литературе, отличается сжатым и ярким изложением, однако, этим главным образом и ограничиваются ее достоинства.

Методически рецензируемая работа находится целиком во власти старых антимарксистских традиций и пропитана идеализмом. Уже в первой, вводной главе автор, пытаясь об'яснить прогресс инженерного искусства, приходит к такому банальному выводу, что развитие научных учреждений в Англии (Royal Society, Engineering Society и т. п.), рост военной техники и лишь, отчасти, расширение банковского дела способствовали установлению связей техники с производством и торговлей[1].

В главе о детстве и юности Уатта Маршалл опровергает ряд легенд и анекдотов о выдающихся талантах изобретателя, затем подробно освещает первые шаги его карьеры, останавливаясь особенно внимательно на работе Уатта в Глэсгоуском университете. Как оказывается, уже в то время Уатт приобрел большой авторитет в университетской среде: для студентов он был признанным помощником и советчиком, а профессора с большим вниманием прислушивались к его мнению. Они то и натолкнули его на мысль об усовершенствовании паровой машины.

Выяснению обстоятельств этого изобретения посвящает Маршалл большую часть своей книги. В предварительном очерке автор прослеживает все попытки такого рода, начиная с малоизвестного механика XVI столетия Du Cans и маркиза Вустерского, кончая машиной Ньюкомена. Здесь он неверно, по нашему мнению, преуменьшает значение последнего изобретения: как показывает работа Лорда, машина Ньюкомена пользовалась широким применением в горно-заводских районах Англии.

Рассказывая о дальнейших перипетиях паровой машины, Маршалл сообщает мало нового. Однако в части, посвященной описанию совместной деятельности Уатта и Боультона, мы находим ряд интересных подробностей, бросающих новый свет на историю применения паровой силы в производстве: потребность в новом изобретении была

[1] Работа Лорда «Capital and Steam-Power» (изд. 1923 г.) хотя и касается жизни Уатта, но не рассматривает ее специально.

[1] Marshall, Jaimes Watt, pp. 26—27.

так велика, что промышленники неоднократно пытались украсть изобретение Уатта, и Боультону пришлось вести жестокую борьбу с этими, по выражению автора, «пиратами» [1].

В следующей главе рассказывается о дальнейших изобретениях Уатта—ротационной машине и машине с двойным действием. Автор сообщает любопытные факты, предшествовавшие появлению этой последней. Попытки изобрести Rotary machine были сделаны некоим Мэтью Уосборо еще в 1769 г.; это задело гордость Уатта, и он сконструировал более совершенный механизм, но планы его украли и патент его получили похитители [2]. Это обстоятельство побудило Уатта создать машину с параллельным движением (1782 г.), которая имела колоссальный успех. Однако, лишь после 20 лет борьбы с конкурентами, Уатт и Боультон упрочили положение своей фирмы.

Взаимоотношениям обоих компаньонов Маршалл тоже уделяет значительное внимание; в противоположность распространенному мнению он высоко ставит в моральном отношении Уатта и оправдывает его поведение во время всех разногласий с Боультоном.

Книга Маршалла, раскрывая во всей полноте облик Уатта, представляет, как можно было убедиться, известный вклад и в историю промышленной революции. Признавая достоинство книги, нельзя все же не отметить, что у автора образ Уатта получился чересчур самодовлеющим, социальная обстановка и анализ ее даны далеко не полно, а революционность этого периода английского хозяйства мало оттенена. Книга построена по обычному для буржуазных историков шаблону и показывает, как мало все же продвинулась вперед английская «патентованная» наука.

В. Васютинский.

АЛЬБЕРТ МАТЬЕЗ. Французская революция. Том. II. Жиронда и гора. Пер. С. Лосева. Предисловие Н. Лукина. «Московский рабочий», с. 206. Ц. 1 р. 80 к.

Почти 5 лет тому назад в изд-ве «Книга» вышел первый том работы Матьеза—«Французская революция». Теперь, после столь длинного промежутка времени, выходит второй том этой работы в изд-ве «Московский рабочий». Когда появлялся первый том работы Матьеза, имя этого крупнейшего знатока эпохи французской революции было почти неизвестно русскому читателю: в то же время на русском языке имелась лишь одна его маленькая популярная брошюрка. За последнее же время появился ряд его работ в русском переводе, в том числе и капитальный труд «Дороговизна жизни и социальное движение». Благодаря этому фигура Матьеза стала хорошо известна; хорошо известной стала и его политическая ориентация, характерными чертами которой являются и его исключительный, среди представителей французских академических кругов, радикализм и относительное приятие им Октябрьской революции. Что касается его историко-теоретических воззрений, то они, как известно, представляют некоторую (но именно некоторую) близость к марксизму.

Все вышесказанное выявляется и в рассматриваемой нами работе. Являясь в настоящее время крупнейшим знатоком эпохи французской революции, Матьез обнаруживает это как в первом, давно появившемся, так и в ныне выходящем втором томе своей работы. Хотя работа эта является в общем работой популярной, рассчитанной на широкого читателя, наш автор использует для нее первоисточники вплоть до архивных материалов (это относится в особенности к архивам провинциальным). Благодаря этому работа оказывается иногда насыщенной таким интересным содержанием, которое может сделать честь иной специальной исследовательской работе. За примерами ходить далеко не приходится. Взять хотя бы страницы, посвященные ранним выступлениям провинциальных «бешеных» или пропаганде аграрного закона.

Правда, здесь же выявляется и основной недостаток теоретической стороны работ Матьеза—его только «некоторая близость к марксизму». Благодаря этому обстоятельству, Матьез сваливает в одну кучу и аграрных передельщиков и аграрных коммунистов. Углубляя далее эту ошибку, наш автор постоянно именует вождя «бешеных» Жака Ру коммунистом.

Вообще, если ставить себе задачей выискивание в работе Матьеза утверждений, являющихся с марксистской точки зрения безграмотными, их можно найти изрядное количество. Так, по поводу разногласий жирондистов и монтаньяров наш автор говорит: «От одной жиронды зависело превратить бесплодную борьбу партий в плодотворное соревнование всех революционеров во имя общественного блага» (с. 89). Как-

[1] Marshall, James Watt, p. 113.
[2] Ibid., p. 142.

будто жирондистов и монтаньяров не разделяли непримиримые классовые противоречия.

Еще более грубой ошибкой кажется нам заявление, относящееся к началу войны между Англией и Францией: «Английская нация решила бороться до конца». Конечно, о всей английской нации здесь говорить ни в коем случае не следовало.

Давая на немногих сжатых страницах блестящую картину Вандейского восстания, Матьез совершенно не дает анализа возникновения этих опасных для революции событий и заменяет необходимый в данном случае анализ эффектными, но мало что дающими строками, в роде следующих: «Вандейские крестьяне с восторгом убивали революционных буржуа, которых часто встречали на ярмарках, этих господ, которые всегда относились к ним со снисходительным презрением, этих неверующих, посещавших сатанинские клубы, этих еретиков, служивших черные мессы» (с. 184). Более глубокого анализа мы у нашего историка не найдем: для него вандейское восстание лишь одна из форм «сопротивления закону о наборе» (там же).

Но, с другой стороны, мы у Матьеза найдем много таких утверждений, на которые из современных буржуазных историков решатся немногие. Так, анализируя воинственную и патриотическую политику жирондистов, Матьез решительно заявляет, что одной из причин этой воинственности являлось желание создать в виде войны клапан революционных страстей.

Как ни недостаточно понимает Матьез характер противоречий, разделяющих монтаньяров и жирондистов (о чем уже говорилось выше), однако, у него хватает мужества утверждать, что «это был почти классовый антагонизм». Для университетского профессора современной Франции такое заявление, несмотря на «почти», является весьма большой заслугой.

Впрочем, указанное обстоятельство, как и многое другое из отмеченного нами, отмечено также и обстоятельным предисловием т. Лукина, предисловием, совершенно необходимым и очень полезным для нашего читателя.

В общем, книга Матьеза будет прочитана с большим интересом, хотя многое из имеющегося в ней уже и известно нашему читателю из работ Кропоткина, Жореса и Кунова. Приходится пожелать, чтобы появление третьего тома рассмотренной работы не было отделено от появления ее второго тома столь длинным промежутком времени, который разделял выход томов первого и второго.

С. Моносов

ALEXANDRE ZEVAÈS. Histoire de la Troisième Rèpublique, 1870—1926. P. Les Editions George Anquetil 1926, 20 fr.

(Александр Зеваес. История третьей республики (1870—1926).

Изящная портативная книжка в 648 с. в стильной обложке с тисненным золотом изображением «Марианны»—республики в фригийском колпаке... «Для сведения читателя» («pour qu'on le sache»)—тощее предисловие автора, обещающее дать хронологическое и логическое резюме 56 лет третьей французской республики. Автор клянется быть беспристрастным, но не оспаривает, что книга его будет проникнута «демократическим вдохновением» (l'inspiration démocratique). Таковы задания автора... социалиста, мало того, автора 3 томов и редактора всего двенадцатитомного издания «Истории социалистических партий во Франции». Каков же его литературный багаж?

2½ разгонистых страницы (635—637) отведены библиографии. Кроме Лависсовской коллекции (E. Lavisse—Histoire dé la France contemporaine depuis la Révolution jusqua la paix de 1919), устарелого труда Анoто (Gabriel Hanotaux—Histoire de la France contemporaine) и его же Histoire de la guerre de 1914 и Le trait de Versaille; работы Клареси, Лиссагаре, Фио, Лепеллетье, Дюбрейля, Пелльтана о Коммуне, официальная «Анкета о восстании 18 марта», Histoire des partis socialistes en France и затем несколько мемуаров, две-три книги Гэда и Жан Жореса, ни одной работы по истории хозяйства XIX—XX веков, ни одной книги об империализме, ни одного солидного источника по истории мировой войны, кроме официальных и шовинистических книг и брошюр; разумеется, ни одной иностранной книги, даже о мировой войне.

Уже самый характер источников говорит сам за себя и определяет содержание книги.

Зеваес начинает свое изложение с истории второй империи. Она трактуется как бы с птичьего полета, фельетонно и беспорядочно. Автор обходится без какой-либо статистики, пересыпая свой рассказ бульварными остротами, цитатами из Эмиля Золя, фельетонными анекдотами.

Экономические и социальные корни бонапартизма ему неизвестны. Равным образом в духе старой политической истории он об'ясняет и причины войны 1870—71 г.; о рабочем движении, Интернационале, французской его секции говорится несколько строк. Более глубокий анализ внешней политики бонапартизма, его внутренняя эволюция опускаются с легким сердцем.

В таком же стиле—то декламаторски-напыщенном, то фельетонно-юмористическом—и так же поверхностно—излагается содержание и остальных глав.

Иногда автору удается привычным пером старого журналиста начертить живой портрет какого-нибудь от'явленного реакционера, например, Адольфа Тьера, но никогда не решится он изобразить героя-революционера, хотя бы Огюста Бланки. Поэтому так робка, скомкана и наспех написана глава о коммуне (III). Нет ни толкового анализа ее происхождения, ни анализа ее деятельности, ее классового состава, ее мирового исторического значения, ни тем более ее уроков. Скорей, скорей мимо, к приятным взору и демократическому уму сценам парламентской борьбы, словесных турниров в палате депутатов!

В то время как коммуне уделено 38 страниц, президентству Тьера и Мак-Магона отводится 80 страниц; буланжизму —почти 100. С наслаждением автор копается в грязном белье кулуарных разговоров, закулисных интриг, цитирует те или другие каламбуры или словечки героев дня. Когда приходится говорить о смерти прогнившего развратника президента Феликса Фора, он с видимым удовольствием приводит примеры смерти в об'ятиях проституток скандальных героев алькова прошлых веков, цитирует гривуазную националистическую песенку о том, как Лабори, защитник Дрейфуса, был ранен... пониже спины, и ни разу не приходит ему на мысль привести хоть одну строчку из могучего революционного гимна, который в это время так часто гремел на митингах и манифестациях французского пролетариата. Стыдно сказать, «историк» социалистических партий едва удосуживается уделить 30—40 страниц рабочему движения на протяжении всей книги. И то лишь одна глава (VII) посвящена возрождению социалистического движения после Парижской коммуны (12 страниц). Поссибилизм, синдикализм не находят себе места, анархизм трактуется с кондачка. Экономической эволюции Франции, французского империализма, его колониальной экспансии автор как-будто бы и не знает: 14 страниц посвящены мимоходом «колониальным экспедициям: Тунису и Тонкину» (гл. X). Поэтому вполне понятно, что социальный смысл политической борьбы в эпоху третьей республики затушевывается, министерская чехарда является делом его величества случая. Причины мировой войны определяются с точки зрения официального французского империализма: во всем виноват пангерманизм. История самой войны, вернее, военных операций, преподносится в ультра-патриотическом обрамлении: Франко-русский союз, тройственный союз—Антанта, интерпретируются так, как это мог бы сделать заурядный буржуазный историк. Послевоенная история (L'après-guerre, ch. XX) заключает всего 7 жалких страничек, наскоро перечисляющих министерства этой эпохи. Конечно, восхваляется Лига наций, «носящая в себе зародыши прогресса», и пресловутая хартия труда. Бессодержательная, мало того—позорная глава!

Напрасно автор стремится восполнить зияющую пустоту социального анализа «Заключением» (593—602). Слова и слова! «Республика труда и мира, прогресса и интегральной эмансипации, та республика, которую в своих великих и великодушных грезах провидели уже демократы 1848 г.; вот дело, которое сегодня и завтра предстоит воле людей»,—заключает автор.

Такова та патриотическая буржуазно-демократическая история, которую состряпал автор-социалист. Разумеется, о французской коммунистической партии ни звука, словно бы ее и не существовало. Взоры автора с надеждой устремлены на «великих» вождей буржуазных партий, смысл истории—классовая борьба—для него не существует.

К книге приложен индекс президентов республик, индекс министров, где тщательно подсчитано, сколько раз тот или иной политик был министром—президентом, наконец, индекс главных дат третьей республики и указатель собственных имен.

Революционный рабочий не станет читать этой «истории», но буржуа прочтет ее с удовольствием, как занятную «желтенькую» книгу. **А. Васютинский.**

AL. ZEVAES. Jules Guesde. Paris 1928. с. 209

Политической деятельности Ж. Гэда Зеваесу приходилось уже касаться в других его работах («De la semaine sanglante au congès de Marseill. Les gues distes». Отчасти поэтому, не желая,

повидимому, повторяться, он не остановился почти совершенно на взглядах и деятельности Гэда в конце 70-х годов, его роли в образовании рабоч. партии, программе-минимум, борьбе с поссибилистами и т. д., хотя эти вопросы крайне слабо освещены и в вышеуказанных работах. Этот пробел, однако, чрезвычайно чувствуется, так как Зеваес не дает самого главного—изложения мировоззрания Гэда и его эволюции в течение его долгой политической деятельности. Немногие замечания по этому вопросу часто совершенно неудовлетворительны. Так, о периоде увлечения Гэда анархизмом Зеваес замечает только, что Гэд был «близок к анархизму» (28), что не верно, так как Гэд полностью стоял на позиции антиавторитарного коллективизма в 72—74 годах. Так, в 1873 г. он писал (подписываясь: Ж. Гэд—член Юрской федерации), что «условием sine qua non всякого освобождения масс являатся уничтожение, разрушение государства... Сохранить государство... в какой бы то ни было форме и под каким бы то ни было предлогом... значит, увековечить господство «умирающей касты»... То же мы находим и в «Essaide catechisme Socialiste», законченном, повидимому, в 1874 г. Известны, наконец, борьба Гэда против Генерального совета и остатки анархической фразеологии даже в период первой «Эгалитэ».

Отсутствует также совершенно у Зеваеса изложение вышеупомянутого «Essai»—документа первостепенной важности для понимания мировоззрения Гэда в начале 70-х годов.

Между тем из него мы узнаем, что Гэд основывал тогда свой социализм на доктрине естественного права (которую он разделял до 1878 г.), был материалистом в духе материализма XVIII века, оставаясь крайне наивным в исторических вопросах (собственность—результат завоевания, невежество масс—причина господства буржуазии), являлся, наконец, бабувистом, стремясь к эгалитарному коммунизму. Эта работа Гэда интересна еще и в том отношении, что некоторые взгляды, в ней изложенные, мы находим у него и позднее, в течение еще долгого времени.

Не изложены совершенно у Зеваеса взгляды Гэда в конце 70-х и начале 80-х годов. А между тем, не представив их себе ясно, нельзя понять ни того, что же представляет собою гэдизм как определенное течение в рабочем движении, ни огромной эволюции, проделанной Гэдом к концу XIX века. Ключем к программной и тактической позиции Гэда в конце 70-х годов является железный закон заработной платы (о нем у Зеваеса вообще нигде ни слова). Из этого закона Гэд делает непримиримо-революционные выводы: о невозможности какого бы то ни было улучшения положения пролетариата в капиталистическом обществе, о вредности свободы торговли и протекционизма, обязательного и бесплатного обучения для пролетариата и т. д., о неизбежности насильственной революции. Правда, внимательное изучение работ Гэда показывает, что и тогда у него иногда бывали некоторые колебания: ружье или избирательный бюллетень, как орудие революции. Однако, эти колебния остались мало заметными и дальнейшего развития тогда не получили.

Наоборот, блестящая критика избирательного права и формальной демократии, подчеркивание бесплодности парламантаризма, возможность его использования только для целей агитации и организации пролетариата—составляют сильнейшие и чрезвычайно характерные стороны гэдизма. Вот поэтому, если бы Зеваес охарактеризовал взгляды Гэда в этот период, он не мог бы представить его неизменявшимся (а Заваес именно таким и стремится изобразить Гэда) в течение его долгой политической деятельности.

Тогда нельзя было бы написать, что в 90-х годах в палате «никто, крома Гэда, не развивал с такой силой и точностью целей коллективизма и р е в о л ю ц и о н н ы х м е т о д о в» его осуществления (133). Тогда как известны заявления Гэда этого периода с чрезвычайной переоценкой значения избирательного бюллетеня (в воззвании по поводу своего избрания он писал: «выборы в воскресенье есть настоящая революция, начало той революции, которая сделает нас свободными людьми»), его часто крайне умеренные выступления в палате, попытки представить частичные реформы выгодными и для буржуазии, заявления об общенациональных интересах, о защите отечества и т. д.

Точно так же ни слова Заваес не говорит об увядании гэдизма в XX веке, об уменьшении его влияния в об'единенной партии, о превращении гэдистов в отсталую сектантскую группу.

Однако и целый ряд других положений Зеваеса вызывает серьезные возражения. Так например, у него получается, что фракционная борьба внутри только что созданной рабочей партии является результатом недовольства Брусса «растущим влиянием Гэда в ра-

бочем движении», личной обидой, в виду непривлечения его к выработке программы-минимум: «зависть его воодушевляет, и он идет от одного активиста к другому, от группы к группе, выступая против авторитаризма Гэда, представляя его стремящимся к диктатуре» (61). Эти личные обиды, по мнению Зеваеса, «прикрываются разногласиями, по внешности теоретическими, или обращениями к уставу» (61).

Это детское об'яснение причин раскола с поссибилистами ставит Зеваеса в полную невозможность об'яснить, почему же эти «личные обиды» Брусса привлекли на его сторону большинство партии, и гэдисты в течение долгих лет были численно очень слабы.

Между тем, если бы Зеваес выяснил различные течения, из которых складывалась партия, изложил борьбу этих течений (умеренного, революционного и анархистского) еще на Марсельском конгрессе, он не только сумел бы удовлетворительно об'яснить борьбу с Бруссом (который, заметим кстати, уже в 1880 г. не соглашался с программой минимум), но и не стал бы утверждать, что «Марсельский когресс был триумфом Гэда» (47), так как на деле немногочисленные на конгрессе гэдисты не были в силах провести полностью свои взгляды, принуждены были к компромиссу с умеренными коллективистами, а в некоторых вопросах даже и потерпели поражение (о следующем конгрессе). Поэтому и Гэд должен был тогда же отметить, что социализм Марсельского конгресса еще не научный социализм.

Неверно также, что Гэд отправился в Лондон к Марксу за выработкой программы «от имени» Малона и др. (48). Малон категорически утверждает, что он ничего не знал о выработке программы и поставлен был уже перед наличием совершенно законченной программы.

Крупным недостатком книжки является также отсутствие даже попытки выяснить ошибочность позиции Гэда в ряде вопросов (религия, синдикаты, стачка, алкоголизм и т. д.), о которых, впрочем вообще говорится или очень мало, или совсем не говорится.

В общем же нужно заметить, что близкая по характеру к вышеуказанным уже книжкам Зеваеса новая работа не дает ясного представления ни о Гэде, ни о сильных и слабых сторонах гэдизма, ни о его действительной роли во французском рабочем движении.

Е. Николаев

М. ЯВОРСЬКИЙ. Історія України в стисломy нарисі. Державне видавництво України, 1929, с. 345.

М. ЯВОРСКИЙ. История Украины в сжатом очерке. Гос. изд. Украины, 1929, с. 345.

Книга М. Яворского является учебником, предназначенным в основном для профшкол, рабфаков и школ соцвоса; такую оценку этой книги дает Научно-методологический комитет Наркомпроса Украины, и такие же отзывы имеются в украинской печати, характеризующие «Историю Украины» как школьный учебник, «рассчитанный на практические потребности современной школы»... и «как удачную и талантливую популяризацию полного марксистского курса истории Украины» («Летопись революции», 1928 г., № 6, с 361). Действительно, М. Яворский пытается проследить историю классовой борьбы на всех этапах развития, однако, автору все же не удалось дать марксистскую схему исторического процесса на Украине.

Автор дает следующую периодизацию истории Украины, деля ее на: 1) период феодализма, 2) помещичье-крепостнический с торговым капитализмом, 3) период буржуазно-капиталистический и, наконец, 4) период социалистической революции. Однако, содержание, вкладываемое М. Яворским, в эту периодизацию, не всегда верно и требует строго критического к ней отношения. Если период феодализма М. Яворский освещает более или менее правильно, то провалы начинаются, когда автор переходит к изложению казацкой революции, ее последствий и освещению периода гетманщины. Прежде всего нужно отметить, что М. Яворский, так же, как и мелкобуржуазные, националистически настроенные украинские историки, не избежал идеализации запорожских казаков. Общественный строй запорожских казаков представляется ему как демократическая дружина, «основанная по образцу военного коммунизма» и «упорно защищающая свою земельную общину от старшинских притязаний» (с. 75). Пора бы т. Яворскому расстаться с мелкобуржуазными представлениями о «запорожской коммуне» (с. 76).

Еще больше промахов имеется у автора «Истории Украины», когда он переходит к анализу программы крестьянских и казацких движений в период гетманщины.

Анализируя социальную программу восстания Пушкаря, автор приходит к

выводу, что это движение ставило своей целью «преобразовать всю гетманщину в единую военно-казацкую общину с обобществлением земли, установлением равенства и выборности властей» (с. 77). Дейнецкая революция, по книге Яворского, свидетельствует, что эксплоатируемая масса населения уже тогда имела представление о «бесклассовом обществе» (с. 77). Борьба мелкого крестьянского хозяйства с крупным помещичье-казацким за право своего существования расценивается автором как стремление реализовать путем вооруженной борьбы «бесклассовое общество» (с. 77). Еще более странной кажется оценка М. Яворским движения 1663 г. казацкой «голоты» во главе с гетманом Брюховецким. В книге Яворского Брюховецкий фигурирует как настоящий коммунист, осуществляющий пролетарскую революцию, и с определенным планом дальнейших мероприятий по преобразованию общественного строя. «Тогда-то (т. е. во время Брюховецкого—*Т. С.)*, говорит автор, все предприятия были национализированы голотой в единый общий фонд; у земельной знати, духовенства и городской буржуазии было конфисковано все их имущество, уничтожены были не только все привилегии на это имущество, но и вообще вся частная собственность на землю. Даже крестьянское имущество было взято на учет. Создан был даже отдельный государственный аппарат для управления общественным производством и общественным распределением на принципах военного коммунизма» (с. 77). Вот и все, что относится к программе и социальным преобразованиям Брюховецкого. Читатель, прочтя о таких смелых и решительных планах движения казацкой «голоты», естественно, пожелает узнать подробности и последствия, связанные с реорганизацией общества. Но в книге Яворского он только узнает, что Брюховецкому не удалось осуществить свои планы по двум причинам: во-первых, потому, что гетман Дорошенко своим наступлением с правобережной Украины «спас частную собственность старшин» и, во-вторых, что в виду «тогдашней техники невозможно было организовать хорошее коммунистическое производство» (с. 77), но что уже были даже «ученые обоснования по этому поводу... ученого попа Епифания Славинецкого», который «рекомендовал организовывать производственные коммуны» (с. 77).

Напрасно читатель будет искать другой какой-нибудь оценки Брюховецкого в книге т. Яворского. Там больше ни слова не сказано. Он только обязан, вместе с рабфаковцем и профшкольцем, для которых рекомендуется эта книга в качестве учебника, спросить автора: что же Брюховецкий, создавая «государственный аппарат для управления общественным производством и распределением» (с. 77), не предвосхитил ли идею Госплана?

М. Яворский, преподнося на страницах своего учебника такую чепуху, не удосужился просмотреть II том русской истории М. Н. Покровского, где дана правильная марксистская оценка этого движения. «Под видом демократической «черной» рады, пишет М. Н. Покровский, подготовляли... просто погром старшины казацкими низами; и программа эта была выполнена как не надо лучше» (М. Н. Покровский, «Руская история», т. II, с. 190). Никакого нового общественного строя, хотя бы и на «принципах военного коммунизма», участники и руководители движения и не думали осуществлять. Произведя переворот, полковники, совместно с гетманом Брюховецким, поспешили обогатиться за счет свергнутой казацкой старшины.

«Мы очень ошиблись бы,—говорит Покровский,—если бы подумали, что этот демократический гетман отсутствие «сепаратизма» выкупал какими-либо социальными новшествами... ничуть не бывало. В этом отношении Брюховецкий решительно ничем не отличался от своих предшественников. Отдавая московскому царю доходы с украинских городов, он и себя не забывал. Вдобавок к Годячу — гетманскому домену со времени Хмельницкого—он просил себе в личное, не по гетманской должности, наследственное владение целую «сотню» (волость) в Стародубском полку, да еще мельницу под Переяславлем. Всем полковникам своим новый гетман выпросил по селу» («Русская история», т. II, с. 191).

Вот как осуществлял национализацию земли и экспроприацию частной собственности гетман Брюховецкий.

Дальше М. Яворский кратко описывает восстание «голоты» во время падения гетмана Самойловича, мелкую партизанщину второй половины XVIII века и, наконец, останавливается на характере украинского сектанства, которое было «продолжением революционной общественной мысли предшествовавших столетий» (с. 80). При этом украинское сектанство выступает более решительно и революционно, чем рус-

ское. Русское сектанство, по мысли автора, сложив руки, ожидало божьего суда, в то время как украинское сектанство выдвинуло программу переустройства общества на основе «нового коллективного производства» (с. 79).

В качестве такой революционной секты автор приводит секту духоборов, которая «ставила своей целью бороться с существующим социальным порядком» и «стремилась на деле осуществить общинно-коллективное производство и социальное равенство для всех» (с. 79). Желательно было бы знать, где же осуществляли сектанты это «коллективное производство»?

Стремление изобразить украинский исторический процесс как самобытный, самодовлеющий, подмена классового марксистского анализа явления формально-националистическим с особой силой проявляется у Яворского, когда он излагает события конца XIX и начала XX вв. Кризис народничества и появление марксизма на Украине Яворский ведет от Драгоманова. Драгоманов у Яворского был как бы мостом между народничеством и марксизмом.

«Отцом этого мировоззрения,—говорит автор,—которое фактически представляло переход от народничества к марксизму, был Михаил Драгоманов» (с. 206), и дальше автор утверждает, что «основы учения Драгоманова с 1870 г... были единственным путем, благодаря которому можно было притти от народничества к новому мировоззрению, к марксизму» (с. 207). Таким образом, Драгоманов является основоположником марксизма на Украине. Каждому, кто знаком с историей марксизма в России, бросается в глаза такое извращение исторической действительности. Если в начале 80-х годов взгляды Драгоманова представляли смесь бакунизма и лавризма с либерализмом, то дальнейшая эволюция Драгоманова в продолжение 80—90-х годов шла в противоположную сторону от марксизма, а именно—к буржуазному либерализму; в результате этого Драгоманов сделался редактором либерального журнала «Вольное слово».

Недаром Струве в своем органе «Освобождение» писал, что Драгоманов «первый резко и отчетливо выяснил русскому обществу смысл и значение конституционного порядка и, в особенности, прав личности, начал самоуправления». Эволюция Драгоманова — это была эволюция от народничества к буржуазному либерализму, а потому предшественником марксизма на Украине никак нельзя считать Драгоманова.

Идейная эволюция от народничества к марксизму происходила на Украине таким же путем, как и в России. Социал-демократические организации в крупных пролетарских центрах Украины—Екатеринославе, Харькове, Киеве и Одессе—были связаны не с Драгомановым, но с работой с.-д. группы «Освобождение труда». Группа «Освобождение труда» также не ведет своей родословной от драгомановщины, как об этом сказано в книге М. Яворского (с. 223).

Но для чего Яворскому нужно было сделать Драгоманова марксистом? Для того, чтобы установить идейную связь драгомановщины с мелкобуржуазной партией РУП (с. 250, 251). Поэтому, у Яворского, начиная с 1903 г., «РУП стала рабочей партией, стала партией, которая ставила себе задачей пропагандировать марксизм как среди сельского пролетариата, так и среди городского пролетариата» (с. 253).

Всем мелкобуржуазным и буржуазным национальным партиям конца XIX и начала XX века М. Яворский посвящает многие страницы своего учебника, в то время как история РСДРП, ее работа на Украине освещается только попутно и то в плоскости отношения ее к национальному вопросу. Описывая раскол на II с'езде партии, М. Яворский не дает анализа программных и тактических разногласий. Решения с'езда партии по организационному вопросу освещены неправильно: как известно, на II с'езде партии большинством голосов была принята мартовская формулировка § 1 устава партии. Если бы на II с'езде партии была принята ленинская формулировка, как об этом говорит М. Яворский (с. 248), то тогда не потребовался бы пересмотр этого вопроса на III партийном с'езде, принявшем ленинскую редакцию первого пункта устава партии.

История РСДРП, особенно большевиков, обрывается на IV с'езде партии, и до конца книги почти ничего не говорится о работе большевистской партии на Украине, если, конечно, не считать попутных замечаний. Вместо этого очень хорошо представлена история национальных партий.

Последнее замечание надо сделать относительно освещения М. Яворским борьбы за Октябрь на Украине.

По существу, борьба за Октябрь должна быть наиболее полно освещена. В действительности же героическая борьба рабочего класса крупнейших

пролетарских центров Украины—Харькова, Киева, Екатеринослава—совершенно отсутствует в книге Яворского. Но зато полно представлена борьба контрреволюционных организаций Центральной рады, гетмана, директории и т. д., благодаря чему получилась не история пролетарской революции на Украине, а история контрреволюции.

Подведем итоги. М. Яворский в своей работе «История Украины» развернул не марксистскую, а мелкобуржуазную схему украинского исторического процесса. Поэтому мы можем признать, что в ряде его положений не сведены концы с концами, и «схема» Яворского насквозь эклектична.

Основные недостатки книги т. Яворского заключаются в том, что история Украины рассматривается как самобытный процесс. Национальный вопрос, выглядящий у Яворского как фактор, доминирующий над классовой борьбой, затмил ее подлинный смысл. И не случайно поэтому, что Яворскому совершенно не удалось дать правильной оценки движущих сил революций 1905 и 1917 годов. Живые и яркие примеры героической борьбы рабочего класса под руководством большевистской партии в 1905—17 гг. в книге отсутствуют. Историческая роль пролетариата как гегемона в революции, умалена и в то же время преувеличено значение мелкобуржуазных организаций. Все эти обстоятельства и заставляют нас сделать вывод, что книга Яворского никак не может претендовать на название марксистской работы, а как учебник она безусловно вредна, так как не дает нашему учащемуся подлинной картины классовой борьбы на Украине. В связи с этим очень странное впечатление производит положительный отзыв об этой книге, помещенный в выходящем в Харькове журнале «Летопись революции», в котором рецензент оценивает книгу Яворского как «удачную и талантливую популяризацию полного марксистского курса истории Украины» («Летопись революции», 1928 г., № 6).

Т. Скубицкий.

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. Библиография. Составил Н. М. Ченцов, редакция Н. К. Пиксанова. М.—Л. Гиз 1929 (Центрархив), с. XIX+792+ +(2).

Работа Н. М. Ченцова—чрезвычайно крупное явление научной исторической библиографии. И не только крупное, но, пожалуй, крупнейшее за революционные годы.

В предисловии редактора совершенно правильно отмечено, что поставленная Н. М. Ченцовым задача — создание библиографической монографии одного революционного движения—нова в нашей литературе, и данная книга является первым опытом такого рода. Излишне распространяться о том, насколько подобный опыт необходим. Действительно научное исследование любой проблемы возможно лишь при наличии такого рода библиографических монографий. Отсутствие их — огромнейший тормоз исследования. Добавим, что опыт подобной библиографии, кроме значения с точки зрения помощи в исследовательской работе, имеет еще и другой смысл: он ставит во весь рост ряд теоретических и практических вопросов собственно библиографирования, вопросов об отражении в структуре библиографии и в манере библографической записи требований историка-исследователя. Работа Н. М. Ченцова—значительное событие и в историко-исследовательском и в теоретико-библиографическом планах.

Библиография Н. М. Ченцова зарегистрировала около 5 000 библиографических единиц. Крупная библиографическая проблема—порядок расположения всего этого огромного библиографического богатства, в принципе разрешена удачно. Это, конечно, не алфавитный, и не хронологический (по годам издания) порядок расположения, а единственно жизненный и целесообразный—тематический. Работа Н. М. Ченцова совершенно правильно поставила своею задачей в первую очередь обслужить историка, а затем уже библиографа, библиотекаря и пр. Отметим одну особенность, вызванную техническими условиями печатания, чтобы больше к ней не возвращаться: книга была приготовлена к юбилею декабристов в 1925 г. Поэтому, конечно, в первоначальный план не входила регистрация обширнейшей юбилейной литературы. Но печатание книги задержалось и поэтому оказалось возможным включить в нее и юбилейную литературу, но по условиям набора и сложной библиографической корректуры оказалось невозможным распределить ее по основным рубрикам. Пришлось выделить ее в особый отдел, сохраняющий рубрикацию основного отдела. Это, как правильно отмечено в редакторском предисловии, является даже плюсом книги: юбилейная литература—крупный этап изучения декабризма, и исследователю может встретиться необходимость в ее специальном обозрении. Правда, эту

задачу разрешала одна из предыдущих работ Н. М. Ченцова—отдельная библиография юбилейной литературы в «Вестнике Комм. академии» (1927 г.). Но пользование журналом для библиографических справок затруднительно, а количество отдельных оттисков этой работы было очень ограничено, поэтому выделение юбилейного отдела в рецензируемой работе остается целесообразным. В основном тематика библиографии заключает в себе два крупных отдела: общий и personalia. Первый содержит детальную рубрикацию; перечислим ее основные разделы: библиография декабризма, официальные документы, историческая литература, декабристы в оценке марксистов, декабристы в иностранной печати, декабристы в искусстве, декабристы и русские писатели, иконография, популярная литература, смесь. Отдел «исторической литературы» в свою очередь делится более дробно, в него входят отделы: общих трудов, подготовки декабризма, восстания 14 декабря, восстания Черниговского полка, движения среди солдат и матросов в связи с декабризмом и пр. Заметим, что рубрику «Декабристы в оценке марксистов» было бы удачнее сделать подотделом рубрики «историческая литература» (кстати, понятие «марксиста» в указанной рубрике очень условно). Обращает на себя внимание отсутствие в тематике библиографии таких отдельных рубрик, как «Северное общество декабристов», «Южное общество декабристов». Но ввести эти рубрики было бы затруднительно,—они неизбежно дублировали бы в своем материале все остальные отделы, так как нет почти ни одной работы о декабристах, где не шла бы речь и о том и о другом обществе.

Составитель совершенно правильно отказался от педантического, формального руководства требованием обязательного у п о м и н а н и я декабристов в регистрируемой им работе. Нет, он поступил как историк, зарегистрировав целый ряд смежных с собственно декабризмом работ; например, в отделе «подготовка декабризма» есть пункт «тайные общества», в котором регистрируется литература по противоправительственному движению эпохи, масонским ложам, тайным обществам, движению среди учащейся молодежи и пр. Этот принцип совершенно правилен. Но именно исходя из него приходится отметить пробел—отсутствие рубрики «Массовое движение эпохи декабристов». Например, приходится искать материал о крестьянском движении эпохи в различных местах—в «движении среди солдат и матросов...», в «Политических (?) отголосках декабризма в николаевское время» и др. Но, ведь, есть же литература по крестьянскому движению и а л е к с а н д р о в с к о г о времени? В предпосылках декабризма оно играло большую роль, к тому же недостаточно учтенную исследователями. Выделение такой рубрики в книге Н. М. Ченцова значительно облегчило бы работу историка. Другой пробел—отсутствие рубрики «Ленин о декабристах», где были бы зарегистрированы как работы Ленина, содержащие высказывания о декабристах, так и статьи, изучающие эти высказывания.

Конечно, при такой огромной теме учесть в с ю литературу практически невозможно. Недаром такой видный библиограф, как Н. В. Здобнов, специально отмечает в своей работе «Основы краевой библиографии»: «достижение идеальной полноты в какой бы то ни было библиографии чрезвычайно трудно. При современном состоянии библиографии оно совершенно невозможно» (с. 13). Ясно, что пропуск есть и в рецензируемой работе. Начать разговор о них приходится с только что отмеченной отсутствующей рубрики «Ленин о декабристах». В рецензируемой работе статьи Ленина, содержащие высказывания о декабристах, вообще не зарегистрированы (руководствуюсь именным указателем). Лишь косвенно в аннотациях встречается упоминание о статье Ленина «Памяти Герцена» (1 изд. собр. соч., т. XII, ч. I, цитирование которой было столь широко распространено в юбилейной литературе. Но нет регистрации речи Ленина о 9 января, произнесенной в Цюрихе на собрании рабочей молодежи в 1917 г. (см. дополнит. том к 1 изд. собр. соч., т. XX, ч. II, с. 28—44), а также статьи «О национальной гордости великороссов» (собр. соч., т. XVIII). Все эти высказывания (а в речи о 9 января их даже не одно) особенно ценны тем, что Ленин каждый раз рассматривает декабристов в общем русле революционного движения, дает им оценку, как определенному этапу революционного развития.

Из мелких, случайно замеченных пропусков отметим отсутствие некоторых работ, касающихся декабриста Н. Лорера: Д. В. Федоров «На царском пути» (черты из жизни графа Д. Е. Остен-Сакена), «Исторический Вестник», 1898, № 4 (с. 103—121), где есть интересные факты из жизни Н. Лорера по возвра-

щении из ссылки; статья Веры Бутаковой («Исторический Вестник», 1898, VIII), содержащая фактические поправки к статье Д. Федорова, касающиеся Лорера и его семьи. В книге пропущены соответствующие главы работ Луи Блана («Histoire de dix ans») и Гизо («Mémoires pour servier à l'histoire de mon temps»), говорящие довольно подробно о восстании декабристов.

Именной указатель к библиографическим работам чрезвычайно важен. Он составлен Н. М. Ченцовым с большой тщательностью, с внимательным учетом псевдонимов и криптонимов; при отсутствии у имени инициалов, указатель дает справочные пояснения о данном лице. Конечно, при столь сложной работе ряд небольших неточностей неизбежен. Отметим, что указатель при имени Ленина регистрирует № 3415, где нет упоминания Ленина; та же неточность при именах: Лорер 1738 и Свистунов 3128—тут в тексте нет соответствующих упоминаний. Наоборот, в записях №№ 187 и 1738 есть упоминания о Лорере, но они не вошли в указатель. Еще одна небольшая неточность: № 2854 (с. 515—516) повторен трижды, что несколько затрудняет справку.

Очень ценны аннотации, которыми снабжены многие библиографические записи,—они значительно облегчают поиски литературы и часто обнаруживают в составителе детальное знакомство с самим текстом регистрируемого произведения.

В связи с изданием капитального труда Н. М. Ченцова, у каждого исследователя декабризма встает неизбежный вопрос: а как же с дальнейшей регистрацией литературы? Библиография Ченцова вышла, вся литература о декабристах, выходящая позже нее, оказывается вне специальной библиографической регистрации. Поэтому необходимо выразить настойчивое пожелание, чтобы библиография Ченцова в будущем имела периодические дополнения, которые печатались бы в журналах, а позже выходили отдельными оттисками. Важность таких дополнений очевидна: в работу Ченцова уже не попал, например, шестой том «Восстания декабристов» (Центрархив), как вышедший после напечатания работы, не попадет и «Русская правда» Пестеля, которая появится в седьмом томе «Восстания декабристов», не попал и сборник «Декабристы и их время», а из небольших по об'ему, но ценных работ,—например, статья М. Одинцовой «Солдаты-декабристы» («Сибирские огни», 1928, кн. 6).

Затем возникает неизбежный вопрос о постановке у нас дела научного библиографирования. Скоро ли другие исторические проблемы дождутся столь же серьезных библиографий, как работа Н. М. Ченцова? Тут нельзя ограничиться «самотеком» библиографических работ, нужна плановая организация коллективной работы, иначе дело не сдвинется с той мертвой точки, на которой оно в целом стоит в настоящее время. Значительным сдвигом в вопросах научного библиографирования явится, очевидно, издание «Индексов научной литературы», в настоящее время готовящихся к печати по заданию СНК СССР. Они будут давать не только библиографическую регистрацию всей научной литературы, вышедшей в СССР, но и рефераты этой литературы. Первые томы «Индексов», которые выйдут в настоящем году, охватят научную литературу 1928 г. Дело коллективного, планового научного библиографирования, действительно, настолько назрело, что нужно найти ему какой-то организационный центр. Выразим пожелание, чтобы вопросы библиографирования научной обществоведческой литературы нашли такой центр в библиографической секции общества историков-марксистов. Возбуждение вопроса об организации такой секции, кажется нам вполне своевременным и отвечающим назревшей нужде.

М. Нечкина

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Литературное наследие. Том II. Письма. Под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексеева и проф. А. П. Скафтымова. Гиз, М.—Л. 1928, с. 606.

Вслед за первым томом «Литературного наследия», содержавшим автобиографические материалы и дневник Чернышевского, вышел и второй том, заключающий переписку его с 1838 г. по 1882 г.

Книга делится на пять отделов: 1) письма к родным 1838—1862 гг., 2) письма к разным лицам 1846—1862 гг., 3) письма из Петропавловской крепости 1862—1864 гг., 4) материалы к делу Чернышевского и его заявления властям из Петропавловской крепости 1861—1864 гг. и 5) задержанные письма из Сибири 1864—1882 гг. В приложениях помещен ряд записок и заявлений Чернышевского вилюйским и другим властям 1877—1882 гг. и родословная семейства Чернышевских и Пыпиных.

Итак, перед нами корпус эпистолярного наследия Чернышевского, доведен-

ный до периода астраханской ссылки (последнему будет посвящен III том издания), об'единивший как изданные, так и неизданные письма и аннулирующий все прежде бывшие публикации, за исключением трехтомника «Чернышевский в Сибири» под редакцией Е. Ляцкого, перепечатывать который, конечно, не имело смысла. Читатель и исследователь Чернышевского освобождены теперь от необходимости разыскивать его письма в различных журналах, где они печатались как отдельными публикациями, так и в отрывках в тексте посвященных их автору статей. Эта особенная важность издания требовала со стороны редакторов чрезвычайно внимательного и бережного отношения к публикуемым текстам и их комментированию.

Прежде чем однако перейти к оценке этой стороны рецензируемого издания, скажем несколько слов о содержании сборника, — подробно останавливаться на нем немыслимо в рамках небольшой рецензии.

Первый и самый значительный по размерам отдел книги представляет интерес главным образом биографический. Основная масса писем адресована отцу писателя и посвящена делам по преимуществу семейным. Впрочем, исследователь публицистического творчества Чернышевского найдет в этих письмах немало разрозненных, случайных замечаний, дающих материал для суждения о процессе умственного роста юного Чернышевского, о ранних литературных и иных влияниях и т. д. Представляют интерес и письма и приписки, адресованные А. Н. Пыпину—гимназисту, в которых Чернышевский чаще, чем в письмах к отцу, приподымает завесу над своей внутренней интеллектуальной жизнью. К сожалению, этого рода писем чрезвычайно мало (невольно ставится вопрос, все ли они здесь собраны?).

Во втором отделе, самом интересном для читателя, помещены письма и записки к Саблукову, Срезневскому, Бабсту, Зеленому, Некрасову, Тургеневу, Ламанскому, Полонскому, Добролюбову, Гринвальд, Стасовым, Веселаго, Панаевым, Обручеву, Костомарову, Головнину, Краевскому и Андреевскому. Напечатаны также письма к Чернышевскому Некрасова, Добролюбова, Костомарова, Помяловского и Лободовского. Почти все эти письма, за исключением двух-трех малосущественных, были уже ранее опубликованы.

Из последующих отделов наибольший интерес представляет пятый, где имеется ряд писем Чернышевского к сыновьям, в которых он очень определенно, хотя и несколько сумбурно в смысле изложения, формулирует свое отрицательное отношение к различным течениям идеалистической мысли в философии, естествознании, математике и т. д. и высказывает ряд положений теоретического характера. Интересны также письма к А. Н. Пыпину, в которых Чернышевский приводит образцы своих литературных упражнений.

Таким образом, представляя по содержанию значительный интерес, второй том «Наследия» все же уступает первому, где был напечатан замечательный «Дневник» Чернышевского, проливший такой яркий свет на идейную [illegible]волюцию его автора. За это конеч[illegible] [illegible]икого винить нельзя; редакторы [illegible] дело с материалом, которым [illegible]зя было располагать по произволу. [illegible]о и собственная их работа вызывает серьезные сомнения.

В первом томе, помимо текстов самого Чернышевского, имелись примечания как в тексте, так и в конце книги и указатель лиц. Правда, и редакция первого тома заставляла желать много лучшего. Так, редакторы, повидимому, не потрудились попытаться прочесть неразобранные М. Н. Чернышевским в дневнике места, а между тем в ряде случаев этого можно было достичь путем пустяковых справок в периодической печати и т. п. Некоторые выражения дневника заставляют подозревать, что печатание не обошлось без купюр каких-то записей интимного характера, очень, вероятно, существенных для биографов Чернышевского. Недостаточно был комментирован «Дневник». Но при всем том ред[illegible]ционный аппарат, по крайней мере [illegible]ю к «Автобиографии», на [illegible] известной высоте. К сожале[illegible], [illegible] [illegible]я сказать о втором.

Прежде всего, совершенн[illegible] [illegible]и примечания позади текста. [illegible] только «Краткие сведения о ли[illegible] [illegible]минаемых в настоящем томе» (поч[illegible] и в первом и во втором томе редакция сочла излишним дать ссылки на страницы, хотя этот общепринятый прием научных публикаций чрезвычайно помогает специальным справкам). Впрочем, большинство приводимых «сведений», кроме их «краткости», отличается еще общеизвестностью. Нужно ли раз'яснять в специальном издании, что Бальзак—«знаменитый французский писатель», а Галилей—«знаменитый физик и астроном» (и это все, что о них ска-

зано). Удовлетворит ли читателя справка о В. И. Дале, как «известном лексикографе», особенно ежели этот читатель знаком с казаком Луганским? Достаточно ли охарактеризована физиономия И. Ростовцева, если о нем сказано, что он был «управляющим военно-учебными заведениями, видным деятелем крестьянской реформы»? Достойно ли ученого комментатора характеризовать адресата Чернышевского только как брата знаменитости (А. В. Стасов—брат Д. В. Стасова) и т. д. Вместе с тем далеко не все упоминаемые в письмах лица присутствуют в указателе. Тщетно будет читатель искать в «сведениях» справки об [illegible]оминаемых на с. 341 Мерзлякове [illegible]нове и т. д.

Таких указаний можно было бы привести много, и все они говорят об одном: «краткие сведения» не являются ни указателем, ни комментарием, а публикаторской отпиской от того и от другого.

Полагалось бы сказать несколько слов и о предисловии и примечаниях. Но ни того ни другого в рецензируемом издании нет. Имеется только вводная заметка А. П. Скафтымова к первому отделу писем. Что же касается подстрочных примечаний, то они чрезвычайно скудны. Так, из первых 100 страниц книги примечания имеются только на 27, и такая, примерно, пропорция сохраняется и в дальнейшем. При этом некоторые, очень существенные, моменты не комментируются, и читатель-неспециалист будет бродить по листам книги без всякого руководства.

Несколько лучше обстоит со вторым отделом, где ре[illegible]гли использовать... чужи[illegible] Но и здесь они иногда [illegible] непозволительным [illegible]м. Так, на с. 323 они с[illegible] что письма к Зеленому, [illegible] Добролюбову были впер[illegible] не совсем верно—*И. Т.* [illegible]ны Н. К. Пиксановым в сбор[illegible] «Переписка Чернышевского» (изд. «Московский рабочий», 1925), «откуда мы и заимствуем примечания, сокращая их» (должно добавить и «опуская», потому что далеко не все примечания Пиксанова воспроизведены, а некоторые сокращены настолько, что потеряли целесообразность). Редакторы, повидимому, не учли того обстоятельства, что читатель всегда предпочтет полно комментированное издание и будет обращаться к публикации Н. К. Пиксанова, а таким образом теряет смысл и самая перепечатка.

Очень слабо обстоит и с описанием автографов писем. Почти все они вовсе не описаны, при чем даже не всегда указывается, были ли они уже опубликованы ранее. Во вводной заметке на с. 5 А. П. Скафтымов сообщает, что печатавшиеся ранее извлечения из писем редакция не сочла нужным оговаривать (почему? Ведь, в предыдущих публикациях эти извлечения уже как-то, пусть примитивно, исследовались). Но, ведь, письмо Пыпину от 30/V 1846 г. было напечатано В. Пыпиной целиком (сборник «Н. Г. Чернышевский», под ред. проф. С. З. Каценбогена, Саратов, 1928, 279—280); ведь, письмо к Т. К. Гринвальд было напечатано Н. К. Пиксановым в том же сборнике «Переписка Чернышевского»; три записки Чернышевского на с. 579—580 были уже опубликованы М. К. Азадовским в «Сибирских огнях» 1928 г. № 4, и т. д. Все такие случаи требуют оговорки, но на страницах второго тома мы их не находим.

Вызывает сомнение и целесообразность помещения некоторых текстов. Так, в приложении ко второму отделу напечатано «письмо русского человека» А. И. Герцену, принадлежность которого Чернышевскому, несмотря на категорические утверждения М. К. Лемке, продолжает вызывать серьезные сомнения, разделяемые и самими редакторами (примечание на с. 405). Непонятно, зачем понадобилось перепечатывать из книги Лемке «Политические процессы 60-х гг.» письмо Огарева и Герцена Н. Н. Обучеву о Чернышевском. Ведь, редакция не включает других писем, даже родственников, в которых говорится о Чернышевском. Добро бы еще ненапечатанный текст, а то опубликованный, комментированный и всякому доступный (примечания М. Лемке тоже перепечатываются).

Не всегда соответствует и заглавие отдела его содержанию. Так, в отделе «Задержанные письма из Сибири 1864—1882 гг.» помещены на с. 460 и 476—7 телеграмма и письмо, «найденные в бумагах Е. Н. Пыпиной». Где же и кем они были задержаны?

Вывод ясен: редактура чрезвычайно ответственного и важного издания сделана очень небрежно и подчас даже неряшливо; а отсюда возникают опасения, что неряшливость эта могла сказаться и в тех случаях, когда установить ошибки без обращения к подлинникам нет возможности.

Тем более приходится об этом пожалеть, что при наших скромных изда-

тельских возможностях такое монументальное издание, как «Литературное наследие», не скоро дождется пересмотра и исправления.

И. Троцкий

НАРОДОВОЛЬЦЫ 80-х и 90-х г. Труды кружка народовольцев при Всесоюзном обществе политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1929 г., с. 222.

На страницах «Историка-марксиста» уже был отмечен первый выпуск трудов кружка народовольцев и его значение для изучения еще малоизвестной истории «Народной воли» после первого марта. Вышедший ныне второй выпуск стремится быть его продолжением,—он захватывает 80-е и 90-е гг. Однако в значительных частях он не только продолжает, но и дополняет первый выпуск. Как и там, и здесь нет специально ничего допервомартовского. Открывается сборник некрологом С. А. Ивановой-Борейша. Помещенные вслед за тем воспоминания В. А. Бодаева, главное содержание которых относится к истории рабочей группы 82—84 гг., своим началом восходят еще к первоначальному периоду «Народной воли». Их существеннейшее значение именно в том, что они дают точный материал для установления связи народовольческой рабочей организации 82—84 гг. с первою рабочею организациею, в которой работали Желябов, Перовская и др. Эта непрерывная деятельность народовольцев среди петербургских рабочих казалась прерванной в изложении единственного до сих пор мемуариста эпохи 1882—84 гг. И. И. Попова и восстанавливалась, но не с такою ясностью, как у Бодаева, в показаниях одного из виднейших участников рабочей группы Н. М. Флерова. Небольшие по об'ему воспоминания содержат ряд интереснейших данных, как-то: о деятельности Перовской в рабочей группе: о В. С. Гусеве, действовавшем среди петербургских рабочих (можно упомянуть, что некоторые неизданные еще материалы говорят о попытке Гусева организовать перед 1 марта специальную группу рабочей организации для деятельности среди женщин) и т. д. Для позднейшей истории несколько неожиданно звучит рассказ Бодаева о попытке Флерова совершить от имени «Молодой Народной Воли» террористической акт против министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого. Неожиданно — потому что «Молодая Народная Воля» именно и возражала против направления главных усилий на политический террор и защищала террор классовый—фабричный и аграрный. Думается, что этот эпизод, изложенный В. А. Бодаевым, еще нуждается в дополнительном освещении. Бодаев указывает на то, что этому факту посвящено было П. Ф. Якубовичем особое стихотворение. Действительно, такое не напечатанное до сих пор еще стихотворение Якубовича существует (оно озаглавлено: «Выбор») и нет сомнения, что оно говорит о террористическом акте. Еще более точное совпадение: в рассказе Бодаева террористический акт должны были совершить рабочий П. И. Богданов и Флеров; в стихотворении Якубовича, где описано собрание, в котором выбирались исполнители акта, точно так же вначале намечен рабочий, а к нему был прибавлен на собрании другой, совершенно очевидно, что Флеров, так как стихотворение посвящено именно Н. М. Флерову. Однако, повторяю еще раз, если самого факта, излагаемого Бодаевым, и нельзя оспорить, то все же мотивы этого предполагаемого акта необходимо еще осветить.

К этому моменту кризиса и почти раскола в «Народной Воле» относятся и воспоминания М. П. Шебалина о киевском процессе 12-ти в 1884 г. Шебалину было предложено устроить в Киеве типографию для выпуска № 10 «Народной Воли», а когда выяснилось, что для этого есть другая типография, то—печатать в киевской типографии местный орган. Как и предшествовавшие воспоминания М. П. Шебалина, и эти прельщают содержательностью и сжатостью рассказа. Однако именно о последней можно пожалеть, хотя, быть может, она и обусловлена памятью,—не легко удержать в памяти детали и частности того, что происходило сорок пять лет тому назад. А между тем, в соотношении борющихся течений—старой и «Молодой Народной Воли»—киевская группа Шебалина должна была сыграть значительнейшую роль. Это была бы первая провинциальная группа новой партии и притом влиятельная и импонирующая уже тем, что имела бы свой собственный печатный орган, чего до того времени не удавалось достичь ни одной провинциальной организации. Дошедшие до нас документы и прежде всего об'явление о выходе «Социалиста», как должен был называться новый орган юго-западной группы (оно будет напечатано в одной из ближайших книг «Красного архива»), показывают совершенно определенно, что киевляне стали на сторону новаторов. Точно так же М. П. Шебалин упоминает о своем свидании с С. Ивановым,

одним из крупнейших тогда деятелей, с которыми они «планировали» дальнейшую работу. О содержании этих переговоров узнаем опять из другого источника—из показаний Иванова, и видим, что они касались основных вопросов тогдашнего кризиса, и программного, и организационного. Надо надеяться, что М. П. Шебалин еще вернется к этой эпохе и изложит подробнее историю этого столь же интересного, сколь и малоизвестного момента в истории кризиса «Народной Воли».

Помещенные в сборнике письма Сергея Иванова к Карповичу, писанные в Шлиссельбургской крепости, охватили, к сожалению, только небольшую и, пожалуй, наименее интересную часть его богатой революционной биографии,—то время, когда Иванов еще не играл той руководящей во многих отношениях роли, которая ему принадлежала несколько позднее. Б. Н. Николаевский, подготовивший к печати эти письма, обратил в своем предисловии внимание на рассуждения С. Иванова об отношении революционеров к либералам в связи с проектом создания нелегального органа, в котором участвовали и либералы, причем Б. Н. Николаевский приписывает эту мысль Иванова воздействиям Зайчневского. Не оспаривая этого в отношении Иванова, укажу только на то, что после первого марта, когда обозначалось крушение надежд на немедленную революцию или, по крайней мере, на немедленные уступки со стороны власти, эта мысль возникала и у других. Так, с нею носился Сергей Кравчинский, так, и сам Тихомиров говорил о необходимости создания журнала, который приобрел бы значение герценовского «Колокола», рупора всех оппозиционных правительству групп.

Эпоха кризиса, которая уже намечена только-что перечисленными материалами, в своей новой фазе предстает в воспоминаниях М. А. Брагинского о военно-революционной организации (1884—1886). Этот эпизод до сих пор еще не освещался в печати (насколько нам известно, ему посвящена неизданная еще работа Н. Л. Сергиевского). Он относится ко времени, когда в Петербурге наряду с народовольческою организациею выступила и социал-демократическая. Все мемуаристы отмечают, что между обеими организациями в те годы не было вражды, а было во многих случаях налицо близкое сотрудничество (об этой близости писал, например, в 1887 году в своем известном заявлении А. И. Ульянов, об этом говорят и некоторые документы). Военно-революционная организация явилась именно одною из тех арен деятельности, где сошлись и народовольцы и социал-демократы, но где они не сработались вместе, а довели, как об этом повествует М. А. Брагинский, дело до раскола. Сам Брагинский примкнул к социал-демократической части организации и сообщает о ней некоторые сведения.

К этой же эпохе относятся и некоторые другие материалы сборника. З. Коган, участник оржиховской организации, уцелевший после ареста Оржиха (февраль 1886 г.), рассказывает историю тульской типографии, последней народовольческой типографии. В статье Р. Кантора рассказан эпизод ареста дерптской типографии, о которой департамент полиции знал через посредство Геккельмана задолго до ее ареста.

Революционная провинция—Харьков—дана в других очерках. В. П. Денисенко напечатал статью, уже известную в печати, о харьковской народовольческой группе 85 — 87-х гг. (была напечатана по-украински в журнале «Червонный Шлях», 1927, VII—VIII, что почему-то не отмечено). Хотя автор является участником организации, о которой он пишет, однако, мемуарный элемент его статьи не столь обилен, и она основана в значительной части на данных жандармского дознания. Второй харьковский очерк Л. В. Фрейфельда охватывает период, несколько более поздний, связанный с деятельностью Софьи Гинсбург. И этот очерк частью основан на официальном материале, в меньшей, однако, мере, чем предшествующий. Существенно, и очень, в этом очерке указание, которое дает возможность установить, что сообщенная С. Гинсбург Лаврову программа рабочей группы есть именно харьковская программа. А программа эта, уже давно известная печати, характерна, например, своим крайним отрицанием всякой нелегальной литературы.

Два очерка по 90-м гг. по существу дела имеют мало отношения к «Народной Воле». Несомненно, что тот кризис, который «Народная Воля» пережила во второй половине 80-х гг., был процессом ее расслоения на две политические группировки. Одна часть народовольцев углубляла свою деятельность среди рабочих, все более становилась на позиции классовой борьбы, воспринимала учение Маркса и входила в ряды создавшейся социал-демократии. Другая же часть увлекалась террором и создавала своей

деятельностью подготовительные ступени к позднейшей партии социалистов-революционеров, и если восьмидесятые годы, во вторую их половину, являются для «Народной Воли» ее последнею страницею, то первая же половина 90-х гг. совершенно явственно есть начальная эпоха в развитии социал-демократии и партии социалистов-революционеров. Оба очерка подтверждают это, как нельзя лучше. Первый очерк И. Н. Ракитниковой посвящен работе в деревне революционной молодежи в годы голода. По ее словам, «у большинства в то время не было ни программы, ни выработанного миросозерцания»: одни «тяготели к деревне», другие—«в сторону рабочих». Итак, сам автор отнюдь не устанавливает связи своего поколения с «Народной Волей». Тяготевшие в сторону рабочих,—это, по словам И. Н. Ракитниковой, технологи, но мы теперь прекрасно знаем, что эти технологи были социал-демократами и имели вполне отчетливое мировоззрение (об этом далее говорит и автор); те же медики и рождественки, которые «тяготели к деревне», были новым поколением, которое делало первые практические шаги по народническому пути позднейших социалистов - революционеров. О «немногочисленных представителях народовольчества» сама И. Н. Ракитникова говорит, что они не имели «сколько-нибудь широких связей с молодежью». Автор об'ясняет эту отчужденность «конспиративными условиями», однако, думаем, что дело было не в конспирации, а в том, что народовольчество в 90-х гг. жило лишь в лице отдельных своих представителей, и они не только не были руководителями нового движения, но постепенно сами примыкали к одной из вновь создавшихся группировок. Второй очерк Н. Е. Смирнова касается известной лахтинской типографии и дает больше бытовых потребностей, чем материала для заключений идеологического порядка. Закрывается сборник заметкою Р. М. Крутовского об обстоятельствах его ареста в 1885 г.

Из документов находим в сборнике только один, и неудачный.

В дополнение к статье М. П. Шебалина редакция решила дать «отрывки из показаний обвиняемых по делу двенадцати, как они изложены в делах киевского архива». Эта довольно загадочная формула: «отрывки из показаний», «как они изложены», при ближайшем ознакомлении расшифровываются довольно неожиданно. В печатаемом документе совсем нет «отрывков из показаний», а есть их пересказ, и документ, в котором «они изложены», имеется не только в киевском архиве, но и в литературе, ибо он напечатан и напечатан очень давно. Этот документ есть обвинительный акт по делу двенадцати, в свое время помещеный в «Вестнике Народной Воли» (1886 г., № 5), а статья сборника—не что иное, как сжатый пересказ этого обвинительного акта (обвинительный акт—около 6 листов; в сборнике—менее листа).

В книге есть некоторые мелкие ошибки, на которых не буду останавливаться; некоторые из них без труда могли быть исправлены редакцией (как, например, курьезная ссылка В. Денисенки на несуществующую книгу: «От Благоева до «Освобождения труда»—Невского).

С. Валк.

Е. А. МОРОХОВЕЦ. Аграрные программы российских политических партий в 1917 г. Л. «Прибой», стр. 167, ц. 1 р. 50 к. Тир. 3000.

Книжка т. Мороховца написана на нужную тему. Ее уже использовывают в качестве пособия при проработке соответствующих разделов истории на общественно-экономических отделениях наших педфаков. Кое-что полезное она, несомненно, даст для тем и по истории ВКП(б). Е. Мороховец начинает свою книжку с «Предисловия», пытаясь на 4 страницах дать анализ аграрных отношений в период между двумя революциями. В результате — догматическое утверждение разного рода положений. Возьмем всего лишь одну страничку предисловия—9-ую.

В начале ее автор утверждает, что, как и в 1905—1907 гг., крестьянское движение (речь идет о 1917 г.), даже в период наивысшего под'ема, носило преимущественно аграрный характер, не превращаясь непосредственно в политическую борьбу, в борьбу с правительством и его агентами. Но чувствуя, что такого рода заявление в известной мере «туманно», автор стремится сейчас же исправить это определение и раз'ясняет, что «об'ективно аграрное движение являлось борьбой с временным правительством». Получается, что «суб'ективно» крестьянское движение носило аграрный характер, а об'ективно оно было политическим... Такова «диалектика» т. Мороховца в об'яснении этого явления. В таком же стиле и следующее утверждение Е. А. Мороховца: «об'ективные (снова об'ективизм!—*А. Ш.*) предпосылки пролетарской революции были подготовлены предшествующим

экономическим развитием России, особенно во время войны, но тот или иной исход борьбы за власть между пролетариатом и буржуазией зависел от того, на какой стороне окажется широкая масса крестьянства».

В чем заключался «об'ективизм» предпосылки пролетарской революции, автор ни раньше, ни позже не об'ясняет. В какую связь он ставит эти предпосылки с развитием капиталистических отношений в России в довоенную эпоху, и почему они выросли из экономического развития во время войны совершенно непонятно. В какой связи коммунисты и из них первый В. И. Ленин растолковывали понятие пролетарской революции в 1917 г., «как прорыв слабейшего звена в цепи империализма» автор не обмолвился ни словечком, получается автоматическое пристегивание к пролетарской революции крестьянства. Но зачем же тогда несколькими строками выше Е. А. Мороховец уверял нас, что «крестьянское движение 1917 г. носило преимущественно аграрный характер».

Следующим нечетким и могущим привести к неправильному пониманию утверждением является такого рода заявление: «ближайшим союзником пролетариата была беднота; об'ективные (опять?—*А. Ш.*) условия толкали к союзу с пролетариатом и массу среднего крестьянства». Дальше на той же странице мы читаем, что «буржуазия, опираясь на зажиточные слои деревни и пользуясь политической несознательностью крестьянской массы, старалась привлечь на свою сторону и среднее крестьянство». Какая это буржуазия у т. Мороховца -не ясно, но, очевидно, дело идет о кадетах, так как в следующей фразе он сообщает, что «большую помощь в этом отношении оказывали ей (т. е. буржуазии) мелкобуржуазные группы, колебавшиеся все время, в силу своей промежуточной природы, между революцией и контрреволюцией, и об'ективно (какое прилипчивое словечко!—*А. Ш.*) служившие, таким образом, интересам господствующих классов».

Как кадетская буржуазия привлекала на свою сторону среднее крестьянство в революцию 1917 г., автор в предисловии не сообщает. Лишь в специальной главе об аграрной программе кадетов он рассказывает, как кадеты вносили эсеровские пункты в свою аграрную программу и тем пытались обмануть крестьянство. Но при чем тут привлечение середняка «на свою сторону»? Кадеты посылали кроме того карательные экспедиции против крестьян и навряд ли этот метод тоже следует отнести к привлечению среднего крестьянства на свою сторону.

Несколько слов об остальных частях книжки т. Мороховца. Отдельные главы производят несколько лучшее впечатление, но все же и здесь мы найдем много той же «серости» и в постановке вопросов и в формулировках, какие мы видели на примере страницы 9 «Введения».

Так, в главе «Аграрная программа партии пролетариата», почти сплошь склеенной из ленинских цитат, основной вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую (в революциях 1905 и 1917 гг.) все же остался не разработанным. Между тем это обстоятельство следует признать важнейшим и определяющим всю линию аграрных программ и аграрной тактики пролетариата. А отсюда не об'яснены, например, принципиальная установка аграрной программы большевиков в 1905 г., ошибки «старых большевиков» в 1917 г. и т. д. Аграрные программы мелкобуржуазных партий -меньшевиков, эсеров и пр.— проработаны на основе большого сырого материала. Тов. Мороховец проделал с ними очень важную и серьезную работу. Но и здесь можно отметить ряд ошибок.

При разборе эсеровской аграрной программы Е. А. Мороховец как-то упускает из виду, что смычка эсеров через правый фланг с контрреволюционной буржуазией привела к тому, что жало эсеровской аграрной программы оказалось без капли революционного яда, что их тактика уничтожила их программу. Точно так же не вскрыты попытки левых эсеров примирить созданное правыми эсерами противоречие между тактикой и программой. В разрезе этой проблемы вскрываются весьма важные стороны этих двух крыльев эсеровской партии, о чем мы у т. Мороховца ничего не найдем. Вообще очерк об эсерах хромает во всех отношениях.

Анализ аграрных программ Е. А. Мороховец связывает как с общими теоретическими установками той или иной партии, так и с вытекающими из них ее партийными взглядами. Подход правильный, но явно недостаточный. У т. Мороховца получается, что, например, контрреволюционная сущность мелкобуржуазных партий в 1917 г. определялась их неверными теоретическими положениями: они не видели того, не понимали другого, неверно оценивали

то-то, боялись того-то и т. п., а отсюда и вся контрреволюционная «беда» и меньшевиков, и эсеров. Какой же это «классовый анализ»?

Ту тему, которую автор поставил в заголовке, он разработал добросовестно и о ней рассказал достаточно хорошо. Не все он хорошо об'яснил. Но полезные качества, несомненно, перевешивают имеющиеся в ней отрицательные тем более, что читатель наш уже научился критически подходить к литературе о 1917 годе. **А. Шестаков.**

ПРОТОКОЛЫ С'ЕЗДОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (б-ков). Седьмой с'езд. Истпарт. 1928. ГИЗ.

Протоколы седьмого с'езда впервые были изданы в 1923 г. Вышедшее теперь второе издание их не представляет собой простой перепечатки: текст речей, основанный на стенограммах, пополнен на основании сохранившихся записей секретарей-протоколистов, дана обстоятельная вводная статья; собственно с'ездовский отчет сопровожден богатым документальным материалом. Этот материал содержит, кроме именного указателя (дающего краткие биографические сведения), хроники событий за период от октябрьского переворота до конца марта 1918 г. и примечаний (среди них особый интерес представляет письмо в истпарт т. Крыленко), тщательно и полно подобранный отдел приложений. Здесь приведены таблицы голосований и протоколы заседаний ЦК в период, непосредственно предшествовавший подписанию брестского мира (февраль 1928 г.), документы левых коммунистов и постановления МК и ПК, наконец, материалы к мирным переговорам, включая и текст брестского мира. Пропущена, однако, особая декларация, сделанная последней советской делегацией по поводу пред'явленного непосредственно перед подписанием мира немцами и турками нового условия—аннексии округов Карса, Ардагана и Батума.

Следует отметить, что подобно тому, как в хронике событий последней датой сообщается дата аннулирования брестского мира, так и в материалах «дипломатического» порядка было бы правильным дать текст декрета ВЦИК от 13 ноября 1918 г. об аннулировании брестского договора, тем более, что декрет этот прекрасно отражает свою эпоху и ярко реконструирует ее для современного читателя. Таковы, например, следующие абзацы декрета: «РСФСР предлагает братским народам Германии и бывшей Австро-Венгрии, в лице их советов рабочих и солдатских депутатов, немедленно приступить к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением брестского договора... Это будет союз трудящихся масс всех наций в их борьбе за создание и укрепление социалистического строя... Этот союз трудящиеся массы России, в лице советского правительства, предлагают народам Германии и Австро-Венгрии. Они надеются, что к этому могущественному союзу освободившихся народов России, Польши, Финляндии, Украины, Литвы, Прибалтики, Крыма, Кавказа, Германии и Австро-Венгрии примкнут народы всех остальных стран, еще не сбросивших иго капитализма». Дальнейшее развитие событий в центральной Европе не подтвердило этих надежд —ноябрьская революция в Германии оказалась гораздо менее значительной по своим непосредственным последствиям. Но тем не менее для судеб советского государства крах немецкого империализма был событием решающим. Этот крах не наступил весной 1918 г., и армия генерала Гофмана имела еще возможность наступать на Петроград и диктовать условия похабного мира пролетарской революции. Но прошло всего девять месяцев и оказалось, что «этот зверь», который «прыгает хорошо» (см. речь Ленина, с. 24 протоколов), в действительности прыгал из последних сил. Ленинская тактика брестского «отступления», маневр передышки получили, таким образом, самое блистательное подтверждение, и в свете этой исторической проверки ленинские аргументы и прогнозы особенно поучительны. «Мы еще только подходим к мучительному периоду начала социалистических революций... Сначала сплошное триумфальное шествие в октябре, ноябре, потом вдруг русская революция разбита в несколько недель немецким хищником, русская революция готова принять условия грабительского договора. Да, повороты истории очень тяжелы, у нас все такие повороты тяжелы... Тут надо уметь отступать. Невероятно горькой, печальной действительности от себя не закрыть; надо сказать: дай бог отступить в полном порядке. Мы в порядке отступить не можем,—дай бог отступить в полупорядке... Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен итти ползком на брюхе, тогда ты не революционер, а болтун, и не потому я предлагаю так итти, что это мне нравится, а потому, что другой дороги нет, потому, что история сложилась не так приятно, что революция всюду со-

зревает одновременно» (см. протоколы, с. 18, 19, 20).

Ознакомление со с'ездовскими протоколами и материалами, собранными истпартом, представляет живой и глубокий интерес. Различные концепции, связанные с брестской дискуссией, несомненно выходят за ее непосредственные пределы и имеют более общее значение, поскольку они вращаются вокруг темы о связи между русской и международной революцией. Удачный анализ этих концепций дан во вводной статье тов. Д. Кина, некоторым пробелом которой, впрочем, является недостаточное внимание, уделенное собственной литературе и заявлениям левого коммунизма. Д. Кин более детально занят изложением позиции Л. Троцкого, но наиболее последовательное изложение точки зрения противников подписания мира получила в «Коммунисте», в составе редакции и в числе сотрудников которого Л. Троцкий не состоял. Следовало бы различать эти две близкие, но различные группировки. Центром левого коммунизма являлось Московское областное бюро, весьма решительная резолюция которого приведена в приложениях (см. протоколы, с. 237): «Московское областное бюро высказывает недоверие ЦК, ввиду его политической линии и состава, и будет при первой возможности настаивать на перевыборах его. При этом МОБ заявляет, что оно не считает себя обязанным подчиняться во что бы то ни стало постановлениям ЦК, в связи с проведением в жизнь условий мира, заключенного с Германией» (принята 24 февраля 1918 г.). В «об'яснительном тексте» именно в этой резолюции содержится знаменитое заявление о том, что «в интересах международной революции» целесообразно «итти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной» (там же. с. 237). История показала, что это заявление, сделанное в погоне за «левой» линией, в корне ложно оценивало перспективы революции.

Издана книга Гизом хорошо и за невысокую цену (два рубля за 360 с. текста).

Г. Сокольников.

НОВЫЕ КНИГИ[1]

Б. А. БОРЬЯН. Армения, международная дипломатия и СССР. Часть I. Гиз. 1928 (на обложке: 1929). С. 447. Ц. 5 руб.

Автор начинает свои разыскания издалека, с ранних моментов армянской истории. Касаясь в отдельных главах географической среды, армянского феодализма, он затем следит за положением армян не только в пределах бывшей империи, но и в Турции, и в Персии. Со времени Берлинского конгресса его изложение детальнее и доведено до 1918 г.

ПУГАЧЕВЩИНА. Т. II. Из следственных материалов и официальной переписки. Подготовлен к печати С. А. Голубцовым (Центрархив). Гиз. М.—Л. 1929. С. 495. Ц. 5 р.

Если первый том пугачевских материалов состоял из документов пугачевского происхождения, то второй том—том правительственных материалов. По словам предисловия, он ставит себе задачею «опубликование таких материалов, которые позволили бы ближе подойти к уяснению социальной природы восстания 1773—74 гг.». Все включенные в том документы расположены по рубрикам: из материалов о происхождении пугачевщины, состояние урожая 1772—74 гг. и пугачевщина, казачество и пугачевщина, инородцы и пугачевщина, фабрично-заводское население и пугачевщина.

П. ЩЕГОЛЕВ. Алексеевский равелин. Книга о падении и величии человека. Изд. «Федерация». Москва. 1929. С. 382. Ц. 3 р. 50 к.

В книге собраны уже печатавшиеся ранее статьи П. Е. Щеголева о кн. С. В. Трубецком, Чернышевском, Каракозове, Бейдемане, Нечаеве. Из них очерк о Нечаеве наиболее богат материалами, которые придают новый облик фигуре Нечаева. Что же касается Бейдемана, то в книгу вошли не все материалы, имеющиеся в отдельном издании: «Таинственный узник» (П. 1924).

Б. КОЗЬМИН. Революционное подполье в эпоху «белого террора». Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1929. Ц. 1 р. 90 к.

Книга эта заполняет существенный пробел современной историографии шестидесятых годов. Полоса от каракозовского дела и до Нечаева была до сих пор пустым местом, которое Б. Козьмин своими архивными розысками ныне заполнил. Автор излагает детально историю нескольких кружков и отдельных лиц, которые поддерживали революционную традицию в эту малоизвестную эпоху.

М. М. КЛЕВЕНСКИЙ. И. А. Худяков. Революционер и ученый. Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев (научно-популярная библиотека № 4). Москва. 1929. С. 128. Ц. 55 к.

Впервые в литературе с такой подробностью, при помощи не только изданных, но и архивных материалов, изображена личность этого незаурядного деятеля начала 60-х годов. Автор изучил его научные работы, показал эволюцию его интересов, его переход к революционной деятельности, и все это увязал в одно живое биографическое целое. Для истории, в частности, кружка, из которого вышел Каракозов, и для истории самого каракозовского дела эта книжка доставляет ряд существенных соображений.

ВОСПОМИНАНИЯ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА. Московский университет. Вступ. статья и прим. С. В. Бахрушина. Изд. М. и С. Сабашниковых. Москва. 1929. С. 280. Ц. 3 р.

Воспоминания охватывают годы преподавания Чичерина—1861—1868 гг., в частности, приведены документы, связанные с уходом Чичерина из университета.

Л. ЛОЙКО. От «Земли и воли» к ВКП(б). 1877—1928. Воспоминания. Гиз. 1929. С. 248. Ц. 1 р. 50 к.

Казанский кружок 1876—1878, опыт пропаганды в народе и затем сибирская ссыл-

[1] Печатая кратенькие информационные сообщения о содержании новых книг, редакция оценку книг по существу будет по-прежнему давать в отделах: *Критические статьи*; *Рецензии*.

ка; народнический кружок в Харькове 1885—1886 и вторая ссылка; деятельность в партии социалистов-революционеров вплоть до «Комуча» и Колчака; разрыв с эсерами и вступление в ВКП,—таковы наиболее крупные звенья этих воспоминаний.

ВЕРА ФИГНЕР. Полное собрание сочинений. Т. IV. Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. С. 334. Ц. 2 р. 50 к.

В настоящий том вошли произведения, связанные со Шлиссельбургом. В первой части помещен ряд характеристик, иллюстраций, дополненных, по сравнению с прежнею книгою о «Шлиссельбургских узниках»; во второй половине тома помещены шлиссельбургские стихотворения Фигнер.

П. С. ИВАНОВСКАЯ. В боевой организации. Воспоминания. Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1928. С. 191. Ц. 1 р. 40 к.

Автор—известная деятельница «Народной воли» (в частности, народовольческих типографий), впоследствии, после Кары и ссылки, примкнувшая к социалистам-революционерам. В этих печатавшихся уже раз в «Былом» воспоминаниях Ивановская останавливается на деятельности боевой организации, убийстве Плеве и т. д.

В. ЧЕШИХИН-ВЕТРИНСКИЙ. Глеб Иванович Успенский. Изд. «Федерация». 1929. С. 382. Ц. 3 р. 75 к.

Обширная монография Ветринского основана частью на неизданном материале. Автор излагает факты жизни Успенского в связи с общественно-литературной историей 70—80-х годов. Специальные главы книги выясняют отношение Успенского к народничеству и народовольчеству. Книга снабжена библиографией произведений Успенского и сочинений о нем.

Н. Л. СЕРГИЕВСКИЙ. Партия русских социал-демократов. Группа Благоева. Гиз. 1929 (Истпарт). С. 180. Ц. 1 р. 25 к.

После ряда работ специального характера, основанных на кропотливых архивных изысканиях, автор дал в этой работе общий очерк, не загроможденный фактическими деталями. Кроме истории возникновения так наз. группы Благоева и первых шагов ее деятельности, здесь дана также позднейшая деятельность связанных с благоевской группой социал-демократов в военной организации, но центр тяжести изложения—в анализе идеологии первых русских социал-демократов и во вскрытии процесса их освобождения от прежних идеологий.

В. В. РУДНЕВ. Горький—революционер. Гиз. Москва—Ленинград. 1929. С. 125. Ц. 75 к.

Популярная книжка, основанная на воспоминаниях и на извлечениях из архивных материалов, уже опубликованных автором в «Новом мире», 1929 г. № 3—4.

В. РУДНЕВ. Крестьянское движение в начале XX века. Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1929 (научно-популярная библиотека, № 1). С. 109. Ц. 45 к.

Очерк крестьянских волнений 1902 г. в Полтавской и Харьковской губ., основанный, кроме изданных материалов, также и на делах департамента полиции.

С. АНИСИМОВ. Восстание в Донецком бассейне. Изд. Всер. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1929 (Научно-популярная библиотека, ж. «Каторга и ссылка», № 2). С. 93—I. Ц. 35 к.

Изложен известный эпизод декабрьского восстания 1905 г.—события на Екатерининской ж. д.; популярная переделка (а частью перепечатка) вышедшей ранее книжки того же автора «Дело о восстании на Екатерининской ж. д.» (М. 1926).

М. АХУН и В. ПЕТРОВ. Большевики и армия в 1905—17 гг. Военная организация при петербургском комитете РСДРП(б) и революционное движение в войсках Петербурга (Ленинградский областной истпарт). Изд. «Красная газета». Ленинград. 1929. С. 348. Ц. 2 р.

По сравнению с предыдущими работами тех же авторов, печатавшимися ранее в «Красной летописи», данная книга, прежде всего, дополнена новым обширным отделом о 1917 г. Прежние же части сильно переработаны, введен новый материал, заново написана вводная часть и интереснейшая глава об армии в эпоху империалистической войны. Значение книги, касающейся Петербурга, конечно, далеко выходит за пределы местного значения.

М. ОЛЬМИНСКИЙ. Из эпохи «Звезды» и «Правды». Изд. 2-е доп. (Институт Ленина при ЦК ВКП). Гиз. 1929. С. 352. Ц. 1 р. 90 к.

Сборник состоит из двух частей. Первая—очерк эпохи, ранее помещенный в истпартовском сборнике «Из эпохи «Звезды» и «Правды» (т. 1, 1921); вторая часть составлена из статей автора того времени; в приложении впервые напечатана статья «Государство и бюрократия».

В. ВОЛОСЕВИЧ. Большевизм в годы мировой войны. «Прибой». Ленинград. 1929. С. 147. Ц. 90 к.

По словам автора это—«монография», представляющая собой отрывок подготовляемого им к печати труда по истории большевизма. Однако автор дает пропагандистское пособие, сделав его доступным «как можно более широким слоям читателей-рабочих» и излагает, главным образом, статьи Ленина, написанные в годы мировой войны.

А. Ф. ИЛЬИН-ЖЕНЕВСКИЙ. Большевики у власти (Ленинградский истпарт). «Прибой». Ленинград. 1929. С. 196. Ц. 1 р. 20 к.

Книга воспоминаний А. Ф. Ильина-Женевского охватывает 1918 г. и является прямым продолжением вышедших два года тому назад его воспоминаний («От февраля к захвату власти»). Основная тема воспоминаний—начальные моменты строительства Красной армии, и автор, который был в гуще тех событий, которые происходили в Ленинградском военном округе, дает подчас ценнейший материал, хотя, по его же признанию, его книжка «полубеллетристическое произведение».

ЛЕНИНИАНА, под общ. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. Т. IV. Библиографический обзор русской литературы за 1927 г. Составлен библиотекой Института Ленина. Гиз. 1929. С. 523. Ц. 5 р.

По сравнению с предыдущими годами внесены некоторые изменения в методы составления «Ленинианы». Составители стремятся к возможно более полному охвату материала, просмотрено около 25.000 печ. единиц, не считая периодических изданий. Библиография снабжена указателями, позволяющими ориентироваться во введенном в библиографию материале.

ДЕЯТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. Био-библиографический словарь. Т. II. Семидесятые годы. Вып. 1. А—Е. Составлен А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой. Изд. Всерос. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1929. С. 406. Ц. 5 р.

Выпуск этот составлен по плану прежних выпусков, уже известных читателям.

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. Библиография. Составил Н. М. Ченцов, Ред. Н. К. Пиксанова (Центрархив). Гиз. 1929. С. 793. Ц. 10 р.

Эта обширнейшая библиография распадается на две части, так как юбилейная литература библиографирована отдельно. Составленная с исчерпывающей полнотою как в отношении источников, так и в отношении литературы, она иногда выходит за пределы одной библиографии благодаря ряду новых указаний на оставшиеся до сих пор неустановленными работы. После ее выхода в свет предшествовавшие указатели теряют теперь всякое значение.

Л. С. БЕРГ. Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1923 г.) Академия наук СССР. Ленинград. 1929. С. 150. Ц. 2 р. 50 к.

Охватывая историю географии с XVIII в., очерк располагает материал по рубрикам методологии географии, учреждений и изданий, картографии, исследования суши, исследования вод и исторической географии. Последний—наиболее интересный—исторический отдел занимает всего-навсего четыре страницы и содержит один лишь перечень трудов по исторической географии. Впрочем, такой же библиографический и справочный характер носит вся книга.

Ф. И. ШМИТ. Музейное дело. Вопросы экспозиции (Гос. институт истории искусства). Ленинград. 1929. С. 247. Ц. 2 р. 50 к.

Отдельные главы книги трактуют об истории музейного дела, топологии музеев, музейной сети, дворцах-музеях, музеях современности, краеведческих музеях.

ИЗВЕСТИЯ общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. университете им. В. И. Ульянова-Ленина, том XXXIV, вып. 3—4. Казань. 1929. С. 352. Ц. 3 р.

Юбилейный том, по случаю 50-летия общества, содержит много интересных и ценных работ. Почти треть тома занята двумя большими работами М. К. Корбута и С. Н. Чернова. Корбут на основе данных архива рабочей группы Московского военно-промышленного комитета дал очерк, в котором характеризует также центральную группу, по переписке ее с московской. Чернов, продолжая свои работы по декабризму, подвергнул изучению известный случай увольнения полковника Граббе и дал освещение еще одного из эпизодов борьбы правительства за армию. Из других статей сборника надо отметить работу С. Фарфоровского о рабочем движении начала 70-х годов, в которой использован некоторый (но недостаточный) архивный материал, М. К. Азадовского о декабристе В. Давыдове (его эпиграммы), статью И. Победоносцева о «монографии, как методе изучения современной фабрики и деревни», а также несколько работ по археологии.

СООБЩЕНИЕ Государственный академии ист. матер. культуры. II. Ленинград. 1929. С. 489. Ц. 5 р.

Некрологи (Б. В. Фармаковского, Ф. И. Успенского и В. И. Гошкевича); отчет за 1925—1926 и 1927—1928 гг.; акты об экспедиционных работах на Северном Кавказе (А. А. Миллер), среднем Поволжьи (П. П. Ефименко), Чувашской республике (Н. И. Гаген-Торн об этнографической работе и Н. И. Павлов-Сильванский о правовом изучении деревни), Вятской губ. (М. Худяков), Воронежской губ. (С. А. Еремин), Воронежской губ. и Белоруссии (изучение палеолита—С. М. Замянин), Ленинградской губ. (П. П. Ефименко). Статьи посвящены: А. Якубовского—развалинам Сыгнака; Р. Фасмера—монетным находкам (список), И. Карабинова—опыту реставрации икон Успенского собора в 1852 г.; А. Коцевалова—греческим надписям на Черноморьи; В. Толмачева—предметам «костяного века» из В. Сибири; Н. Я. Марра—Карфаген и Рим; Г. Котова—очертанию арок во владимиро-суздальском зодчестве; Н. Токарского—применению угловых инструментов при обмерах. Кроме того, имеется две речи: Б. Богаевского («Древне-минойский период на Крите») и Д. Айналова («Первоначальные шаги искусства в Европе»), а также статьи М. Фармаковского о выставке работ Института археологической технологии.

ЗАПИСКИ історично-філологичного відділу Всеукр. академии наук. Кн. XXI—XXII. Киев. 1929. С. 344.

Среди разнообразных статей и материалов большею частью из области украинской литературы и языка, помещено большое исследование проф. Б. Курца. Уже давно работающий в области изучения торговли Московского государства проф. Курц здесь ставит вопрос: «Как возникла государственная караванная торговля России с Китаем в XVII в.», причем в результате детального обследования состава «торговых промыслов» и караванов приходит к выяснению «постепенного процесса возникновения» этой торговли, а также того процесса борьбы, который вело «государство» в борьбе за эту торговлю с частным капиталом, проявившим в этом деле значительную инициативу. Из других статей «Записок» следует отметить сообщение А. Вирниченко к истории «вольных хлебопашцев на Украине» и материал к деятельности Антоновича и Кулиша.

СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ науково-дослідчої катедри історії України в Київі. Т. II (Всеукр. академии наук). Держ. вид. Укр. 1929. С. 130. Ц. 2 карб.

Сборник открывается рядом обзоров за 1917—1927 гг.: украинской исторической науки (О. Гермайзе), литературоведения (К. Копержанский), археологического изучения Киева и киевщины (М. Ткаченко) и изучения крестьянского вопроса (С. Глушко). Два очерка посвящены истории хозяйства: П. Федоренко ставит общую проблему о «Задачах изучения монастырского хозяйства» (рабочий план и обзор архивного материала), а И. Кравченко дает обстоятельный этюд об экономике и организации хозяйства в Ямпольском имении конца XVIII—XIX веков. Кроме того, С. Шамрай пишет о «путных боярах» в имениях Киево-печерской лавры, П. Ничепоренко о постройке городов Глухова и Батурина, М. Карачкивский об описании Подолии в начале XIX в., О. Степанищина о выкупной операции в шевгейских деревнях.

СБОРНИК ГРАМОТ КОЛЛЕГИИ ЭКОНОМИИ, т. II. Грамоты Двинского, Колского, Кевронского-Мезенского и Вотского уезда. Ленинград. Издат. Академии наук. 1929. Столбцов 896. Ц. 10 р.

Второй том Сборника является непосредственным продолжением первого тома, в который вошли грамоты Двинского уезда.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО (Академия наук СССР. Очерки по истории знаний. VI). Ленинград. 1929. С. 58. Ц. 50 к.

Материалы состоят из четырех разделов: биографических сведений, списка печатных работ краткой описи рукописей (здесь дано также оглавление капитального неизданного труда Лаппо-Данилевского по истории политических идей XVII—XVIII вв.) и список книг и статей об А. С. Лаппо-Данилевском.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ[1]

РАБОТА СЕКЦИЙ: ИСТОРИИ ВКП (б), МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ ВООРУЖЕННЫХ ВОССТАНИЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН И СОВЕЩАНИЯ ИСТОРИКОВ ВОСТОКА

VI. СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ВКП (б)

Доклад Б. И. Невского «История ВКП(б) как наука».

Тов. Невский, исходя из определений Маркса и Ленина, а также и М. Н. Покровского, констатирует, что история культуры и история вообще являются такими же точно естественно-историческими науками, как любая из естественно-исторических дисциплин. Целый ряд методов и приемов, которыми пользуются точные науки, применим к общественным наукам, в том числе и к истории. Это вытекает из того, что исторический процесс есть процесс естественно-исторический, часть общего процесса природы. У историков-марксистов нет существенных расхождений в общей формулировке приемов, применяемых к изучению истории. Но в конкретных выводах не все они стоят на уровне современной теории (ленинизма) и не всегда владеют достаточным количеством материала для того, чтобы все факты могли быть сведены к общим заключениям. Трудность анализа сложной ткани общественных явлений была отмечена уже Энгельсом, но это не освобождает историка от обобщений.

До настоящего времени часто встречается мнение, что нет истории партии как науки, что она входит в общую историю. Еще указывалось, что поскольку вопросы из истории партии политически обостряются, писать ее преждевременно. От всех этих взглядов следует отказаться. Но в то же время не следует забывать, что история ВКП(б) протекает в некоторой общеисторической обстановке и ее нельзя изолировать от общего революционного процесса. Многочисленныя книги и пособия по истории ВКП(б) пока не отвечают этому условию. Если присмотреться ко всем пособиям, можно видеть, что они дают регистрацию фактов, конспект событий от с'езда к с'езду, но никто еще не дал истории ВКП(б) на фоне революционного движения. А история русского революционного движения в XIX и XX столетиях есть история России. Мы до сих пор подробно не изучили почву, на которой выросла наша партия, в частности, историю рабочего движения, а потому у нас много споров о 70-х и 80-х годах XIX века. Исходя из всего этого, следует сделать вывод, что история партии есть наука, которая, пользуясь методом исторического материализма, ставит своей задачей описание революционно-партийных явлений и установление исторической закономерности в их развитии в связи с историей России, СССР и вообще всей историей нашего времени, на основе тех достижений, которые нам дало учение Ленина.

Научное изучение истории партии затрудняется тем, что у нас нет научного собрания материалов, относящихся к истории революционного движения. Это относится к 40, 50, 60-м и прочим годам XIX столетия. Тормозом для работы является и отсутствие научно-исторической библиографии. В этих областях необходом коллективный труд всех лиц

[1] Продолжение. См. «И. М.» № 12.

и учреждений, работающих в исторической области. Наконец, т. Невский указывает, что успех исторического исследования обусловлен высокой «технической» подготовкой историков, почему в вузах надлежит обратить серьезное внимание на постановку вспомогательных дисциплин.

Г. Бешкин согласен, что с научной точки зрения история революционного движения в XIX и XX веках есть история России. Но эти хронологические рамки, если вопрос ставить диалектически, могут быть взяты и шире. История же партии есть в значительной степени история ленинизма, и дело не может быть сведено только к описанию революционно-партийных явлений и установлению закономерностей. История партии, как наука, должна рассматриваться как история того, что мы называем ленинизмом.

Г. Крамольников считает необходимым предварительным условием научного построения истории партии изучение Ленина, как историка партии. Обычно считают, что Ленин, как историк партии, проявил себя только в немногих работах, но это заблуждение. Каждая ленинская статья есть всегда проверка пройденного пути. Это был метод Ленина, обеспечивавший принципиальность политической линии. Тов. Крамольников указывает, как на один из примеров, на выписки Ленина (хранящиеся в институте Ленина) из Кареева по вопросу о наполеоновских войнах, сделанные в самый тяжкий и решительный период не только нашей, но и мировой истории, период брестскикх переговоров.

Далее Крамольников заявляет, что тенденция потопить историю партии в истории революционного движения, существующая у некоторых товарищей, имеет в своей основе меньшевистскую тенденцию к смешиванию партии с классом, и с этим надо бороться.

М. Рубач начинает с замечания, что историю партии, конечно, нельзя смешивать с историей революционного движения, а эту последнюю, в свою очередь, с историей народов СССР. Но бесспорно прав т. Невский, настаивающий на необходимости широкого исторического образования для историка партии.

Рубач настаивает на необходимости планового начала в изучении истории партии и считает целесообразной организацию центра, который взял бы на себя эту задачу, опираясь на активную помощь мест. Можно было бы, говорит он, выделить 20—30 наиболее крупных промышленных центров, и на них глубже изучить фактическую историю партии; принципиальные вопросы полностью представлены у Ленина. В заключение т. Рубач присоединяется к мысли докладчика, что, прорабатывая историю нашей партии, нужно обратить сугубое внимание на выделение интернациональных корней.

М. Цвибак считает необходимым изучать историю партии на фоне общей истории России, но возражает докладчику, у которого соединены задачи изучения истории партии и истории России. Главная задача—подойти к изучению истории партии не чисто «академически», а диалектически, как к основной части ленинизма.

М. Миронов говорит, что для него новостью является положение докладчика, будто нет никакой разницы между характером построения общественных и естественных наук. Разница, разумеется, существует, хотя бы уже потому, что общественным наукам приходится иметь дело с экономикой, классовой борьбой и т. д.

По мнению т. Миронова, необходимо выдвинуть задачу изучения наших противников—меньшевиков, эсеров, и прочих—без чего нельзя глубоко изучить историю партии.

П. Милюков, исходя из положения, что партия—продукт исторического развития, но история партии может и должна быть поставлена как самостоятельная дисциплина,—полагает, что историкам партии надлежит в настоящее время всюду, где можно, исследовать, как идеи Ленина, идеи большевистских центров проникали на места, как они подхватывались там и конкретизировались. Этого еще до сих пор не сделано, и именно потому, что не внесена достаточно четкая диференциация в историческую науку, не проведен водораздел меж историей партии и историей революционного движения вообще. Вопрос о том, как исторически формировалась политика нашей партии—жгучий вопрос для самых широких слоев как партии, так и рабочего класса.

М. Н. Покровский говорит, что он взял слово не для того, чтобы высказываться по поводу истории партии как науки, а для внесения небольшой поправки в те цитаты из его работ, которые совершенно точно привел т. Невский. М. Н. Покровским говорит, что он отнюдь не собирается прятаться за цензурные условия, в которых вышли «Очерки истории русской культуры», и намерен показать, что те цитаты, на которые ссылался докладчик, совершенно

сознательно были им направлены против тех историков, которые отрицали историю как науку, не признавая в историческом процессе никаких закономерностей. С ними нужно было бороться и подчеркнуть, что такие закономерности есть. Этим и об'ясняется, говорит т. Покровский, сделанное им тогда сопоставление истории вообще с естественными науками. Но он и тогда, разумеется, не был фаталистом, а признать, что история есть такая же наука, как химия, это значит прямым путем подойти к фатализму, потому что в химических процессах никаких сознательно, по определенной программе, действующих партий нет и быть не может. Борьба же с фатализмом, говорит т. Покровский, в настоящее время должна всемерно вестись.

Между общественными и естественными науками то капитальное различие, что естественные науки отражают ту же классовую базу, но через целый ряд прослоек. Человек, который стал бы отыскивать троцкизм в разложении кислот, был бы сумасшедшим. Но к историческим концепциям такой подход совершенно законен.

Существует ли история партии, как отдельная наука? Конечно существует. Поскольку партия—один из факторов, создавших Октябрьскую революцию, то как же этот фактор не изучать, как же не посвятить ему громадного внимания? Смешивать историю партии в одну кучу с революционным движением совершенно недопустимо. Понимать же историю партии можно только на фоне революционного движения—это тоже совершенно ясно.

Но, чтобы иметь научную историю партии, необходимо возвести ее на архивных документах и первоисточниках.

К. Сидоров подчеркивает необходимость обратить серьезнейшее внимание на имеющиеся у нас учебники по истории партии. Они нередко противоречат друг другу в разрешении ряда проблем, и даже в одном и том же учебнике встречаются крупные неувязки.

Ф. Махарадзе говорит, что нельзя смешивать историю партии с историей революционного движения и историей вообще, но он думает, что в этом отношении напрасно упрекали т. Невского, который такого смешения вовсе не предлагал.

Далее т. Махарадзе говорит, что для построения истории партии недостаточно, хотя, несомненно, необходимо, описание и установление закономерностей прошлого. Нужно обнаружить большевизм, партию, как сознательный фактор воздействия в течение десятков лет на ход событий с совершенно ясно установленной целью. Это—исключительное явление, характерное только для большевистской партии. Научная история большевизма заключается в том, чтобы охватить весь земной шар, во-первых, и, во-вторых, наметить следующие ступени развития, и не только у нас, но и во всем мире.

В. И. Невский в заключительном слове прежде всего категорически отвергает приписываемое ему смешение истории партии с историей революционного движения или с историей России вообще. Отвечая т. Крамольникову, докладчик указывает, что не у всех меньшевиков можно обнаружить подмену истории партии историей революционного движения, хотя этим отнюдь не отменяется меньшевистский характер их концепций; с другой стороны, есть и большевики, производящие такую подмену, есть даже и такие большевики, которые ограничивают историю партии изучением резолюций и т. д.

Докладчик возражает против того, чтобы рассматривать историю партии как историю ленинизма. История партии, история социал-демократии была и тогда, когда Ленина не было. Ленинизм—это целая самостоятельная научная теория, которая должна изучаться не только в связи с историей партии, но и отдельно. Именно таким образом следует, между прочим, поставить изучение ленинизма в наших высших учебных заведениях.

Далее докладчик, останавливаясь на выступлении М. Н. Покровского, утверждает, что никогда не смешивал и не смешивает истории партии с естествознанием; такое смешение—вещь совершенно невозможная. Разумеется, в химии троцкизма нет, но методы и приемы, которыми пользуется история, так же точны, как и в естествознании. Об этом говорит и М. Н. Покровский, то же утверждали Маркс и Ленин. Разве можно считать изучение процесса недостаточно научным только потому, что это процесс общественный? Огромная заслуга Маркса заключается именно в том, что методы и приемы, применяемые в естествознании, он применил к общественным наукам.

Отводя обвинение в фатализме, докладчик говорит: если ученый для определения, в каких условиях, в какую эпоху сделан тот или иной черепок, пользуется приемами анализа точных и естественных наук, то где же здесь фатализм?

Докладчик отрицает приписываемое ему утверждение, будто история партии исчерпывается лишь описанием революционно-партийных событий. Он требовал установления закономерностей, а установить закономерность это и значит, в конце-концов, дать возможность переделать мир.

Отвечая на обвинение в смешении им истории России XIX и XX веков с историей революционного движения, докладчик утверждает, что самая суть событий в России этих столетий, весь драматизм этих событий, все их главнейшее значение сводилось к классовой борьбе широких трудящихся масс. Вот почему русскую историю XIX—XX столетий можно изучать, как историю революционных движений, и никакого смешения тут нет.

Доклад т. К. А. Попова «Об исторических условиях перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую».

Из сличения основных методов марксо-энгельсовской (1850 г.) и ленинской (1905—1917 г.г.) концепции перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую следует, что концепция Ленина, вытекая из общих основ с концепцией Маркса—Энгельса, является в то же время более развитой и оформленной. Это—результат ее более позднего происхождения в эпоху неизмеримо более развитого капитализма. Это—более совершенная марксистская концепция перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, более точно и отчетливо определяющая условия этого перерастания. Условия эти сводятся в основном к следующему:

1. Наряду с наличностью обостренных противоречий и социальной войны между новым капиталистическим и старым феодально-крепостническим обществом необходима наличность настолько развитых противоречий в самом капиталистическом обществе, чтоб они тоже вылились в свою «социальную войну»—войну между пролетариатом и буржуазией.

2. Необходимо, чтобы эти противоречия и эта социальная война не только вне, но и внутри данной страны, стоящей перед буржуазно-демократической революцией, выросла уже настолько, чтобы под их давлением буржуазия потеряла способность возглавить революцию, чтобы пролетариат, наоборот, приобрел уже способность охватить своим влиянием и руководством крестьянские массы, восстающие против феодально-крепостнических порядков, и чтобы буржуазная революция превратилась, таким образом, в крестьянскую революцию, руководимую пролетариатом.

3. Нужно, чтобы противоречия капиталистического порядка настолько проникли в самую деревню, чтобы там были налицо уже значительные массы сельских пролетариев и капиталистически эксплоатируемой деревенской бедноты, а середняк, на ряду с гнетом помещика, нес на себе гнет капитала, чтобы этими условиями создавалась возможность присоединения к городскому пролетариату сельского пролетариата и деревенской бедноты и нейтрализация середняка в борьбе против буржуазии.

4. Нужно, чтобы сама крестьянская революция, руководимая пролетариатом, действительно до конца расправилась с остатками крепостничества и этим создала самое широкое поприще для классовой борьбы против буржуазии как в городе, так и в деревне. Нужна революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, совершающая «плебейскую» расправу с остатками крепостничества и возглавляющая борьбу с буржуазно-монархической контрреволюцией.

5. Нужно, чтобы буржуазно-демократическая революция в данной стране совершалась при такой международной обстановке, когда мировой капитализм вступил уже в эпоху своего краха, когда обострившиеся противоречия этого капитализма создают в окружающем капиталистическом мире революционную ситуацию и возможность пролетарских революций.

Различная степень развития этих условий создает и различную степень возможности перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую и различный темп этого перерастания.

При этом возможность перерастания становится тем сильнее, чем больше внутри страны центр тяжести перемещается от противоречий крепостнического порядка к противоречиям порядка капиталистического. И, в свою очередь, это перемещение становится тем решительнее, чем больше раздирается противоречиями внешний капиталистический мир, чем революционнее становится мировая ситуация. Чем благоприятнее сочетание этих внутренних и внешних условий, тем неизбежнее перерастание и тем быстрее его темп.

С точки зрения сочетания внутренних и внешних условий 1905 г. русская буржуазно-демократическая революция являлась для Ленина «прологом» пролетарской революции на Западе и, черпая силы в ней, сама лишь в результате длительного периода могла превратиться в революцию пролетарскую. С точки зрения того же сочетания к периоду империалистической войны эти три исторических момента «чрезвычайно сближаются», и русская буржуазно-демократическая революция становится из «пролога» пролетарской революции на Западе ее «неразрывной составной частью». Одновременно усиливается и возможность перерастания. Наконец, 1917 г. дает для того времени максимально благоприятное сочетание внутренних и внешних условий, и буржуазно-демократическая революция сливается с пролетарской: вторая, «походя, мимоходом», решает задачи первой.

Об этом сочетании нельзя ни на минуту забывать, говоря о возможностях перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Достаточно устранить из условий перерастания внутренние условия, внутренние силы страны, чтобы стать на позиции ультра-левых, троцкистов и К°. Достаточно выключить из того же сочетания противоречия окружающего капиталистического мира, чтобы впасть в «национальную ограниченность», со всеми оппортунистическими, реформистскими выводами, неизбежно из нее вытекающими.

Из сличения обстановки русской революции 1905 и 1907 гг. можно видеть, какое сочетание внутренних и внешних условий следует считать максимально благоприятным для перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую. С точки зрения внутренних условий—это такое соотношение между «двумя классовыми линиями революции» (пролетарской и крестьянской), которое делает пролетарскую революцию столь же (или даже более) насущной, как и буржуазно-демократическую. С точки зрения внешних условий—это такая степень развития и обострения противоречий во всем капиталистическом мире, которая создает в нем революционную ситуацию, способную перейти в «насильственную вспышку» пролетарских революций, и которая, во-вторых, максимально ослабляет возможность контрреволюционного натиска на революционную страну и в то же время в ней самой до последней степени обостряет внутренние противоречия. Такое сочетание условий создается лишь в эпоху развитого капитализма, в эпоху империализма.

Империализм, завязывая узлы своих противоречий вокруг стран запоздалых буржуазно-демократических революций, придает самим буржуазно-демократическим революциям антиимпериалистический характер. Эти благоприятнейшие внешние условия перерастания в современный нам период в высокой мере усиливаются наличием огромной, непрерывно крепнущей страны диктатуры пролетариата—Союза ССР. Налицо величайшая из гарантий перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую, которую выдвигали Маркс и Энгельс для Германии в 1850 г. и Ленин для России в 1905 г.: предварительная победа социалистической революции в другой стране. Перерастание становится законом современных буржуазно-демократических революций.

Но темп этого перерастания зависит в такой же мере от внутренних, как и от внешних условий. Внутренние же условия в конечном счете сводятся к степени развития капиталистических отношений в данной стране.

Отсюда совершенно понятно, почему программа Коминтерна, говоря о типах пролетарской революции, путях к пролетарской диктатуре в отдельных современных странах и выделяя те страны, в которых еще более или менее сильны остатки феодальных отношений, которым еще нужно покончить с ними завершением буржуазно-демократических революций, различает две группы таких стран: одну—со «средним уровнем развития капитализма» и «со значительными», но уже не преобладающими остатками «полу-феодальных отношений» и другую—типа современных колониальных, полуколониальных стран Азии и зависимых стран Южной Америки, «с известными зачатками, а иногда и со значительным развитием индустрии», но с «преобладанием феодально-средневековых отношений».

В этих двух группах стран программа Коминтерна рисует возможность различного темпа перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую: «Более или менее быстрое перерастание»—для первой группы и «ряд подготовительных ступеней», «целый период перерастания»—для второй. Мало того, для части стран

первой группы программа Коминтерна допускает возможность непосредственно пролетарских революций, «но с большим об'емом задач буржуазно-демократических», т. е., иначе говоря, пролетарских, революций, наподобие русской 1917 г. Очевидно, эта возможность требует для своего осуществления значительного преобладания капиталистических отношений над полуфеодальными и преобладания «пролетарской линии революции над крестьянской в данной стране».

Программа Коминтерна, опираясь на новый исторический опыт после нашего Октября, в частности на опыт китайской революции, идет в наметке путей развития революции в странах с пережитками феодализма по стопам Ленина, по-ленински уже конкретизируя одну из основных частей его теории пролетарской революции.

Г. Бешкин считает неправильным взгляд, что ленинский план перерастания 1905 и 1917 гг.—различные вещи. Между ними в действительности теснейшая диалектическая преемственность. Задача и заключается в том, чтобы показать, как исторически развивались взгляды Ленина на проблему перерастания. Ленин, вопреки мнению т. Попова, и в 1905 г. не представлял себе русский пролетариат одиноким внутри страны и, следовательно, имеющим единственного союзника в революционном пролетариате передовых капиталистических стран. Нужно помнить, что Ленин рассматривает не только полупролетариат, но и крестьянскую бедноту, как союзника пролетариата в его борьбе с буржуазией.

Проблема перерастания теснейшим образом связана с общей ленинской теорией революции. Ленин ведь совершенно перевернул схему II Интернационала, так наз. теорию «вызревания». Именно из особенностей ленинского понимания революции вытекает и своеобразное понимание им взглядов Маркса на теорию перманентной революции.

Н. Майорский. В докладе недостаточно освещен опыт России и значение существования СССР для перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую в нашу эпоху. Важность наличия внутренних условий в докладе подчеркнута совершенно правильно, но каковы именно эти внутренние условия—неизвестно. Поэтому т. Попова можно было бы понять и так, что у нас существовали только политические условия перерастания, а не экономические.

Поэтому, необходимо оттенить, что Россия 1917 г. была страной империалистической, вошедшей в общий кризис, который мог и должен был быть использован пролетариатом. Второй спорный пункт—это вопрос о трех этапах союза с крестьянством. Эта схема, говорит т. Майорский, общеизвестна, как и то, что действительность сложней данной схемы. Ибо она ломается не только по отношению к Октябрю, но и по отношению к периоду буржуазной революции и к периоду буржуазной диктатуры.

Тов. Майорский специально оговаривается, что словом «ломается» он отнюдь не отрицает этой ленинской схемы, но хочет подчеркнуть необходимость диалектического ее понимания и применения, учитывая «все своеобразие каждого этапа».

И. Минц останавливается на вопросе о классовых сдвигах в эпоху перерастания и на нейтрализации крестьянства—проблемах, не затронутых в докладе.

По первому вопросу докладчик говорит, что у Маркса нет развернутой схемы перерастания. Есть только постановка вопроса. Это неверно, потому что докладчик ограничился только 50-ми годами, тогда как еще Ленин указывал, что вопрос о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства поставлен и в основном разрешен Марксом в эпоху Парижской коммуны. Но мало того, в середине XIX века была не только теория перерастания, но и существовала возможность конкретного перерастания, на чем и следовало бы остановиться.

Главная мысль, по словам докладчика, из которой исходил Ленин при построении теории перерастания,—это вопрос о наличии двух социальных войн. Это, конечно, верно, но, ведь, и меньшевики не отрицают этого. Новое у Ленина, что и нужно было бы выявить, это упорное подчеркивание, что первая война имеет два возможных исхода и что задача пролетарской партии—толкать революцию по пути крестьянской буржуазно-демократической революции. Не утверждая прямо, что у Ленина в 1905 и 1917 гг. было два плана перерастания, докладчик все же говорит о двух постановках вопроса. Тогда как на самом деле было не две постановки вопроса, а два тактических разрешения одной и той же проблемы в разных условиях. И если говорить об исторических условиях, то следовало бы остановиться не только на общих поло-

жениях: капиталистические противоречия углубились и т. д., но и на конкретной обстановке, в частности, на последствиях столыпинской реформы и империалистической войны. Все это ускорило темп перерастания и, естественно, вызвало иное тактическое разрешение проблемы, чем в 1905 г.

Касаясь вопросов нейтрализации, т. Минц указывает, что ее иногда понимают буквально, так, что крестьянство в этом случае должно занять созерцательную позицию,—это очень крупная ошибка. Нейтрализации классов в гражданской войне нет.

Ленин чаще всего говорит: «парализовать неустойчивость»,—в буржуазно-демократической революции—неустойчивость буржуазии, и не только буржуазии, но и кулака и части интеллигенции,—в эпоху пролетарской революции—неустойчивость крестьянства. Но парализовать в обоих случаях нужно по-разному.

В первом случае нужно заставить буржуазию оттолкнуться от революции, чтобы не путалась в ногах. В Октябре надо было парализовать неустойчивость крестьянства, чтобы не мешало нам победить. Но нужно было, в пределах возможного, сделать все, чтоб известные слои крестьянства привлечь как союзника.

В. Юдовский в выступлении Минца усматривает некоторое противоречие. Он согласен, что в ленинской постановке вопроса о перерастании 1905 и 1917 гг. только тактическое различие. Но тогда, говорит он, непонятны упреки докладчику за забвение им столыпинской реформы и войны, изменивших, по словам Минца, постановку вопроса о перерастании в 1917 г. по сравнению с 1905 г.

Буржуазно-демократическая революция 1905 г., говорит Юдовский, поскольку она происходила в условиях гегемонии пролетариата, имела возможность перерасти—и в действительности переросла—в пролетарскую революцию. Обе революции, как 1905, так и 1917 г., должны рассматриваться как революции буржуазно-демократические, способные к перерастанию. Вопрос в темпе.

Проблема перерастания, по мысли Юдовского, не столько социологическая, сколько тактическая проблема: как должен действовать пролетариат, чтобы первая революция перерастала во вторую, и решается этот вопрос степенью зрелости и организованности пролетариата. Главнейшей предпосылкой такого перерастания является экономика, но не столько данной страны, сколько всего мира. Если весь мир созрел для пролетарской революции, то перерастание в любой стране буржуазно-демократической революции в пролетарскую революцию вполне возможно.

С этой точки зрения, чем менее диференцировано крестьянство накануне пролетарской революции, тем быстрее и безболезненнее—вследствие слабости кулацкой контрреволюции—происходит процесс перерастания. Если бы столыпинская реформа восторжествовала, буржуазно-демократическая революция со всеми ее последствиями (уничтожение полиции, вооружение рабочих и т. д.) была бы снята, а это означало бы в 1917 г. и снятие вопроса о перерастании.

М. Миронов указывает, что Попов в своей статье в «Большевике» и в докладе заявляет, будто у Маркса-Энгельса нет постановки вопроса о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Но это неверно. Требование коммунистической партии в 1847 г., подписанное Марксом и Энгельсом, не оставляет сомнений, что правильная постановка вопроса была у Маркса и Энгельса, хотя и не в такой отчетливой форме, как у Ленина.

М. Мишин, начав с резкой критики взглядов т. Юдовского на расслоение крестьянства, как препятствие перерастанию буржуазно-демократической революции, отвергает затем тезис докладчика, будто социалистической революции предшествует расправа до конца с остатками крепостничества и буржуазно-демократической революции. Это—фальшивый тезис, целиком опрокинутый опытом 1917 г., в котором аграрная революция не предшествовала социалистической, а происходила вместа с ней.

Далее т. Мишин останавливается на вопросе о том, два ли плана перерастания были у Ленина в 1905 и 1917 гг. Он разрешает его в том смысле, что у Ленина был один план перерастания, но в пятом году он еще не был конкретным, каким стал четкий стратегический план Ленина в 1917 г. Товарищи Астров, Слепков и, отчасти, Попов слишком догматически используют Ленина утверждая, что конкретное перерастание в России могло бы иметь место лишь при условии социалистической революции на Западе. На самом деле завершение буржуазно-демократической революции в России дало бы необходимый минимум предпосылок для перерастания ее в социалистическую.

В. Рахметов ставит вопрос, мешают ли буржуазно-демократическая и

социалистическая революции одна другой или помогают? У некоторых, в частности у Зиновьева, они противопоставляются, тогда как с ленинской точки зрения дело обстоит иначе: пролетариат в социалистической революции мимоходом разрешает задачи и буржуазно-демократической революции.

Процесс перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую не закончен целиком в 1918 г., а протекает еще и теперь. Пролетариат представляет у нас элемент социалистической революции, а мелкие производители до сих пор являются элементом революции буржуазной. С ленинской точки зрения, между демократической и социалистической революцией нет никакой китайской стены.

Для ленинских лозунгов на трех этапах союза с крестьянством характерно одновременное существование целого ряда лозунгов. Если мы с этой точки зрения подойдем к вопросу, то китайская стена, искусственно воздвигаемая меж отдельными лозунгами, рушится, а ленинская схема остается.

М. Рубач указывает, что проблему перерастания следовало бы связать с процессом развития мирового хозяйства. Это не следует понимать в том смысле, что, например, СССР не сможет устоять без немедленной социалистической революции на Западе. Такая постановка вопроса—троцкизм. Но что перерастание у нас в России стало конкретно осуществляться в 1917 г.—это, несомненно, связано с процессом развития мировой революции в 1917—1919 гг. и с империалистической войной.

Вопрос о перерастании нужно методологически разделить на две части, рассматривать отдельно его экономическое содержание и политическое или тактическое. Это необходимо, потому что хронологический отрезок времени и темп перерастания в экономической и политической сфере не всегда совпадают, один от другого часто отстает.

В. Волосевич высказывает сомнение относительно правильности трактовки докладчиком ленинского решения вопроса об абсолютной и относительной гарантиях революции от контрреволюции.

Докладчик хочет свести различие между абсолютной и относительной гарантией удержания завоеваний буржуазно-демократической революции к различию между внешней и внутренней гарантией от реставрации. Как это ни заманчиво, но все же неправильно. Ленин говорил, что нет такой абсолютной гарантии кроме западно-европейской социалистической революции. Это показывает, что перерастание революции в 1905 г. можно было мыслить конкретно только в связи с западноевропейской революцией. Относительная же гарантия—в наибольшем продвижении вперед по пути революции. Но в этом случае, если революция задержится на буржуазно-демократическом этапе, раскол между пролетариатом и крестьянством неизбежен, и удержание плодов буржуазно-демократической революции невозможно.

Далее т. Волосевич солидаризируется с позицией т. Юдовского по вопросу о роли диференциации крестьянства.

В. Дитякин останавливается на генезисе самой теории перерастания.

Нужно принять во внимание не только марксо-энгельсовские статьи времени Парижской коммуны, но всю их переписку, статьи позднейшего времени, переписку Энгельса с Бебелем и Бернштейном, опубликованную в «Архиве Маркса и Энгельса», тогда будет разбита легенда о том, что Маркс и Энгельс якобы долгое время стояли на точке зрения перманетной революции.

Поскольку суть буржуазно-демократической революции—в аграрной революции, надо было развеять и другую историческую легенду, будто Ленин долгое время в этом вопросе стоял на точке зрения Каутского. Это не так. Уже в «Друзьях народа» дана вся концепция перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую; в дальнейшем мы имеем только смену отдельных тактических планов.

Далее т. Дитякин отмечает, что вопрос о перерастании необходимо рассматривать диалектически, а не с точки зрения избитой формулы—«обострения классовых противоречий, достигшего до такой-то и такой-то степени» и пр. Этот механический подход к проблемам революции свойственен некоторым левым реформистам. Поэтому Дитякин считает необходимым конкретизировать и уточнить некоторые тезисы докладчика во избежание такого механического понимания.

Доклад Г. И. Крамольникова. «Конференция большевиков в Таммерфорсе 11—17 декабря ст. ст. 1905 г.»

Докладчик прежде всего устанавливает, что в Таммерфорсе предполагался с'езд, и делегаты с мест выбирались именно на с'езд, превращенный в конференцию из-за отсутствия ряда делегатов.

На конференции было представлено 26 организаций 41 делегатом, из которых 14 рабочих. Фамилии 36 делегатов установлены. Присутствовал и официальный представитель меньшевиков Э. Л. Смирнов. Президиум был выбран в составе трех человек: председатель (Ленин) и два товарища председателя (Горев и Бородин).

Стенограмм не велось. Протокольные записи очередных секретарей не найдены. Обстановка работы конференции—боевая. Таммерфорс был в руках социал-демократов. Совпавшая по времени с московским восстанием конференция должна была спешить с окончанием работ и принятием резолюций.

Докладчик подробно знакомит конференцию с источниками, легшими в основу реферата. На ряду с рядом мемуаров, он зачитывает донесение в департамент полиции о Таммерфорской конференции бывшего на конференции провокатора.

Точно установить порядок дня конференции не удалось.

Доклады с мест (Баранский и др.) свидетельствовали о боевом революционном настроении провинции, что определяло, отчасти, и настроение самой конференции. Деятельность ЦК была кратко освещена в информационном докладе П. П. Румянцева. О «текущем моменте» говорил Ленин. Резолюций не было принято.

По докладу Ленина, посвященному аграрному вопросу, конференция приняла его же резолюцию, предлагавшую следующему партс'езду включить в программу пункт о поддержке крестьянского движения, вплоть до конфискации помещичьих и прочих земель, с одновременным из'ятием из программы пункта об отрезках. Последняя из принятых резолюций—«О Государственной думе».

Вступительное слово по данному вопросу произнес на Таммерфорской конференции Б. И. Горев, высказавшийся против бойкотистской тактики. Аналогичную точку зрения отстаивал и меньшевистский представитель Смирнов. За бойкот выступили Сталин, Ярославский и др., единодушно поддержанные всей конференцией.

Резолюция по данному вопросу вырабатывалась комиссией, в составе: Ленина, Красина, Мельситова, Сталина и Ярославского. Наряду с установлением активного бойкота заключительные строки ее говорят о «немедленной повсеместной подготовке и организации восстания...»

Специальной резолюции о вооруженном восстании не было принято.

Из работ конференции докладчик отмечает еще совещание группы делегатов с конспиративным сообщением Л. Б. Красина о военно-боевой работе партии. Конспиративность здесь вызывалась присутствием на конференции нескольких мало известных партии делегатов.

В дальнейшем докладчик останавливается на выяснении позиции Ленина в вопросе об отношении к Государственной думе. Не лишено вероятности, что для Ленина и тогда, в декабре 1905 г., вопрос о целесообразности бойкота Государственной думы был под сомнением. Изложение и оценка относящихся сюда фактов весьма противоречива. В некоторых источниках, относящихся к этому времени (письмо Мартова к Аксельроду от 17/II), дело рисуется так, будто бы Ленин накануне конференции хотел принять участие в выборах в думу. Аналогичная версия дана и в статье «Из партийного прошлого» Б. И. Горева и у некоторых других мемуаристов. Что на самой конференции Ленин уже не колебался, что он твердо шел на бойкот, об этом уже не может быть спора. Но для предшествующего времени такой категорический вывод не может быть сделан, принимая во внимание замечание в «Детской болезни левизны».

Во всяком случае, по мнению т. Кромольникова, утверждения Б. И. Горева, что Ленин хотел использовать выборы в Государственную думу для создания «самочинных» советов, совершенно неправдоподобны.

Далее докладчик обрисовывает ход переговоров об об'единении и борьбу Ленина с примиренчеством в этом вопросе у некоторых членов ЦК на перевале от III с'езда к Таммерфорской конференции.

Третьим с'ездом, кроме опубликованной резолюции «об отколовшейся части партии», было принято секретное постановление, в котором ЦК поручалось принять все меры к подготовке и проработке условий слияния с отколовшейся частью РСДРП, с предоставлением проекта на утверждение следующего с'езда.

Ленинская линия в этом вопросе была определенна: не сливая партийных организаций, немедленно готовить об'единение путем договора с'ездов обеих частей партии, которые должны собраться в одном месте и в одно время. Всемерно продолжать укрепление большевистского ядра.

Однако, члены ЦК Богданов и Красин, выбранные для ведения переговоров, под давлением уполномоченных меньшевистского ОК, скатились к беспринцип-

ной постановке вопроса «мир во что бы то ни стало». И только борьба Ленина с этой примиренческой тенденцией дала победу его линии. Меньшевики сдались. Они согласились не только на созыв двух с'ездов, но и приняли на своей 2-й Всероссийской конференции (Петербург, ноябрь 1905 г. изменение 1-го пункта устава, сформулировав его теперь в ленинском духе, признав и принцип демократического централизма.

В заключение докладчик переходит к оценке работ Таммерфорской конференции:

1. Весь смысл «об'единительных шагов» конференции—в борьбе за массы. Это был первый большой и притом удавшийся опыт «тактики единого фронта снизу». Было положено начало борьбе за отвоевание у меньшевиков их рабочей периферии. Дальнейшие расколы могли фактически означать лишь отколы вождей, уходивших без своей армии.

2. Собравшись в разгар восстания, конференция в своей тактической резолюции об активном бойкоте и о подготовке восстания дала зарядку большевикам для борьбы, с одной стороны, против всяческих упадочных настроений, а с другой—против узких сектантских тенденций к самозамыканию.

3. Об'ективно, Таммерфорская конференция так же, как и III с'езд—эти две коллективные беседы Ленина со своим штабом,—были двумя этапами по пути превращения большевизма из левого крыла единой РСДРП в самостоятельную большевистскую партию.

Б. Горев отмечает, что вопрос о Думе докладчиком освещен не столько на основании документов, которых мало, сколько при помощи мемуаров. Горев настаивает, что Свердлов на конференции был, а Красин доклада о боевой работе партии не делал. Тов. Горев, бывший агентом ЦК, членом президиума конференции, считает мало вероятным, чтобы такое заседание, если бы оно действительно происходило, осталось ему неизвестным.

Горев настаивает на точности своего сообщения по вопросу о думе. У делегатов Таммерфорской конференции создалось тогда впечатление, что Ленин выпустил докладчиком его (т. е. Горева) как пробный шар, для определения настроения конференции, но это абсолютный вздор, ибо мы ни о чем не сговаривались, никто из нас не думал делать какого бы то ни было доклада на конференции о выборах в Государственную думу, это возникло совершенно случайно. Так как т. Горев делал доклад о самом законе, то и высказал свои соображения, о которых накануне говорил с Лениным. Докладчик (т. Крамольников) отрицал, что у Ленина была мысль о «самочинных» советах. Но такая мысль у него была, и именно у него, а не у Горева. Ленин отказался от нее под влиянием изменившейся обстановки, в связи с поражением московского восстания. По вопросу об об'единении т. Горев совершенно согласен с докладчиком. Никакого «об'единительного» настроения у Ленина не было, и как-раз в это время о меньшевиках он отзывался во враждебно-презрительном тоне. Он шел на об'единение в значительной мере под давлением масс. В это время многим казалось, что революция стерла резкие грани между фракциями. Но Ленин в это не верил.

П. Милюков указывает, что хотя вопрос об отношении к Государственной думе не был и не мог в тогдашней революции быть центральным вопросом конференции, однако, он является одним из тех вопросов, на которых определялись две тактики—большевиков и меньшевиков.

Н. Никитин говорит, что у т. Горева в его выступлении промелькнула мысль, что Ленин только из соображений формальной законности шел на об'единение. Это неточно. Перед Лениным стояла задача—создать массовую большевистскую партию, отвоевать под руководство большевизма все, что было здорового также и у меньшевиков. Этим и должен быть об'яснен весь сложный маневр Ленина от III с'езда, через Таммерфорс к об'единенному с'езду.

Доклад т. Крамольникова чрезвычайно ценен тем, что он ставит во всем об'еме вопрос о роли примиренчества среди большевиков в 1905 г. Действительно, тенденция к примиренчеству проходит красной нитью через весь пятый год и находит свое отражение даже в ЦК.

Это были не просто расхождения с Лениным во внутренней тактике. Разногласия уходят глубже, настолько, что, по существу говоря, примиренцы совершенно неизбежно в ряде случаев оказывались в плену у меньшевиков и в отношении тактики и в отношении идеологии. Как на один из примеров, следует указать на поведение примиренцев в июньские дни в Одессе, где они оказались фактически на поводу у меньшевиков, тормозивших развертывание восстания, что фактически и привело к поражению последнего.

В. Невский констатирует ненадежность мемуаров как источника. На настоящей конференции присутствуют два участника Таммерфорской конференции: Б. И. Горев и сам оратор. Показания обоих, однако, расходятся. По мнению Невского, Красин несомненно делал доклад, а Свердлова на конференции не было. Протоколы не сохранились, они велись поочередно делегатами, и на одном из собраний вел такой протокол Невский. (Горев с места: Они могли остаться на хранении у финских социал-демократов. «Возможно, — отвечает Невский.— Придется еще поискать и в провинциальных архивах»).

По вопросу о думе т. Невский признает сообщение т. Горева очень точным. Это был один из драматических моментов, когда Ленин заявил, что он думал так, а потом передумал, и вопрос уже ставится иначе. Что же касается вопроса относительно об'единения, тов. Невский считает передачу Б. И. Горева неточной. Владимир Ильич не только формально смотрел на это дело. Рабочие высказывались за об'единение, поэтому тут ставилась цель—отвоевать эту массу у меньшевиков.

Б. Горев (второе выступление). Некоторые из выступавших говорили о примиренчестве ЦК. Однако, это было не примиренчество, а шатания, отсутствие твердой линии. Несомненно, что Ленин к этому ЦК относился несколько скептически. Были колебания, в которых был также и зародыш будущего впередовства, но это не было систематическим примиренчеством. Нужно понять, что 1905 г. был первым крупным политическим экзаменом для обеих фракций. Только после пятого года меньшевизм окончательно отслоился как твердая политическая позиция. Этому предшествовали колебания, рождавшие идею об'единения.

Нельзя, конечно, говорить, что Ленин опирался на букву закона. Он меньше всего был законником. Когда оратор говорил о законности, он имел в виду настроение партийных низов. Ленин хотел попытаться путем об'единения воздействовать на меньшевистские массы. Ленин в искреннее об'единение с меньшевистской верхушкой не верил. Но он считал все же, что об'единение не только необходимо, но отчасти и полезно. Что касается разговоров по аграрному вопросу в Таммерфорсе, то фраза Красина о взятии земель в кассу ЦК явилась ответом на вопросы делегатов (в кулуарных разговорах): «что делать с конфискованными землями». Произнесенная в шуточном тоне она была предчувствием пролетарской диктатуры.

Наконец, в вопросе о том, делал или не делал Красин доклад о военно-боевой работе, т. Горев согласен пойти «на большую уступку», признав, что нечто подобное могло иметь место. И даже кое-что он припоминает. Было бы, разумеется, полезно собрать участников конференции для выяснения некоторых спорных вопросов.

Г. И. Крамольников, отвечая в заключительном слове на поставленные в прениях вопросы, вновь выражает уверенность в том, что Ленин накануне конференции стоял на точке зрения принятия участия в выборах, но отнюдь не намеревался при этом использовать их для советов.

В вопросе об об'единении линия Ильича была определенна и тверда: сначала размежеваться, устранить путаницу и уже потом договориться об об'единении на определенных принципах.

Доклад А. П. Шохина «О закономерностях в развитии юношеского пролетарского движения»

Докладчик указывает, что пролетарское юношеское движение эпохи капитализма — продукт борьбы классов буржуазного общества. Входя в общую систему организаций пролетариата, оно все же занимает в ней особое место, вследствие особенностей самой рабочей молодежи как части класса. Поэтому история выдвинула, наряду с общеклассовыми, и особые организации пролетарского молодняка. Причинами этого явления т. Шохин считает: особенности в положении юношеского труда, как труда, приобретающего квалификацию в производстве; борьбу буржуазной идеологии за рабочую молодежь; нарастание сознания себя как части рабочего класса, под влиянием организационных действий взрослых рабочих.

Непосредственным же поводом являются крупные социальные потрясения, моменты наиболее ярких проявлений классового угнетения и заброшенность со стороны общеклассовых организаций. Докладчик иллюстрирует этот тезис на примере Австрии, Германии, Бельгии.

Различие между организациями пролетарского юношества и партией в том, что первые воспитывают борцов пролетариата, а вторая об'единяет уже готовых борцов.

Для изучаемого движения на Западе чрезвычайно показателен факт наличия социального конфликта между «отцами» и «детьми».

Этот социальный конфликт мешал массовости пролетарского юндвижения, отдавая часть рабочей молодежи под влияние буржуазии. В этом одна из главных причин того, что современное пролетарское юношеское движение охватывает от общей численности рабочей молодежи: в Германии—0,57%, во Франции—0,98%, в Италии—1,7%, в Англии—0,03%, в Америке—0,07% и т. д. Социал-демократия тоже одна из сил, препятствующих росту классовых юношеских организаций.

Отличительной чертой движения в России является отсутствие социального конфликта между «отцами» и «детьми» в общерабочем движении. Это об'ясняется специфическими условиями, в которых развивалась русская революция, втягивая весь революционный молодняк прямо в пролетарскую партию. Если бы до революции, говорит докладчик, меньшевизм был бы и у нас господствующим в рабочем классе течением, рабочая молодежь России тоже пошла бы по пути создания особых организаций. Эти же специфические русские условия изолировали молодежь от мелкобуржуазных и буржуазных влияний.

Пролетарское юндвижение подчинено общим закономерностям в развитии классовой борьбы.

Массовым пролетарское юндвижение становится лишь при диктатуре пролетариата, устраняющей все препятствия к организации. Это закон, вытекающий из опыта советских России и Венгрии. В этом случае движение становится одним из могучих средств переделки подрастающего поколения, необходимым условием социалистического строительства. Это имеет особое значение в странах с преобладающим крестьянским населением, где необходимо перевоспитание огромных масс крестьянской молодежи, ибо при пролетарской диктатуре нет необходимости в существовании особых организаций крестьянского молодняка.

Жужагов считает, что следовало бы детально исследовать течения, существующие в юндвижении, и влияние на него враждебных пролетариату идеологий.

Термин массовое движение нельзя понимать в том смысле, что движение организационно охватывает широчайшие массы. При наличии даже небольшой пролетарской ячейки движение может стать массовым, если ей удастся установить свое влияние на широкие массы.

Если же отрицать возможность массового юндвижения в капиталистических странах, то это приводит к противоречию с одной из основных линий Коминтерна, выдвинувшего задачу завоевания большинства рабочей молодежи компартиями.

К. Сидоров говорит, что закономерность пролетарского юношеского движения в докладе как-раз и не показана. Да и обнаружена она может быть лишь в том случае, если ее искать в связи с закономерностью массового рабочего движения вообще. Докладчик же оперировал различными цифрами и примерами, но ясной картины фаз юндвижения и его особенностей, хотя и пытался показать,—не показал.

П. Анатольев считает, что доклад не дал никаких определенных положений, устанавливающих закономерность в развитии юношеского движения Запада. Указание, что коммунистическая молодежь отстает на Западе в самоорганизации от компартии,—отнюдь не закономерное явление.

Упоров отмечает, что при подходе к данной проблеме нужно с большим вниманием охватить все особенности молодежи как молодой части пролетариата: с одной стороны, более восприимчивой к теории революционной борьбы, а с другой—менее устойчивой, чем взрослые пролетарии.

Шнапир указывает на необходимость восстановления фактической истории юндвижения в России как в дореволюционный, так и в послеоктябрьский период. Такой истории у нас до сих пор нет.

А. П. Шохин в заключительном слове говорит, что вопросы о причинах возникновения юношеского движения, о его развитии и кризисах, которые оно переживало на Западе и у нас, о формах, в которых оно развивалось, и есть вопросы о закономерностях. На возражение, что в докладе не было перспектив юндвижения в капиталистических странах, т. Шохин ответил тем, что он не отрицает великого будущего, открывающегося перед пролетарским юндвижением Запада, но лишь подчеркивает трудность и мучительность пути, который оно проходит, прежде чем завершится крупными успехами.

Доклад В. Н. Рахметова «Происхождение меньшевистской концепции русского исторического процесса»

Меньшевистская концепция русского исторического процесса, говорит т. Рахметов, есть имитация либерализма под марксизм, затушевывающая классовые моменты. В основе меньшевистской кон-

цепции всегда лежит та или иная буржуазная или мелкобуржуазная схема, прикрытая марксистской терминологией и играющая обычно подчиненную политике роль. Наиболее систематично эта концепция изложена у Плеханова, Троцкого и Мартынова. Суть ее докладчик сводит к следующим четырем положениям: а) вся история России (по крайней мере до XX века) определялась потребностями русского государства и главным образом его внешней политикой; б) русское самодержавие (по крайней мере до 1861 г.) носит «национальный» надклассовый или внеклассовый характер; в) история России есть борьба Азии и Европы; Московская Русь XVI в.—типичная азиатская деспотия. В XVII—XVIII веках идет процесс европеизации России; г) борьба русского пролетариата за демократию и социализм—последнее звено в этом процессе. Крестьянство же по этой концепции представляет элемент «азиатчины» и «китайщины» в русской истории.

Обычно полагают, говорит докладчик, что меньшевистская концепция русского исторического процесса сложилась у Плеханова только накануне войны,—и в этом его «грехопадение». Это толкование, выдвинутое Троцким в целях спасения самой концепции под флагом отрицания ее аргументации в последней фазе, встречается и у некоторых большевиков.

Докладчик утверждает, что в несколько модифицированном виде эта концепция «старше» плехановского марксизма. Группа «Освобождение труда» преодолела народничество в целом, не преодолев целиком его методологии во взглядах на русский исторический процесс. Эту точку зрения докладчик подробно развивает, привлекая цитатный материал из названных авторов, Аксельрода и Плеханова. Политические выводы из этой меньшевистской схемы, говорит т. Рахметов, ясны:

1) самодержавие внеклассово и не имеет под собой никакой социальной базы. Отсюда революционная роль буржуазии и даже земства;

2) пролетариат в союзе с буржуазией борется за европеизацию России. Отсюда необходимость «культурных методов» широкой демократии и лозунг «долой азиатизм большевиков»;

3) крестьянство—опора «китайщины и азиатчины» и враг революции, которая должна европеизировать Россию. Понятно, что эта концепция Плеханова—Аксельрода стала официальной теорией меньшевизма.

Докладчик отмечает, что как-раз к концу XIX столетия Плеханов и Аксельрод, вырабатывая основные элементы своей будущей меньшевистской тактики, становятся наиболее восприимчивыми к буржуазным историческим схемам, передвигаясь окончательно от Щапова к Милюкову.

Очевидна служебная роль плехановских утверждений об отсутствии русского феодализма и о том, что национализации земли в Московской Руси—доказательство ее азиатчины. В этом оправдание тактики Плеханова в революции.

В законченном виде меньшевистскую концепцию, подделанную под марксизм, мы имеем в «Истории русской общественной мысли».

После 1905 г. под влиянием столыпинщины у меньшевиков появились уже две теории: Ларина и Мартова—Дана. Сходясь в оценке дореволюционного самодержавия как внеклассовой силы, они расходились в оценке изменений, внесенных революцией. Ларин рассматривал теперь самодержавие как буржуазное и потому почву для революции считал ликвидированной.

Мартов и Дан видели в пореволюционном самодержавии дворянско-крепостническую организацию и отсюда заключили, что гегемоном в грядущей революции будет буржуазия.

Конечный вывод докладчика таков:

«Меньшевистская схема русской истории, схема Плеханова—Аксельрода, является модификацией буржуазных и мелкобуржуазных схем. Ее происхождение и развитие показывают, что она представляет не попытку вывести из изученных исторических фактов определенные законы, а догматическую попытку приложить готовую историческую схему к историческим фактам. Этим определяется и ее научная ценность.

Н. Шаповалов указывает, что убедительность и логическая последовательность ценных выводов докладчика местами страдает от упрощенной аргументации фактами, чего следует избегать. В качестве примера такой «упрощенной аргументации» т. Шаповалов приводит то место доклада, где на основе вольного истолкования фразы Плеханова (в середине 90-х годов) последний противопоставляется Ленину как почти безоговорочный сторонник поддержки либералов. Тов. Шаповалов цитирует статью А. И. Елизаровой—«Как не следует писать истории» («Известия» от 29 III 1925 г.), из которой следует, что в те годы Ильич, учитывая об'ективную

обстановку, как-раз соглашался с Плехановым в вопросе об отношении к либералам.

Доклад А. И. Ломакина «Ч е р н ы ш е в с к и й и Л е н и н»

В первой части своего доклада т. Ломакин подводит итоги дискуссии о Чернышевском, развернувшейся в связи с чествованием его памяти.

Докладчик устанавливает, что в этой дискуссии боролось три точки зрения: одни готовы были считать Чернышевского основоположником марксизма в России, другие видели в Чернышевском чрезвычайно сложную и пеструю фигуру, сочетающую в своих воззрениях и марксистские и народнические тенденции, и, наконец, третьи рассматривали Чернышевского как типичного социалиста-утописта, и брали его под сомнение как выдержаного и последовательного революционера.

Докладчик подвергает все эти точки зрения критической проверке в свете соответствующих ленинских указаний. Ленин требовал «связной и всесторонней оценки Чернышевского, его сильных и слабых сторон» и выяснения социально-экономических корней и общественно-политического значения идей Чернышевского. Ленин отмечал, что Чернышевский был «величайшим представителем утопического социализма в России», но вместе с тем и «последовательным и боевым демократом», от сочинений которого «веет духом классовой борьбы». Ленин указывал, что Чернышевский «развил вслед за Герценом народнические взгляды», являясь вместе с ним основоположником старого «русского» крестьянского социализма (народничества).

Вторая часть доклада была посвящена выяснению различного отношения Плеханова и Ленина к «наследству» Чернышевского. Докладчик указывает, что Ленин, тщательно изучавший Чернышевского и работы Плеханова о нем, считал основным недостатком последней плехановской работы сосредоточение внимания преимущественно на теоретической деятельности Чернышевского и игнорирование его практической деятельности как революц. демократа. Отмечая, что Плеханов принимал «наследство» от Чернышевского постольку, поскольку он был русским Фейербахом, докладчик устанавливает, что Ленину в Чернышевском были дороги прежде всего идеи последовательного и боевого демократизма. Именно эти идеи «всероссийского демократа-революционера» и являются, по мнению докладчика, тем «наследством», которое было воспринято от Чернышевского Лениным, а вместе с ним и нашей партией, и тем основным звеном, которое связывает Чернышевского и Ленина,—эти две высочайших вехи в истории социализма в России.

Докладчик указывает на громадное влияние Чернышевского на формирование революционно - демократических идей в мировоззрении Ленина и призывает к систематической работе по разработке научной биографии Владимира Ильича, которая должна преследовать цель дать не только обстоятельнейшую фактическую историю его жизни и деятельности, но и научную историю ленинских идей. Особо важна разработка влияния на Ленина его выдающихся идейных предшественников, одним из которых, несомненно, являлся Чернышевский.

Г. Б е ш к и н указывает, что наша задача заключается не только в том, чтобы проследить влияние Чернышевского на Ленина в смысле идейной преемственности, но и в том, чтобы изучать самого Чернышевского, выявив то своеобразное место, которое он занимает в истории социализма. Оппоненту кажется, что следует показать сближение в лице Чернышевского утопического социализма с научным.

Доклад В. И. Невского «С е в е р н о-р у с с к и й р а б о ч и й с о ю з»

(Заключительное пленарное заседание конференции.)

Отметив, что данный доклад является юбилейным, так как в январе 1929 г. истекает 50 лет со времени составления программы союза, т. Невский устанавливает затем ряд хронологических дат в развитии союза. Первые кружки рабочих металлистов были организованы в 1872 г. чайковцами. 31 декабря 1873 г. появляется первый рабочий центр с библиотекой и «кассой сопротивления», так наз. «елка». Три филиала кассы—дело «рабочей оппозиции» среди кружков чайковцев. В 1875 г. и в начале 1876 г. рабочими первого центрального кружка была снова восстановлена организация, оформлена же она была в конце 1878 г. под именем «Северо-русского рабочего союза». Погиб союз в марте 1880 г.

Докладчик указывает, что забастовочное рабочее движение 70-х годов значительно шире, глубже и разнообразнее, чем мы представляли себе до последнего времени. Это движение захватило не только текстилей в Петербурге и в других центрах. Установлено, что во главе

стачек или металлисты. Даты организации союза 1873—1875, 1878 совпадают с под'емом рабочего движения, а гибель в 1880 г. с наступлением кризиса 80-х годов. Организация союза состояла из ядра рабочих-металлистов (несколько сот), и организатором были рабочие металлисты: В. Обнорский, С. Виноградов, Митрофанов и др. В. Обнорский участвовал в организации второго рабочего центра 1875 г. и вместе с С. Халтуриным—в восстановлении центра 1878 года.

Если обратиться к программе союза, то следует считать доказанным влияние Лаврова на центральную группу металлистов. Переговоры чайковцев с Лавровым укрепляют это влияние. В Обнорский—один из проводников идей Лаврова. Подробный анализ программы союза показывает, что на ее составителей влияли: 1) идеи международного товарищества рабочих, 2) Готская программа 1875 г. и проект этой программы, 3) программа швейцарской рабочей организации и 4) идеи Лассаля. Таким образом, перед нами своеобразное самостоятельное приспособление русскими рабочими программы западноевропейских партий. Слабое развитие рабочего движения 70-х годов не позволило авторам программ возвыситься до формулировки основной мысли Маркса—идеи диктатуры пролетариата. Но в целом перед нами первая попытка передовых рабочих 70-х годов формулировать задачи рабочего класса в России как самостоятельной движущей силы революции в борьбе за социализм.

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Доклад С. С. Кривцова «Методика и методология истории»

Занявшись изучением вопросов, связанных с методикой истории, работники методической секции столкнулись с необычайным разнообразием мнений. Некоторые считают, что вообще никакой методики не нужно. Другие ставят вопросы методические как вопросы самодовлеющие. Мы считаем, что методика нужна. Методика должна способствовать наиболее органическому, наиболее целостному усвоению учащимися материала и отображать специфичность той науки, о которой идет речь. Всякая методика должна исходить из того материала, который дает данная наука. Методика той или другой науки должна быть адэкватна методологии той дисциплины, которую она пытается передать учащимся. Методика истории есть частный, конкретный случай применения общей методологии марксизма, т. е. диалектического материализма в той его части, которая зовется историческим материализмом. На деле мы имеем часто полный отрыв методики от методологии. Методика истории должна быть насквозь материалистична и диалектична. Мы рассматриваем исторический процесс в его целом, в процессе его саморазвития, самодвижения. Если в нашей педагогической практике вместо рассматривания этого исторического процесса в целом мы будем брать отдельные его элементы, рассматривать отдельные изолированные явления, то мы нарушим основные требования диалектического метода. Мы изучаем историю Великой французской революции, чартизм в Англии, наше революционное движение 60-х г. и т. д. Все эти отдельные процессы должно подчинить общему процессу развития человечества, их нужно рассматривать, как определенный, конкретный случай целостного процесса борьбы классов, развивающегося общества и экономических формаций, которые в свою очередь развиваются на основе наличных в даной среде производительных сил. Без этой увязки мы получаем те взгляды, которые зачастую господствуют в методической литературе. Нередко рассматривают методику лишь как ряд правил, зная которые, можно преподавать историю у всех народов, во всех общественно-экономических формациях. Отсюда мы имеем попытки механического перенесения иностранной методики к нам. Это, конечно, недопустимо, так как за каждой методикой скрывается определенное классовое содержание. Этим течениям зачастую помогает то, что до сих пор в соответствующих органах Наркомпроса отсутствует твердая линия в вопросах преподавания истории. Нам нужно это преодолеть, ибо в противном случае мы получим не диалектический, а метафизический подход к изучению явлений. Вопрос стоит политически. Мы изучаем отдельные исторические явления для того, чтобы ознакомить наших учащихся с диалектикой революции. Мы должны помнить, что наше «сегодня» имеет корни в прошлом и почки в будущем, и должны уметь показать их с помощью диалектического метода. Это вопрос—сугубо политический, и беспартийность в методике особенно вредна. Все положения методики должны быть проникнуты основными марксистско-ленинскими предпосылками и ими же дол-

жны быть проникнуты все рецептурные сведения, которые мы предлагаем. Мы должны требовать от директивных органов Наркомпроса обратить больше внимания на правильную постановку преподавания истории.

Б. Жаворонков солидаризируется с основными положениями докладчика, но считает, что методическая секция О-ва историков-марксистов не руководствуется диалектическим методом. Нужно исходить не только от истории, но и от типа школы, и от современности, что особенно важно теперь, когда мы вступили в период индустриализации. Систематические исторические знания находятся в противоречии со школьным возрастом. Жаворонков считает методологически неправильным давать рецептуру, что делает секция в своем сборнике.

Н. Редин считает правильными положения докладчика и полагает, что курс истории развития общественных форм в комвузах не соответствует тем положениям, которые выдвинул докладчик, и тем задачам, которые стоят в преподавании истории в комвузах.

Л. Мамет утверждает, что Жаворонков, солидарный на словах с марксизмом, диалектическим материализмом и т. д., на деле ничего общего не имеет с марксизмом, а, наоборот, дает образец мелкобуржуазного извращения марксизма. Рядом примеров т. Мамет иллюстрирует эту мысль.

В. Сербента отмечает, что вопросы методики преподавания истории становятся в настоящий момент особенно актуальными в связи с развертыванием классовой борьбы в стране. Надо приветствовать методическую секцию, которая эти вопросы ставит. Тов. Сербента иллюстрирует тезисы доклада примерами из Белоруссии, где до последнего времени вопросы методики истории находились в классово-чуждых руках (Жаринов, Довнар-Запольский).

Ю. Гепнер подчеркивает, что для марксиста азбучной истиной является единство метода и теории. Это не понимают Жаворонков и другие, которые скатываются к хвостизму, к ползучему эмпиризму и беспринципной регистрации фактов, насаждая этим в школе невежество и историческую безграмотность. Вся ценность доклада т. Кривцова в том, что он подводит правильный марксистско-ленинский фундамент под то осмысленное понимание действительности, о котором историки-марксисты пекутся не менее Жаворонкова.

С. Столбов согласен с выступлениями Кривцова и Мамета, не только сегодня, но и с их выступлениями в печати. Методика определяется методологией, но ее приходится определять также существующими программами и учебными планами. На этот момент секция должна обратить свое внимание.

Р. Лифшиц считает, что кроме общих принципиальных положений, надо дать и практические указания, как построить методику преподавания истории.

С. С. Кривцов в заключительном слове констатирует, что основные тезисы доклада приняты всеми выступавшими. Даже самые от'явленные противники историзма сегодня не осмелились выступить против истории. В докладе была дана общепринципиальная установка, но не могли быть даны ответы на все практические вопросы, которе выдвигались в прениях.

Доклад Л. П. Мамета. «Основные направления в вопросах преподавания истории»

Основными и определяющими в вопросах преподавания истории в школе для нас являются те мысли, которые были высказаны В. И. Лениным в его речи на совещании политпросветов в ноябре 1920 г. Вопрос о характере преподавания истории является центральным как в вопросах обучения, так и в вопросах воспитания. Методика преподавания истории является одним из ответственных участков идеологического фронта, и то обострение классовой борьбы, которое мы наблюдаем на всех участках этого фронта, сказывается также и здесь. Вопрос о преподавании истории по существу есть вопрос о содержании и характере нашей школы, о характере того воспитания, которое мы даем подрастающему поколению. Анализ многочисленных методических течений показывает, что здесь мы имеем более или менее замаскированное наступление на пролетарскую идеологию. Очень редко буржуазные методисты выступают открыто против нас, как это делает например, Анциферов. Чаще всего наступление на советскую школу, на марксистско-ленинское мировоззрение прикрывается марксистской фразеологией (московская школа—Жаворонков, Дзюбинский, Сингалевич). Потому-то они наиболее опасны. Московская школа противопоставляет историю обществоведению, понимая под обществоведением лишь современность и по существу высказываясь против исторических знаний в школе. Мы считаем, что без исторических знаний невозможно подготовить из подра-

стающего поколения революционеров, борцов за новое общество, строителей этого нового социалистического общества. Нужно, чтобы марксистско-ленинское мировоззрение вошло в плоть и кровь молодого поколения, а это невозможно без изучения и усвоения опыта революционного прошлого. Для этого нужны не отдельные иллюстрации и картинки, а более или менее систематическое изучение истории. Дело не в том, чтобы давать университетский курс, как думают некоторые. Общую методологическую установку нужно уметь соответствующим образом приспособить к задачам, целям и возрастному составу той или иной школы. Этого не понимает московская школа в своих многочисленных высказываниях. Их точка зрения является борьбой против знаний, а без знаний не может быть воспитания. Московская школа однако не понимает не только роли и задачи истории в школе, она наряду с этим дает и неправильное окарикатуренное понимание современности. У них современность сводится к сегодняшнему дню, а задачи ее изучения—к уразумению житейского опыта. Корни такого понимания обществоведения заключается в мелкобуржуазном характере этого течения, что видно из того понимания общих задач советской школы, которое они дают. Другое направление мы имеем в так называемой «ленинградской школе» (Кудрявцев). Это течение по существу стремится возродить старую школьную историю, делает упор на историю культуры, по существу враждебно относится к проблемам современности. Мы одинаково решительно высказываемся как против того, так и против другого направления. Последние программы Гуса показывают, что наша школа преодолевает эти «детские болезни левизны» и «правизны», являющиеся отражением общей борьбы на идеологическом фронте в вопросах школьного строительства. Робость и нерешительность научно-педагогической секции Гуса (ср. для примера программы городских и деревенских семилеток) могут быть ликвидированы лишь упорной работой научно-марксистской общественности.

Б. Жаворонков утверждает, что Мамет, неправильно цитируя, хочет загнать в мелкобуржуазное болото «московскую школу». Но по существу, он загоняет туда и Покровского, и Крупскую и Гус, т. е. всех тех, кто борется за трудовую школу. Жаворонков согласен с Гусом, и через него Мамет хочет бить Гус.

С. Дзюбинский полагает, что по вопросу о задачах советской школы разногласий нет. Они выдумываются Маметом, чтобы было с кем спорить. По методологическим вопросам разногласий тоже нет. «Московская школа» никогда не выступала против истории, она только требует, чтобы к обществоведению относились педагогически. По вопросу о современности, это направление стоит на точке зрения Покровского, с которым у него никогда не было разногласий. Никаких принципиальных разногласий нет, нужно приступить к деловой работе.

С. Сингалевич солидаризируется с основными выводами Мамета и тезисами Кривцова. Считает, что отрицательное отношение к истории было верным на определенном этапе, а теперь устарело. Теперь надо общими усилиями помочь учителю в его работе.

Д. Базанов останавливается на том, как и почему менялись программы за годы революции, и характеризует современного учителя. Нынешнее положение приводит к полнейшему отсутствию исторической перспективы у учащихся. С этим положением надо покончить.

С. Кривцов признает утверждение Дзюбинского, будто принципиальных разногласий нет и имеются лишь технические недочеты в преподавании обществоведения, неверным. У Дзюбинского недочеты методологические. Руками специалистов, не-марксистов мы никогда не наладим обществоведения, им поручать политическое воспитание молодежи нельзя.

А. Иоаннисиани говорит, что Жаворонков и Дзюбинский или притворяются непонимающими, или не понимают сущности разногласий. Первое разногласие—мы за введение исторического образования в школе, а они против. Второе разногласие: их методическая рецептура не соответствует ни требованиям нашей школы, ни возрасту учащихся. Они часто меняют свои взгляды, но это не помешает нам по достоинству их оценить.

С. Семко соглашается с докладчиком, что методику нельзя оторвать от методологии, а методологию от политики. Однако этот отрыв в школе существует и в результате—обществоведение не создает у учащихся нашей идеологии. Принципиальная установка Мамета—правильная, но ряд практических предложений подлежит проверке в процессе дискуссий.

А. Слуцкий характеризует московскую школу как эклектическую.

Касач подчеркивает что педагоги провинциалы не удовлетворены московской школой и считают ее точку зрения неправильной. Они солидаризируются с работой методической секции Общества историков марксистов, но считают, что секция должна приступить к разрешению отдельных практических методических вопросов.

Л. П. Мамет в заключительном слове отмечает, что все основные вопросы, выдвинутые в докладе, получили достаточно четкое разрешение в прениях. Верно ли, что через Жаворонкова секция била Покровского, Крупскую, Гус и т. д.? Это плод досужей фантазии. Секция била Жаворонкова как идеологического врага и дружески, в порядке самокритики, критиковала Гус, стараясь помочь ему стать на тот путь, который, по нашему мнению, является правильным. Никаких разногласий с Покровским у секции конечно нет. Мих. Ник. возглавляет Общество историков-марксистов, а мы являемся секцией этого общества. И Жаворонков, и Дзюбинский наперебой заявляют, что разногласий между нами нет, но что мы их неправильно цитируем, преследуем и т. д. Вот это-то и характерно для мелкобуржуазных идеологов, какими они являются: разменивать принципиальные вопросы на мелочи. Мы судим не по словам, а по делам, а их дела таковы, что, что бы они ни заявляли, нам с ними пока не по пути. Жаворонков как будто бы ничему не научился. Он ничего не сдает из своих позиций. На распутьи как будто бы находится Дзюбинский, и правильную линию, кажется, хочет найти Сингалевич. посмотрим дальше. Мы будем рады, если через известное время можно будет говорить о «бывшей московской школе».

Доклад А. З. Иоаннисиани. «Организация педагогического процесса преподавания истории».

В школе учащийся приобретает навыки и уменье самостоятельной работы, критической оценки материалов и приобретаемых знаний в целях их практического использования. Правильная организация педагогического процесса создает условия, гарантирующие осуществление основной цели. Исключительно ответственна роль преподавателя как организатора процесса педагогической работы. Производственный план по проработке исторического курса составляется учителем совместно с учащимися. Изучение истории должно быть диференцировано по заданиям. Задание—тот же план, но охватывающий минимальный отрезок времени и содержащий задания, достаточные для самостоятельного разрешения вопросов, в задании поставленных. Необходимо предвидеть опасность превращения изучения истории в схемы и формулы, лишенные конкретного содержания. История не должна превращаться в социологию. Исторический курс должен быть систематическим. Инструментами, при помощи которых организуется педагогический процесс в школе, являются основное учебное пособие, документы, наглядные пособия, и материалы, добытые экскурсией и краеведческим изучением. Учебник является основным и необходимейшим пособием.

Б. Жаворонков считает, что в докладе есть все и нет ничего. Есть несколько правильных положений, остальное —эклектизм. Концы не сведены с концами. Учебник, составленный Иоаннисиани, неудовлетворителен.

В. Пророков не согласен с положением докладчика об учебнике. Учебник может привести к ликвидации самостоятельной исследовательской работы учащихся.

П. Егоров видит в докладе т. Иоаннисиани новый этап в работе методической секции. До сих пор задача секции заключалась в борьбе с мелкобуржуазными течениями. От критики секция переходит к положительной работе. Задача доклада состояла не в детальном обзоре отдельных моментов педагогического процесса, а в общем его освещении. Это освещение дано правильно.

И. Мерзон признает правильным, что докладчик заострил внимание на преподавателе-обществоведе. Нужно работу методической секции приблизить к массам. Хорошо было бы ставить доклады на об'единениях обществоведов.

А. Стражев выразил некоторую неудовлетворенность докладом. В нем дано меньше того, что есть в сборнике «Основные вопросы преподавания истории». Вместо того, чтобы говорить о специфических особенностях и задачах преподавания истории и обществоведения докладчик разменялся на ряд общепедагогических проблем.

З. Добрушин замечает, что критики Ионнисиани проглядели в его тезисах один очень ценный организующий пункт,—это то, что необходимо развить в учащихся уменье критически мыслить.

А. Дувидович и Р. Лифшиц считают недостатком доклада то, что в нем нет практических указаний по отдельным моментам организации педагогического процесса.

С. Столбов находит, что если подходить к докладу Иоаннисиани чисто теоретически, то он состоит из целого ряда общих, более или менее известных положений. Но если подходить с точки зрения практики и тех вопросов, которые стоят перед современной школой, то придется согласиться с тем, что докладчик выдвинул действительно основные вопросы, которые являются больными в нашей школе.

П. Задворный признает, что самостоятельная работа учащимся нужна, но здесь нельзя допускать анархии. Докладчик прав, что эта работа должна проходить под руководством преподавателя. Правильно положение докладчика об учебнике. Без учебника нельзя усвоить материала. Документы играют подсобную роль.

А. З. Иоаннисиани в заключительном слове констатирует, что ни в его тезисах, ни в докладе он ни разу не отрицал элемента выработки навыков самостоятельной работы. Он выдвинул тезис, что организация самостоятельной работы учащихся предполагает в качестве предварительного и необходимого условия то, что мы даем учащимся определенную сумму знаний и фактов. А затем уже вторая стадия—это организация самостоятельной работы. Целый ряд товарищей упрекал докладчика в том, что он ограничился выдвижением ряда проблем, не обосновав их в достаточной степени. Странно было бы требовать от него, чтобы он указал все ходы и выходы для того, чтобы единым взмахом освободить нашу школу от всех недостататков, которые в ней имеются. Его цель заключалась в том, чтобы выдвинуть ряд основных проблем. Эти проблемы следующие: 1) проблема учителя, 2) проблема плановости, 3) проблема организации педагогического процесса, 4) проблема учебника, 5) проблема учета.

Доклад А. Г. Слуцкого «О проблеме ученика».

Проблема учебника является частным вопросом методики истории. Тов. Кривцов уже показал, что марксистской методологии соответствует марксистская методика и, наоборот, эклектическая, идеалистическая и всякая иная не-марксистская система ведет к своей особой методике. Это можно подтвердить на частном вопросе об учебнике. Основное методологическое положение «московской школы» сводится к тому, что основой педагогического процесса является труд физический и умственный и что в получении школьных знаний надо итти исключительно от собственного опыта. Эта система взглядов приводит к полному отрицанию учебника. Но так как школа требует учебника, они выдвинули положение об учебнике переходного периода — рабочей книге, которая дает лишь сырые материалы. Для них это вполне естественно. Если единственным материалом для выработки мировоззрения является личный опыт, то, очевидно, нужно заставить учащихся самих проделать все те логические умственные операции, которые до них проделал ученый. По существу на такой же позиции стоит и так наз. «Ленинградская школа». Причем Кудрявцев даже более решителен в отрицании учебника, чем Жаворонков и другие. Основным для этих учений является то, что главным приемом обучения они считают индукцию. При помощи такой методики мы не сумеем дать учащимся того воспитания, которое мы им должны дать. В школьном преподавании надо поставить дело таким образом, чтобы в самом начале работы дать возможность учащимся овладеть марксистским методом. Педагогический процесс должен отправляться в постановке занятий по истории не просто от исторического сырья, а от определенным образом организованного сырья. Такая организация исторического сырья есть не что иное, как дача учащимся выводов, обобщений и теоретических положений, а для этого нужен учебник. Наш учебник ничего общего не имеет со старым учебником. Он построен на иной методологической основе. Учебник должен дать не только содержание, но и метод преподавания. Конечно, учебник не является единственным, всепоглощающим орудием воспитания. Наряду с учебником нужно дать ряд других вспомогательных пособий, сборники документов, наглядные пособия, атласы и т. д. Очередной задачей является изучение восприятия учебного текста учащимися различных ступеней и различных школ.

Б. Жаворонков утверждает, что доклад Слуцкого, как и предыдущие, не обоснован. Он бьет по сторонникам трудовой школы, значит, также и по Покровскому и по Крупской. У методической секции подход от своих профессиональных интересов, а не от задач классовых и задач социалистического строительства. Учебник существует лишь для того, чтобы его зубрить. Это доказали Бочаров и Иоаннисиани своим учебником. В нем много принципиальных ошибок, и методически он не выдерживает критики. В тезисах Слуцкого—возврат к старой школе.

Н. Лихницкий замечает, что Жаворонков спорит с каждым докладчиком. Ничего не понимая в марксизме, он хочет руководить воспитанием в нашей школе. Надо покончить с жаворонковщиной и перейти к творческой работе. Основная установка Слуцкого, что в центре внимания должен быть учебник, — правильна. Новый учебник должен состоять из трех частей: общего обзора, хрестоматии документов и источников, наглядных пособий. Учебника у нас еще нет. Очередная задача — приступить к построению учебника.

И. Катаев находит, что напрасно так нападают на московскую школу. Позиция, которую занимает докладчик, с которой согласен и оппонент, очень привлекательна, но есть опасность, что она потянет назад. Нельзя отказываться от комплекса и рабочей книги.

Л. Мамет напоминает, что Жаворонков и Дзюбинский, как не-марксисты, были допущены мандатной комиссией на конференцию лишь в качестве гостей; все же, говорит он, им не было отказано в слове, дабы дать им возможность собственными словами, себя разоблачить. Эта цель достигнута. В своих выступлениях они показали, насколько они далеки от марксизма. Жаворонков все время пытается спрятаться за спину Покровского и других. По этому поводу Мих. Ник. поручил оратору заявить официально от его имени, что ни с Жаворонковым ни с его теорией он ничего общего не имеет. Какую школу представляет Жаворонков? Когда мы разрушали старую школу он нам в этом помогал. Но когда мы перешли к строительству новой школы, сказалась его мелкобуржуазная сущность, он стал вредным для школы.

Г. Александров упрекает методическую секцию в том, что она запоздала в своей борьбе против «московской школы». Если бы это было сделано несколько лет тому назад, мы бы не были свидетелями той разрухи, которая существует в обществоведении. Доклад тов. Слуцкого слишком теоретичен. Надо было указать; об учебнике для какой школы идет речь. Что касается принципа, по которому надо строить учебник, оратор согласен с т. Слуцким.

Ю. Бочаров по поводу критики Жаворонковым учебника, составленного при его участии, говорит, что недовольство Жаворонкова является лучшей похвалой для авторов книги. Все авторы солидарны с т. Слуцким и методической секцией. Оратор считает правильным тезис об изучении восприятия учебного текста учащимися и думает, что Госиздат хорошо бы поступил, если бы по примеру отдела крестьянской литературы зачитывал рукописи в соответствующих аудиториях.

К. Котрохов как педагог-практик в целом ряде учебных заведений считает тезисы Слуцкого наиболее ценными и наиболее своевременными.

Е. Осипова считает недостатком всех докладов то, что они касались главным образом лишь школы второй ступени. Слишком много нападают на «московскую школу», а она не так страшна, как ее рисуют докладчики. У нее есть много заслуг перед нашей школой.

П. Егоров считает правильным, что секция заострила внимание на школе второй ступени, так как это самое больное место. Работу секции нужно всемерно поддержать.

И. Татаров считает; что Дзюбинский отражает настроение той части учительства, которая не имеет мировоззрения. Московская школа, не умея сама выработать марксистского мировоззрения, скатывается на позиции вульгарного материализма.

В. Дерман предлагает не забывать опыта американских школ. Там есть учебники, которые проводят патриотическую точку зрения, и результаты получаются весьма положительные для буржуазного общества, ибо его учебники искажают историческую истину. Обучая по нашим учебникам, мы восстанавливаем историческую истину и прививаем марксистское мировоззрение. Давать в руки нашим учителям вместо учебника сырой материал—опасно, так как большинство из них не-марксисты.

А. Г. Слуцкий в заключительном слове отвечает на упрек в том, что его доклад слишком теоретичен. Его задачей была не библиографическая оценка существующих учебников, а принципиальная постановка вопроса. Докладчик не случайно избегал термина «рабочая книга». Нет, единства в понимании этого термина у различных авторов.

Доклад С. С. Кривцова «Постановка методики истории в вузах».

Когда мы ставим вопрос о введении истории в ту или иную школу, нам возражают иногда, что нет учителей-историков. Поэтому вопрос о кадрах преподавателей истории является очень важным. В наших вузах более или менее благополучно обстоит с преподаванием истории. Но с подготовкой преподавателей-историков для школ — дело не нормально. Мы готовим обществоведов

вообще, а когда они попадают на место, то не могут даже составить задания, потому что не имеют соответствующей методической подготовки. Поэтому необходимо курс интегральной методики обществоведения разбить на ряд отдельных специальных методик: методику истории, политэкономии и т. д. При этом преподавать методические курсы должен не методист вообще, а преподаватель-специалист данной дисциплины. Конечно, курс методики должен быть не отвлеченным, а должен учитывать условия работы в школах разных типов. Даже считаясь с тем, что в наших школах зачастую имеется один лишь обществовед, надо признать целесообразным, если он, помимо общей методической грамотности, будет специалистом одной какой-либо части обществоведения. Необходимо поставить вопрос о создании в масштабе РСФСР такого центра, который бы готовил марксистов педагогов-историков. Я думаю, что таким центром мог бы стать 2-й МГУ. Центром же разработки принципиальных основ методики истории должна стать Комакадемия и тот Институт истории, который при ней будет создан.

М. Кутузов констатирует, что большинство школьных работников считает правильной ту установку, которая дается методической секцией. Книга, изданная секцией, читается нарасхват. К сожалению, преподаватели связаны программами и учебными планами, и на эту сторону методическая секция должна бы обратить свое внимание.

С. Семко считает положения докладчика чрезвычайно интересными и ценными и подтверждает их иллюстрациями из украинского опыта.

Д. Базанов подчеркивает, что программы Гуса требуют серьезной переработки. Без этого ценные предложения доклада нельзя будет осуществить.

С. Столбов, отмечая, что настоящий доклад является заключительным звеном той серии докладов, которые были заслушаны секцией, говорит, что только теперь становится ясным насколько логически и систематически они связаны между собой. Все пять докладов производят целый переворот в школе. Все учителя к этому отнесутся сочувственно. Но для того, чтобы этот переворот был проведен в жизнь, необходимо, чтобы нынешние программы были пересмотрены.

В. Сербента поддерживает тезисы т. Кривцова, исходя из белорусского опыта.

С. С. Кривцов в заключительном слове отмечает, что его доклад не встретил возражений; это говорит о своевременности выдвинутых им положений. По его мнению, материалы конференции надо будет вынести на предстоящее партсовещание по вопросам народного образования, там наши предложения, несомненно, получат практическое оформление.

РЕЗОЛЮЦИЯ

На последнем пленарном заседании конференции была принята следующая резолюция по методическим вопросам:

«Первая Всесоюзная конференция историков-марксистов обращает внимание на первостепенное значение вопроса о преподавании истории, так как вопрос о том, кто и как вносит исторические знания в массы и, в особенности, в подрастающее поколение, имеет огромное значение.

В методической литературе мы имеем налицо ряд течений, являющихся мелкобуржуазным извращением марксизма, которые сводят на-нет воспитательное значение исторических знаний, создавая у учащихся извращенное представление о ходе исторического процесса, и в результате воспитывают не марксистов-ленинцев, а людей, которые не будут готовы к роли активных строителей социалистического общества.

Конференция призывает к продолжению настойчивой и упорной борьбы с мелкобуржуазными течениями в вопросах преподавания истории и к четкой идеологической ленинской линии в нашем программном творчестве для школ и учебных заведений разных типов».

VIII. КОМИССИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ ВООРУЖЕННЫХ ВОССТАНИЙ И РЕВОЛЮЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН [1]

Доклад Б. И. Горева. «Война в истории и марксизм».

Тов. Горев в первой части своего доклада, развивая более подробно некоторые мысли своего прежнего доклада на сходную тему (см. «Историк-марксист» № 9), констатирует, что судьбы войны как об'екта теоретического и исторического исследования социалистов, отчасти сходны с судьбами теории революции. Большой интерес к вопросам войны проявляют революционные социалисты II трети XIX века, т. е. эпохи войн и революций (Маркс. Энгельс, Бланки, Чернышевский). Интерес этот падает (в теоретическом смысле) в эпоху II Интернационала и возрождается вновь в эпоху империализма и нового периода войн и революций (Меринг, Ленин, Покровский, Павлович). При этом докладчик в виде иллюстрации подробно останавливается на Плеханове, анализирует все имеющееся у него как политические, так и социолого-исторические высказывания о войне, вплоть до начала мировой войны, и приходит к выводу, что, несмотря на отдельные революционные мысли первого периода его марксистской деятельности, несмотря даже на несомненный интерес к вопросам войны и знакомство с рядом работ военных специалистов (в этом Плеханов выгодно отличался от большинства типичных представителей II Интернационала), он все же не дал ничего кроме отрывочных мыслей, не прибавил ничего к тому основному в этом вопросе, что дал Энгельс в Анти-Дюринге. Таким образом, после Маркса и Энгельса единственными серьезными историками-теоретиками и публицистами революционного марксизма в области истории войн и проблемы войны в истории являются вышеупомянутые четыре писателя: Меринг, Ленин, Покровский, Павлович.

К сожалению, по мнению докладчика, наши советские историки-марксисты и социологи, за единственным почти исключением М. Н. Покровского, в своем отношении к проблемам войны сильно отстают от революционной марксистской политики, в которой эти проблемы занимают одно из центральных мест (резолюции ВКП(б) и Коминтерна). Во всех почти наших исторических работах и исследованиях, во всех наших курсах исторического материализма игнорируются и конкретные войны и социологическая проблема войны. Если что и делается в этом отношении марксистами, то почти исключительно лишь военными, главным образом в стенах военных академий (Военной академии РККА и Толмачевской).

В результате военная история попрежнему разрабатывается или старыми военными специалистами или молодыми военными коммунистами, нередко еще недостаточно твердыми и опытными в марксистской методологии.

Образование при обществе историков-марксистов комиссии по изучению истории революционных войн и вооруженных восстаний, в которой вместе работают «гражданские» историки-марксисты с молодыми военными коммунистами, прошедшими через школы гражданской войны, представляет собою несомненный сдвиг. Нужно этот сдвиг закрепить и расширить.

По мнению докладчика, для того, чтобы ввести проблему войны в порядок дня марксистской теории, т. е. марксистского обществоведения и истории, необходимо прежде всего повести исследовательскую работу в двух направлениях: а) в области социологии войны, включив ее в сферу изучения проблем исторического материализма и тем приступив к выполнению прямых указаний Маркса (в письмах к Энгельсу) [1], и б) в области конкретной истории, для чего придется просмотреть с классовой точки зрения всю имеющуюся военно-историческую литературу и заново обработать наиболее интересные для нас неисследованные и мало исследованные области и эпохи. При этом должна быть особенно внимательно изучена роль политики в войнах последнего времени, ибо не только «война есть продолжение политики другими средствами, но политика продолжается и во время войны» (Ле-

[1]) Тезисы нижеследующих докладов были заранее рассмотрены и утверждены президиумом комиссии. Дискуссия во время рассмотрения тезисов т. Рабиновича обнаружила значительные разногласия в постановке вопроса между т. Рабиновичем и членами президиума. Однако президиум решил доклад т. Рабиновича поставить, считая, что отдельные ошибки т. Рабиновича должны быть подвергнуты критике во время прений.

[1] Некоторый шаг вперед сделан в статье Ротштейна в XII т. БСЭ.

нин) и, как известно, в современных войнах играет все большую роль.

Во всей этой работе центральное внимание должно быть уделено революционно-классовым и национально-освободительным войнам, в которых имело место военное творчество самих народных масс и их вождей, не только потому, что эти войны особенно для нас интересны (в последнее время прошлые пролетарские восстания начинают—в своих целях—изучаться и реакционной военщиной), но и потому, что они наименее изучены профессиональными военными историками, смотревшими на них с пренебрежением. Здесь предстоит огромная работа не только историческая, но и военно-теоретическая, в смысле теоретического обобщения социального и военного опыта этих войн и вооруженных восстаний.

Наконец, кроме исследовательской и популяризаторской работы в указанных выше направлениях, историки - марксисты, по мнению докладчика, должны ввести социологические проблемы войны в историю важнейших войн и в сферу преподавания, создавая этим соответствующую историческую и теоретическую базу для проводимой в вузах военизации, при чем некоторый опыт в этом отношении могут дать наши военные академии (Военная академия РККА и Военно-политическая).

С. Бобинский в кратком информационном сообщении познакомил собрание со структурой комиссии по изучению революционных войн и вооруженных восстаний, с ее планом и предполагаемыми методами работы. Комиссия делится на секции: народов СССР, западную, восточную и общих вопросов. В ближайшие задачи комиссии входит изучение современной нам эпохи, начиная с октябрьской революции и, отчасти, революции 1905 г. Более ранние эпохи—дело будущего и лишь частично включены в план этого года.

С. Ясинский указал на те формы, в которых мыслится связь и взаимоотношения комиссии с работниками провинции. В частности он отметил то значение, которое будет иметь организуемый при комиссии кабинет, который будет консультировать всех корреспондентов по интересующим их вопросам, главным образом конечно по вопросам библиографии и архивным.

Почти все товарищи, выступавшие в прениях, принимали в общем основные положения и предложения докладчиков и лишь дополнили их рядом соображений.

К. Василевский указал, что в историю революционных войн Востока следует включить не только Китай, но и средний и ближний Восток.

С. Рабинович высказал пожелание, чтобы журнал «Историк-марксист» больше посвящал внимания военным вопросам, в частности, статьям и рецензиям военных коммунистов.

М. Охитович обратил внимание на недостаточное проникновение марксизма в работы некоторых военных коммунистов, вышедших из Военной академии, и выдвигал пожелание о большем сближении молодых военных работников с РАНИОНом и ИКП.

А. Васютинский сообщил, что в буржуазных государствах уже наметился симбиоз между гражданскими и военными историками, при чем там внимательно изучают опыт нашей гражданской войны.

И. Фендель указал, что надо расширить за те пределы, которые поставил себе докладчик, изучение отношения социалистов разных стран, эпох и течений к проблеме войны. Кроме того, он предлагал включить в план работ комиссии ряд дополнительных вопросов, как идеологическая подготовка империализмом новых войн, колониальные войны эпохи II Интернационала и т. д., а также научный отпор военным историкам в роде Свечина.

В. Меликов отмечал огромные трудности, которые стоят перед марксистской военной историей, и доказывал необходимость, при всем критическом отношении к ним, использовать работы и старых военных специалистов.

В. Малаховский подчеркивал, что в военно-исторических работах должна быть тесная связь стратегии с политикой, и предлагал создание военных семинариев в наших марксистских научно-исследовательских учреждениях.

С. Бобинский проводил, между прочим, ту мысль, что разное отношение марксистов к проблеме войны аналогично такому же отношению к роли надстроек и их обратному влиянию на базис. Здесь неизбежна была такая же эволюция, какую можно проследить даже в отношении самих Маркса и Энгельса к проблеме надстроек. Он отмечал также ошибки Р. Люксембург по вопросу о войне.

В. Трофимов призвал комиссию помочь в деле организации музея Дома красной армии.

С. Ботнер высказывал скептическое отношение к осуществлению того коллективного метода, о котором много го-

ворят, но мало делают, и призывал к большей конкретизации в этом вопросе.

В. Вегман отмечал громадное значение опыта революционных и гражданских войн для наших западных товарищей и приводил любопытные сведения о том, как японцы в Сибири изучали опыт нашей партизанской войны.

С. Будкевич, соглашаясь с положениями докладчиков, напомнил, что оперативные и стратегические вопросы не должны растворяться в политике, и настаивал в то же время на необходимости известной военизации общественных наук в гражданских вузах.

Б. Горев в своем заключительном слове остановился на некотором недоразумении, обнаружившемся в прениях. Докладчик исходил из того, что большевизм есть по существу и военная теория, ибо революция и война неразрывно связаны друг с другом. Но историки-марксисты недостаточно внимания уделяют теоретической проблеме войны и в этом отношении как бы продолжают традиции довоенного II Интернационала, где Меринг и Ленин были исключением.

Таким образом в его словах нельзя видеть обвинения наших коммунистов в «теоретическом пацифизме».

Доклад С. Рабиновича. Военные организации большевиков в 1917 г.

Согласно мнению докладчика, основной задачей военно-революционной организации большевиков была дезорганизация старой армии и революционизирование ее с целью создать в недрах ее вооруженный оплот революции. Главной целью своего доклада докладчик ставит выяснение вопроса, справились ли большевики с этой задачей.

В борьбе за армию партия должна была преодолеть ряд громадных трудностей, которые, отчасти, выражались в форме определенных уклонов в деятельности самих военных организаций. Прежде всего надо было преодолеть уклон в сторону «самостоятельности» военных организаций, т. е. попытки в той или иной мере вырвать военные организации из-под общей партийной дисциплины и превратить их в организации, стоящие на ряду с партийными и только координирующие с ними свою деятельность.

Другим уклоном, который намечался в ряде местных организаций, были стремления к об'единению с другими военно-революционными организациями, при чем иногда (например, на румынском фронте) явления эти вели к очень печальным для партии последствиям.

Далее докладчик, останавливаясь на некоторых наиболее характерных чертах организационно-агитационной деятельности большевиков в армии, подчеркивает, что только большевики перенесли центр тяжести своей работы в армии на ротные ячейки, использовали для революционных целей организацию солдатских «землячеств», создали подлинно солдатские газеты и проч.

Как некоторый недостаток в работе большевиков докладчик подчеркивает уделение недостаточного внимания культурно-просветительной работе, которую, таким образом, захватили в свои руки и использовали наши политические противники.

Армия—это прежде всего крестьяне в солдатских шинелях. Сумели ли большевики повести солдат на революционную борьбу, осуществили ли на деле в октябрьской революции союз рабочих с беднейшим крестьянством?

Докладчик утверждает, что в общем военные организации большевиков справились с этой задачей блестяще и что, вопреки утверждениям некоторых товарищей, крестьяне-солдаты, наряду с рабочими и красногвардейцами, принимали активное участие как в октябрьской революции, так и в позднейших революционных боях. В частности, докладчик полемизирует с т. М. Н. Покровским, который, по его мнению, в своих статьях «Большевики на фронте в ноябре 1917 г.» и других отрицал активное участие солдат в революции. Ссылаясь на показания Пионтковского, Еремеева, Подвойского и других, докладчик старается доказать, что формулировка М. Н. Покровского неправильна, или, по крайней мере, неточна, и что массовое участие солдат крестьян в революции не подлежит сомнению. Не приходится спорить, говорит докладчик, что удельный вес рабочих-красногвардейцев в борьбе был гораздо значительнее, чем удельный вес солдат-крестьян. Однако же, главная задача военных организаций большевиков—создание в самой армии вооруженного оплота для революционной борьбы, несмотря на отдельные трения и недостатки—несомненно была осуществлена.

О. Варенцова, одобряя в общем установку доклада т. Рабиновича и подчеркивая решающую роль армии в тогдашней революционной борьбе, высказалась против формулировки, будто бы большевики стремились к разложению армии. Большевики боролись за овладение армией, за создание в ней своего революционного авангарда, и, действи-

тельно—эту задачу, мы, вопреки мнениям некоторых товарищей, осуществили.

Б. Горев, работавший в 1917 г. в иногороднем отделении Пет. сов. раб. и солд. деп., дал некоторые интересные сведения о своих тогдашних впечатлениях на счет процесса революционизирования армии. Он подчеркивает, что главным результатом деятельности военных организаций большевиков было разложение старой армии и что это имело колоссальнейшее значение для победы революции. Относительно же активного участия солдатской массы в революционных боях он разделяет скорее оспариваемое докладчиком донесение белых генералов от 10/XI—17 г., ибо солдаты шли на безбоевые действия, а вся тяжесть действительной борьбы падала на рабочих.

В. Малаховский доказывал, что в самой постановке вопроса у докладчика имеется противоречие, ибо нельзя было дезорганизовать армию и одновременно надеяться использовать ее боевую способность в революционных целях. Только потому, что там или сям во время октябрьского переворота были отдельные кучки солдат—людей в потертых шинелях, нельзя сказать, что старая армия принимала участие в перевороте. Если солдаты шли с красногвардейцами, они не были уже солдатами.

С. Бобинский в общем высказался в пользу т. Малаховского. Он обращает внимание на то, что докладчик не сумел достаточно вжиться в описываемую эпоху переоценивая, например силу об'единенческих тенденций в армии. Наконец, он полемизирует с т. Варенцовой насчет роли армии в октябрьском перевороте в Москве, подчеркивая, что различные части армии (прежде всего крестьянская беднота) лишь постепенно были увлечены революционной борьбой рабочих. Говорить о роли солдат, ставя ее в один ряд с ролью рабочих — неверно.

С. Будкевич тоже не согласился с установкой докладчика. В октябре 1917 г. солдатская масса—это была масса, которая «оккупировала улицы». В дальнейших боях фактически дрались матросы и латыши. На Украине получилась та же картина. Крестьяне стремились к тому, чтобы возвратиться домой, и не думали драться. После сформирования Красной армии среди крестьян также замечалось сильное дезертирство. Дело не в том, участвовали ли крестьяне-солдаты в Октябрьской революции, но как они участвовали.

О. Чаадаева подчеркивала, что докладчик обратил недостаточное внимание на классовый состав армии. Большая роль в революционизировании и разложении старой армии принадлежит крестьянской бедноте. Во время октябрьских боев пассивность солдатской массы, по ее мнению, налицо, и отдельные отряды, активно борющиеся на стороне революции, скорее составляли исключение. Однако же, солдаты (бедняки), возвращаясь домой, сыграли крупную роль в революционизировании деревни, в аграрной революции.

С. Рабинович в заключительном слове утверждал, что ряд товарищей неправильно толкуют его положения; что он никак не думал оспаривать руководящую роль рабочего класса в революции; что он признает также, что солдатская масса часто бывала пассивной, и подчеркивает, что он несогласен с положением т. Варенцовой о решающей роли армии в тогдашней борьбе. Однако же, он категорически утверждает, что разлагая старую армию, большевикам все-таки удалось в недрах ее из солдат-рабочих и крестьнской бедноты создать вооруженный оплот революции. Ссылка т. Будкевича на роль латышей, по мнению докладчика, как-раз говорит в его пользу, ибо Вацетис говорит, что по своему социальному составу латышские части представляли пролетариат, полу-пролетариат и беднейшее крестьянство.

IX. СОВЕЩАНИЕ ИСТОРИКОВ ВОСТОКА

После Всесоюзной конференции историков-марксистов по инициативе бюро секции истории Востока Общества историков-марксистов состоялось собрание участников конференции, работающих по истории Востока совместно с представителями востоковедческих учреждений Москвы. На повестке совещания стояли: 1) информация с мест, 2) утверждение предварительного плана работы секции истории Востока и 3) довыборы бюро секции.

Это совещание дало богатейший материал по вопросу о состоянии работы по истории Востока в СССР в настоящее время. С другой стороны, она наметило тот курс, который должно взять общество историков-марксистов в дальней-

шей работе по истории Востока. Настоящий отчет ставит своей задачей кратко информировать об этом совещании.

Доклад К. Василевского. Информация о работе историков Средней Азии.

Средняя Азия, по словам докладчика, в настоящее время переживает некоторый кризис в отношении самостоятельного изучения исторических проблем. Своих собственных работников там мало, поэтому до сих пор Средняя Азия является об'ектом изучения для приезжающих гастролеров. Что касается существующих в Средней Азии научных институтов, то их нужно разделить на три части: с одной стороны, целый ряд старых общественных организаций и институтов, в роде Туркестанского географического общества. Оно располагает материалами, но не имеет средств для издания своих трудов и является отсталым как по своим методам, так и по своей идеологии. Другая категория научных институтов—это та, которая находится на содержании госбюджета соответствующих республик, в частности, Общество по изучению Таджикистана. Это общество издало ряд интересных монографий, но по сути дела его активность измеряется теми бюджетными ресурсами, которые республика Таджикистана время от времени отпускает. Наконец, третья категория научно-исследовательских институтов, вернее, общественных организаций—это те организации, которые возникли после Октябрьской революции. Здесь также ощущается большой недостаток средств и сил. В числе других мы имеем школу востоковедения РККА, где изучаются прежде всего вопросы национально-революционных движений на Востоке, а поскольку этот вуз является военным, в нем изучается и военная история применительно к Средней Азии. Этим вузом издано до 20 учебников, отдельные монографии и хрестоматии, прежде всего в области лингвистики и этнографии края.

Далее, имеется кружок по изучению Востока при государственном университете; этот кружок работает довольно активно, ставит целый ряд докладов, но носит преимущественно лингвистический уклон. Марксистских сил там нет. Большая работа проделана Коммунистическим университетом Средней Азии, который располагает относительно хорошими марксистскими кадрами для изучения Востока. От недавнего времени им издавался интересный журнал «Коммунистическая мысль», где был помещен целый ряд ценных работ по истории Средней Азии. Кроме того, необходимо указать также на большую работу, которая была проведена кружком востоковедения при этом университете.

В области преподавания истории Средней Азии дело обстоит весьма печально. К настоящему времени собственными силами составлены учебный план и программа по истории национальных движений в отдельных странах Средней Азии для коммунистического университета и совпартшкол. Эта работа выполнена не блестяще, но, поскольку отсутствуют другие программы и планы, приходится в течение ближайших 2—3 лет удовлетворяться ею.

Что же касается государственного университета, то там дело обстоит еще более печально. Это видно хотя бы из того факта, что государственный университет в Ташкенте не нашел ни одного марксиста-историка, которого он мог бы послать в качестве своего делегата на данную конференцию.

Сейчас создалась инициативная группа, которая ставит себе целью в ближайшем будущем организовать Средне-азиатское отделение Общества историков-марксистов, дабы об'единенным фронтом ликвидировать те недочеты, которые имеются.

Информацию т. Василевского дополняет представитель Туркмении В. Карпыч.

В Туркмении имеется маленький отряд историков-марксистов, который приступил к работе только в 1927 г., к моменту 10-летия Октябрьской революции. Когда нам пришлось ставить вопрос о создании научных работ по истории Туркмении, то выяснилось, что никакой истории, никаких исторических работ фактически нет. Тогда юбилейная сессия ЦИК признала необходимым создание историко-краеведческого комитета при Туркменском ЦИК. Был создан орган этого комитета, журнал «Туркменоведение». Этим было положено начало нашей историографии в Туркмении. Мы сейчас имеем следующее положение: организационным центром исторических работ является Институт турменской культуры, который создан год тому назад, после юбилейной сессии. В составе туркменкульта имеется историческая секция, вокруг которой сконцентрированы наши историки-марксисты. Все они входят в кружок, который называется кружком начинающих историков-марксистов. Этот кружок имеет в своем составе 10 товарищей, исключительно партийцев.

При разработке наших исторических тем базовым материалом прежде всего является архивный материал. У нас существует Центральное управление архивными делами; в нем сосредоточено свыше 70 000 дел, приведенных в прекрасный порядок. Следующей базой является истпартовский архив. Этот архив очень интересный, но он пока находится в полном беспорядке, свален кучами, т. е. в таком состоянии, что пользоваться им совершенно невозможно. Следующей нашей базой является Музей революции. Он создан в январе прошлого года, скоро получит помещение и развернет свою работу. К настоящему времени уже собрано 4 000 экспонатов, много фотографий, различных записок, картин и т. д.

Что же проделано в области истории Туркмении? Если мы разделим нашу историю на древнюю, дореволюционную и революционную, то мы увидим, что древняя история совершенно не изучена. Только в прошлом году мы связались с таким знатоком наших мест, как акад. Бартольд, которому и заказали работу по древней истории Туркменистана. Эта работа, как нам было недавно сообщено, уже закончена и сдана в печать.

За последнее время появился также целый ряд работ и статей как по предреволюционной, так и по послереволюционной истории Туркменистана.

Нам приходится жаловаться на то, что к нам ездит очень мало гастролеров, наши издания привлекают к себе очень мало внимания. Поэтому наша просьба сводится к тому, чтобы общество историков-марксистов со своим органом, а также и все другие исторические журналы уделили Туркмении больше внимания, чем до сих пор, помогли в разрешении проблем истории Туркмении.

Доклад Г. Губайдуллина. Информация о работе историков Азербайджана.

В Азербайджане имеется несколько учреждений, ведущих работу в области истории по принципу разделения труда. Общество по изучению Азербайджана главной своей целью ставит изучение древностей и затем новых времен до 70-х годов, т. е. до крестьянской реформы. В области древностей в этом году предположено продолжать издание тех арабских, персидских и тюркских авторов (с переводом и комментариями), которое было начато в прошлом году. Будет приступлено к изданию новых авторов: Карафьяна и ряда других. С нынешнего учебного года историческая комиссия в Обществе по изучению Азербайджана работает главным образом над феодализмом. По этому вопросу докладчиком издан на тюркском языке учебник, при чем на русском языке выходит компендиум. Ряд работников принимается за изучение генезиса феодализма на арабском Востоке.

Дальше предположены работы в области изучения крестьянского вопроса до 70-х годов, аграрных отношений и, главным образом, классовой борьбы в деревне.

Другое учреждение—Институт имени Шаумяна. В прошлом году проф. Ратгаузер с большой энергией принялся за реорганизацию этого института, который ставит своей целью изучение истории классовой борьбы в Азербайджане, начиная с 70 годов, до советизации, и затем изучение идеологических течений, враждебных нам, имевших место в этот период, а также изучение истории мелкобуржуазных партий Азербайджана. В то же время этот институт занимается не только историей, но и экономикой Азербайджана, некоторым пополнением статистических данных, в которых исторические дисциплины всегда нуждаются. В этой области вышло уже много работ: работы Я. А. Ратгаузера и ряд хроник, касающихся революции в Азербайджане. В настоящее время выходит об'емистая публикация с большим предисловием о расстреле 26 комиссаров.

Историко-социологическое общество при педфаке и рабфаке у-та возглавляется профессорами и занимается, главным образом, историей Запада и историей педагогики.

Следующее учреждение, очень родственное Обществу историков-марксистов,—это коллегия марксистов. Тут ставятся чисто практические исторические вопросы. Вопросами теории в нем занимаются достаточно, но меньше занимаются фактами. Это чисто демократическое, широкое общество.

Наконец, на восточном факультете преподается не только история древнего Востока и средних веков, но и XIX столетия до ближайших времен. Здесь изучается также с марксистской точки зрения история идей на Востоке, история общественной мысли.

Надо упомянуть еще об одном учреждении, которое тоже развертывает работу по истории Востока, это центральный комитет нового тюркского алфавита. Вокруг этого комитета группируются профессора-марксисты и они дают статьи, касающиеся культуры Востока.

Доклад Г. Натадзе. Информация о работе историков Грузии.

Говоря о разработке истории Грузии, приходится этот вопрос разделить на две части: историю до XIX столетия и после XIX, потому что над ними работают лица, совершенно различные и по направлению, и по своей прошлой деятельности. История Грузии до XIX века разработана вообще довольно хорошо. Здесь работало много ученых специалистов. В смысле техническом и в смысле полноты материала дело обстоит очень хорошо. Гораздо хуже обстоит дело с тем направлением, в котором разрабатывалась история Грузии до XIX столетия. Здесь нет никакого намека на марксизм.

История Грузии после XIX столетия в лучшем положении, потому что разработка ее находится в руках марксистов. Историей Грузии XIX столетия занимается т. Махарадзе, историей развития социализма—Хундадзе. Используются и архивные материалы Центрархива, архива революции, архива Тифлисского музея революции. Эта работа произведена тт. Сефом и Драбкиной, но она касается главным образом революционного движения. Что же касается собственно экономического развития, то оно очень мало освещено.

В университете имеется кафедра по истории Персии и туркменологии. Там работают молодые силы, которые пока еще никак себя не проявили.

Дальше необходимо коснуться научных обществ. В Грузии существует историческое общество, которое находится всецело в руках школы Джавахашвили. Марксистам приходится выступать под серьезным обстрелом со стороны этой школы.

Кроме того, имеется географическое общество, но в виду недостатка средств это общество никаких работ не издает.

Затем имеется географический институт, находящийся в ведении Академии наук. Он издает свои бюллетени. Это работа очень ценная, но марксистского там ничего нет. Кроме того, в институте накопляется ценный материал, касающийся не только Грузии, но и всего Закавказья.

Далее несколько слов о Центрархиве. Это—громадное хранилище документального материала. К сожалению, он выпускает пока только периодические издания. Я думаю, что в ближайшем будущем его издательская работа значительно расширится.

Доклад т. Лихницкого. Информация о работе историков Северного Кавказа.

На Северном Кавказе краеведческие работы еще не вышли из стадии первоначальной их организации. В Ростове имеется институт культуры советской общественности, но Северо-кавказский край чрезвычайно мало чувствует его присутствие в Ростове. В краевой ассоциации научно-исследовательских институтов только несколько месяцев тому назад появились коммунисты.

Затем есть научное общество марксистов, где с этой осени создана историческая секция, ядром которой явился кружок московских историков-марксистов и, наконец, коммунистический университет и истпарт. Основным учреждением, где кое-какая работа велась и ведется, является истпарт, с которым связана наша секция Общества историков-марксистов, ибо Институт советской культуры представляет собою в отношении историографических работ почти пустое место.

Истпартом пока издана работа по истории гражданской войны на Северном Кавказе. Сейчас ведется разработка следующих тем: аграрный вопрос на Дону и колониальная политика на Дону. Вот и все.

Информацию т. Лихницкого по Северному Кавказу дополнил К. Гатуев. На первое место среди научно-исследовательских организаций автономных областей Северного Кавказа надо поставить Северо-осетинский институт краеведения, который зарекомендовал себя рядом печатных изданий, посвященных вопросам экономики, народного творчества и в некоторой части—истории, поскольку в издании этого института вышла, правда, не совсем марксистская, работа Кокиева по истории Осетии. Кроме того, научно-исследовательские институты существуют в данный момент почти во всех областях, за исключением Чечни. Там изучением этого вопроса занимается краеведческая комиссия при Чеченском музее. Ингушский нучно-исследовательский институт краеведения выпустил пока-что несколько отчетов об экспедициях этого института и поставил некоторые проблемы древней истории Ингушетии, требующие своего разрешения и изучения. В чеченской краеведческой комиссии кроме книги, которая называется «Абреки» и в которой перемешаны моменты беллетристические с моментами исследовательскими, ничего не напечатано. Эти издания очень слабы в смысле научном, не

говоря уже о марксизме. Краеведческая работа налаживается и в Адыгее. Там есть общество по изучению Адыгея. Оно зарекомендовало себя довольно солидным списком трудов, но не столько своих членов, сколько перепечатками сравнительно древних авторов Адыгея. Существует наконец еще и Кабардино-балкарский институт. Слабость работы всех перечисленных учреждений можно об'яснить тем, что среди руководителей этих учреждений нет работников марксистов.

Несколько слов об архивном деле в Северо-осетинской национальной области. Архивы северной Осетии представляют собой громадную ценность для работников по истории Северного Кавказа, но использовать их сейчас нельзя, ибо они не приведены в порядок.

Тов. Гатуева дополнил И. Н. Бороздин сведениями по Ингушетии, Дагестану и Кабарде.

Ингушский институт краеведения издал первый том своих очередных записок, где кроме работ этнографического порядка есть работа, посвященная экономике современного Дагестана. Недавно вышла работа Вильямса, касающаяся современной Ингушетии. Работа Ингушского института краеведения при небольшом количестве работников все-таки идет планомерно и довольно широко.

В Дагестане существует Институт дагестанской культуры, который выпускает свои труды. Наряду с вопросами этнографического порядка и вопросами лингвистики, там уделяется место и истории революционных движений. В этой области наиболее интересной работой является работа Тахо-Заде, посвященная очеркам революционного движения последних лет Дагестана. Точно так же в Дагестане ведется целый ряд интересных изучений, касающихся завоевания Кавказа.

Что касается Кабарды, то там было создано общество, которое сейчас больше не существует, но там есть целый ряд интересных работ. Одна из них посвящена экономике современной Кабарды. Татжиев занимается эволюцией пастушечьего хозяйства и подготовляет соответствующую публикацию к печати.

Доклад В. Дитякина. Информация о Татарии.

В нашей республике работа ведется двояко. С одной стороны, имеется научное общество татароведения, об'единяющее в первую очередь научных работников-татар и затем работников других национальностей, изучающих русские вопросы. Затем, при университете формально существует общество археологии, истории и этнографии. И то и другое общество издают свои печатные органы. Общество краеведения выпустило 7 томов, археологи—5—6 томов. В центре работы общества археологии стоит разработка археологических раскопок и находок. Есть также и интересные изучения по этнографии. В обществе татароведения наиболее интересные работы проведены по изучению татарских документов XI — XIV веков. Около истпарта организована группа товарищей по изучению крестьянского движения в Татарии или в бывшей Казанской губ., затем ведется изучение истории партийных организаций. Истпарт не имеет своего журнала. Отчасти его работа печатается в изданиях общества археологии. Существует еще другая группа товарищей, которые ведут работу по ближнему и зарубежному Востоку. Их работы печатаются в центральных московских органах. В самое последнее время группой татарских работников начато исследование истории школы и просвещения. Затем кое-кто из наших работников сейчас исследует архивные материалы по истории просвещения среди татар в XVIII — XX вв.

Доклад тов. Пригожина. Информация о Владивостоке.

Владивосток имеет такое учреждение, как научно-исследовательский институт, тем не менее научно-исследовательская работа по изучению зарубежного Востока ведется чрезвычайно слабо. Об'ясняется это тем, что, несмотря на наличие больших материальных предпосылок, работников-марксистов в этой области черзвычайно мало.

Что касается краеведческой работы, то нужно указать на две работы, более или менее солидные, — это на книгу проф. Огородникова—«Русские на Амуре» и на работу Георгиевского—«Русские на Дальнем Востоке»; первая отмечена критикой и премирована, вторая с нашей точки зрения абсолютно не выдерживает критики.

Что касается работы по зарубежному Востоку, то во Владивостоке имеется чрезвычайно ценный материал: архив маньчжурской династии, который во время боксерского движения русские казаки вывезли в Россию. Он представляет колоссальнейшую ценность. Мне говорили, что американцы за право скопировать этот архив предлагали чуть ли не два миллиона долларов. Архив тает.

Сначала было семь веков, теперь осталось два века. От времени он разрушается. Я считаю, что этот архив, для его сохранения, нужно перевезти сюда.

Затем имеется во Владивостоке научно-исследовательский институт по Востоку, который состоит из двух секций: китайской и японской. Судя по прошлому году, работает он слабо.

Доклад Д. Гаджи-Заде. Информация о Ленинграде.

Ленинград—это единственный центр в СССР, в котором востоковедческие дисциплины представлены более или менее широко, т. е. там ведется изучение большинства восточных стран. При этом Ленинград, как об этом 4 года тому назад на одном из заседаний коллегии востоковедения сказал акад. Бартольд, не только не отстал от других научных востоковедческих мировых центров, но даже идет впереди их. Между тем современное состояние ленинградского востоковедения нельзя назвать блестящим. Ленинградское востоковедение сконцентрировано в Академии наук. Там представлены следующие страны: Япония, Китай, Индия, Персия, арабские страны, Турция и наш советский Восток. Но слабое место в этой работе Академии наук заключается в том, что там никакой научной диференциации в области востоковедения нет. Востоковедение там представлено так, что каждой страной занимается всего один или два профессора, при чем этот профессор является и лингвистом, и историком литературы, и экономистом, и историком. Следовательно, мы получаем какую-то эклектическую похлебку. Действительно надо быть крупным энциклопедистом, надо быть очень крупным ученым, чтобы разбираться достатчно полно во всех этих вопросах. Такие ученые появляются только один раз в век. Среди ленинградских востоковедов мы, конечно, таких людей, за исключением акад. Бартольда и Марра, не имеем. В силу этого ленинградское востоковедение в настоящее время переживает большой кризис, оно находится в тупике. Это видно уже из того, что вокруг этих ученых не группируется более или менее талантливая молодежь, которая бы развивала их традиции и шла за ними.

Как и всякие эклектики, эти ученые не имеют определенного четкого мировоззрения, определенной четкой методологической установки по тем или другим вопросам. Ленинградское востоковедение очень хорошо обработало языковый материал, но эта обработка произведена исключительно формально. Социологически, как подходит к этому вопросу Марр, ленинградское востоковедение лингвистику не разработало. Эту задачу, очевидно, могут выполнить только марксисты.

Из других организаций, в которых идет разработка востоковедения, надо отметить главным образом Ленинградский восточный институт, который имеет очень много отделений и, представляя почти все восточные страны: Японию, Китай, Индию, Аравию, Персию, Турцию и советский Восток, своей задачей ставит не только практическое изучение стран Востока, подготовку практических работников для той или иной страны, но кроме этого организует семинары, которые разрабатывают чисто научные вопросы: тюркологический, яфетический и монгольский семинары. Характерная особенность их заключается в том, что слушателями являются исключительно националы. Но беда этих семинаров заключается в том, что академики не могут дать марксистского подхода к изучаемым явлениям.

Марксистов-востоковедов в Ленинграде еще нет. Есть только попытка научного общества марксистов создать таких специалистов путем организации восточной секции. Но при этой секции обнаружилась ничтожная численность востоковедческих сил, в том числе и таких, которых можно считать хотя бы «близкими к марксизму».

С дополнением о Ленинграде выступил А. Пригожин. Он сообщил об известного рода успехах, имеющихся в государственном университете, не в смысле реализации, но в смысле постановки вопроса. В университете создан восточный цикл, который разбивается на несколько кафедр: Древний Восток, Средневековой Восток и Новый Восток. На будущий год обещана постановка ряда новых дисциплин, в частности, китайской истории, японской истории, истории Афганистана, Ирана и т. д. Имеется аспирантура, хотя и немногочисленная.

Нужно обратить внимание на ленинградский архив, который содержит ценнейший материал: архив министерства иностранных дел, архив военно-морского министерства. Там имеется очень много материалов, относящихся непосредственно к Востоку.

Далее о Ленинграде дополнительное сообщение сделал В. Гурко-Кряжин.

Признавая правильность общей критической характеристики, сделанной в

предыдущих сообщениях, он указал, что в оценке отдельных учреждений была допущена некоторая стилизация. Указывалось на то, что институт востоковедения является таким учреждением, которое культивирует исключительно языки. На самом деле кроме изучения языка там ведется и изучение народного хозяйства стран Востока. Некоторые успехи есть и в области юридических предметов. Единственно, с чем обстоит дело печально,—это с историей. Как же выходит институт из этого кризиса истории? С одной стороны, он старается выйти из него путем импорта московских историков-марксистов. С другой стороны, делается ставка на аспирантуру, и эта ставка очень фундаментальная. Таким образом, дело обстоит не так уж безнадежно, как это здесь рисовалось.

Информация П. Галузо. Об Институте красной профессуры.

Восточная секция исторического отделения института выросла из всей той работы по теории Востока, которая велась в институте еще до образования секции. Уже в 1926 г. несколько слушателей института приступили к работе по Востоку. Теперь из них организован третий курс восточного отделения института. Из вновь же поступивших в 1928 г. организован первый курс.

Первый курс не занимается сейчас исследовательской работой. Поэтому следует говорить только о третьем курсе, где сейчас ведется семинар по колониальной политике царского правительства под руководством М. Н. Покровского. У нас следующие проблемы: 1) завоевание Средней Азии, 2) завоевание Северного Кавказа, 3) дарданельская проблема, 4) дальневосточная проблема. Большинство товарищей, работающих в этом семинаре, делают попытку поставить вопрос не с точки зрения истории внешней политики царизма, а с точки зрения истории тех народов, которые были об'ектом этой политики.

Информация А. Мухараджи. Об Институте имени Нариманова и Международном аграрном институте.

Институт имени Нариманова подготовляет не историков, а работников наркоминдела и наркомторга главным образом. Но там есть отдельные секции для изучения истории Востока. Так, есть секция индусская, турецкая, персидская, арабская, египетская, Китая и Японии. Центр тяжести работы лежит на изучении революционных движений и истории общественных форм Востока. Аспиранты института работают в Институте народов Востока РАНИОНа.

В Международном аграрном институте прорабатываются восточные крестьянские движения и их динамика. В первую очередь в плане стоит изучение проблемы гандизма.

Информация В. Гурко-Кряжина. О научно-исследовательском институте РАНИОНа.

В Научно-исследовательском институте народов Востока разработка истории Востока ведется в секции, которая названа секцией национального вопроса и истории национального революционного движения. Эта секция очень молодая, она образована весною 1928 г.; ею выработан производственный план, заключающий в себе ряд тем для коллективной проработки.

Разработка плана велась тремя способами: во первых, способом экспедиционным. Этот опыт был сделан прошлым летом в виде экспедиции в Среднюю Азию под руководством Асфендиарова. Экспедиция собрала много материала и работала над ним. Во - вторых, имеются три семинара, в которых темы разрабатываются коллективно аспирантами и научно - исследовательским персоналом. Наконец, в-третьих, ставится на обсуждение серия докладов научных работников, об'единенных в своей работе одним определенным вопросом.

В текущем году в институте произошел ряд изменений. Секция в результате этого изменения получила другое название. Она сейчас называется секцией по истории общественных и родовых отношений народов Востока. Целевая же установка ее изменилась следующим образом. Раньше на первом месте ставилось изучение языка и литературы, затем шло исследование этнологии и материальной культуры и затем как заключительный момент шло изучение истории и истории экономики. Теперь вся эта конструкция перевернута: в основу кладется история экономики, дальше идет исследование идеологии, этнологии, материальной культуры, а затем только языка.

Информация т. Болина. О Научно-исследовательском институте по Китаю.

Работа института ведется не только по линии специально-исторической, но по всем линиям марксистского китаеведения. Институт по Китаю—очень молодая

организация. И, конечно, за краткий период своего существования больших достижений в работе института не могло быть. Однако, за это время проделано очень много. Наибольшее место во всех работах института занимает накопление основных материалов по Китаю и научно-вспомогательная работа. Институтом создан свой архив, приблизительно в 900 печатных листов. В нем накоплен материал, переведенный из китайских источников, который затрогивает основные линии нашей работы по линии экономики, истории и т. д.

Нужно сказать, что вопросы истории в изучении Китая занимают одно из центральных мест, и это отражается на самом плане нашей работы. У нас имеется ряд специальных секций, например: истории киткомпартии, истории крестьянского движения, рабочего класса в Китае и т. д. Имеется также специальная военная секция. Перед ней поставлен ряд задач: изучение опыта ранних восстаний в Китае, опыт кантонского и шанхайского восстаний и т. д., задача подведения итогов всей военной стороны последних революционных событий 1925—27 г. в Китае, истории Северной экспедиции и т. д. Эта военная секция входит в состав секции гражданских войн и вооруженных восстаний общества историков-марксистов.

Затем существует секция по истории XIX века. По линии этой секции подготовлен ряд докладов о боксерском движении, тайпингском восстании и т. д.

На ряду с этими работами у нас поставлена специальная задача по разработке опыта крестьянских восстаний XIX века и специально истории революции 1911 г. Работа эта поставлена на широкую ногу. Сейчас ведется большая подготовка по сбору и сортировке материала, имеются специальные сотрудники, сидящие в центрархиве, добывающие ценнейшие документы, о которых раньше никто не имел никакого понятия.

Нужно отметить особую ценность и значение работ научно-вспомогательного характера: институтом уже издан 16-й номер известных «Материалов по китайскому вопросу», в общей сложности 175 печатных листов. Сейчас намечается ряд других работ, из которых наиболее ценной является подготовка ежегодника. Это—большая работа в 50 печатных листов. Для этой работы привлечены все силы марксистов-китаеведов.

Издана очень ценная работа по кантонской коммуне, дающая интересный материал. Подготовлена к печати работа об уханском периоде. Затем идут такие монографии, как рабство в Китае и т. д.

Главной трудностью в работе нужно признать недостаток марксистских китаеведческих сил.

Информация т. Тележникова. О Научно-исследовательской ассоциации при коммунистическом университете трудящихся Востока им. т. Сталина

Научно-исследовательская ассоциация при КУТВ организована в 1927 г., причем сразу созданы были две секции: зарубежного Востока и советского Востока.

Ассоциация в ее работе тесно увязывается с университетом и его задачами. Она является не чем иным, как научной лабораторией при университете. Вся наша научная продукция, научно-исследовательская работа, которая проводится в рамках научно-исследовательской ассоциации, подчинена учебным задачам университета, как коммунистического вуза. В частности, одной из основных задач ассоциации является задача подготовки новых научных работников по Востоку и преподавателей всесоюзных комвузов.

Теперь о работе. Организационный период уже давно прошел. Сейчас ассоциация имеет в своем составе около 30 работников, включая сюда аспирантов и молодых вспомогательных сотрудников. Почти все они являются коммунистами. В будущем году ожидается первый выпуск. Из выпускаемых некоторые смогут притти на смену тому кадру научно-исследовательских работников, которые имеются в ассоциации.

В отношении преподавательской работы в самом университете проделана большая работа по подготовке курсов по Востоку.

В настоящее время имеется возможность проводить семинары почти по всем странам, которые представлены в КУТВЕ благодаря тому, что проведена известная научно-исследовательская работа, давшая для этого соответствующий материал. В частности, нужно отметить курс, который заинтересовал местных работников, это—история национальных компартий. Программы этих курсов скоро выйдут из печати. Из издательских работ следует упомянуть наиболее важную, это—издание энциклопедии зарубежного Востока. Эта работа началась 1½ года тому назад и теперь близка к концу. Она вызвана тем, что у нас в области суммарных знаний по Востоку имеется большой пробел.

При научной ассоциации существуют кружки по Персии, Монголии, Средней Азии и т. д. В этом году предлагается организовать кружок по Китаю, а также целый ряд других кружков с участием студентов и аспирантуры. Задача заключается в том, чтобы разобрать отдельные проблемы и втянуть в работу подрастающие кадры молодых востоковедов.

Информация т. Мышковского. Об ассоциации востоковедения СССР.

Историческая работа в ассоциации востоковедения протекала по двум основным отделам: экономико-историческому и этнолого-лингвистическому. Это об'ясняется как временем, когда возникла сама ассоциация, так и теми целями, которые она себе ставила, и теми людьми, которые были в ее распоряжении. Ассоциация основана в 1921 г., т. е. 6—7 лет тому назад. Тогда не было КУТВа, не было Института красной профессуры, а Институт востоковедения был в крайне жалком состоянии, сил было мало. В то же время стояла задача поставить академическое востоковедение в ту или иную связь с теми задачами, которые выдвигаются революционным движением. Приходилось использовать те академические силы, которые остались от старого режима, ту часть из них, которая могла пойти навстречу нуждам революции. Эта основная организационная задача была в известной мере выполнена. Значительная часть востоковедческих сил была завоевана для советского востоковедения.

Как протекает работа? Что касается области истории, то теперь на очереди разработка проблем, которые связаны с революционным движением, с историей империалистических захватов, колониальной политики и т. д. Выдвигался и вопрос о феодализме на Востоке.

Информация И. Левина. О комиссии по национальному вопросу при Коммунистической академии.

Хотя комиссия не является учреждением ни чисто историческим, ни чисто востоковедческим, но ей приходится соприкасаться с историей как советского, так и зарубежного Востока. Собирается материал по национальному вопросу за период с 1905 г. до настоящего времени. Эта работа ведется с конца 1926 г. До сих пор она охватила небольшой период—от февраля до октября 1917 г. В настоящее время мы приступаем к разработке периода Октябрьской революции и гражданской войны.

Сейчас в нашем распоряжении имеется материала до трехсот печатных листов. Этот материал индексирован и расположен по источникам, так что он вполне пригоден для использования его в научной работе.

В настоящее время сдан в печать первый сборник материалов, по 1917 г. Этот сборник будет заключать акты и все другие материалы временного правительства по национальному вопросу, материалы общероссийских с'ездов и материалы всех национальных партий не только по национальному вопросу, но и по другим соприкасающимся вопросам. Кроме этой работы, собирается материал по истории национального вопроса и составляется библиография национального вопроса. Дополнительно к этому комиссией проводится научно-исследовательская работа, часть которой приходится и на историю Востока.

РЕЗОЛЮЦИЯ

По заслушании информации собранием была принята следующая резолюция:

«Заслушав информацию с мест о состоянии научно-исследовательской работы по истории Востока, собрание участников конференции, занимающихся историей Востока, совместно с представителями востоковедных учреждений г. Москвы постановляет:

1) Информация показала, что состояние работы по истории Востока характеризуется сейчас следующими чертами:

а) старая буржуазная восточная историческая наука переживает совершенно очевидный кризис: она накопляет все больше и больше фактического материала, но ничего стройного и теоретически цельного дать не может;

б) новые марксистские силы еще только начинают разворачивать свою работу;

в) в то же время вся работа марксистов сейчас ведется недостаточно организованно;

г) основные востоковедческие учреждения, в силу последних двух обстоятельств, все же остаются в руках старых буржуазных ученых.

2) Очередные задачи марксистской восточной исторической науки сводятся в настоящее время к следующему:

а) в области идеологической — вести решительную борьбу против всяких немарксистских течений, откуда бы они ни исходили, особенно же заострить вопрос на критике старых буржуазных школ в области истории Востока;

б) об'единить, организовать и спланировать ту работу марксистов-историков Востока, которая сейчас развертывается;

в) в этой работе перенести центр тяжести на разработку истории колониальной политики как России, так и остальных капиталистических стран;

г) в области разработки истории советского Востока—обратить особенное внимание на разработку курсов истории этих стран для вузов и комвузов;

д) президиуму секции истории Востока на ближайший период необходимо перенести основной цент тяжести своей работы на организационное об'единение марксистских востоковедческих сил и на координацию их работы».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Прапор Марксизму» (№ 2)—органе Украинского института марксизма, помещен ответ М. Яворского на мою рецензию, напечатанную в «Правде» от 10 февраля 1929 года, посвященную разбору его работы—Історія України в стислому нарисі» (изд. 1928 г.). В рецензии мною вскрывались только основные методологические ошибки автора. Обилие фактических ошибок М. Яворского, касающихся дат и различных исторических фактов, свидетельствующих о недопустимой для историка небрежности, я даже не отмечал. В рецензии все отмеченные мною ошибки М. Яворского были подтверждены цитатами или ссылкой на соответствующие страницы книги.

Основные положения рецензии сводились к тому, что М. Яворским не показана фактическая гегемония пролетариата на Украине, игнорируется работа РСДРП на Украине, преувеличена и искажена роль РУПа, исторически искажена и роль кулачества, которое у М. Яворского является революционной силой и идеологом крестьянского движения. Наконец, отмечалось и то, что М. Яворский не марксистски подошел к истории национального движения, подчас фетишизируя национальный момент, выдвигая его на первое место и отодвигая на задний план классовую борьбу.

Как видит всякий, спор идет по весьма принципиальным вопросам, и, казалось бы, М. Яворский, считающий себя марксистом, должен был бы поддержать спор на этой же принципиальной основе. К сожалению, ответ М. Яворского на мою рецензию, помещенную в «Правде» является фактом, исключительным в литературной полемике. Мы не говорим уже о недопустимо-тенденциозной форме ответа, но и по существу, М. Яворский допускает приемы, совершенно непозволительные. Так, Яворский, напр., выдает его же цитату за мою, а потом «разносит» меня. (Ср. приведенную мною цитату из Яворского об отсутствии на Украине до Октябрьской революции отдельной коммунистической партии и ответ Яворского). И в таком духе составлен весь ответ, приписывающий мне всевозможные нелепости и с той лишь разницей, что с каждой дальнейшей строкой и тон, и приемы автора становятся развязнее. Эта развязность, повидимому, не может быть об'яснена только личными качествами М. Яворского. Это—если так можно выразиться—«сознательная развязность», преследующая определенную цель: замазать сущность спора, для чего М. Яворский не гнушается никакими приемами. Недаром М. Яворский сразу бьет из дальнобойных орудий, снабдив свой ответ сочным заголовком «Донкихотство или Руссотяпство», хотя я и не назвал его Санчо-Панчо господина Юркевича. Повторяем, развязность ответа М. Яворским употреблена вполне сознательно: чем же иначе можно об'яснить, что он с первых же строк ответа сознательно вводит читателя в обман, и спекулируя национальными моментами, хочет изобразить нашу полемику как «завдання — дати не критику моєї книжки, а дискредитувати цим шляхом ідею асоцияції історіків-марксистів»?! Такой прием преследует цель замазать сущность спора и рассчитан на лиц, которые не будут проверять литературную добропорядочность М. Яворского.

На наше обвинение, что роль пролетариата на Украине, как гегемона революции, не выявлена, Яворский отвечает: «чи вправді Горін читав мою книжку, де з чотирнадцяти розділів, шість трактують саме про історію пролетаріяту на Україні». Ответ Яворского рассчитан на не читавших его работу, ибо роли пролетариата уделено им до смешного мало места. Что М. Яворский не понимает подлинной роли пролетариата Украины, можно судить хотя бы по тому, что наше признание пролетариата Украины гегемоном революции, оказывается... троцкизмом.

Поскольку цель нашего письма указать на недопустимость литературных приемов М. Яворского, сознательно стремящегося замазать сущность наших разногласий, мы естественно не можем в настоящем письме вскрыть ошибки

М. Яворского, источником которых является непонимание им основ марксизма и ленинизма. Однако мы не можем не выразить удивления, что признание пролетариата Украины гегемоном революции им об'является троцкизмом [1].

Не может не обратить внимания также и то, что в ответ, на наше возражение, что украинский кулак не был главной движущей силой революции, М. Яворский не отказывается от того, что «нарожденний і ненарожденний дрібний сільский буржуа, нової й чистої породи, фактично й соби був за рушія в сільських заколотах». Эта теория сейчас, вне всякого сомнения, пользуется симпатией кулацких элементов.

Не может не вызвать изумления и «оригинальное» об'яснение М. Яворского, что он так много написал о РУПе (которая, по выражению Яворского, к 1913 г. «стала теперь рабочей партией, стала партией, которая ставит своей задачей пропагандировать марксизм как среди сельского, так и среди городского пролетариата», (с. 246) и забыл о работе РСДРП и в «частности» большевиков, для того, чтобы «...точніше вказати, на її націонал-соціялізм». Сомнительно, чтобы этот «оригинальный» способ изучения истории партии и революции получил признание. Ведь, так рассуждая, можно, пожалуй, сказать, что полезнее читать Винниченко, чем Ленина, Грушевского, чем Покровского и т. д.

Наконец, мы признательны Яворскому, узнав, как он понимает национальный вопрос, который с его точки зрения является основным фактором в истории и что наши грехи заключаются в непонимании революционной роли Центральной рады в 1917 году. А вот М. Яворский эту революционную роль понимает?!

Но мы категорически протестуем против попыток Яворского приписать нам всякие нелепости, являющиеся исключительно плодом его богатой фантазии, когда, напр., в ответ на наше замечание о неправильности утверждения, что украинские меньшевики были лучше русских, Яворский делает заключение, что «не даремно Горін захищає так меншовиків»?! Мы категорически отвергаем и другую его нелепость, будто бы я хочу «засудити національный рух як контр-революційний». Напрасно г. Яворский берет на себя роль защитника угнетенных наций. Напрасно М. Яворский делает из меня (белорусса и политэмигранта Зап. Белоруссии — к сведению Яворского) «руссотяпа». Ни с какой точки зрения совершенно не основателен брошенный мне упрек в руссотяпстве за утверждение о социально-родственных исторических процессах России и Украины или за указание, что Яворским «не отмечена огромная роль русского рабочего движения таких промышленных центров, как Ленинград, Москва, Иваново-Вознесенск и др., рабочие массы которых приняли активное участие в помощи украинскому пролетариату и крестьянству».

Не подвергая ответ Яворского разбору по существу и ограничившись пока этими предварительными замечаниями о «добросовестной» критике Яворского, я настоящим письмом в редакцию решительно протестую против недопустимых форм полемики, практикуемых Яворским, который чудовищно извращает мои замечания. Не может не произвести странного впечатления, также и то, что ответ Яворского помещается безо всякого примечания редакции журнала «Прапор марксизму». В высшей степени сомнительно, чтобы редакция в целом солидаризировалась с этим ответом. Повидимому, это об'ясняется либо недосмотром членов редакции, либо чрезвычайно опасной «верой на слово». В ближайшем будущем мы постараемся подробно вскрыть классовый характер работ Яворского и, иллюстрируя новым материалом, еще раз подтвердим, что книга Яворского **н е б о л ь ш е в и с т с к а я** книга и является историческим обоснованием национал-правого уклона.

П. Горин.

P. S. Посылая данное письмо для помещения в «Прапор марксизму», поскольку, однако, полемика между мною и т. Яворским выходит за пределы украинских вопросов,—прошу редакцию «Историка-марксиста», как центрального всесоюзного исторического органа, поместить это письмо.

П. Г.

[1] Между прочим, прежде, чем бросать мне обвинение в троцкизме, что я не понимаю роли пролетариата в 1905 г., я советовал бы Яворскому ознакомиться с критикой моей работы «Очерки по истории Советов Р. Д. в 1905 г.), помещенной в собр. сочинений Л. Троцкого т. III, и мой ответ ему в журн. «Пролет. революция». Это знакомство в значительной мере предохранило бы М. Яворского от «неловкости».